

Ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический журнал

Выходит с января 1931 года

Содержание

10
ОКТЯБРЬ
1990

Москва
Издательство
«Правда»

90 коп. Индекс 70331

В КОНЦЕ 1990—В 1991 гг. В «ЗНАМЕНИ»:

А. Д. САХАРОВ. Воспоминания
Чабуа АМИРЭДЖИБИ. Куда падают звезды. Роман
Георгий ВЛАДИМОВ. Генерал и его армия. Роман
Фридрих ГОРЕНШТЕЙН. Место. Роман
Даниил ГРАНИН. Повесть
Владимир ДУДИНЦЕВ. Дитя. Роман
Олег ЕРМАКОВ. Заклинание против вепря. Повесть
Наталья ИЛЬИНА. Второе возвращение
Франц КАФКА. Письма к Милене
Виктор КОЗЬКО. Спаси и помилуй нас, черный аист. Повесть
Михаил КУРАЕВ. Петя по дороге в царствие небесное. Повесть
Владимир МАКАНИН. Долог наш путь. Повесть
Юрий МАЛЕЦКИЙ. Огоньки на той стороне. Роман
Эрнст НЕИЗВЕСТНЫЙ. Лик — лицо — личина
Анатолий ПРИСТАВКИН. Рязанка. Повесть
Николай ШМЕЛЕВ. Сильвестр. Роман
Артур ХЕЙЛИ. Вечерние новости. Роман

Георгий АРБАТОВ. Недавнее прошлое
Ярослав ГОЛОВАНОВ. Королев (Хроника). Книга вторая
Наталья ДУМОВА. Из цикла «Московские меценаты»
Галина СТАРОВОЙТОВА. Парламент изнутри
Анатолий СТРЕЛЯНЫЙ. В американской глубинке
Станислав ШАТАЛИН. День нынешний
Дмитрий ШЕПИЛОВ. Воспоминания
Юрий ЧЕРНИЧЕНКО. Земля и воля
Из дневников Йозефа ГЕББЕЛЬСА

ISSN 0130-1616. Знамя, 1990. № 10. 1—240.

ЗНАМЯ 10

ISSN 0130-1616

ЗНАМЯ

1990

Октябрь



Ежемесячный литературно-художественный и общественно-политический журнал

Выходит с января 1931 года

10
ОКТЯБРЬ
1990

Москва
Издательство
«Правда»

Содержание

Андрей Сахаров

ВОСПОМИНАНИЯ

Посвящается Люсе

Предисловие

Летом 1978 года по настоянию Люси, при некотором сопротивлении с моей стороны, ею преодоленном, я начал писать первые наброски воспоминаний. В ноябре 1978 года, т. е. еще до моей высылки в Горький, часть набросков была похищена при негласном обыске. В марте 1981 года сотрудники КГБ украли мою сумку с рабочими блокнотами, документами и дневниками, при этом опять пропала часть рукописей воспоминаний. В течение 1981—1982 годов я восстановил пропавшее и продолжил работу, написав большую часть текста. Сегодня книга перед вами. (Дополнение 1987 г. Эти слова были написаны мною в сентябре 1982 года, и я действительно думал, что книга скоро выйдет в свет. Но уже в октябре того же года КГБ украл 900 страниц готовой рукописи, потом был обыск у Люси в поезде с новыми изъятиями; ее инфаркт в апреле следующего года; в мае она — лежачая больная, вынуждена вопреки всем правилам медицины и самосохранения выйти ночью из дома (днем у двери дежурили милиционеры), чтобы передать для пересылки восстановленные мною с огромным трудом за полгода страницы; потом 2,5 года борьбы за ее поездку; суд над Люсей; операция на открытом сердце; Люся пишет «Постскриптум»; еще через полгода мы возвращаемся в Москву. И вот я опять повторяю: «Сегодня книга перед вами».)

Я считаю мемуарную литературу важной частью общечеловеческой памяти. Это одна из причин, заставивших меня взяться за эту книгу, так же как и многих раньше и, я думаю, после. Другая причина — при широком интересе к моей личности очень многое из того, что пишется обо мне, о моей жизни, ее обстоятельствах, о моих близких,— часто бывает весьма неточно, я стремлюсь рассказать верней.

И, наконец, я исходил из того, что круг людей, которым могут быть интересны мои воспоминания, достаточно широк в силу необычных обстоятельств моей судьбы, в которой последовательно сменились столь различные периоды, как работа на военном заводе, научно-исследовательская работа по теоретической физике, 20 лет участия в разработке термоядерного оружия в секретном городе («объекте»), участие в исследованиях в области управляемой термоядерной реакции, общественные выступления, участие в защите прав человека, преследования властями меня и моих близких, высылка в Горький и изоляция (и возвращение в Москву в период «перестройки» — добавление 1987 г.).

Я рассказываю о событиях и впечатлениях моей жизни, о близких мне людях и о других, чья роль в ней также была значительной в том или ином смысле, о повлиявших на меня идеях, о своей научной, изобретательской и общественной деятельности. Я оказался свидетелем или участником некоторых событий большого значения, я пытаюсь рассказать о них. При выборе материала и способа изложения я считал себя в большой степени

С этого номера мы начинаем публикацию мемуаров А. Д. Сахарова — «Воспоминания» и «Горький, Москва, далее везде»,— которая продолжится и в 1991 году. Пропуск некоторых глав, все сокращения текста вызваны не какими-либо цензурными соображениями, а лишь тем, что журнальная площадь ограничена (полностью книги вышли в Нью-Йорке, 1990). Естественные мелкие погрешности авторской памяти частично нами исправлены.— **Ред.**

свободным. Книга эта не исповедь и не художественное произведение — это именно свободные воспоминания о мире науки, о мире «объекта», о мире диссидентов и просто о жизни. По времени воспоминания охватывают мою жизнь, начиная с детства и до настоящего времени.

В 1984—1986 годах подготовку к печати переданной на Запад частями рукописи этой книги проводили по моему поручению Ефрем, Эд Клайн, редактор английского издания Ашбель Грин, Люся во время своего пребывания в США. В условиях нашей горьковской изоляции они не имели возможности переслать мне рукопись для просмотра, не могли посоветоваться по телефону или письменно по поводу возникающих неясностей.

К концу 1986 года работа над рукописью вместе с переводом книги на английский язык была в основном завершена.

В декабре 1986 года мы с Люсей вернулись в Москву, и у меня возникла возможность самому принять участие в окончании работы над книгой. Я не мог от этого отказаться.

Впервые передо мной оказалась вся рукопись целиком — я ее просмотрел и внес авторскую правку, сделал некоторые изменения и дополнения, ставшие необходимыми после трех лет, прошедших с отсылки рукописи.

В 1987 году в Москве и в 1989 году в Вествуде и Ньютоне я написал более двухсот страниц, в которых отразил события, произошедшие после отсылки последней части рукописи весной 1984 года: 1984—86 годы в Горьком и, после возвращения в Москву, январь 1987 — июнь 1989 годов.

Впоследствии я решил выделить их в отдельную книгу, названную мной «Горький, Москва, далее везде».

К сожалению, редакционная и переводческая работа над книгой «Воспоминания» в силу ряда причин, главным образом организационных, крайне затянулась. Некоторая доля вины тут ложится на автора. Но все на свете, даже плохое и нудное, имеет конец...

Я глубоко благодарен всем, принимавшим участие в подготовке книги к печати: Ефрему Янкелевичу, Эду Клайну, Ашбелю Грину, переводчикам Ричарду Лури и Тони Ротману, Вере Лашковой и Лизе Семеновой, Марине Бабенышевой и Лене Гессен, а также Бобу Бернстайну.

Моя жена проделала самую ценную для меня редакторскую работу в Горьком, в Москве и США. Она приняла на свои плечи огромные трудности и опасности пересылки книги. Но главное — она была рядом со мной все эти годы.

Часть первая

Семья, детство

К сожалению, я многого очень важного не знаю о своих родителях и других родственниках. Расскажу, что помню; при этом возможны некоторые неточности.

Моя мама Екатерина Алексеевна (до замужества Софиано) родилась в декабре 1893 года в Белгороде. Мой дедушка Алексей Семенович Софиано был профессиональным военным, артиллеристом.

Дворянское звание и первый офицерский чин он заслужил, оказав какую-то важную услугу Скобелеву в русско-турецкую войну. Кажется, он вывел под уздцы из болота под Плевной под огнем противника лошадь, на которой сидел сам генерал Скобелев. Среди его предков были обрусевшие греки — отсюда греческая фамилия — Софиано.

Дед женился на бабушке Зинаиде Евграфовне вторым браком. От первого у него оставалось трое детей — Владимир, Константин, Анна; от второго брака было двое — моя мама и ее младшая сестра Татьяна (тетя Туся).

Дедушка командовал какой-то артиллерийской (или общеармейской) частью. Летом он вместе с семьей жил в лагере под Белгородом. С детских лет моя мама помнила солдатские и украинские песни, хорошо ездила верхом (сохранилась фотография). Она получила образование в Дворянском институте в Москве. Это было привилегированное, но не очень по тому времени современное и практичное учебное заведение — оно давало больше воспитания, чем образования или, тем более, специальность. Окончив его, мама несколько лет преподавала гимнастику в каком-то учебном заведении в Москве. Внешне, а также по характеру — настойчивому, самоотверженному, преданному семье и готовому на помощь близким, в то же время замкнутому, быть может, даже в какой-то мере догматичному и нетерпимому — она была похожа на мать — мою бабушку Зинаиду Евграфовну. От мамы и бабушки я унаследовал свой внешний облик, что-то монгольское в разрезе глаз (вероятно, не случайно у моей бабушки была «восточная» девичья фамилия — Муханова) и, конечно, что-то в характере, я думаю — с одной стороны, определенную упорность, с другой — неумение общаться с людьми, неконтактность, что было моей бедой большую часть жизни.

Мамины родители, по-видимому, вполне разделяли господствующее мировоззрение той военной, офицерской среды, к которой они принадлежали. Я помню, как у нас в доме в тридцатые годы, уже после смерти дедушки, зашел при бабушке разговор о русско-японской войне (я как раз читал «Цусиму» Новикова-Прибоя). Бабушка сказала, что поражения России были вызваны антипатриотическими действиями большевиков и других революционеров, она говорила об этом с большой горечью. Потом, уже без нее, папа заметил, что она повторила тут слова покойного мужа.

Дедушка Алексей Семенович после японской войны вышел в отставку со званием генерал-майора, потом вновь вернулся на действительную службу в 1914 году, просился на фронт (ему было тогда 69 лет). На фронт, однако, его не послали, направили работать в пожарную охрану Москвы на какую-то командную должность. Никогда не болея, он скоропостижно скончался в возрасте 84-х лет в 1929 году. Это была первая смерть родственника в моей жизни, но проблема смерти уже и до этого волновала меня — она казалась мне чудовищной несправедливостью природы.

Моя мама была верующей. Она учила меня молиться перед сном («Отче наш...», «Богородице, Дево, радуйся...»), водила к исповеди и причастию.

Как многие дети, я иногда строго логически создавал себе довольно комичные построения. Вот одно из них, дожившее до вполне зрелого возраста. Слова церковной службы «Святый Боже, святый крепкий» я воспринимал как «святые греки» (отцы церкви). Лишь в 70-х годах Люся разъяснила мне мою ошибку.

Верующими были и большинство других моих родных. С папиной стороны, как я очень хорошо помню, была глубоко верующей бабушка, брат отца Иван и его жена тетя Женя, мать моей двоюродной сестры Ирины — тетя Валя. Мой папа, по-видимому, не был верующим, но я не помню, чтобы он говорил об этом. Лет в 13 я решил, что я неверующий — под воздействием общей атмосферы жизни и не без папиного воздействия, хотя и неявного. Я перестал молиться и в церкви бывал очень редко, уже как неверующий. Мама очень огорчалась, но не настаивала, я не помню никаких разговоров на эту тему. Сейчас я не знаю, в глубине души, какова моя позиция на самом деле, я не верю ни в какие догматы, мне не нравятся официальные Церкви (особенно те, которые сильно сращены с государством или отличаются главным образом обрядовостью или фанатизмом и нетерпимостью).

В то же время я не могу представить себе Вселенную и человеческую жизнь без какого-то осмысляющего их начала, без источника духовной «теплоты», лежащего вне материи и ее законов. Вероятно, такое чувство можно назвать религиозным.

В моей памяти живы воспоминания о посещениях Церкви в детстве — церковное пение, возвышенное, чистое настроение молящихся, дрожащие огоньки свечей, темные лики святых. Я помню какое-то особенно радостное и светлое настроение моих родных — бабушки, мамы — при возвращении из церкви после причастия. И в то же время в памяти встают грязные лохмотья и мольбы профессиональных церковных нищих, какие-то полубе-

зумные старухи, духота — вся эта атмосфера византийской или допетровской Руси — того, от чего отталкивается воображение как от ужаса дикости, лжи и лицемерия прошлого, перенесенных в наше время. В течение жизни я много раз встречался с этими двумя сторонами религии, их контраст всегда меня поражал. Из впечатлений последних лет — торжественное пение суровых старух, их сверкающие глаза из-под темных платков, аскетические лица у гроба моего тестя Алексея Ивановича Вихирева; помню общение с адвентистами в Ташкенте у здания, где проходил суд над их пастырем В. А. Шелковым, умершим потом в лагере в возрасте 84-х лет, с людьми чистыми, искренними и одухотворенными; помню множество других подобных впечатлений от общения с православными, баптистами, католиками, мусульманами. И в то же время пришлось видеть много проявлений ханжества, лицемерия и спекуляции, какого-то удивительного бесчувствия к страданиям других людей, иногда даже собственных детей. Но в целом я питаю глубокое уважение к искренне верующим людям в нашей стране и за рубежом. Права религиозных диссидентов (особенно неконформистских Церквей) часто нарушаются и нуждаются в активной защите.

Семья отца во многом отличалась от маминой. Дед отца Николай Сахаров был священником в пригороде Арзамаса в селе Выездное, и священниками же были его предки на протяжении нескольких поколений. Один из предков — Арзамасский протоиерей. Мой дед Иван Николаевич Сахаров был десятым ребенком в семье и единственным, получившим высшее (юридическое) образование. Дед уехал из Арзамаса учиться в Нижний (Нижний Новгород), в ста километрах от Арзамаса. (Моя высылка в Горький как бы замыкает семейный круг.) Иван Николаевич стал популярным адвокатом, присяжным поверенным, перебрался в Москву и в начале века снял ту квартиру, где позже прошло мое детство. Этот дом принадлежал семейству Гольденвейзеров, ставших впоследствии родственниками Сахаровых. Александр Борисович Гольденвейзер — знаменитый пианист, в молодости был близок к Льву Николаевичу Толстому, толстовец, женат на Анне Алексеевне Софиано, сестре моей мамы; он стал моим крестным.

Мой дед И. Н. Сахаров был человеком либеральных (по тем временам и меркам) взглядов. Среди знакомых семьи были такие люди, как Владимир Галактионович Короленко, к которому все мои родные питали глубочайшее уважение (и сейчас, с дистанции многих десятилетий, я чувствую то же самое), популярный тогда адвокат Федор Никифорович Плевако, писатель Петр Дмитриевич Боборыкин. Сохранилось личное письмо Короленко моему деду. Знал моего деда и Викентий Викентьевич Вересаев, как это видно из одной его статьи; там, однако, заметно ироническое, неодобрительное отношение его к деду. В конце девяностых годов или в начале века дед вел нашумевшее дело о пароходной аварии на Волге, которое имело тогда определенное общественное значение. Речь моего деда на суде вошла в изданный уже при советской власти сборник «Избранные речи известных русских адвокатов». После революции 1905 года он был редактором большого коллективного издания, посвященного ставшей актуальной тогда в России проблеме отмены смертной казни*. Тогда же Л. Н. Толстой опубликовал свою знаменитую статью «Не могу молчать» — она тоже включена в сборник и занимает в нем одно из центральных мест по силе мысли и чувства.

Эта книга, которую я читал еще в детстве, произвела на меня глубокое впечатление. По существу, все аргументы против института смертной казни, которые я нашел в этой книге (восходящие к Беккариа, Гюго, Толстому, Короленко и другим выдающимся людям прошлого), кажутся мне не только убедительными, но и исчерпывающими и сейчас. Я думаю, что для моего деда участие в работе над этой книгой явилось исполнением внутреннего долга и в какой-то мере актом гражданской смелости.

В возрасте около 30 лет И. Н. Сахаров женился на 17-летней девушке, Марии Петровне Домуховской, моей будущей бабушке — «бабане», как ее звали внуки. Она была круглой сиротой, училась в пансионе около Смоленска, там она жила лето и зиму. Я помню ее рассказы о детстве, очень живые и бесхитростные. Вместе с ней училась дочь Мартынова — убившего

* «Против смертной казни». Сборник статей под редакцией М. Н. Гернета, О. Б. Гольдовского и И. Н. Сахарова. Москва, 1906 год.

на дуэли Лермонтова. Бабушка вспоминала, как при приезде Мартынова девочки с ужасом и любопытством подсматривали за ним через дверную щель. Это было уже в 70-х годах (прошлого, конечно, века). Говорили, что Мартынов всю жизнь тяжело переживал свою роль в трагической и не во всем ясной истории гибели Лермонтова.

Мария Петровна (1862—1941) была дочерью сильно обедневшего смоленского дворянина. Судя по фамилии, в ней была какая-то доля польской крови. Она была человеком совершенно исключительных душевных качеств: ума, доброты и отзывчивости, понимания сложностей и противоречий жизни, умения создать, направить и сохранить семью, воспитать своих детей образованными, отзывчивыми, вполне современными и жизнеспособными людьми, сумевшими найти свое место в очень сложной и переменчивой жизни первой половины бурного двадцатого века.

У бабушки и дедушки было шестеро детей: Татьяна (1883—1977), Сергей (1885—1956), Иван (1887—1943), Дмитрий (1889—1961), Николай (1891—1971), Юрий (1895—1920). Это была не маленькая семья, даже по тому времени. Бабушка была душой семьи, ее центром (насколько я понимаю, интересы дедушки в основном лежали вне дома). Эта ее роль сохранялась и потом, до самой ее смерти. И за пределами семьи до сих пор есть немало людей, которым душевно много дал сахаровский — бабушкин — дом.

Мой отец Дмитрий Иванович Сахаров был четвертым ребенком. Он родился 19 февраля (3 марта по новому стилю; поскольку день рождения праздновался 19 февраля по старому стилю, то по новому в XX веке он приходился на 4 марта в невисокосные годы, условно также 4 марта в високосные) 1889 г. в деревне Будаево Смоленской области, где у бабушки и дедушки был дом, оставшийся от бабушкиных родителей. В раннем детстве Митя (так звали папу в семье) почти все время жил в Будаеве. Сохранилось в моей памяти несколько рассказов о том времени. Один из них.

Отец, уезжая в город (Москву?), спрашивал детей, кому какой подарок привезти. Митя сказал:

— Платочек.

— А зачем?

— Чтобы слезки вытирать.

Как я представляю себе, жили братья шумно и весело, но Митя был тихим мальчиком. Все лето бегали босиком, купались в пруду. Папа больше всего любил природу средней полосы, только она его не утомляла, хотя взрослым любил также туристские походы в горы (не альпинистские), был несколько раз в Крыму, очень много раз на Кавказе, два раза — на Кольском полуострове. В 1933 году прилетел с Кавказа на трехмоторном самолете «Юнкерс» — тогда это было внове, и он боялся рассказать об этом маме, чтобы не напугать ее задним числом. В туристском походе папа познакомился с И. Е. Таммом. Это впоследствии, наверное, сыграло свою роль в том, что я попал к И. Е. в аспирантуру. В возрасте 6—7 лет папа перенес тяжелую по тем временам операцию (под общим наркозом), какой-то гнойник, на спине и на боку у него на всю жизнь остался длинный шрам. В это же время его родители полностью перебрались в Москву. Папу отдали в одну из лучших в Москве частных гимназий, где-то около Арбатских ворот (он потом водил меня в этот дом, с очень высокими потолками и прекрасными окнами). Директор предупредил всех гимназистов, что этого новичка нельзя толкать, т. к. у него может разойтись шов, и все мальчики это свято соблюдали (называли его «стеклянный мальчик», но без обидности). Гимназисты папиного приема уже не изучали греческий язык, но продолжали изучать латинский. Папа рассказывал много смешных историй про своих учителей и одноклассников. Латинист (он был, кажется, обрусевший немец) однажды задал перевести с русского на латинский «Седьмой легион Цезаря зашел в килючий-мелючий куст» (эта фраза стала ходячей в нашей семье как синоним тупикового положения). Папа на всю жизнь сохранил связь с некоторыми своими одноклассниками, но получилось все же, что жизнь на целые десятилетия разлучила его с ближайшими друзьями. Двое из них — Рудановский и Леперовский — оказались в эмиграции. Леперовский, врач по образованию, стал во Франции православным священником, незадолго до папиной смерти приез-

жал в СССР с туристской группой. В последние годы жизни папа много общался со своим одноклассником Сергиевским.

Еще до гимназии папа стал учиться играть на рояле, каждый день он по несколько часов проводил за игрой. Он был принят в Гнесинское училище и окончил его с золотой медалью. Фамилия — Сахаров — до сих пор на мраморной доске в училище в числе лучших выпускников-медалистов. У папы были сильные и мягкие полные пальцы, очень подвижные, как нельзя лучше приспособленные для рояля, и абсолютный слух (он долго страдал, почти физически, от изменения стандарта частот). Папа часто говорил, что звуковые тона и полутона для него идентифицируются с цветовыми. Папины музыкальные симпатии и вкусы были сильными и определенными и выработаны им самостоятельно. Он любил Бетховена, Баха, Моцарта, Шопена, Грига, Шумана, Скрябина, Римского-Корсакова, часто играл их. С большим уважением относился к Бородину. О Вагнере он говорил с уважением и даже с каким-то «изумлением», но это не был его любимый композитор (так же, как и некоторые другие прекрасные композиторы, по другим причинам; но иногда он тоже отдавал им должное; я помню, например, как папа однажды с большой похвалой говорил о Прокофьеве. Но я не помню его отзывов о Шостаковиче, как будто этого замечательного композитора вообще не существовало).

Он не стал профессиональным музыкантом (за это однажды в моем присутствии его ругал и упрекал товарищ детства, с которым они случайно встретились после многих лет), но всю жизнь играл «для себя», в молодости и в последние годы (уже выйдя на пенсию) сочинял музыку. Папа сочинил несколько романсов, один из них на слова Блока:

Ты в поля отошла без возврата,
Да святится Имя Твое!
Снова красные копья заката
Протянули ко мне острие.

Папа, как и его сестра Таня, всю жизнь любил стихи Блока — для них это было какое-то выражение духовного мира их молодости.

Я слышал от папы, что он написал также фортепианные сонаты, сочинял он иногда и шуточные песенки. К сожалению, ноты написанных папиных произведений не сохранились, мне это очень горько — в них была часть папиной души.

Незадолго до смерти Скрябина папа стал бывать в его доме, играл там на рояле, был знаком с семьей Скрябина, с дочерью, ставшей потом женой Софроницкого. В послевоенные годы в годовщины смерти Скрябина папу обычно приглашали в его дом, ставший музеем, несколько раз он выступал там с воспоминаниями о композиторе.

После гимназии папа пошел в медицинский институт, занимался вполне успешно, но потом перешел на физико-математический факультет Московского университета и окончил его, кажется, в 1912 или 1913 году. В эти годы уровень преподавания был сильно подорван уходом лучших профессоров, в том числе Лебедева, протестовавших против приказа министра Кассо, разрешавшего жандармам вход на территорию университета во время студенческих беспорядков.

Летом 1914 года семейство Сахаровых в первый раз почти в полном составе выбралось за границу. До этого только Таня изучала философию в Германии. Начало первой мировой войны застало их во Франции. Узнав об объявлении войны на пляже в Бретани, папа тут же сел на велосипед и, проехав за ночь почти 70 километров, приехал на побережье, где отдыхала бабушка. Вскоре, примостившись на палубе маленького «угольщика», Сахаровы поехали на родину, где Колю уже ждала призывная повестка. Слегка штормило, всех, особенно бабушку, мучила морская болезнь. «Угольщик» шел в тумане, не подавая звуковых сигналов и потушив огни, т. к. опасался встречи с немецкими военными кораблями. Действительно, раз в тумане мелькнул огромный силуэт с орудийными башнями (все по рассказу бабушки).

Коля был взят в армию немедленно, а вскоре и папа пошел вольноопределяющимся и был направлен в действующую армию санитаром. Он очень скудно, с явной неохотой рассказывал о тяжелых впечатлениях его недолгого (около полугода) пребывания на фронте. Я знаю, что он был в районе Мазурских болот. Я помню рассказ папы с чьих-то слов (относящийся к более позднему времени) об офицере, который отказался надеть свой единственный во взводе противогаз и погиб вместе с солдатами. До последних дней папа хранил стальную стрелку с надписью: «Изобретение французов, изготовление немцев». Сотни таких стрелок сбрасывали немецкие самолеты-«этажерки» в первые месяцы войны, и они, как тогда рассказывали, пробивали всадника вместе с лошадью.

В 1915—1918 годах папа преподавал физику как в частных заведениях, так и на каких-то курсах, где преподавателем гимнастики работала моя мама. Они познакомились и в 1918 году поженились. Папе было 29 лет, маме 25.

Незадолго до войны бабушка и дедушка Сахаровы купили домик в Кисловодске, он долго стоял пустой. В начале 1918 года туда поехал дедушка, от него не было никаких известий. Бабушка предложила поехать в Кисловодск папе с мамой. Первоначально это было нечто вроде свадебного путешествия. По приезде папа с мамой узнали, что дедушка умер (кажется, от сыпного тифа; или в самом Кисловодске, или по дороге). В это время гражданская война отрезала Кавказ от центральных районов России, и мои родители уже не могли вернуться. Они жили в каком-то приморском городе, папа зарабатывал на жизнь, играя на рояле во время киносеансов (это была эпоха немого кино). В это же время в Саратове застряли тетя Женя (Евгения Александровна, урожденная Олигер, жена папиного брата Ивана) с тремя детьми, старшей Катей и двумя младшими мальчиками и с младшим братом отца Юрой. В 1920 году оба мальчика (Ванечка и Михалек)) умерли, фактически от голода. Когда умер второй из мальчиков, Юра лежал с высокой температурой, у него был тиф. Он услышал, что тетя Женя заплакала, и встал ее утешить. Потом он опять лег и умер. Я слышал еще в детстве рассказы об этой трагической истории, это одно из моих первых воспоминаний.

Дополнение 1987 г. Катя (моя двоюродная сестра) утверждает, что бабушка приехала на Кавказ вместе с дедушкой. Он умер в Харькове на обратном пути от тифа. Бабушка поехала к тете Жене в Саратов, там заболела, потом приехала в Москву. Вероятно, Катя права.

В 20-м году папа с мамой стали прорываться через все препятствия в Москву. Папа говорил, что у них было много такого в этом пути, о чем ему трудно, мучительно рассказывать и что «еще не пришло время». Я смутно помню рассказы папы и мамы о ночевке в каком-то огромном сарае, переполненном бредящими в тифозном жару красноармейцами, о расстрелах из пулеметов голодающих калмыков, которые с детьми и стариками пытались вырваться из обреченного на голодную смерть района, о замерзших в степи голодающих.

Я родился 21 мая 1921 года в родильном доме около Новодевичьего монастыря. Роды были очень долгие и трудные. Я был очень длинный и худой, долго не поднимал головы, и у меня получился от этого сплюснутый затылок — до сих пор. Первые полтора года или год мы жили в Мерзляковском переулке, в подвале. Папа носил меня гулять по переулку на нотах — коляски не было. Я был «умный» мальчик и засыпал сразу, как только меня выносили на мороз из сырого подвала.

В Москве бабушка по-прежнему жила в Гранатном (бывший дом Гольденвейзеров), а ее взрослые дети — в разных местах; к концу 1922 года Митя с женой и сыном Андреем (это я), Коля с женой тетей Валей и дочкой Ириной и бабушкой Ирины Софьей Антоновной Бандровской (Коля ушел ко второй своей жене, которую я не помню), Ваня с женой, тетей Женей и дочерью Катей стали жить в ее квартире. Татьяна и Сергей жили отдельно.

Муж тети Тани Николай Вячеславович Якушкин был прямым потомком декабриста Ивана Дмитриевича Якушкина. Уже в 60-х годах тетя Таня опубликовала посмертно некоторые собранные Николаем Вячеславовичем материалы о прадеде и трагедии его отношений с женой. Многие годы, почти до самой смерти тетя Таня преподавала английский язык. В молодости, по-видимому, под влиянием Толстого, она стала вегетарианкой и строго придерживалась вегетарианства всю жизнь.

Расскажу подробней о доме, в котором мы прожили следующие девятнадцать лет.

Фактически это была коммунальная квартира. Кроме Сахаровых, там жили еще две семьи, вполне мирно. Каждая семья занимала одну комнату, кроме моих родителей — у нас на 4 человек (папа, мама, мой брат Юра, родившийся в 1925 году, и я) их было две. Общая площадь наших двух комнат немного больше 30 м², одна служила спальней, столовой и детской, другая (проходная, очень маленькая) была папиным кабинетом, там у окна стоял папин рабочий стол (папа сам его отремонтировал), с книжными полками по стенам над столом. Там же стояли два шкафа с бельем и посудой, мимо них кое-как можно было протиснуться к топке печки-голландки. Изразцовая поверхность печи (я в детстве любил сводить на нее переводные картинки) выходила в нашу большую комнату и в бабушкину. Топили дровами, зимой ежедневно. Дом был очень старый, потолки непрерывно протекали, кухня на 6 семей — очень тесной (там часто одновременно шумели шесть примусов). Но в доме сохранились великолепные двери, облицованные карельской березой, широкая лестница и красивые перила — квартира была на втором этаже, и был большой коридор, место игр детей, где стоял большой сундук и даже можно было кататься на трехколесном велосипеде. Нашей квартире принадлежал также сарай в первом этаже флигеля напротив (рядом — сараи других квартир). Там хранились дрова и устраивался ледник; каждый год мы все вместе набивали его снегом и льдом, это было для детей очень весело, а летом спускались туда за продуктами по лестнице (по мере того как оседал лед — все глубже и глубже).

Напротив нашего дома был старинный особняк с парком (кажется, когда-то принадлежавший Кутузову). Там располагался Всесоюзный институт метрологии «Палата мер и весов». В то время в газетах еще не публиковались обязательные тексты лозунгов к праздникам, каждое учреждение действовало по своему усмотрению. На протяжении всего моего детства на здании «Палаты» в дни 7 ноября и 1 мая вывешивался один и тот же плакат: «Коминтерн — могильщик капитала».

Жизнь почти любого человека в двадцатые и особенно в тридцатые годы была трудной. Я уже не помню маму гимнасткой, она быстро перестала быть той молоденькой женщиной, которой она выглядит на фотографиях более ранних лет. Но до конца своих дней она осталась очень деятельной, энергичной и самоотверженной и сохранила способность признать свою ошибку в отношении к тому или иному человеку или явлению, хотя это давалось ей нелегко. При этом нужно сказать, что мамина энергия была целиком направлена на семью — дом; в отличие от большинства женщин того времени она никогда в замужестве не работала.

Мама не очень сошлась с бабушкой, и мы жили отдельными семьями. При этом бабушка очень много нянчила внуков — мою двоюродную сестру Ирину, меня и потом моего младшего брата Юру; меня и Иру также много нянчила моя двоюродная сестра Катя. Она называла нас «скуками». Катя была старше на семь лет. Для нас, внуков, комната бабушки была местом, где мы чувствовали себя свободней и легче всего. Я и Ирина пользовались каждой возможностью, чтобы пробраться туда. Часами мы катались со спинки большого кожаного дивана, как с горы, и веселились вовсю. Когда мы подросли, бабушка стала много читать нам вслух — «Капитанскую дочку» и «Сказку о царе Салтане», «Без семьи» Мало, «Хижину дяди Тома» Бичер-Стоу — вот некоторые из запомнившихся на всю жизнь книг. Это была первая встреча с чудом книги. Сама же она, для себя, в те годы в основном читала английские романы, они в чем-то были близки ей. Английский язык она изучила самостоятельно, в возрасте 45—50 лет. По-моему, мало кто на это способен. На Страстную неделю бабушка читала нам Евангелие. Помню, как она сердилась, когда Ирина говорила: как интересно (на слова Иисуса — трижды отречешься от меня, прежде чем прокричит петух). Для бабушки это было совсем не развлекательное чтение, да и мы на самом деле это понимали.

Очень хорошо помню всю обстановку бабушкиной комнаты (видимо, типичную для людей ее времени и круга): в углу комнаты — небольшой киотик с постоянно горящей лампадой, Мадонну Рафаэля и виды Венеции и Рима на стене, большой портрет бабушки и дедушки в молодости, маленькую статуэтку на конторке (Толстой что-то пишет за круглым столиком — я часто пытался его срисовать). Умывальник с мраморной доской в углу комнаты, ручная кофейная мельница, тяжелые портьеры на окнах со шнурами-колокольчиками. Разбирая недавно вещи, я нашел литографированный портрет Бетховена на фоне какого-то романтического пейзажа. Я, правда, не знаю, какой из двух бабушек он принадлежал.

В 1971 году, впервые придя в дом моей жены, я увидел точно такой же портрет Бетховена, тоже оставшийся от бабушки. Он и сейчас висит в комнате Руфи Григорьевны, матери моей жены.

А вот совсем не лестный для меня рассказ о более раннем времени — со слов бабушки. Она тяжело больна. Я забрался ей на грудь, мне было года два.

— Бабушка, ты ничего не можешь?

— Ничего не могу.

— А я могу тебя раздавить.

И я начал подпрыгивать у нее на груди и на животе. Бабушка, по ее словам, всерьез испугалась и с трудом отвлекла меня от этих упражнений; прибежавшая мама, я надеюсь, как следует меня наказала. А вообще-то, по рассказу Кати, я у мамы был «принц». Мама говорила «прынц», «кофэ» (с очень твердым «э» на конце) — сказывалось детство, проведенное в Белгороде. Слово «принц», видимо, отражает в каком-то смысле отношение, которое было у моих родителей к их довольно позднему и тогда единственному сыну — первенцу. Уже в 70-е годы я нашел написанный папиной рукой «Дневник», в котором якобы от моего имени папа тщательно записывал события первых месяцев моей жизни: «Сегодня я целое утро плакал, мама очень волновалась, потом я успокоился и смотрел в окошко. Очень интересно» — первые слова, которые я произнес, и т. п. Когда родился второй ребенок, папа опять начал вести записи в дневнике, но уже менее подробно. Это не значит, что он меньше любил Юру, просто второй раз не было все так вновe.

Еще две истории, относящиеся уже к трехлетнему возрасту. Мама что-то грязное вытерла половой тряпкой, потом воскликнула: «Кажется, я погубила тряпку». Я, присутствовавший тут же, начал страшно реветь, сквозь всхлипывания мама разобрала слова: «Зачем ты ее погубила-а-а...» В этом, возможно, была не только жалость к тряпке, «одушевленной» для трехлетнего ребенка, но и некий элемент «жмотства». И много потом (всегда) я был слегка жмот, — в этом есть и положительное, и отрицательное.

Тогда же меня нашли на кухне, придерживающим спиной черный ход. Лицо мое было очень серьезным, напряженным.

— Что ты делаешь?

— Там разбойники, я их держу!

Большую часть жизни мой отец был преподавателем физики — совсем немного в школе, а в 20-е годы — в Институте Красной профессуры, в Свердловском университете, потом — на протяжении около 25 лет в Педагогическом институте им. Бубнова (впоследствии, после ареста Бубнова, переименованном в Институт им. Ленина. Возможно, какое-то время институт носил имя Крупской, но в этом я не уверен). По неизвестным мне причинам в 50-х годах папа был вынужден уйти оттуда (по-видимому, он был сильно чем-то обижен администрацией). Последние годы перед уходом на пенсию он работал в Областном педагогическом институте. В Ленинском пединституте папа вел семинарские занятия, руководил физпрактикумом. Он относился к этой работе с величайшей добросовестностью, его любили студенты и товарищи по работе. Большая многолетняя дружба у него была с профессорами И. В. Павша и Н. П. Бэне (еще с 20-х годов). Завкафедрой, известный оптик, редактор прекрасного физического журнала «Успехи физических наук» проф. Э. В. Шпольский, насколько я знаю, тоже относился к нему хорошо, и в еще большей степени — сменивший его проф. Н. Н. Малов, с которым у папы возникли более близкие дружеские отношения.

Папа, когда мне было 12—14 лет, несколько раз водил меня в лабораторию института, показывая опыты — они воспринимались как ослепительное чудо, при этом я все понимал (я так думал тогда, и вроде так

оно и было). Вскоре я и сам стал делать «домашние» опыты, но об этом несколько позже.

Еще в 20-е годы папа начал писать научно-популярные и учебные книги. У него был необычайно ясный и краткий, спрессованный стиль, очень точный и легко понимаемый. Но давалось ему это с огромным трудом, каждая фраза переписывалась каллиграфическим почерком по многу раз, и он подолгу, мучительно думал над каждым словом. Все это происходило на моих глазах и, быть может, больше, чем что-либо другое, учило меня — как надо работать. А что жить не работая нельзя, это воспринималось как само собой разумеющееся из всей атмосферы дома.

Первая папина книга называлась «Борьба за свет». Это было популярное изложение физики и истории разработки осветительных приборов от древности до наших дней. Два года он собирал к ней материалы, в основном из немецких источников. Книга получилась удачной, даже по нынешним меркам, а тогда она была одной из первых книг популярно-научно-исторического жанра. Книга вышла в акционерном издательстве «Радуга» и очень большим по тем временам тиражом — 25 тыс. экземпляров, была быстро распродана и стала библиографической редкостью. За ней последовали многие другие: «Физика трамвая», «Опыты с электрической лампочкой», «Рабочие книги по физике» (учебники для взрослых; слово «учебник» считалось буржуазным; по способу изложения они были очень оригинальными, например, о постоянном токе в них писалось до электростатики, предваряя знаменитые книги Поля; но сам папа потом стал писать в более традиционной манере).

В 30-е годы папа участвовал в коллективных изданиях по методике преподавания и в очень интересном учебном пособии под редакцией профессора Г. С. Ландсберга (впоследствии академика, известного ученого, открывшего вместе с Л. И. Мандельштамом явление комбинационного рассеяния света, другое название — рамановское рассеяние, по имени Рамана, сделавшего независимо то же открытие). Но главным делом отца был «Задачник по физике», выдержавший 13 изданий и очень популярный у преподавателей и учащихся; и учебник. Судьба учебника была, однако, более сложной. Первоначально он предназначался для школ взрослых и пользовался большим успехом, затем в связи с перестройкой системы образования был переработан в «Учебник для техникумов». Эта переработка была осуществлена в соавторстве с опытным преподавателем техникума Михаилом Ивановичем Блудовым. После смерти отца Блудов предложил мне участвовать в модернизации учебника. Я заново написал две последние главы (как мне кажется — удачно). Переработанное издание вышло в 1964 году. В 1974 году предполагалось новое издание, кардинально переработанное — Михаил Иванович и я выполнили всю работу, — это заняло около трех лет. учебник получил разрешающий гриф Министерства просвещения, но разразилась кампания против моей общественной деятельности осенью 1973 года, и на книгу был наложен запрет.

Папина литературная работа была главным источником дохода семьи. Благодаря ей наш уровень жизни был, конечно, выше, чем у большинства в стране в те трудные годы, и выше среднего уровня жизни слоя рядовой интеллигенции, к которому мы в основном принадлежали. Мы могли позволить себе каждое лето выезжать на дачу (снимать одну-две комнаты под Москвой), а папа на несколько недель выезжал в туристический поход, это была большая радость для него, я уже об этом писал. И все же кормить семью (в буквальном смысле этого слова) было очень нелегко. Сделать же дорогую покупку — например, ламповый радиоприемник или мотоцикл (тогда говорили «мотоциклетка») папа уже не мог себе позволить. Мотоцикл имел брат Иван, а радиоприемник папа собрал себе самодельный — конечно, детекторный, с наушниками.

Первый ламповый приемник, который я видел, принадлежал нашим соседям по квартире Амдурским. Это была бездетная семья, он — инженер, она — швея-надомница (что особенно существенно). Я слышал у Амдурских знаменитое выступление Гитлера на Нюрнбергском съезде, безумное и страшное скандирование участников съезда: «Хайль! Хайль! Хайль!»; речь Сталина на VIII съезде Советов в 1936 году: «Кровь, обильно пролитая нашими людьми, не пропала даром» (на этом съезде была принята Сталинская конституция; говорят, ее автором был Бухарин, вскоре арестованный); целиком слышал прекрасные передачи о Пушкинских торжествах в 1937 году. Читался на них и «Медный всадник»:

> Стеснилась грудь его. Чело
> К решетке хладной прилегло,
> Глаза подернулись туманом.
> . . . .
> Он мрачен стал
> Пред горделивым истуканом.
> . . . .
> «Добро, строитель чудотворный!» —
> Шепнул он, злобно задрожав, —
> «Ужо тебе!..» И вдруг стремглав
> Бежать пустился...

(Уже тогда, в апогее сталинской диктатуры, я ощущал тираноборческий пафос и трагизм этих строк.)

Именно тогда, в 1937 году, Пушкин был официально провозглашен великим национальным поэтом. Все это были приметы времени. Незаметно идеология приблизилась к знаменитой триаде эпохи Николая I — «Самодержавие, православие и народность». Пушкин при этом олицетворял народность, коммунистическое православие — марксизм • олицетворял лежащий в мавзолее Ленин, а самодержавие — здравствующий Сталин.

Литературная работа давала папе, кроме денег, также некоторую независимость и известность в научно-педагогических кругах. Однако он долго не имел никакой ученой степени или профессорского звания. Лишь в годы войны Ученый совет Пединститута присвоил ему без защиты диссертации ученое звание кандидата педагогических наук за его «Задачник».

Папу любили очень многие — и близкие, и «дальние». Он был добрым, мягким и принципиальным человеком, с твердой мудростью, с сочувствием к людям. Был ли папа удовлетворен своей судьбой? Это трудный вопрос. Я думаю, что он знал себе цену и понимал, что не полностью реализовал свои богатые возможности (и он любил поговорить об этом со мной). Но в то же время у него была житейская, человеческая мудрость, дававшая ему возможность извлекать истинную глубокую радость из того, что было в его жизни (редкое, счастливое умение!). Его любимой пословицей было «Жизнь прожить — не поле перейти». Он очень много вкладывал в эти слова: и понимание сложности и противоречивости жизни, и чувство ее трагичности и красоты, и извинение тем, кто оступился на жизненном пути. Еще у него была любимая поговорка: «Чувство меры есть высший дар богов». Ее он применял к искусству (особо выделяя Бетховена за его простоту, обращенную к людям с благородной героической мыслью, в борьбе с судьбой), к преподаванию, к науке (последовательно, без перескакивания через ступеньку, без вундеркиндства — это он очень недолюбливал, — и без поверхностности, вести к глубокому знанию), к политике (тут он говорил, что большевикам чувства меры не хватает больше всего, и это в его глазах было суровым приговором), к жизни вообще, к личным отношениям. Эта пословица выражала папино понимание гармонии и мудрости. На меня эта позиция производила сильное впечатление, но следовать ей полностью я не мог. Во мне бродила еще какая-то другая закваска, внутренняя противоречивость, и «уравновешивание» было для меня не даром, а труднодостижимой целью, вернее, даже полностью недостижимой. Впрочем, я думаю, что это общечеловеческое свойство... (Бетховена, упомянутого выше, не меньше, чем других.)

Вспоминая свой жизненный путь, я вижу наряду с поступками, которыми я горжусь, некоторое число поступков ложных, трусливых, позорных, основанных на глупости, или непонимании ситуации, или на каких-то подсознательных импульсах, о которых лучше не думать. Признавшись тут в этом в общей форме, я не собираюсь останавливаться на этом в дальнейшем — не потому, что я хочу оставить у читателя о себе преувеличенно-идеальное представление, а из нелюбви к самобичеванию, самокопанию, эксгибиционизму, а также считая, что никто еще не учился на чужих ошибках. Хорошо, если человек способен учиться на своих ошибках и подражать чужим достоинствам. Вообще же мне бы хотелось, чтобы эти воспоминания были больше не обо мне, а о том, что мне удалось увидеть

и понять (или считать, что понял) в моей 60-летней жизни. Мне кажется, что и читателям (доброжелательным) так будет интересней.

Эта книга поэтому, как я уже писал в предисловии, не исповедь...

Мои интересы, увлечения опытами, математикой, задачами радовали папу по-настоящему, и стало как-то само собой разумеющимся, что после школы я пойду на физфак. Может, тут было отчасти желание, чтобы я как-то пошел дальше папы, осуществив то, что ему в силу жизненных обстоятельств не удалось. Но в гораздо большей степени — желание, чтобы я получал удовлетворение от работы. Но при этом папа постоянно предостерегал от всех форм снобизма. Он был глубоко убежден и внушал своим детям, что любая добросовестно, профессионально, с любовью выполняемая работа всегда ценна.

Для дополнения картины детства необходимо рассказать о семейных праздниках, дачной жизни, дворе.

Детские праздники устраивались в дни рождения и именин детей, на елку (и у нас в доме, и у Кудрявцевых) — со сладким угощением, обычно домашним мороженым, с общими играми, шарадами, фокусами. (Фокусы показывал чаще всего папа — монета, которую нельзя смахнуть щеткой с руки; переламывание спички внутри платка — конечно, спичка остается целой; и другое, в том же роде, к неизменному восторгу детей.) Шарады были особенно важным элементом, в них большую изобретательность проявляли взрослые и старшие ребята — Катя и ее товарищи, но и младшие имели возможность проявить себя, изображая бандитов, нищих, пиратов, миллионеров и даже небесные тела (более «серьезные» шарады ставились на даче Ульмеров). Традиционным номером всех праздников было появление «Американца, читающего газету». Это обычно был папа, с вешалкой на палке в руке, на вешалку накидывалось пальто и прицеплялась шляпа. Американец сначала читал, пригнувшись, нижние строчки повешенной на стену газеты, затем распрямлялся до потолка — когда папа под пальто поднимал вверх палку.

Как я уже сказал, каждое лето наша семья выезжала на дачу. Мы снимали обычно две комнаты у дачевладельцев или в деревне, чаще всего в районе Звенигорода (в Дунино; там мы жили в доме большой и дружной семьи обрусевших немцев по фамилии Ульмер — врачей, инженеров, юристов, большинство из них потом были арестованы и погибли в 30-е годы). Другие наши дачи были в Луцине, Криушах, Песках.

Впечатления от этих трех-четырех месяцев были очень глубокие. Мы, дети, сразу разувались, оставались в одних трусиках. Уже через месяц я становился совершенно черным от загара (брат загорал гораздо слабей). Подмосковная природа — мягкая и лиричная — навсегда стала близкой. До сих пор мне кажется самым радостным лечь на спину на опушке леса и смотреть на небо, ветви, слушая летнее жужжание насекомых; или наоборот, повернувшись на живот, наблюдать их жизнь среди травинок и песчинок. Я часто надолго уходил из дома и гулял один по лесу или по межам засеянных рожью, овсом, клевером или гречихой полей. Мне никогда не было скучно одному. Рыбная же ловля и охота никогда меня не привлекали. С водой у меня были сложные отношения, я так и не научился толком плавать (а учиться начал с детства и продолжал в 1973 году в Батуми под руководством Алеши, сына Люси, — как раз в то время, когда в газетах развернулась кампания моего «осуждения»; Солженицын в «Теленке» почему-то пишет об этом времени, что я стремился в Москву, но не мог уехать из-за отсутствия билетов, — а моим стремлением было научиться плавать).

Жили мы на даче с мамой безвыездно целое лето. Папа по воскресеньям привозил нам в рюкзаке кое-какие продукты, пока не подходило время его отпуска и он уезжал на юг или север.

В 1936 году папа взял меня в поездку на пароходе Москва — Горький — Ярославль. Мы играли в шахматы, говорили о многих важных и неважных вещах. Но купленную на пристани газету, насколько помню, не обсуждали: в ней были материалы процесса объединенного троцкистско-зиновьевского центра и речь Вышинского, как всегда у него, полная жестокой, фальшивой риторики. Я вспоминаю заключительные слова другой его речи, произнесенной полтора года спустя на процессе правотроцкистского, кажется, центра: «Над могилами этих преступников (т. е. еще сидящих перед ним подсудимых, признавшихся под пытками во всех мыслимых и немыслимых преступлениях. — А. С.) будет расти чертополох и крапива, а наш народ пойдет вперед, к солнцу коммунизма!»

Другая поездка была уже в 1939 году, я впервые увидел море и горы. Мы жили в палатке турбазы и ходили, опять разговаривая о жизни, в близлежащие ущелья, вдоль горных речек с пахнущей свежестью пенистой водой. На обратном пути мы купили в киоске газету, где сообщалось о приезде в Москву Риббентропа...

Через неделю началась вторая мировая война.

Большую роль в моей жизни в детстве играл двор — полтора десятка мальчиков и девочек, собиравшихся на площадке между тремя флигелями, где росло довольно большое дерево и немного травы, а весной даже цвели одуванчики. Сейчас там сплошной асфальт, а сама площадка кажется совсем маленькой, дом же, где я провел детство, разрушен в 1941 году немецкой авиабомбой и вместо него — новое двухэтажное здание стандартной архитектуры, в котором расположилось отделение милиции. Я заходил туда после войны только два или три раза и всегда испытывал странное чувство какой-то отчужденности. (Даже название переулка теперь другое — не Гранатный, а улица Щусева.) Я не знаю, играют ли сейчас ребята в те игры, которые были самыми популярными тогда — «казаки-разбойники», «флаги» и т. п. Это все были очень подвижные, командные игры, азартные, веселые и совсем не «жестокие». Ребята поменьше, конечно, играли в вечные «классики» и «прятки» — в эти игры много играют и сейчас, но совсем изменились «считалочки». Играли мы и в «ножички», у меня на ноге сохранился шрам. С тех пор он вырос (вместе со мной) раза в три.

Очень много я играл и дома и на улице со своей двоюродной сестрой Ириной (мы однолетки). Она была в этих играх гораздо активней и изобретательней, чем я. Ирина вовлекала меня в литературные игры-инсценировки; иногда я был Дубровским или капитаном Гаттерасом, но чаще мне доставались менее престижные роли — например, Андрия или Янкеля, изображающего на своем лице красоту панянки (и то и другое — из «Тараса Бульбы»). Мы часто гуляли с ней, взяв саночки, по покрытому снегом Гранатному переулку. Машин тогда было так мало, что они не заботили ни нас, ни наших родителей.

У моей двоюродной сестры Кати и ее подруги Таси была многолетняя игра в индейцев. Катя называла себя Чингачгук, Тася — Ункас (имена из романа Ф. Купера «Последний из могикан»). Тогда (а еще больше, кажется, в предыдущем поколении) в нашей стране в индейцев играли часто. Всегда с восхищением перед гордыми, благородными и смелыми, свободолюбивыми индейцами (не знаю, играют ли так сейчас у нас и как играют в Америке?).

Любой детский коллектив является отражением общества в целом. Все сложности и противоречия тогдашней жизни, конечно, проявлялись и в нашем дворе, но подспудно и до поры до времени не мешали нам вместе играть, ссориться, иногда драться и мириться. Я теперь понимаю, что мои родители, которые по теперешним стандартам жизни никак не могут быть названы состоятельными, тогда для большинства семей нашего двора находились почти на вершине социальной лестницы, и это чувствовалось также и детьми.

Проявлялись ли в нашем дворе национальные противоречия? Мне кажется, в очень слабой степени. Иногда мальчику-еврею Грише вспоминали его еврейство, но без ненависти, скорей как особое качество. (Для меня этот вопрос — еврей — не еврей — тогда вообще не существовал, как и всегда потом; я думаю, что это был дух и влияние семьи.) Более обидное отношение проявлялось иногда к мальчику-поляку. Возможно, тут играли роль мифы гражданской войны («белополяки»), а может, и более ранние русские мифы. Жестокое соперничество (часто выливавшееся в драки и подкарауливание) было с детьми соседней, «кремлевской» школы. Кажется, что в основе этого соперничества лежал детский снобизм «кремлевских».

Гриша, о котором я упомянул, появился в нашем дворе, когда мне было 6 лет. В комнату первого этажа одного из флигелей, единственное окно которой выходило прямо на помойку, переехала очень бедная семья

Уманских — отец, мрачный и болезненный на вид сапожник, толстая и крикливая мама, старший брат парикмахер Изя (впоследствии попавший под автобус то ли по рассеянности, то ли в пьяном виде) и младший, с огромными голубыми глазами Гриша, мой сверстник. В первый день, когда Гриша вышел во двор погулять, мы с ним сильно повздорили, и я ударил его по носу, пошла кровь (почти единственная драка в моей жизни, я очень был не склонен к дракам и шумным ссорам, и меня почти никто не задирал). С Гришей я вскоре очень подружился, нас объединяла склонность к фантазированию, мечтательность. И, по-моему, меня уже тогда привлекала национальная еврейская интеллигентность, не знаю, как это назвать — может, духовность, которая часто проявляется даже в самых бедных семьях. Я не хочу этим сказать, что духовности меньше в других народах, иногда, может, даже и наоборот, и все же в еврейской духовности есть что-то особенное, пронзительное. Мы часами ходили по двору, рассказывая друг другу наши фантазии — какие-то удивительные приключения, фантастические истории — что-то среднее между научной фантастикой и сказкой. Лет 10—12 Гриша начал учиться играть на виолончели, он был очень этим увлечен. Родители купили ему инструмент. Хотя это, конечно, было им тяжело.

Как-то раз мы играли или о чем-то рассуждали, как обычно. Мимо шел старик-еврей, который жил по соседству и, конечно, знал нас обоих. Но в этот раз, как бы не замечая меня, он обратился к Грише:

— Ты теперь учишься играть на виолончели и должен быть приличным мальчиком, не играть с кем попало.

И только тогда, строго посмотрев на меня, он, медленно прихрамывая, ушел. Гриша потом стал зубным техником-протезистом, окончив техникум, находившийся недалеко от нашего дома. В 1941 году попал на фронт, служил по своей медицинской специальности. В 1945 году, когда война уже кончалась, в грузовик, в котором он ехал, попала бомба, и он погиб.

Передо мной фотография, на которой изображена группа детей нашего двора. (Среди них Гриша, Ирина, мой брат Юра и я.) Из пяти мальчиков моего возраста, изображенных на ней (шестой — Вова — не попал на фото), насколько я знаю, трое погибли во время войны. Это судьба поколения. Валя (в центре фотографии) был старшим сыном в семье рабочего-маляра, жили они почти до самой войны в подвале. Он был великолепным человеком — с огромным чувством собственного достоинства, заботливый старший брат, смелый и честный. Окончил во время войны летную школу — ускоренный выпуск летчиков-истребителей — и погиб в одном из своих первых воздушных боев в 1942 году. Кажется, погиб и Вася (стоит рядом со мной на снимке).

Когда мне было 10 лет, родители подарили мне деревянный заграничный самокат с тонкими легкими колесами на «шариках», как тогда говорили — «Роллер». Я катался на нем несколько лет подряд по Гранатному переулку, охотно давал другим ребятам. Среди тех, кто просил у меня покататься, был Мишка по прозвищу «Заливной», парень лет 17—18, одноногий, на протезе (потерял ногу, катаясь на трамвайной «колбасе» в раннем детстве). О нем говорили вполголоса, что он связан с какой-то бандитской шайкой; прозвище означало, что он пьет водку через горлышко, т. е. «заливает». Мишка жил в доме номер 6, расположенном неподалеку. Через несколько лет, когда я учился уже в 7-м классе, я возвращался обычно домой поздно, т. к. ходил во вторую смену. Около рынка однажды вечером меня окружила группа мальчишек, примерно моих лет (их было, кажется, шесть человек), и стали требовать «пятачок». Я, не отвечая, стал протискиваться через кольцо; кто-то подставил мне ножку, кто-то ударил по щеке и по уху, но я удержался на ногах и вырвался на свободу. Довольный собой, я сменил бег на шаг и вскоре уже подходил к нашему дому. Вдруг от забора отделилась фигура и перегородила мне дорогу. Это был высокий парень, лет 25, бледный, с жестким злым лицом, в надвинутой на глаза кепке.

— Гривенник есть?

Я сунул руку в карман и отдал 10 копеек, но он продолжал загораживать мне дорогу.

— Пустите, я здесь живу.

— Здесь, говоришь? А Мишку Заливного знаешь?

— Да, знаю.

— Не врешь, скажи, в каком доме?

— В доме шесть.

— Ну ладно, топай, пока цел.

Через несколько недель (кажется) я узнал, что недалеко от нас, на паперти Георгиевской церкви рано утром нашли тело Мишки с выколотыми глазами и отрезанным языком. Это была расправа за какое-то нарушение «уголовной» чести. Наверно, Мишку нашли бы и без того, что я указал дом, но груз этой истории так или иначе до сих пор лежит на мне. Что я мог бы быть свидетелем по этому делу — это мне даже не пришло в голову, и похоже, что я никогда не рассказал об этом папе или маме. Мне кажется, что сопоставил эти два события — парня, который меня спрашивал, где Мишка живет, и смерть Мишки — только много лет спустя (в 1978?). Я не исключаю поэтому также, что убийство произошло до эпизода со мной, и я знал это, но потом забыл.

Эпоха, на которую пришлись мое детство и юность, была трагической, жестокой, страшной. Но было бы неправильно ограничиться только этим. Это было время также особого массового умонастроения, возникшего из взаимодействия еще не остывших революционного энтузиазма и надежд, фанатизма, тотальной пропаганды, реальных огромных социальных и психологических изменений в обществе, массового исхода людей из деревни — и, конечно, — голода, злобы, зависти, страха, невежества, эрозии нравственных критериев после многих дней войны, зверств, убийств, насилия. Именно в этих условиях сложилось то явление, которое в СССР официально деликатно называют «культ личности».

Из обрывков разговоров взрослых (которые не всегда замечают, как внимательно слушают их дети) я уже в 30—34-м гг. что-то знал о происходивших тогда событиях. Я помню рассказы о подростках, бежавших из охваченных голодом Украины, Центрально-Черноземной области и Белоруссии, забившись под вагоны в ящики для инструментов. Как рассказывали, их часто вытаскивали оттуда уже мертвыми. Голодающие умирали прямо на вокзалах, беспризорные дети ютились в асфальтовых котлах и подворотнях. Одного такого подростка подобрала моя тетя Таня на вокзальной площади, и он стал ее приемным сыном, хотя у него потом и нашлись родители. Этот мальчик Егорушка стал высококвалифицированным мастером-электриком. В последние годы он работал на монтаже всех больших ускорителей в СССР. Сейчас он уже дедушка, Егор Васильевич.

Тогда же все чаще я стал слышать слова «арест», «обыск». Эпоха несла трагедию в жизнь почти каждой семьи, судьба папы и мамы на этом фоне была благополучной, но уже в ближайшем к нам круге братьев и сестер все сложилось иначе.

Я уже писал о гибели сыновей дяди Вани во время гражданской войны. Дальнейшая его судьба тоже была трагичной, как и судьба многих других моих родственников...

Папа часто говорил, что дядя Ваня прирожденный инженер. Но и вообще он был очень талантливый человек, любая работа горела у него в руках, и при этом — широкий, обаятельный, задушевный (больше, чем кто-либо из братьев). Был он великолепный рисовальщик и рассказчик — с юмором, выдумкой, мистификациями. Под влиянием товарищей по гимназии (впоследствии видных большевиков Н. И. Бухарина и В. В. Осинского) он не пошел на инженерный факультет, а стал юристом — «чтобы служить народу». И на этом, вероятно, не лучшем для него поприще в 20-х годах быстро пошел «в гору», стал крупным финансовым работником. Но уже тогда очень многое ему не нравилось.

В конце 20-х годов я присутствовал в комнате бабушки не только при красочных рассказах и шутках дяди Вани, но и при все более тревожных разговорах о происходящем в стране. Много позднее я узнал, что в это время дядя Ваня нарисовал портрет-карикатуру Сталина с хищными зубами-клыками и зловещей ухмылкой из-под усов. Это была уже весьма опасная шутка, но не она привела к аресту дяди Вани.

В конце 20-х годов дядя Ваня пытался помочь бежать из СССР (выехать и не вернуться) старому университетскому товарищу, дав ему свой паспорт (я не очень хорошо знаю эту историю; по другой версии он

только знал о плане «побега» и не донес об этом ГПУ). Так или иначе, дядю Ваню арестовали. Он находился под следствием и в заключении около двух лет. Кажется, его жена хлопотала за мужа перед своим бывшим одноклассником, а тогда зам. нач. ОГПУ Ягодой (примерно в это же время газета «Известия» в связи с кампанией «трудового перевоспитания» на каналах и стройках назвала Ягоду «великим гуманистом нашего времени»). Жена дяди Вани тетя Женя, о которой я уже писал, родом из Нижнего (теперь — Горький). Всю папину жизнь она была любимой его невесткой. Когда в последние годы бабушка очень ослабела, тетя Женя больше всех приняла на себя заботу о ней.

Вернувшись в начале 30-х годов с судимостью, дядя Ваня уже не мог пойти работать на прежнее место. Он стал надомником-чертежником и достиг больших успехов и в этой области. Сначала он выполнял чрезвычайно сложные чертежи по заказу машиностроительных институтов, а затем приобрел уникальную специальность — черчение номограмм (система кривых на бумаге, на которых нанесены шкалы, предназначенные для графического вычисления различных функций одной, двух, иногда и нескольких переменных). Я помню, как он, выкуривая папиросу за папиросой, сидел ночи напролет над чертежами и изготовлением для них специальных лекал. Тогда же его жена стала работать надомницей-машинисткой, а дядя Ваня регулярно чинил и чистил ее старенькую машинку, перепаивал шрифт и т. п. Он вновь купил себе мотоцикл и часами возился с ним в сарае.

Новый арест в 1935 году прервал и этот период его жизни. Последовала ссылка — несколько лет он работал сначала бакенщиком на Волге, а затем начальником гидрологической станции там же (при этом он был и единственным работником этой станции в районе Тетюшей). Во время войны он был вновь арестован и умер от истощения в 1943 году в Красноярской тюремной больнице. Его жена получила обратно отправленное мужу письмо с надписью на конверте: «Адресат выбыл на кладбище».

Еще в тридцатые годы наших близких постигли и другие беды. Первым погиб второй муж тети Вали (мамы Ирины), его фамилия Бельгардт, он — бывший офицер царской и колчаковской армии — был арестован, как большинство бывших офицеров белой армии, и расстрелян в середине 30-х годов. Затем мамин старший брат Владимир тоже был арестован и погиб в лагере. В середине 30-х годов арестован внучатый племянник бабушки Зинаиды Евграфовны, Женя, и погиб в лагере — утонул на лесосплаве. После него осталась вдова и мальчик Юра, — он один год жил с нами на даче, и мы все его очень полюбили. (Я часто вспоминаю, как Юра, впервые увидев теленка, радостно закричал: «Маленькое поле, маленькое поле!» Очевидно, он слышал фразу — корова пришла с поля, и она так преломилась в его сознании.) Зимой 1938 года Юра заболел менингитом и умер в больнице. В 1937 году арестованы старший брат мамы Константин, младшая сестра Татьяна (Туся) и ее муж Геннадий Богданович Саркисов. Туся работала секретарем у американского корреспондента. По тому времени это была чрезвычайно выгодная работа, так как часть зарплаты она получала в бонах Торгсина. Туся иногда давала немного этих бон маме, и это всегда означало семейное пиршество — со сливочным маслом, сахаром и тому подобным. Константин работал на большом военном заводе — я думаю, что наличие в одной семье людей, связанных с иностранцами и с военной техникой, явилось более чем достаточным основанием для их ареста, которые происходили тогда и без таких поводов. Константин дома увлекался фотографией, очень квалифицированным радиолюбительством, и даже (в 1930 году) построил самодельный телевизор с механической системой развертки — диском Нипкова. По тем временам это было совершенное чудо. Константин умер во время следствия (или погиб на допросе; мы предпочитали не гадать об этом). Я думаю, что после его смерти процесс потерял свой интерес для НКВД. Туся и ее муж были осуждены к очень малым по тогдашним временам срокам: к пяти годам Туся и двум годам Геннадий Богданович. Была ли наша семья исключением этой своей скорбной летописью? Конечно, разные слои населения были затронуты в разной степени и в разных формах, но в целом погибли многие и многие миллионы — от раскулачивания на спецпоселениях, от возникшего вслед за коллективизацией голода, в процессе борьбы с «вредителями» и «врагами народа» — как правило, как раз самыми активными членами

общества; от шпиономании, от религиозных преследований и просто от беспричинных массовых репрессий, впоследствии от репрессий вернувшихся из немецкого плена, в ходе борьбы с «космополитизмом», «за колоски», за нарушение трудовой дисциплины — в целом я не знаю ни одной семьи, в которой не было бы потерь от репрессий, и нередко больше, чем в нашей семье. Многомиллионные потери войны, во всяком случае их масштаб в конечном счете тоже определялся режимом и той дезорганизацией, которая им была вызвана. Сейчас весь этот ужас — уже история, оставившая, однако, после себя неизгладимые следы.

Я почти никогда не слышал от папы прямого осуждения современного режима. Пожалуй, единственное исключение — в 1950 году, когда папа в предельно эмоциональной форме высказал свое мнение о Сталине (он так при этом был взволнован, что мама испугалась, чтоб ему не стало плохо). Я думаю, что пока я не стал взрослым, папа боялся, что, если я буду слишком много понимать, то не смогу ужиться в этом мире. И, быть может, это скрывание мыслей от сына — очень типичное — сильней всего характеризует ужас эпохи. Но косвенное осуждение постоянно присутствовало в той или иной подспудной форме.

Несколько иной была позиция дяди Вани. Он гораздо определеннее высказывался о политических и экономических вопросах. Я постараюсь рассказать об этом, опираясь на папины слова, сказанные уже в последние годы его жизни, при этом, конечно, интерпретируя их в духе своей теперешней позиции. Социалистическую систему он считал принципиально неэффективной для удовлетворения человеческих нужд, но зато чрезвычайно подходящей для укрепления власти. Одну из формулировок я запомнил — в капиталистическом мире продавец гоняется за покупателем, и это заставляет обоих лучше работать, а при социализме покупатель гоняется за продавцом (подразумевается, что о работе уже думать некогда). Конечно, это все же только афоризм, но мне кажется, что он какую-то долю глубинной истины отражает.

Другое — не менее важное — отношение социалистической системы к гражданским свободам, к правам личности — проблема реальной, а не провозглашенной свободы; и третье — нетерпимость к другим идеологиям, опасная претензия на абсолютную истину. Но все это вошло в круг моих сомнений гораздо позднее, и если мои родные и имели какие-то мысли на этот счет, то мне они были непонятны. В это время я находился на предыдущей ступени — я усваивал (и с большой симпатией) идеологию коммунизма. Помню, например, что, узнав (в возрасте 12-ти лет) о государстве инков, я радовался этому, как экспериментальному подтверждению жизненности социалистической идеи. Много лет спустя Шафаревич в тех же самых фактах увидит подтверждение прямо противоположному.

Я помню слова бабушки: «Русский мужик — собственник, и в этом большевики сильно просчитаются». И с другой стороны: «Большевики все же сумели навести порядок, укрепили Россию и сами укрепились у власти. Будем надеяться, что теперь их власть будет легче для людей» (очень приблизительная передача ее мыслей, но не формы — гораздо более живой).

Я тогда воспринимал (а в основном и сейчас воспринимаю) эти слова как проявление терпимости бабушки, ее широты. Но, пожалуй, есть и другая сторона, видная с позиций нашего времени, — терпимость проявлялась к новому «имперскому» порядку, который создавался (или казалось, что создавался) после многих лет хаоса и «экспериментов». Не случайно бабушка в разговоре, как и другие люди ее поколения, употребляла выражение «в мирное время» (т. е. до 1914 года) — все потом было немирное. Т. е. в этой терпимости был элемент ностальгии по стабильности. Сейчас тоже широко распространена ностальгия по стабильности и порядку, но уже не по дореволюционному, а именно по сталинскому п о р я д к у, по тому самому, современником которого была бабушка, о котором другая женщина написала:

Это было, когда улыбался
Только мертвый, спокойствию рад...

Существенно, однако, в смысле позиции, что бабушка надеялась на постепенное смягчение и хотела его.

Несколько слов о позиции моих родителей по «национальному» вопросу. Сейчас уже трудно представить себе ту атмосферу, которая была господствующей в 20—30-е годы — не только в пропаганде, в газетах и на собраниях, но и в частном общении. Слова «Россия», «русский» звучали почти неприлично, в них ощущался и слушающим и самим говорящим оттенок тоски «бывших» людей... Потом, когда стала реальной внешняя угроза стране (примерно начиная с 1936 года), и после — в подспорье к потускневшему лозунгу мирового коммунизма, все переменилось, и идеи русской национальной гордости стали, наоборот, усиленно использоваться официальной пропагандой — не только для защиты страны, но и для оправдания международной ее изоляции, борьбы с т. н. «космополитизмом» и т. п. Все эти официальные колебания почти не достигали внутренней жизни нашей семьи. Мои родители просто были людьми русской культуры. Они любили и ценили русскую литературу, любили русские и украинские песни. Я часто слышал их в детстве, так же как пластинки песен и романсов XIX века, и все это входило в мой душевный мир, но не заслоняло культуры общемировой.

Более подчеркнутая «русскость» была свойственна дяде Ване — она в нем была одновременно какой-то ностальгической и в то же время бесшабашно-лихой, очень эмоциональной.

Еще некоторые штрихи. Папа иногда, в связи с первой мировой войной и более далеким прошлым, с восхищением говорил о русских солдатах и офицерах, с переносом и на современную эпоху, но тут же говорил что-то аналогичное и о людях других национальностей. Вспоминал он и Суворова, но всегда в очень интересном контексте — якобы Суворов за всю свою жизнь не подписал ни одного смертного приговора — это была, как я думаю, некая форма оппозиции жестокому современному режиму (для меня образ Суворова поколебался, когда я узнал о разрешенных им зверствах в Варшаве и в других кампаниях, об участии в подавлении восстания Пугачева). Несколько раз папа говорил о том, какими талантливыми проявили себя русские эмигранты за границей (такие, например, как Зворыкин — изобретатель электронного телевидения). Русская культура моих родных никогда не была националистичной, я ни разу не слышал презрительного или осуждающего высказывания о других национальностях и, наоборот, часто слышал выразительные характеристики достоинств многих наций, иногда приправленные добрым юмором.

Сейчас уже не кажется невозможным, что русский национализм станет опять государственным. Одновременно — в том числе и в «диссидентской» форме — он изменяется в сторону нетерпимости. Все это только утверждает мою позицию, развивающуюся с юности.

В другую эпоху, чем мои родные, в других условиях, с другой философией и жизненным положением, с другой биографией я стал космополитичней, глобальней, общественно активней, чем мои близкие. Но я глубоко благодарен им за то, что они дали мне необходимую отправную точку для этого.

Книги. Ученье домашнее и в школе. Университет до войны

Первые книги читала нам с Ириной бабушка. Но очень скоро мы стали читать сами. Этому способствовало то, что в каждой семье в квартире была библиотека — в основном книги дореволюционных изданий, семейное наследство. (Конечно, бабушка, мои папа и мама, Ирины родные направляли нас.)

Читать я научился самоучкой 4-х лет — по вывескам, названиям пароходов, потом мама помогла в этом усовершенствоваться. Расскажу, что я читал, свободно объединяя книги своих разных лет (само перечисление этих книг доставляет мне удовольствие): Пушкин «Сказка о царе Салтане», «Дубровский», «Капитанская дочка»; Дюма «Три мушкетера» («Плечо Атоса, Перевязь Портоса, Платок Арамиса»...), «Без семьи» Мало, «Маленький оборвыш» Гринвуда (эту замечательную книгу как будто забыли на родине, в Англии, а у нас, кажется, благодаря К. И. Чуковскому, ее читали в мое время); Гюго «Отверженные». Но особенно я любил (отчасти под влиянием моего товарища Олега) Жюль Верна, с его занимательностью и юмором, массой географических сведений — «Дети капитана Гранта», «Таинственный остров», великолепная книга о человеческом труде, о всесилии науки и техники, «80 тысяч верст под водой» — да что говорить, почти всего! Диккенс — «Давид Копперфильд» («Я удивлялся, почему птицы не клюют красные щеки моей няни...»), «Домби и сын» (лучшая, пронзительная книга Диккенса!), «Оливер Твист» («Дайте мне, пожалуйста, еще одну порцию...»); ранний Гоголь (его очень любил папа и особенно дядя Ваня, который блистательно читал, изображая интонации и мимику героев «Игроков», «Женитьбы», украинских повестей); «Хижина дяди Тома» Бичер-Стоу; «Том Сойер», «Гекльберри Финн», «Принц и нищий» Марка Твена; «В тумане Лондона», «Серебряные коньки», «Ганс из долины игрушек»; «Дюймовочка», «Снежная королева», «Девочка с серными спичками», «Стойкий оловянный солдатик», «Огниво» Андерсена (— Дидя Адя, ты любишь Огниво? — вопрос моей внучки из далекого Ньютона, через 50 лет. — Да, люблю!); Майн Рида («Ползуны по скалам», «Оцеола — вождь семинолов»); желчный и страстный Гулливер (эпитафия: Здесь похоронен Свифт. Сердце его перестало разрываться от сострадания и возмущения); Джек Лондон («Мартин Иден», «Межзвездный скиталец», романы о собаках); Сетон-Томпсон; «Машина времени», «Люди как боги», «Война миров» Уэллса; немного позднее — почти весь Пушкин и Гоголь (стихи Пушкина я с легкостью запоминал наизусть) и (опять под влиянием Олега) — «Фауст» Гете, «Гамлет» и «Отелло» Шекспира и — с обсуждением почти каждой страницы с бабушкой — «Детство. Отрочество. Юность» (Зеленая палочка), «Война и мир» Толстого — целый мир людей, которых мы «знаем лучше, чем своих друзей и соседей». С этим списком я перешел в юность... (Конечно, я многое тут не упомянул.)

Осенью 1927 года ко мне стала ходить заниматься учительница (чтение, чистописание, арифметика), после уроков она ходила со мной гулять к храму Христа Спасителя, где я бегал по перилам, и на прогулке рассказывала что-то из истории и Библии; вероятно, это была не всегда точная, но зато весьма интересная история. Звали ее Зинаида Павловна, фамилии ее, к сожалению, не помню, она жила по соседству. Это была совсем молодая женщина, очень неустроенная в жизни, верующая. Занималась она со мной до следующей весны. В последующие годы она изредка приходила к маме, выглядела все более испуганной и несчастной. Мама обычно давала ей деньги или продукты. Ее дальнейшая судьба трагична. Она не хотела жить в СССР (у нее главными мотивами были религиозные), пыталась перейти границу — как и многие тысячи, бежавшие в те годы от раскулачивания, голода, угрозы ареста. Но граница, как тогда гордо писали, была «на замке», и большинство попадали в лагеря. Зинаиду Павловну осудили на 10 лет. Об этом мы узнали из коротенькой открытки — вероятно, она была выброшена во время какого-нибудь этапа. Обратного адреса не было. Больше мы ничего о ней не знаем, видимо, она погибла.

По желанию родителей первые пять лет я учился не в школе, а дома, в домашней учебной группе, сначала вместе с Ириной и еще одним мальчиком, звали его Олег Кудрявцев. После 4-х лет Олег и Ирина вышли из группы и поступили в школу, а я еще один год учился дома один. Три года учился дома мой брат Юра. А дочь дяди Вани Катя вообще никогда не училась в школе, а занималась в большой домашней группе (10—12 человек). Я иногда присутствовал на их уроках по рисованию и сам пытался рисовать вместе с ними (мне это уже много дало, но, к сожалению, я потом рисованием не занимался). Одним из учащихся Катиной группы был Сережа Михалков, впоследствии детский писатель и секретарь Союза писателей.

Вероятно, первоначальным инициатором домашнего обучения был дядя Ваня; мои родители и тетя Валя пошли по его пути. Это довольно сложное и дорогое, трудное начинание, по-видимому, было вызвано их недоверием к советской школе тех времен (частично справедливым) и желанием

дать детям более качественное образование. Конечно, для этого были свои основания. Действительно, более индивидуализированное обучение дает в принципе возможность двигаться гораздо быстрей, легче и глубже, и в большей степени прививает самостоятельность и умение работать, вообще больше способствует (при некоторых условиях) интеллектуальному развитию. Но в психологическом и социальном плане своим решением родители поставили нас перед трудностями, вероятно, не вполне это понимая. У меня, в частности, очень развилась свойственная мне неконтактность, от которой я страдал потом и в школе, и в университете, да и вообще почти всю жизнь. Не вполне оправдались надежды и на большой учебный эффект (за исключением полугодового периода в 6-м классе, это после). В общем, не мне тут судить.

Ирина, Олег и я брали уроки двух учителей — учительницы начальной школы Анны Павловны Беккер (одно время вместо нее была тетя Олега, Агриппина Григорьевна) и учительницы немецкого языка Фаины Петровны Калугиной. Занятия продолжались около 3-х часов и происходили поочередно у Олега и у нас. Немецким языком я занимался и потом, но, к сожалению, как следует так и не овладел им (тут, видимо, виноваты мои посредственные способности к языкам). Все же я знаю до сих пор на память несколько десятков строчек классических стихотворений и, что важней, сумел прочитать несколько прекрасных и необходимых для меня научных книг. Как я думаю, главным преимуществом домашнего ученья для меня оказалась экономия сил и возможность повседневного общения с Олегом, очень незаурядной личностью.

Отец Олега был профессором математики в Московском университете, преподавал на нематематических факультетах, автор учебника для них. Кудрявцевы, как и мы, занимали две комнаты в коммунальной квартире, но кабинет был большим, все стены обставлены шкафами с книгами (наверху на шкафах висели портреты знаменитых ученых — Декарта, Ньютона, Гаусса, Эйлера, Ампера и других). Среди прочих книг был энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, я любил часами его листать. Вообще библиотека была замечательная! Отец Олега, Всеволод Александрович, был добрый, рассеянный, всегда очень занятый человек. Мама, Ольга Яковлевна, — худая, нервная. Она часто страдала мигренями, но все же сумела вести дом в довольно трудные времена. Одним из памятных событий каждого года в этом доме (как и в нашем) была елка — к ней готовились заранее, делали очень хитрые игрушки-украшения, костюмы. На елку собиралось много детей и их родителей.

В доме Кудрявцевых я часто встречался с племянниками Ольги Яковлевны — Глебом и Кирюшей. Глеб — рослый и сильный, с красивым, немного грубоватым открытым лицом, с уверенной манерой держаться и громким голосом. Кирюша — тихий и застенчивый. Он был сирота. Когда мы на Пасху раскрашивали яйца (Ольга Яковлевна и Всеволод Александрович были верующие), Кирюша украсил каждое яйцо изображением могил с крестами. Пасха ассоциировалась для него с посещениями могилы мамы. Ольге Яковлевне была свойственна некоторая профессорская элитарность. Я помню ее негодование уже после войны, что Глеб на фронте женился на медсестре, которая ухаживала за ним в госпитале. Судьба Кирюши сложилась трагически. Он был танкистом, горел в танке и после госпиталя отказался вновь пойти в танковую часть, отправлен в штрафбат и погиб. Как будто это про него: «ведь грустным солдатам нет смысла в живых оставаться...»

Олег с детства решил, что будет историком. Он читал необыкновенно много и все прочитанное — включая хронологию, — безупречно запоминал. Увлекался древними, особенно античными мифами, античной историей, произведениями Жюль Верна (и я — под его влиянием) и называл себя, полуиграя, «ученый секретарь ученого общества» (Жак Паганель из «Детей капитана Гранта»).

Олег легко запоминал и любил стихи, именно он привил мне вкус к ним. Он наизусть декламировал огромные куски из «Илиады» и «Одиссеи» (тогда еще в русском переводе, потом он стал читать их в подлиннике), начало «Фауста» — Пролог, разговор с духом Земли, появление Мефистофеля в виде пса на крестьянском празднике; Пушкина из «Полтавы» и «Бориса Годунова» — очевидно, в силу исторической ориентации. Он был добродушен и рассеян, как его отец. Когда другие ребята дразнили его (очень глупо) «Князь Капуша, кончил кушать», он неизменно говорил: «Я свирепею», — и этим все кончалось. Из-за болезни (ревматизм) он потерял несколько лет и по этой причине не попал в армию, окончил истфак уже во время войны. После войны я лишь несколько раз был у него и у его мамы на Моховой. Один раз он навестил нас с Клавой (моей женой) на какой-то снимавшейся нами квартире. В его манерах, в его вежливости было что-то старомодное и даже смешное, но очень располагающее. Он стал специалистом по истории античности, написал огромную диссертацию — в 600 страниц на машинке — о внешней политике Рима во втором веке нашей эры (он подарил мне оттиски некоторых своих статей, легших в основу диссертации, в 1953—1954 гг.).

В 1956 году в возрасте 35-ти лет Олег умер во время операции — у него оказался рак пищевода. Его маму я через несколько лет после этого видел как-то в театре, но не спросил адреса, а по старому она уже не живет. Недавно я встретил одного нашего общего знакомого, но он ничего мне не мог рассказать. Незадолго до смерти Олег женился на выпускнице истфака — они работали вместе в какой-то редакции. Ее звали Наташа.

Олег, с его интересами, знаниями и всей своей личностью сильно повлиял на меня, внес большую «гуманитарность» в мое миропонимание, открыв целые отрасли знания и искусства, которые были мне неизвестны. И вообще он один из немногих, с кем я был близок. Мне очень горько, что я мало общался с ним в последующие годы — во многом это моя вина, непростительное проявление замкнутости на себя, на свои дела!

В 1932 году наша группа распалась. Я зимой 1932—1933 гг. ходил заниматься к двум пожилым сестрам-преподавательницам, которые жили в том же доме, что мой крестный Александр Борисович Гольденвейзер, в Скатертном переулке, и я часто к нему заходил. На лестнице меня терроризировал мальчишка по имени Ростик, сын какого-то командарма или комбрига, который чувствовал себя высшей породой по сравнению с такими, как я; я с ужасом думаю о последующей судьбе его отца и всей семьи, которую ей нес 37-й год.

Затем я поступил в 5-й класс 110-й школы (на углу Мерзляковского и Скатертного переулка), но так как я уже пять лет учился дома, не считая подготовительного класса, то это было явной потерей года. 110-я школа была не совсем обычной. В ней училось много детей начальства, в том числе дочь Карла Радека. Она называлась «школа с химическим уклоном», имела хороший химический кабинет. Директора звали Иван Кузьмич Новиков, он пользовался определенной самостоятельностью. В один из первых дней я сразу попал на его беседу на тему о любви и дружбе, по тем временам нетривиальную. Новиков вел у нас раз в неделю специальный урок «Газета», ученики по очереди делали обзоры. Я помню, я рассказывал об автопробеге Москва — Кара-Кум — Москва, о полете стратостата. Это тогда были очередные сенсации, те порции дурмана для народа, которые одурманивали и отвлекали его. Я, конечно, не знал тогда, что трасса автопробега охранялась на всем пути войсками. Затем последовали новые спектакли — челюскинцы, полеты на Северный полюс и т. п. И опять мы многого не знали; например, лишь через сорок лет из замечательной книги Конквеста «Большой террор» я узнал, что СССР отказался от американской помощи в спасении челюскинцев, т. к. рядом стоял транспорт, в трюмах которого погибали тысячи заключенных, и их никак нельзя было показать.

А во второй половине 30-х годов главным переживанием была Испания. Это было настоящее и трагическое событие, но у нас его подавали тоже как отвлекающий спектакль. Странно — прошло почти 45 лет, а волнения и горечь испанской войны все еще живут в нас, подростках тех лет. Тут была какая-то завораживающая сила, что-то настоящее — романтика, героизм, борьба (и, может быть, трагическое предчувствие того, что несет фашизм). Тогда мы очень возмущались позицией «невмешательства» западных стран. Теперь мы знаем, что и роль СССР, его тайных служб была неоднозначной в событиях того времени. Лишь в 55 лет я прочитал «По ком звонит колокол», а потом — «Памяти Каталонии» Орвелла, а совсем недавно — книгу К. Хенкина «Охотник вверх ногами».

Учиться мне было легко, но ни сойтись с кем-либо, ни, наоборот, войти в конфликт я не смог. Некоторые трудности и переживания у меня были на уроках труда. Почти только их я и помню. В 5-м классе это было столярное дело. Мне всегда было трудно что-либо сделать руками. Я тратил в несколько раз больше времени, чем более способные ребята. Во время одного из первых уроков труда два мальчика постарше решили испытать меня, не ябеда ли я, и, засунув мою руку под верстак, зажали там. Я вытерпел это испытание, скрывая слезы на глазах. На следующем уроке один из них предложил мне свою помощь в столярном деле, оказавшуюся мне очень полезной (я мучился над изготовлением табуретки).

С нового года мои родители, которые не могли примириться с тем, что я теряю год, взяли меня из школы и устроили ускоренное прохождение программы за пятый и шестой классы, чтобы я мог сдать экзамены. Это были напряженные и важные для меня в умственном отношении месяцы. Папа занимался со мной физикой и математикой, мы делали простейшие опыты, и он заставлял аккуратно их записывать и зарисовывать в тетрадку. Трудно поверить, но у меня были очень чистые тетрадки и хороший почерк, похожий на папин (у папы он таким остался до конца дней). Я, как мне кажется, понимал все с полуслова. Меня очень волновала возможность свести все разнообразие явлений природы к сравнительно простым законам взаимодействия атомов, описываемым математическими формулами.

Я еще не вполне понимал, что такое дифференциальные уравнения, но что-то уже угадывал и испытывал восторг перед их всесилием. Возможно, из этого волнения и родилось стремление стать физиком. Конечно, мне безмерно повезло иметь такого учителя, как мой отец. Домой приходили учительницы по химии, истории, географии и биологии. Учительница географии Аглаида Александровна Дометти стала близким другом нашей семьи. Для занятий русским языком и литературой мама возила меня к профессору Александру Александровичу Малиновскому, который занимался со мной в своем кабинете, все стены которого были уставлены книгами, вызывавшими у меня зависть и уважение. Кроме физики и математики, из всех учебных предметов мне всегда легче всего давались и больше всего нравились биология и химия. Мне очень нравились эффектные химические опыты — причем не только внешне, а я что-то уже понимал. Было решено, что я должен поступить в ту же школу, где преподавала Аглаида Александровна. Эта школа считалась хорошей (тогда 3-я образцовая, на следующий год — школа 113).

Весной 1934 года я вместе со своими будущими одноклассниками держал экзамены за 6-й класс. После полугода домашних занятий это показалось мне легким делом (потом учителя рассказывали моим родителям, что их поразили не столько мои знания, сколько манера держаться — по-домашнему свободно и непринужденно). Я был зачислен в 7-й класс.

Папа хотел выигранный год использовать, чтобы я до вуза поработал лаборантом, но в 1938 году изменился призывной возраст, а поступление в вуз стало очень трудным, и этот план отпал. В 7-м классе я учился ровно. Я пытался заниматься в литературно-творческом кружке, но из этого ничего не получилось. После первого неудачного опыта я решил, что писатель и журналист из меня не выйдет, и сбежал из кружка.

Первого декабря 1934 года был убит Киров. В школьном зале собрали учеников, и директор (старая большевичка), с трудом справляясь со слезами, объявила нам об этом. Папа увидел у соседа в трамвае в газете траурный портрет, ему показалось, что это Ворошилов, и он приехал очень испуганным (боялся повторения красного террора 1918 года). Но он успокоился, узнав, что это Киров. Эта фамилия ему ничего не говорила, — это показывает, как далека была наша семья от партийных кругов и партийных дел (Киров был вторым человеком в партии). На другой день, однако, в газетах появились указ о порядке рассмотрения дел о терроре и большая фотография Сталина у гроба Кирова. На страну, только что перенесшую раскулачивание и голод, надвигался период тридцать седьмого года.

Эпоха тридцать седьмого года (1935—1938, 1937-й — максимум) — это только часть общего многомиллионного потока ГУЛага, но для жителей больших городов, для интеллигенции, административного, партийного и военного аппарата, кадровых рабочих это был период наибольших жертв. Очень существенно — среди жертв эпохи 37-го, к какому бы слою населения они ни принадлежали, меньше всего заключенных вернулись из лагерей и тюрем живыми. Именно тогда всего сильней работала организованная система массового уничтожения, смертных Колымских и других лагерей, именно тогда действовала формула «десять лет без права переписки». Беломорканал унес множество жертв, но все же тогда это еще не было всеобщей системой. Послевоенные лагеря были очень страшными, но цель их была уже другая — в значительной мере экономическая (рабовладельческая), и смертность в них (за некоторыми исключениями) — далеко не такая, как в лагерях 36—44-го годов. То же относится и к современным лагерям, при всей их бесчеловечности. Если говорить о духовной атмосфере страны, о всеобщем страхе, который охватил практически все население больших городов и тем самым наложил отпечаток на все остальное население и продолжает существовать подспудно и до сих пор, спустя почти два поколения, — то он порожден в основном именно этой эпохой. Наряду с массовостью и жестокостью репрессий ужас вселяла их иррациональность, вот эта повседневность, когда невозможно понять, кого сажают и за что сажают.

Как росли дети в эти годы? Трагизм чувствовался в воздухе, и юношеская сила духовного сопротивления, используя тот материал, который шел из газет, от книг, от школы, дольше, чем у взрослых, сохраняла те порывы, которые двигали когда-то старшими. Я пишу тут о более общественно активных — не о себе — я-то был очень углубленным в себя, в какой-то мере эгоцентричным, болезненно неконтактным, как я уже писал, мальчиком. Мне почти нечего поэтому рассказать о человеческом общении в школьные годы. В восьмом классе я сидел на одной парте с очень начитанным, влюбленным в литературу, в Маяковского, в искусство мальчиком (сейчас он стал известным кинорежиссером). За полтора года я так и не сумел поговорить с ним по душам. Единственный десятиминутный разговор на улице воспринимался мною как событие; ни я у него, ни он у меня никогда не были дома. Справа от нашей парты был расположен ряд девочек с уже совсем непонятной для меня жизнью. Я робко поглядывал в их сторону, но ни разу ни с одной даже не поговорил. В конце восьмого класса Миша Швейцер (так звали моего соседа) пересел к той девочке, которая меня интересовала больше других. Я ни разу не дал ей этого понять и вообще не сказал ни слова. Не получилось у меня дружбы и с другими моими соседями по парте. Один из них — Юра Орлов (однофамилец *) писал, как мне тогда казалось, неплохие стихи. Он был единственным сыном одинокой женщины, которая, по-моему, любила сына почти с болезненной силой. Юра, очень смуглый и стройный, похожий на грека, отличался большой самостоятельностью. Его не очень любили учителя. Иногда он говорил вещи, бывшие большой неожиданностью для меня. Например:

— Напрасно говорят, что Ленин был добреньким. У него любимое выражение было: р-растр-релять.

(Юра изображал ленинскую картавость.) Может, уместно тут сказать о моем отношении к Ленину и его делу в более широком плане (и более с теперешних, чем с тогдашних позиций). Оно сложное и неоднозначное (в отличие от отношения к Сталину). Конечно, мне приходилось много читать о Ленине и его эпохе, в том числе лживого и сусального — реплика Юры запомнилась как одна из первых услышанных мною и развенчивающих эту сусальность. Но я не могу не ощущать значительность и трагизм личности Ленина и его судьбы, в которой отразилась судьба страны, понимаю его огромное влияние на ход событий в мире. Я согласен с высказыванием Бердяева, что исходный импульс Ульянова — и большинства других деятелей революции — был человеческий, нравственный. Логика борьбы, трагические повороты истории сделали их действия и их самих такими, какими они стали. Но не только. Было при этом что-то глубоко ложное и в исходных политических, философских даже, предпосылках. Поэтому слишком часто прагматизм вытеснял объективность, фанатизм — человечность, партийность и партийная борьба подавляли моральные нормы.

* Однофамилец физика и диссидента Юрия Орлова.

Последствия мы знаем теперь лучше, чем человек, умиравший в физических и моральных муках в Горках.

В 1941 году Юра находился в частях, вступивших в Иран (он был старше меня и после школы попал в армию), и погиб в какой-то засаде.

В конце восьмого класса один из моих одноклассников, Толя Башун, предложил мне ходить с ним в математический кружок при университете (а до этого я ходил в школьный кружок). Там я увидел своих сверстников, свободно рассуждающих о высоких материях — комбинаторике, теории чисел, неэвклидовой геометрии и т. п. Все это было новым и вдохновляющим. Среди активных участников кружка больше всего выделялись эрудицией и каким-то неподдельным блеском братья-близнецы Акива и Исаак Ягломы. Впоследствии один из них (Акива) поступил на физфак МГУ, одновременно со мной, а второй — на мехмат (при этом общую физику мы слушали вместе). Наши жизненные пути много раз пересекались и потом. Несколько раз я пытался участвовать в олимпиадах, но всегда неудачно — мне не удавалось сосредоточиться в условиях ограниченного времени. Дома потом я решал некоторые из олимпиадных задач, но тоже не все — длинные вычисления меня отпугивали.

Еще в 7-м классе (и в последующих) я начал дома делать физические опыты — сначала по папиной книге «Опыты с электрической лампочкой», о которой я писал; потом по папиной устной подсказке и самостоятельно. Неумение мастерить я восполнил причудливым изобретательством. Например, у меня был очень удобный, с моей точки зрения, потенциометр из куска хозяйственного мыла. Он включался последовательно с электрической лампочкой и служил для тонкой регулировки напряжения, подаваемого на неоновую лампочку, которая зажигалась вспыхнувшей спичкой (придуманный папой опыт по фотоэффекту). Для этого и других опытов необходим постоянный (выпрямленный) ток. Выпрямители я делал в стаканах, электролит — раствор пищевой соды, электроды — алюминиевая пластинка или ложка и кусок свинцовой оболочки кабеля; соединение, конечно, по двухтактной схеме. Из оцинкованных электродов лампочки ультрафиолетовые лучи, возникающие в начальный момент горения спички, выбивают электроны, и в результате ударной ионизации возникает стойкий разряд.

Однажды я приложил контакты батарейки к клеммам моторчика и затем отнял их, держась пальцами за клеммы, — меня сильно ударило током. Это был неожиданный и запомнившийся опыт по индуктивности. Конечно, было много опытов по электростатике; я занимался фотографией; по папиному образцу строил детекторный радиоприемник. Из физико-химических опытов меня больше всего занимали кольца Лизеганга (сказать по правде — до сих пор). Из оптических — опыты с поляроидами, с флюоресцирующими растворами, кольца Ньютона. Мастерил я также самодельный маятник Максвелла. Наблюдал с биноклем двойные звезды, спутники Юпитера. Я часто бегал на обсерваторию планетария и познакомился с работавшим там два дня в неделю мальчиком, чуть постарше меня (его звали Боря Самойлов).

Кроме опытов, и, пожалуй, еще большее значение имели для меня научно-популярные, научно-развлекательные, научно-фантастические, а потом — в 9 — 10 классах — и некоторые вполне научные книги. Это было мое любимое чтение! Я по многу раз перечитал почти все книги известного популяризатора науки и пропагандиста космических полетов Я. Перельмана («Занимательная физика», «Занимательная геометрия», «Занимательная алгебра» — и другие). Это были прекрасные книги, очень многому научившие и доставившие радость нескольким поколениям читателей. (Я не знаю, как эти книги воспринимаются современными мальчиками и девочками, живущими в другую эпоху, в потоке новой информации; я надеюсь, что и сейчас они интересны.)

Перельман был большой энтузиаст научной популяризации. Кроме писания книг, которые представляют собой его главную заслугу, он также организовал в Ленинграде «Дом занимательной науки» (в этом же здании жила Ахматова, это «Фонтанный дом»). В Ленинграде Перельман и погиб во время блокады.

Затем я прочитал книги Шарля Лезана, Игнатьева и другие; немного позднее — замечательные книги Радемахера и Теплица «Числа и фигуры» и Джинса «Вселенная вокруг нас», оказавшие на меня большое влияние; Макса Валье «Космические полеты как техническая возможность»; в десятом классе — «Анализ» Р. Куранта с весьма оригинальным порядком изложения, интегральное исчисление раньше дифференциального, — и многое другое, всего не упомнишь.

Я читал также книги по биологическим наукам. Самое сильное впечатление на меня произвели «Охотники за микробами» Поля де Крайфа (в первом издании автор был назван Поль де Крюи, может, так правильней). Это очень живо написанная книга о микробиологах, начиная с Левенгука, об огромных достижениях науки в борьбе с инфекционными заболеваниями и о героическом труде исследователей, который привел к этим успехам. Какое-то время я думал, не избрать ли мне эту специальность. В это же время я впервые узнал о генной теории наследственности и с недоумением и возмущением читал в «Правде» антименделевскую статью Митина, будущего академика-философа. Это была моя первая встреча с «лысенковской» лженаукой.

Одно лето я успешно собирал окаменелости, прочитав какую-то книгу по палеонтологии. Еще одной из числа биологических книг была «Занимательная ботаника» Цингера. Цингер — автор известного учебника по физике; ботаникой он занимался как любитель, был папиным знакомым. В середине 20-х годов он уехал с семьей за границу для лечения туберкулеза — тогда это было возможно. Через несколько лет он там умер. Цингер оставил папу своим представителем в издательских делах, я не знаю, на каких условиях, но помню, что папа очень этим тяготился. Сын Цингера — Олег — был художник. Впоследствии он получил известность как мастер рекламы. Я (еще мальчиком) чем-то ему понравился, и он несколько раз присылал мне свои альбомы с рисунками животных; возможно, это была форма как-то проявить благодарность к папе. Мне эти альбомы очень нравились, некоторые из них сохранились до сих пор.

У меня было достаточно времени для опытов и чтения, т. к. школьная программа давалась мне сравнительно легко, особенно точные науки, доставляющие главные трудности большинству учащихся. Немецкий язык, тем более что я в 9-м классе опять занимался дома, тоже не был проблемой. У меня возникли трудности с черчением, я просиживал целые воскресенья над чертежами и портил их в конце дня. Но потом я преодолел этот барьер (большую роль сыграли несколько «технологических» советов, полученных от Кати, которая некоторое время училась в архитектурном институте). Я стал сдавать чертежи только на «5». В 7-м классе я получил «неуд» по пению, но в общий аттестат его не записали.

По гуманитарным предметам я учился без блеска, однако вытягивала общая интеллигентность. Тетя Женя несколько месяцев занималась со мной диктантами, и таким образом моя грамотность была доведена до должного уровня.

Десятый класс я окончил «отличником» — официальный термин того времени (основные предметы — пятерки, остальные четверки). В нашем — единственном выпускном — классе были два отличника: я и Костя Савищев (или Савущев, я не помню точно). Он после школы пошел в военное учебное заведение, а потом в военную разведку. После школы я видел его один только раз, уже через 25 лет после окончания войны. Мне показалось, что он пришел ко мне поговорить и поделиться своими переживаниями (это было в 70-м году), что он все еще не пережил в себе тех ужасов, которые принесла в его жизнь война; все еще только возвращается к настоящей мирной жизни. Он не оставил адреса и больше не появлялся.

Как отличник я имел право поступить в вуз без экзаменов.

Осенью 1938 года я поступил на физический факультет МГУ, тогда, вероятно, лучший в стране. Уже потом от своих однокурсников я наслушался об ужасах приемных экзаменов, об огромном конкурсе; я думаю, что верней всего, я бы не прошел этого жестокого и часто несправедливого отбора, требовавшего к тому же таких психологических качеств, которыми я не обладал. Среди поступивших по конкурсу в нашей группе было два молодых человека, поработавших около 2-х лет до вуза на автозаводе им. Сталина (теперь им. Лихачева). Конечно, рабочий стаж давал им некоторые преимущества, но оба они были и сами по себе очень способными и работящими, организованными. Их звали Коля Львов и Женя Забабахин.

Университетские годы для меня резко разбиваются на два периода — три довоенных года и один военный, в эвакуации. На 1—3 курсах я жадно впитывал в себя физику и математику, много читал дополнительно к лекциям, практически больше ни на что времени у меня не оставалось, и даже художественную литературу я почти не читал. Я с большой благодарностью вспоминаю своих первых профессоров Арнольда, Рабиновича, Нордена, Млодзеевского (младшего), Лаврентьева (старшего), Моисеева, Власова и других. Большой четкостью и ясностью отличались лекции Тихонова — пожалуй только, они были слишком элементарны для физиков. Очень много давали нам семинарские занятия Клетенника, Эльсгольца, Шаскольской и других. Особенно часто я вспоминаю доцента Бавли, пунктуального и слегка чудаковатого. На втором месяце войны Бавли вышел за продуктами из университета. Когда он стоял в очереди у киоска, неожиданно, без объявления воздушной тревоги, была сброшена немецкая бомба, разрушила дом, расположенный рядом, и убила многих, находившихся в очереди. Погиб и Бавли.

Профессора давали нам очень много дополнительной литературы, и я каждый день по многу часов просиживал в читальном зале. Обычно после лекций я или забегал домой пообедать (жил рядом), или обедал в университетской столовой, а потом сидел в читальне до 8—10 часов. Вскоре я стал пропускать ради читалки более скучные лекции (тогда не было обязательного посещения лекций). Около читального зала возникал студенческий «клуб», одни выходили покурить, другие просто поразмяться; но я разговаривал, как я помню, исключительно о научных предметах.

Несколько штрихов для характеристики времени. У студентов была забава — подкрасться вдвоем сзади к зазевавшемуся и перевернуть его в воздухе. Я тоже иногда был жертвой шутки. Однажды вышла осечка — один из переворачиваемых студентов разбил ногой бюст Молотова, из этого возникло нечто вроде политического дела с перекрестными допросами. Только наличие у «виновника» каких-то влиятельных заступников спасло его от крупных неприятностей.

У преподавателя, ведшего семинар по марксизму-ленинизму, было несколько любимых вопросов. Один из них:

— Советско-германский договор, советско-германское сближение носят конъюнктурный или принципиальный характер?

Надо было отвечать:

— Принципиальный; отражает глубинную близость позиций.

Об этом же писали все газеты и журналы. Позднее мы узнали о тайных статьях советско-германского договора и об обмене узниками между гестапо и НКВД; но до сих пор, мне кажется, суть этих событий недостаточно понимается Западом.

Я пошел на физфак почти не размышляя, под влиянием папы и давно сложившегося желания. Мои более ранние мечты — стать микробиологом, как герои Поля де Крюи, были все же менее глубокими. Если бы я думал дольше, все равно пришел бы к тому же. На первых курсах больше всего мне нравилось преподавание математики. В общем же курсе физики меня, как и многих моих товарищей, очень мучили некоторые неясности. Они, как я думаю, происходили от недостаточной теоретической глубины изложения более сложных вопросов (вероятно, недоступной на первых курсах). Лучше всего было бы просто опустить их на первых порах, а не пытаться создать вредную видимость якобы наглядного, а на самом деле — ложного и поверхностного понимания. Но зато историзм изложения был очень полезен. Имея эту базу, можно с максимальной пользой и безопасностью обратиться к рафинированным, логически замкнутым и освобожденным от историзма курсам. Великолепным курсом такого рода является многотомная энциклопедия теоретической физики Ландау и Лифшица. И все же и на этом этапе нужны и другие, не освобожденные от «лесов» курсы. Мне повезло — я вовремя прочитал (уже после войны) замечательные книги Паули. Из университетских предметов только с марксизмом-ленинизмом у меня были неприятности — двойки, которые я потом исправлял. Их причина была не идеологической, мне не приходило тогда в голову сомневаться в марксизме как идеологии в борьбе за освобождение человечества; материализм тоже мне казался исчерпывающей философией. Но меня расстраивали натурфилософские умствования, перенесенные без всякой переработки в XX век строгой науки: Энгельс, с его антигенетической ламаркистской ролью труда в очеловечивании обезьяны, старомодное наивное использование формул в «Капитале», сама толщина этого типичного произведения немецкого профессора прошлого века. Я до сих пор не люблю кирпичеобразных книг, и мне кажется, что они возникают от недостатка ясности. Я и тогда вспоминал есенинское:

...ни при какой погоде
Я этих книг, конечно, не читал.

(Но я читал!) Газетно-полемическая философия «Материализма и эмпириокритицизма» казалась мне скользящей по касательной к сути проблемы. Но главной причиной моих трудностей было мое неумение читать и запоминать слова, а не идеи.

На втором курсе я сделал попытку заняться самостоятельной научной работой, но она оказалась неудачной. Тема, полученная мною у профессора Михаила Александровича Леонтовича (папа был с ним связан совместной работой по составлению учебника под общей редакцией Ландсберга и направил меня к нему), оказалась трудной, слишком неопределенной для меня, и не «пошла». Тема была — слабая нелинейность водяных волн. Теперь я понимаю, что некоторые интересные возможности в этой теме были заложены (с тех пор слабой нелинейностью для различных турбулентных и плазменных задач, и для водяных волн тоже, занимались очень многие; особый интерес представляет нелинейная теория «мелкой воды», являющаяся одним из примеров задач с бесконечным числом точных интегралов движения). Через несколько лет я, набив руку, вероятно, смог бы сделать хоть что-нибудь. Но тогда, прочитав рекомендованную мне Леонтовичем книгу Сретенского, я даже не понял толком, что он от меня хочет. В общем, я еще не был готов для научной работы. И все же я должен сказать, что сидение в библиотеке над серьезной (не учебной) научной книгой, при этом с установкой на научную работу, было очень важным для меня. К счастью, я не получил при этом никаких комплексов, никакой разочарованности в своих силах.

Научные работы я смог делать (сначала для себя — в стол) лишь в 1943 году.

В первые три университетских года у меня не возникло глубоких дружеских связей. Хотя я иногда бывал у своего однокурсника Пети Кунина, но больше подружился с ним в Ашхабаде. Потом мы вместе учились в аспирантуре.

В последний московский год (зима 1940/1941 гг.) я усердно посещал дополнительные математические курсы — по теории вероятностей, вариационному исчислению, теории групп, основам топологии.

Сейчас просто удивительно вспомнить, что все это тогда не входило в обязательный курс физфака. К сожалению, факультативные курсы были очень краткие; еще хуже, что мне и потом не удалось довести мое образование до должной глубины в этом и многом другом.

Поздней осенью 1940 года у бабушки случился инсульт, она потеряла речь. Папа переселился в ее комнату. Он там спал и проводил большую часть суток, чтобы быть готовым помочь ей в любой момент. В эти месяцы мама просила меня не заходить в комнату бабушки. Мне трудно объяснить (и тогда и сейчас) это ее решение и мою пассивность. Желание уберечь меня от тяжелых впечатлений не должно бы быть решающим при той близости, которая у меня была с бабушкой, к тому же я был вполне взрослым (хотя мама, вероятно, этого не понимала). Я два (кажется) раза нарушил это предписание. Помню, как бабушка движением глаз попросила поднести к ее губам стакан с настоем шиповника и отпила один или два глотка. Больше она уже ничего не ела и не пила. Никакого раздражения или упрека. Я знаю, что последние недели были очень тяжелыми.

26 марта 1941 года я задержался в университете на концерте Ираклия Андроникова — очень интересном и смешном. Я впервые тогда услышал его «Устные рассказы». Когда я пришел, у бабушки уже началась агония. Она умерла рано утром 27 марта. На похороны из ссылки приехал дядя Ваня (самовольно, но это обошлось). Это было последний раз, когда я его видел. У меня в памяти — его измученное горем тех дней лицо. Ба-

бушку похоронили по церковному обряду. Много раз потом папа говорил мне — это счастье, что бабушка не дожила до войны, это было бы для нее слишком ужасно.

Со смертью бабушки сахаровский дом в Гранатном переулке как бы перестал существовать духовно.

Университет в первый военный год. Москва и Ашхабад

22 июня 1941 года я вместе с другими студентами нашей группы пришел на консультацию перед последним экзаменом 3-го курса. Неожиданно нас всех позвали в аудиторию. В 12 часов дня было передано сообщение о нападении Германии на Советский Союз. Выступал Молотов. Он окончил словами, которые 3 июля повторил Сталин: «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами!» (В 1950 г. то же самое при других обстоятельствах повторил Ким Ир Сен.)

Начало войны, всегда ломающее всю жизнь,— всегда потрясение, всегда общенародная трагедия. Для нас же тогда прибавлялось еще одно, очень странное чувство. Долгие годы все в нашей стране психологически ориентировались на возможную, верней, неизбежную войну с фашизмом. События в Испании воспринимались как прелюдия. Под этим знаком шла наша юность. Потом, однако, были годы альянса с Гитлером, мира и дружбы с фашизмом, ставившие в тупик. Новый резкий поворот как бы возвращал все на прежнее, привычное место, но ощущалось это еще тревожней, еще трагичней.

Что я, мои близкие, другие люди, с которыми я сталкивался в жизни, думали (тогда, в 1941 году и после) о войне, о нашей стране? В двух словах не ответишь, я буду возвращаться к этому еще не раз.

Сейчас широко известно — только слепоглухие этого не замечают или делают вид, что не замечают,— что сформировавшийся в стране режим, и в первую очередь сам Сталин и его ближайшие приближенные, ответственны за чудовищные преступления, не имеющие равных в истории, за гибель миллионов людей, за пытки, за смертельный организованный голод в разоренной, обворованной деревне, за нелепую дезорганизацию обороны страны и уничтожение командного состава перед войной, за опаснейшее заигрывание с Гитлером ради передела мира (а не только ради отсрочки, о чем твердит советская пропаганда; отсрочка к тому же была очень плохо использована). Договор Сталина с Гитлером оказался спусковым механизмом войны, ее непосредственной причиной, вместе, конечно, с Мюнхенскими соглашениями, но и они отчасти были порождены недоверием Запада к преступному сталинскому режиму. Да и сам приход Гитлера к власти имел одной из своих причин сталинскую политику разрушения социал-демократии, а более глубоко — общую дестабилизацию в мире, вызванную политикой нашей страны. О секретных статьях Советско-Германского договора стало известно лишь много позднее. Но уже тогда мы были свидетелями раздела Польши между гитлеровской Германией и СССР, нападения на Финляндию, захвата Прибалтики и Бессарабии — все это явно стало возможным благодаря установившимся в 1939—1941 гг. «особым» отношениям с Гитлером. Мы читали в газетах выступления Молотова, которые и тогда и сейчас не могли восприниматься иначе, чем образцы цинизма. Теперь ясно, что Сталин в 1939 году «поставил» на Гитлера, связал себя с ним и думал, что Гитлеру тоже с ним по пути, цеплялся за эту иллюзию до последней возможности — и просчитался (во всяком случае, это была основная линия политики; другие же «линии» были слишком плохо развиты).

Расплачиваться за это пришлось народу миллионами жизней.

Полностью все вышесказанное, наверное, тогда понимали очень немногие. Я понимал совсем мало. Сейчас я на многое смотрю иначе — и в этом,

и в другом вопросах. И все же я и сейчас убежден, что поражение в войне с германским фашизмом было бы величайшей трагедией народа, большей, чем все, что досталось на его долю от собственных палачей. Выстоять, победить было необходимо. А тогда это было настолько само собой разумеющимся, что об этом и не надо было задумываться. Всю войну я не сомневался, что наша страна, вместе с союзниками, победит — это тоже понималось само собой, интуитивно. И так — я в этом убежден — чувствовало и думало подавляющее большинство людей в нашей стране. Так что слова «наше дело правое» не были пустыми словами, кто бы их ни говорил. Странно, когда кто-то сейчас пытается доказать обратное.

Тогда, в июне 1941 года, все казалось трагически простым. Во время одной из бомбежек я встретился в подъезде с тетей Валей (я писал выше, что ее муж был расстрелян). Она сказала:

— Впервые за много лет я чувствую себя русской.

Я хочу, однако, быть правильно понятым и в другом. Я не пишу здесь о РОА, о национальных антиимперских выступлениях, даже о целых частях, перешедших на сторону немцев или частично сотрудничавших с ними. Ни у одной из воевавших во вторую мировую войну стран не было такого числа перешедших к противнику солдат, как у нас. Это самый суровый приговор преступлениям режима, не народу. А людей этих не будем осуждать, их выбор был очень трудным и неоднозначным, часто и выбора то не было, или альтернативой была смерть. Иногда у них была надежда как-то суметь найти со временем достойную в том или ином смысле линию действий — и многие находили ее в боях за Прагу или в других местах; надежды большинства не оправдались; все они мучениями и смертью сполна заплатили за свой выбор, за свою ошибку, если такая была.

Война стала величайшей бедой для народа, ее раны не зарубцевались до сих пор, хотя прошло почти сорок лет с момента ее окончания и уже сменилось целое поколение. Выросшие дети тех времен помнят похоронки, помнят слезы своих матерей. Наверное, нет ни одной мысли, которая так бы владела всеми людьми, как стремление к миру — «только бы не было войны». И в то же самое время воспоминание о войне для многих ее участников — самое глубокое, самое настоящее в жизни, что-то, дающее ощущение собственной нужности, человеческого достоинства, так подавляемого у рядового человека в повседневности — в тоталитарно-бюрократическом обществе больше, чем в каком-либо другом. В войну мы опять стали народом, о чем почти уже забыли до этого и вновь забываем сейчас. («Народа нет ни за какие деньги»,— написал один из современных советских писателей.)

Тогда людьми владела уверенность (или хотя бы у них была надежда), что после войны все будет хорошо, по-людски, не может быть иначе. Но победа только укрепила жестокий режим; и солдаты, вернувшиеся из плена, первыми почувствовали это на себе, но и все остальные тоже — иллюзия рассыпалась, а народ стал распадаться на атомы, таять.

Сильные, истинные чувства людей — ненависть к войне и гордость за то, что совершено на войне, — ныне часто эксплуатируются официальной пропагандой просто потому, что больше нечего эксплуатировать. Повторяю, тут много настоящего — и в искусстве, и просто в человеческих судьбах, воспоминаниях, глубоко волнующих нас, тех, кому сейчас 60 или около того. Но есть и манипуляция, культ Великой Отечественной войны на службе политических целей сегодняшнего дня, и это отвратительно и опасно!

В начале июля часть студентов курса (только комсомольцы) были посланы на так называемое «спецзадание». Я не был комсомольцем (думаю, что просто по причине своей пассивности, не по идеологической — тогда — причине), и мне никто даже не сказал, что происходит. Когда со спецзадания вернулись девочки, стало известно, что это было рытье противотанковых рвов на предполагаемой линии обороны. Мальчиков прямо оттуда забрали в ополчение. Многие из них через несколько недель попали в окружение, многие погибли (среди них Коля Львов, о котором я писал выше, бывший рабочий автозавода), некоторые попали в плен, одного из

моих однокурсников расстреляли, как я слышал, за невыполнение приказа командира.

Я хочу тут рассказать о моей позиции по отношению к армии, фронту (может, не совсем сознательной: словами я выразил это для себя позднее). В эти дни многие из моих сверстников оказались в армии. С нашего курса никого не призывали, но после ополчения многие были переведены в регулярные части (впрочем, потом часть из них была демобилизована). Некоторые, не подпавшие, как я, под призыв, в особенности девочки — пошли в армию добровольцами (в эти дни добровольно пошла в армию Люся, моя будущая жена). Я не помню, чтобы я думал об этом. Я не был уверен в своей физической пригодности для фронта, но не это было главное. Я знал о том горе, которое моя возможная гибель принесла бы родным, но и тут я понимал, что так же у всех. Просто я не хотел торопить судьбу, хотел предоставить все естественному течению, не рваться вперед и не «ловчить», чтобы остаться в безопасности. Мне казалось это достойным (и сейчас кажется). Я могу честно сказать, что желания или попыток «ловчить» у меня никогда не было — ни с армией, ни с чем другим. Получилось так, что я никогда не был в армии, как большинство моего поколения, и остался жив, когда многие погибали. Так сложилась жизнь.

В первых числах июля всех мальчиков, имевших хорошую успеваемость, меня в том числе, вызвали на медкомиссию. Отбирали в Военно-Воздушную Академию. Медицинский отбор был очень строгий, и я не прошел. Я тогда был этим огорчен, мне казалось, что в Военной Академии я буду ближе к реальному участию в общей борьбе, но потом считал, что мне повезло — курсанты почти всю войну проучились, а я два с половиной года работал на патронном заводе, принося пусть малую, но своевременную пользу. Среди тех, кого приняли, был Женя Забабахин, один из тех двух бывших рабочих автозавода.

В конце июня или начале июля я пошел работать в университетскую мастерскую, организованную профессором Пумпером для ремонта военной радиоаппаратуры, работал с большим напряжением, частично компенсировавшим мои слабые навыки. Потом, по предложению другого профессора, Михаила Васильевича Дегтяря, перешел в руководимую им изобретательскую группу — мне было поручено выбрать схему и изготовить опытный образец магнитного щупа для нахождения стальных осколков в теле раненых лошадей (работа велась по заданию ветеринарного управления армии). Я выбрал схему магнитного моста, питаемого переменным током технической частоты. Прецизионное изготовление опытного образца (его главный узел — мост, сложенный из листов трансформаторного железа, вырезанных в форме буквы «Н»; на средней «палочке» помещалась измерительная катушка) потребовало от меня огромных усилий. Прибор получился не очень удачным и не пошел в «дело» — мне не удалось достичь требуемой чувствительности. Но приобретенные знания в области магнитной дефектоскопии и физики магнитных и ферромагнитных явлений оказались мне чрезвычайно полезны позже при работе на патронном заводе, а психологическое значение этой работы (практически первой самостоятельной научной работы) было существенно для моей дальнейшей научно-изобретательской работы. Тогда же я вступил в ряды ПВО при университете и при домоуправлении. В первые же воздушные налеты на Москву я участвовал в тушении зажигалок (одну из них, наполовину сгоревшую, я поставил на свой стол), в тушении пожаров. Начиная с конца июля почти каждую ночь я смотрел с крыш на тревожное московское небо с качающимися лучами прожекторов, трассирующими пулями, «Юнкерсами», пикирующими через дымовые кольца.

Как-то, дежуря в университете, я услышал грохот взрыва в районе Моховой. Освободившись от дежурства на рассвете, пошел туда и увидел дом Олега Кудрявцева, разрушенный авиабомбой. Кровать родителей Олега свисала с четвертого этажа, зацепившись ножками. В этом доме погибло много людей, но ни Олег, ни его родные не пострадали — их не было в городе. В убежище этого дома погибли все.

Папа тоже был в отряде ПВО при домоуправлении. Обычно после отбоя воздушной тревоги я звонил домой, родители успокаивались, услышав мой голос. Один раз, в день, свободный от дежурства, воздушная тревога застала меня в бане. Кончив мыться, я решил пренебречь всеми правилами и пошел домой по опустевшим улицам, глядя на пересеченное трассирующими пулями, освещенное отблесками пожаров небо. Вдруг меня по башмаку ударил осколок зенитного снаряда, рикошетом отлетевший от стены дома. Я получил лишь легкую царапину на ботинке.

Летом и осенью 41-го года студенты выходили на субботники, разгружали эшелоны с промышленными и военными грузами (на губах целыми днями был горький вкус от каких-то компонентов взрывчатых веществ), копали траншеи, противотанковые рвы. Помню, в один из таких дней, уже к вечеру, когда все порядком устали, одна из наших девушек обратилась к нам с небольшой речью, призывая поработать еще несколько часов и разгрузить оставшиеся вагоны. Это была Ирина Ракобольская, впоследствии она служила в женском авиационном полку, а теперь — жена моего однокурсника и мать молодого сотрудника теоротдела ФИАНа, где я работаю (Андрея Линде).

16 октября я был свидетелем известной московской паники. По улицам, запруженным людьми с рюкзаками, грузовиками, повозками с вещами и детьми, ветер носил тучи черных хлопьев — во всех учреждениях жгли документы и архивы. Кое-как добрался до университета, там собрались студенты — мы жаждали делать что-то полезное. Но никто ничего нам не говорил и не поручал. Наконец мы (несколько человек) прошли в партком. Там за столом сидел секретарь парткома. Он посмотрел на нас безумными глазами и на наш вопрос, что нужно делать, закричал:

— Спасайся, кто как может!

Прошла суматошная неделя. По постановлению правительства была организована эвакуация университета. На вокзале меня провожали папа и мама. Пока ждали электричку, папа, я помню, рассказывал о появлении на фронте нового оружия («Катюш» — реактивных минометов, но тогда никто толком этого не знал, и слово «Катюша» — народное — появилось позднее). Это было 23 октября 1941 года. Лишь через месяц я узнал, что в тот же день наш дом в Гранатном переулке был разрушен немецкой авиабомбой. Погибло несколько человек, мои родные не пострадали. Они и другие, оставшиеся в живых, со спасенной частью имущества разместились в пустующих яслях на соседней улице.

Студенты вместе с преподавателями с несколькими пересадками добрались до Мурома. Дорожная встреча со студентами какого-то инженерного вуза. Хорошо экипированные, умеющие постоять за себя, они казались нам другой породой: на «сильно интеллигентных» университетских смотрели с некоторым презрением. Потом в жизни роли часто менялись.

Часть пути до Мурома я ехал на платформе с разбитыми танками, которые в сопровождении танкистов везли на ремонтные заводы. Слушал первые фронтовые рассказы — война поворачивалась совсем не по-газетному: хаосом отступлений и окружений, особой жизнью, требовавшей жизнестойкости и сметливости и умения постоять за себя и свое дело перед разными начальниками.

В Муроме мы провели десять дней в ожидании эшелона. Эти дни оказались для меня почему-то очень плодотворными в научном смысле — читая книги Френкеля по квантовой («волновой») механике и теории относительности, я как-то сразу очень много понял. Мы жили на постое у хозяйки — продавщицы местного гастронома, много таскавшей в дом продуктов, уже ставших остродефицитными («кому война, а кому мать родная», — говорили тогда). Дочка хозяйки из ящика комода сыпала ладошкой в рот сахарный песок, а по ночам к хозяйке приходили мужчины в военной форме, каждый раз другой.

По ночам мы ходили хоть как-то утолить голод в железнодорожную столовую — там давали картофельное пюре без карточек. Часа в два ночи к перрону подходил эшелон с ранеными. Их выгружали, и они на носилках лежали под открытым небом, ожидая дальнейшей отправки. Ходячие толпились тут же. Эшелоны с ранеными всегда приходили по ночам. Все об этом знали, и женщины сбегались к эшелону из города и окрестных деревень, спрашивали о своих близких, высматривали их среди раненых, приносили еду и махорку в узелках.

7 ноября мы слушали по радио парад на Красной площади и выступление Сталина. Я понимал, что это некий хорошо задуманный спектакль. И все же впечатление было очень сильное.

Наконец мы тронулись в Ашхабад (туда, по постановлению правительства, эвакуировался университет). В каждой теплушке с двумя рядами двухъярусных нар и печкой посередине помещалось человек сорок. Дорога заняла целый месяц, и за это время в каждом вагоне сформировался свой эшелонный быт, со своими лидерами, болтунами и молчальниками, паникерами, доставалами, объедалами, лентяями и тружениками. Я был скорей всего молчальником, читал Френкеля, но прислушивался и присматривался к происходящему вокруг, внутри и за пределами вагона, к раненной войной жизни страны, через которую проходил наш путь. В ту же сторону, что и мы, шли эшелоны с эвакуированными и разбитой техникой, с ранеными. В другую сторону шли воинские эшелоны. Из проносившихся мимо теплушек выглядывали солдатские лица, казавшиеся все какими-то напряженными и чем-то похожими друг на друга. На Урале начались морозы, 30 градусов и холоднее, и мы каждый день добывали уголь для печурки (воровали из куч для паровозов). Однажды в снегу около водокачки я увидел кем-то оброненный пряник (как примета из другого мира) и тут же съел. В казахстанской степи на перегоне опрокинуло трубу, был мороз и буран. Один из студентов первого курса (Марков, он был сыном генерала) вылез в майке на ходу через оконце на крышу и поправил поломку. Весной его (как всех первокурсников) призвали в армию. Некоторые студенты очень преуспевали в обменах с выходящими к поездам людьми (предметы одежды на продукты питания), но у меня ничего не было.

В нашем вагоне была своя игра — остаповедение: викторина по «12 стульям» и «Золотому теленку» Ильфа и Петрова, вопросы типа: «Какие телеграммы получил Корейко?», «Кто был сыном лейтенанта Шмидта?». Чемпионом игры был аспирант Иосиф Шкловский, впоследствии известный астрофизик, а много потом он предупреждал меня о моей будущей жене (Люсе), что с ней лучше не связываться — он считал, что она занята опасными диссидентскими делами и это может мне повредить. Это интересно!.. В своих (неопубликованных) воспоминаниях Шкловский рассказывает, что я брал у него в эшелоне книгу Гайтлера «Квантовая механика» и запросто одолел ее. К сожалению, эта история, по-моему, целиком плод богатого воображения Иосифа. Гайтлера я впервые прочитал, уже будучи аспирантом — в 1945 или, верней, 1946 году.

Однажды я отстал от эшелона и догонял его часть пути на платформе с углем, распластавшись, чтобы не сбило, под мостами, а часть — в тамбуре салон-вагона самого Кафтанова (министра высшего образования). Его я не видел, но один из его спутников вышел покурить, и вдруг я узнал в нем дальнего знакомого отца (или это выяснилось из разговора). Именно от него я узнал о разрушении нашего дома в Москве.

В дороге мы много общались с девушками-студентками, часто ходили друг к другу в гости (они в наши, а мы в их вагоны). Одна из них проявила ко мне внимание, и меня поддразнивали, что я к ней неравнодушен. Эшелон оказался моим первым настоящим — очень поздним — выходом из дома, семейного круга и почти первым общением с товарищами, и тем более с девушками. По приезде в Ашхабад нас поселили далеко от девушек, и общение с ними стало редким.

6 декабря эшелон прибыл в Ашхабад. В эти же дни началось наше наступление под Москвой. Только когда я узнал об этом, я понял, какая тяжесть лежала на душе все последние месяцы. И в то же время, слушая длинное торжественное перечисление армий, дивизий и незнакомых мне еще фамилий генералов, застывал от мысли о тех бесчисленных живых и мертвых людях, которые скрывались за этими списками.

Эшелонная «пауза» кончилась. В эшелоне мы просто ехали и жили. Теперь надо было учиться и жить — что много трудней. Оглядываясь назад на это время, я вижу, что оно было трудным, проникнутым чувством тревоги за близких и за войну и чувством ответственности — и в то же время свободным и даже счастливым. Конечно, еще потому, что мы были молоды.

Мы должны были окончить курс на год раньше, чем предполагалось — т. е. за четыре года. Конечно, при этом программа, и без того не очень современная, была сильно скомкана. Это одна из причин, почему в моем образовании физика-теоретика остались на всю жизнь зияющие пробелы. И все же я думаю, что лучше четыре года серьезной учебы без отвлечений в сторону и потом ранний переход к самостоятельной работе, чем затяжка периода обучения в вузе на 7—8 лет. При этом неизбежна потеря темпа, «выход из графика», и в результате большие потери в будущем. Конечно, в нашем случае определяющей была просто обстановка военного времени — желание быстрее выпустить специалистов для работы на производстве и в исследовательских институтах, и еще проще — нехватка преподавателей.

Основной для меня курс квантовой механики читал профессор А. А. Власов — несомненно, очень квалифицированный и талантливый физик-теоретик, бывший ученик И. Е. Тамма. Читал Анатолий Александрович обычно хорошо, иногда даже отлично, с блеском делая по ходу лекции нетривиальные замечания, открывавшие какие-то скрытые стороны предмета, создавая для нас возможности более глубокого понимания. Но иногда, наоборот, сбивчиво, невнятно. При этом очень странной была и внешняя манера чтения — он закрывал лицо руками и так, ни на кого не глядя, монотонно произносил фразу за фразой. Конечно, все это были признаки болезни, о чем я тогда не догадывался. Уже после войны я слышал, как Леонтович говорил: «Раньше, когда я был рядом, как только я видел, что Власов начинает сходить с катушек, я его как следует бил, и он приходил в норму. А без меня он окончательно свихнется».

Конечно, дело не только в битье. Я думаю, что дружба с такими людьми, как Леонтович, была очень важна для Власова.

Я тут отвлекусь немного в сторону и расскажу о некоторых относящихся сюда обстоятельствах, весьма существенных для всего дела высшего физического образования в СССР в те годы. Леонтович вместе с И. Е. Таммом и Л. И. Мандельштамом были вынуждены в конце 30-х годов уйти из университета в результате развязанной против них яростной травли. Это было одно из проявлений тех отвратительных и разрушительных кампаний, которые потрясали тогда многие научные и учебные заведения (не только их, но и все в стране вообще). У физиков еще обошлось несколько легче, чем, скажем, у биологов или философов... В университете в качестве атакующей стороны выступали, к счастью, не такие пробивные люди, как Лысенко и его компания, да и физика была тогда еще не так на виду, не так понятна «наверху» (а когда стала на виду, Курчатов и вовсе сумел прикрыть всю эту плесень).

Теоретическим обвинением в адрес Мандельштама и его учеников была тогда, в частности, их приверженность к «антиматериалистической теории относительности» (что это еврейская выдумка, тогда в СССР не говорилось). Конечно, такое обвинение было гораздо менее доходчиво, чем «вейсманизм-морганизм». Одним из активных участников этих нападений был проф. Тимирязев, сын известного биолога (который, кажется, тоже не без греха — «боролся» с генетикой на ее заре, но, может, я ошибаюсь). Тимирязев был поразительно похож на своего отца и тем самым на его памятник, установленный у Никитских ворот. Мы, студенты, за глаза звали Тимирязева «сын памятника». Он читал на 3-м курсе добротные, но скучноватые лекции по «молекулярной теории газов» (содержание которых соответствовало этому старомодному названию). Тимирязева поддерживал декан проф. А. С. Предводителев и большинство старых профессоров и те молодые, которые надеялись таким образом помочь своей карьере. За пределами университета очень активен был профессор одного из технических вузов Миткевич. Однажды на каком-то диспуте Игорь Евгеньевич, отвечая на некорректно поставленный вопрос, сказал, что он столь же бессмыслен, как вопрос о цвете меридиана, — красный он или зеленый. Миткевич тут же вскочил и воскликнул:

— Я не знаю, как для профессора Тамма, но для любого истинно советского человека меридиан всегда красный.

В то время эта реплика звучала многозначительно. В эти годы один из лучших учеников Мандельштама, Витт, был арестован, так же как некоторые другие физики. Конечно, без «мандельштамовцев» общий уровень преподавания в университете резко упал.

Первые, очень интересные работы Власова были написаны совместно с Фурсовым, потом их плодотворное содружество распалось. Наиболее известные работы Власова по бесстолкновительной плазме; введенное им уравнение по праву носит его имя. Уже после войны Власов опубликовал

(или пытался опубликовать) работу, в которой термодинамические понятия вводились для систем с малым числом степеней свободы. Многие тогда с огорчением говорили об этой работе, как о доказательстве окончательного его упадка как ученого. Но, быть может, Власов был не так уж и не прав. При выполнении определенных условий «расхождения траекторий» система с малым числом степеней свободы может быть эргодической (не поясняя термина, скажу лишь, что отсюда следует возможность термодинамического рассмотрения). Пример, который я знаю из лекций проф. Синая: движение шарика по бильярдному полю, если стенки сделаны вогнутыми внутрь поля.

Власов был первым человеком (кроме папы), который предположил, что из меня может получиться физик-теоретик.

Среди других лекторов в Ашхабаде 1941—1942 гг.— проф. Спивак и проф. Фурсов, уже успевший побывать на фронте в отряде ополчения и демобилизованный. И это почти все! Но зато мы больше приучались работать с книгами — это на самом деле важней всего, вместе с общением между собой,— не случайно известные ученые всегда выходят «пачками» из одного курса по нескольку человек. Наш курс оказался «урожайным», даже несмотря на войну.

Занятия проходили в пригороде Ашхабада Кеши. Там же были административные службы («Правительство Кеши», как мы шутили, по созвучию с правительством Виши в оккупированной Франции). Жили же мы в центре города — сначала в помещении школы, потом в общежитии, в одноэтажных домиках с плоской, покрытой глиной крышей. Ходить на занятия часто приходилось пешком — с транспортом было плохо. Но главное — мы жили голодно. Я, в силу своих конституционных и психологических особенностей, переносил это еще сравнительно легко, но многим было очень плохо и трудно.

В Ашхабаде у меня установились близкие товарищеские отношения с двумя студентами — моим однокурсником Петей Куниным и Яшей Цейтлиным, который был моложе меня на один курс. Петины пути и после пересекались с моими. Яша же бесследно исчез из моей жизни — никто из моих товарищей по университету не мог мне объяснить, что с ним стало. Возможно, он был призван в армию в 1942 году, когда я уже был на заводе, или позднее, и погиб? Родом он был с Украины и ничего не знал о своей семье, очень страдал от этого (на Украине тогда были немцы). Хотя конкретно еще ничего не было известно, но ощущение начавшейся еврейской трагедии уже существовало. Яша был своеобразным человеком, с большим чувством собственного достоинства, душевной ранимостью и обидчивостью, но и способностью быть самым преданным другом. Иногда в его разговорах проскальзывали какие-то детали мира его детства — полного традиций, очень бедного, скудного и замкнутого. Что больше всего привлекало меня в нем? Вероятно, то же, что и в Грише Уманском — какая-то внутренняя чистота и мечтательность и национальная, по-видимому, грустная древняя тактичность.

Из сильных впечатлений того времени. Я с весны перебрался спать из душной комнаты на плоскую крышу общежития, расстелив там свои несложные постельные принадлежности. По ночам надо мною было звездное южное небо, а на рассвете — удивительное зрелище освещенной первыми лучами солнца горной цепи Копет-Дага. Красноватые горы при этом казались как бы прозрачными!

На улицах Ашхабада росло много шелковицы (тутового дерева), и мы усиленно собирали сочные ягоды, это было серьезным подспорьем в нашем безвитаминном питании. Местные жители смотрели на нас с некоторым ужасом: они этих ягод не ели.

В Ашхабаде я впервые столкнулся с неприязненным отношением к интеллигенции со стороны некоторых рабочих-русских (как у нерусских — не знаю, думаю, что там все немного иначе: у всех неимперских народов обычно есть уважение к своей интеллигенции). Это были реплики вроде:

— Хотят легкой жизни, поработали бы вроде нас!

Иногда — проявления антисемитизма, ставшего явным (многократно усилившиеся в войну и сохранившиеся после). Меня иногда тогда и потом принимали за еврея, вероятно, из-за моей фамильной «сахаровской» картавости, не знаю, откуда она взялась.

— Сколько время — два еврея,— кричали мальчишки мне и Боре Самойлову, к слову, такому же еврею, как я (это-то было безобидно...).

Наш курс выпускался со специальностью «Оборонное металловедение». Это было в основном название — как дань времени, по существу же металловедение мы знали очень мало и тем более оборонное; непонятно, что это вообще такое. Все же проф. Дегтярь (тот самый, который привлек меня к изобретательской работе летом 1941 года) прочел нам небольшой курс, из которого я почерпнул такие понятия, как аустенит, текстура, дислокации и т. п. Потом я мог не смущаться, встречая эти термины в каких-либо книгах. В соответствии с этой специальностью мне была предложена и тема дипломной работы — поиски замены дефицитного серебра в контактах реле релейной защиты. Тема эта, конечно, была несколько надуманная — даже в военное время не надо экономить там, где существует риск многотысячных потерь. Но мне надо было выполнять диплом, а не рассуждать. Я решил, что серебро можно заменить в контактах нержавеющей сталью. Пошел на рынок, купил вилку из «нержавейки», отпилил «вязкие» зубья (это было трудней всего) и загнал молотком их в гнезда, откуда вытащил серебро. Это чудо техники я предъявил комиссии вместе с несколькими страницами теоретических обоснований.

В начале июля начались госэкзамены. По теоретической физике экзамены принимал Анатолий Александрович Власов. Из-за непереносимой жары он беседовал с экзаменуемыми в сквере около бассейна, в который после четырех часов дня подавали немного воды. Задав несколько вопросов, больше для формы, и вписав в ведомость крупную пятерку, Власов сказал:

— У меня серьезный разговор. Я хочу предложить вам остаться в аспирантуре на кафедре теоретической физики. Если вы согласитесь, я сегодня же подам на вас документы.

Я уже был готов к этому разговору, ждал его по каким-то причинам. Я поблагодарил Анатолия Александровича, но отказался. Мне казалось, что продолжать учение во время войны, когда я уже чувствовал себя способным что-то делать (хотя и не знал — что), было бы неправильно. Я сказал Анатолию Александровичу, что решил поехать на военный завод по распределению. (Комиссия по распределению была незадолго до этого, но, по-видимому, в случае моего согласия на предложение Власова было бы возможно «переиграть» ее решение.) Вскоре декан проф. А. С. Предводителев вручил мне диплом об окончании МГУ (с отличием), специальность — «Оборонное металловедение», с правом работать преподавателем физики в средней школе. Я получил направление на военный завод в город Ковров и выехал по назначению.

Мне кажется, что для каждого из нас — ашхабадских студентов — эти полгода с небольшим остались каким-то глубоким, незабываемым периодом жизни. Через несколько лет мы услышали о страшном землетрясении, уничтожившем большую часть Ашхабада, в том числе и те районы, где мы жили и учились. Очевидцы, прошедшие войну, говорили, что страшней они никогда ничего не видели. Точное число жертв никогда не было опубликовано, но оно очень велико (назывались цифры 80 тыс. человек и много больше).

Вновь я оказался в Ашхабаде в 1973 году. Мы приехали туда с Люсей и Алешей. На одной из площадей мы увидели нечто вроде высокого речного обрыва. Но никакой реки, конечно, не было, у подножия спешили по своим делам пешеходы, ехали машины — текла обычная городская жизнь и все выглядело почти что буднично. Это и был «разрыв», образовавшийся там, где в момент землетрясения прошла трещина.

На заводе в годы войны

Опять поездка через пораженную войной страну (на этот раз я один среди тысяч людей, вокруг ни одного знакомого лица). Несколько пересадок, переполненные вокзалы и поезда. Спал, лежа на чемодане между ска-

мейками. Ночные санпропускники (в одном из них у меня украли ботинки, и я остался в старых летних туфлях). Всюду измученные, часто растерянные или озабоченные люди. И бесконечные рассказы, разговоры людей, которые не в силах молчать, должны поделиться тем ужасным, что их переполняет. В конце июля ночью я вышел из поезда на Ковровском вокзале. Доносились звуки отдаленной артиллерийской канонады, горизонт освещался вспышками выстрелов. (Как я потом понял, это шли испытания очередной партии орудий Ковровского орудийного завода.) Утром меня приняли в отделе кадров, поместили на постой (в семью работницы завода) и велели зайти к ним через несколько дней. Фактически я прожил в Коврове около десяти дней. За эти дни я познакомился с хозяевами и их друзьями, как-то почувствовал их напряженную и трудную жизнь, очень стесненную, чтобы не сказать — голодную; и в то же время — то, что на газетном языке называется рабочей гордостью, но это было правдой, какое-то чувство ответственности. Потом я имел возможность сравнить их с рабочими Ульяновска. «Рабочая гордость» — это было в полной мере и там. И в то же время бросались в глаза важные отличия — резкое разделение на «начальство» и «не начальство», большая придавленность последних, при которой вряд ли можно говорить об ответственности; большие связи с деревней и ее бедами; большая зависимость от своего огорода. Но, может, в Коврове я еще не все мог видеть и понять?

К концу моего пребывания в Коврове меня вызвал начальник отдела найма и увольнения, генерал. Он сначала очень любезно расспрашивал меня о каких-то мелочах, потом сказал:

— Мы можем предоставить вам работу в лаборатории, но без брони.

Я сказал, что это меня не волнует (я ответил в соответствии со своей позицией все предоставить в этом деле «самотеку», о которой я писал выше). Генерал, видимо, ждал другого ответа. Он думал, что я сам откажусь от назначения. Попросил зайти на другой день в отдел найма для окончательного решения. На другой же день мне выдали направление в Наркомат Вооружения в Москве, в котором было написано, что завод такой-то не может предоставить мне работы по специальности. Шел август 1942 года.

В Москве я увидел, после десяти месяцев разлуки, своих родителей и брата. Папа работал на прежнем месте. Он говорил, что студентов очень мало, часть преподавателей — в эвакуации. Папа и мама выглядели усталыми, измученными. Жизнь явно была трудной и скудной. После освещенного, хотя и кое-как, Ашхабада непривычными были затемненные окна и темные улицы, синие лампочки в подъездах. В «яслях» было довольно холодно. Юра зимой ходил в школу, занимался в третьей смене (т. к. многие школы были заняты госпиталями), кончил 10-й класс. Ему предстоял призыв в армию.

В Наркомате Вооружения мне сразу же выписали направление на патронный завод в Ульяновск, и вскоре я уже ехал по назначению, вновь расставшись с родителями, на этот раз на два с половиной года.

Ранним утром 2 сентября я вышел на станции Ульяновск на правом берегу Волги. Завод был расположен на левом, но «трудовой» поезд, который мог доставить меня туда, только что ушел, и я решил воспользоваться паромом. Я зашел в станционную библиотеку и взял книгу (Стейнбек «Гроздья гнева». Я давно не имел возможности читать художественную литературу, и это была первая — и хорошая — книга после большого перерыва. К сожалению, я ее потерял и с большим трудом рассчитался с библиотекой). Перекинув на ремне свои чемоданы через плечо, я медленно пошел вдоль железнодорожного полотна по направлению к парому. На противоположной стороне реки были видны огромные фабричные корпуса, растянувшиеся на много километров, дымила труба заводской электростанции. Были также видны серые бараки рабочих общежитий (где мне предстояло жить), небольшой поселок многоэтажных домов и несколько рабочих поселков из домов деревенского типа. В одном из них жила со своими родителями моя будущая жена.

В отделе кадров мне дали направление в отдел главного механика, что было совершенной бессмыслицей, — я совершенно не представлял себе патронного производства, штамповочных патронных станков никогда в глаза не видел и вообще очень плохо справляюсь с подобной техникой. Лишь много потом, фактически самому, мне удалось найти какое-то применение моим знаниям и способностям.

А сейчас главный механик, даже не взглянув на меня, видимо, понял, что я буду совершенно ему бесполезен, и нашел выход — меня от отдела направили на лесозаготовки. Вскоре я уже в составе небольшой бригады пилил лес недалеко от Мелекесса. Это была непривычная для меня и очень тяжелая работа. Мой напарник был моложе меня, но при этом гораздо сильней (и очень удивлялся этому. Впрочем, мы жили дружно, не пытаясь переложить работу на другого, — тяжело было обоим, а от недостаточного питания он страдал больше). К концу дня мы валились с ног. Мужики покрепче отправлялись в колхозное поле за картошкой (оставшейся после копки в земле), они собирали ее про запас на зиму. На общий ужин мы — более слабые — могли набрать, это было нам по силам, но не больше. Кое у кого была водка. У этого вечернего костра я впервые услышал прямое открытое осуждение Сталина.

— Если бы он был русский, больше жалел бы народ, — это говорил человек (рабочий-«подвозчик»), у которого на фронте погиб сын. Он недавно получил это известие.

На постой нас поместили в деревенских домах. Мне навсегда запомнилась заброшенная в лесах деревенька, тревожная, трагическая атмосфера того времени, которая чувствовалась в каждой реплике, во взглядах встретившихся у колодца женщин, в необычно притихших детях. В деревне остались только женщины, старики и дети, образовавшие что-то вроде большой семьи.

На рассвете мою хозяйку (у которой была корова) будили соседки, умоляя дать кто стакан молока для ребенка, кто блюдечко муки. Керосин берегли, коптилку зажигали лишь на время ужина. Остальное время сидели в темноте. Жили в деревне скудно, и чувствовалось приближение еще более трудных времен. Но не это было главным, а то чудовищное, что происходило где-то на западе.

Через две недели я повредил себе руку, возникло нагноение, и я не смог больше работать. Я был вынужден вернуться в город (пешком — километров пятнадцать до железной дороги, оттуда — на попутном товарняке). В отделе кадров меня уже ждало новое назначение — младшим технологом в заготовительный цех. Это, конечно, опять было «не то», но все же с помощью старшего технолога (я забыл его фамилию, он был очень внимателен ко мне) я вспомнил школьные уроки черчения и смог что-то делать ему в подмогу. По ходу работы я бывал в большинстве цехов, ознакомился с производством и с условиями работы и в какой-то мере жизни рабочих. Это были очень сильные впечатления.

Работа на заводе (как и повсеместно по стране) производилась в две смены с 11-часовым рабочим днем без выходных. Формально выходной возникал при «пересменке», т. е. когда рабочие ночной смены переходили в дневную, и наоборот. Но администрация, гоня план, устраивала пересменки очень редко, раз в несколько месяцев. (Я тоже работал по 11 часов, но почти всегда днем. Работая же ночью, я изматывался ужасно, и понял, насколько это тяжело.)

В основных (штамповочных) цехах работали женщины, мобилизованные в большинстве из деревень. В огромных полутемных цехах сидели они свою смену у грохочущих прессов-автоматов, согнувшись на табуреточках и поджав ноги в деревянных ботинках от холодного пола, по которому текли мутные потоки воды и смазочных жидкостей. Головы у всех завязаны платками, так что обычно не видно не только волос, но и лиц, а когда видно, то поражает выражение какой-то отупелой усталости. Время от времени то один, то другой станок останавливается, и женщины поспешно крючком оттаскивают из-под него ящик с продукцией, высыпают в «питатель» заготовки (вручную, конечно) и меняют сработавшийся инструмент; в трудных случаях громко кричат, зовут наладчика.

Еще хуже, чем в штамповочных, условия в «горячих» и химических цехах. В обеденный перерыв все рабочие получают так называемые стахановские обеды — несколько ложек пшенной каши с американским яичным порошком. Ни тарелок, ни ложек часто не бывает (впрочем, в нашем цеху налажено собственное производство штампованных ложек, и мы снабжаем

ими весь завод). Кашу раскладывают на листах бумаги и тут же съедают, запивая из жестяных кружек подобием чая.

У многих женщин в деревнях остались дети, и все мысли их там. Но уволиться почти невозможно. Самовольный уход — 5 лет лагеря по Указу. Единственный способ — забеременеть. Каждое утро у приемной зам. директора по кадрам выстраивается очередь беременных, заполучивших справку из женской консультации и надеющихся на увольнение, на возвращение к детям. Очередь они занимают с ночи, но большинство уходит ни с чем: через 20—30 минут после прихода в свой кабинет начальник, от которого зависит их судьба, прекращает прием — ему якобы надо ехать в райком на очередное совещание. Начальнику подают дрожки, а они расходятся до следующего приемного дня, до следующей бессонной ночи.

В нашем цеху перед штамповочными операциями металлические полосы протравливают кислотой. Эту работу выполняют мужчины. Единственное оборудование — резиновые перчатки по локоть. Когда я по утрам встречаю травильщиков, идущих с ночной смены, мне страшно смотреть на их бледно-сине-желтые лица. На контрольно-смотровых операциях работают несовершеннолетние девочки — только их глаза справляются с этой работой и, конечно, постепенно портятся. Одна из самых больших проблем для большинства рабочих — как «отоварить» хлебные карточки (о крупе, масле, сахаре нет речи, талоны у рабочих пропадают почти каждый месяц; я не говорю тут о тех немногих, кто, подобно мне, отдает свои талоны в столовой — тогда крупяных талонов, наоборот, сильно не хватает и приходится скрепя сердце менять на рынке хлебные талоны на все остальные). Хлеб в хлебный магазин привозят нерегулярно, а когда он бывает — возникает очередь на много часов, рабочий с ночной смены занимает ее в 8 утра, и хорошо, если в середине дня получит свой паек; спать ему уже некогда, в 8 вечера опять на смену. И это не такая очередь, из которой можно выйти хотя бы на минуту. Усталые люди молча стоят плотно сжатой массой — тот, кто вышел, уже не втиснется. Конечно, семейным легче, да и одиночки объединяются по нескольку человек. Еще лучше тем, у кого знакомая продавщица (у местных практически у всех).

Одинокие неместные рабочие живут в общежитии. Я тоже жил в таком общежитии с сентября 1942 по июль 1943 года. Это одноэтажные домики барачного типа, в каждой комнате — трехъярусные нары, всего на 6,9 или 12 человек. Не шумно, люди слишком устали, но иногда появляются разговорчивые соседи; впрочем, в этих разговорах бывает и кое-что интересное и новое. Уборная во дворе, шагах в тридцати от двери; ночью многие не добредают до нее, поэтому около общежития всегда замерзшие лужи мочи. Вшивость — обычное явление. Холодная вода для мытья, горячая кипяченая в титане при мне была всегда. По утрам к общежитиям приходят женщины из деревень, они приносят топленое молоко (я покупаю четвертинку каждый день на завтрак), морковь, огурцы.

Одно из ужасных впечатлений — один из моих соседей по комнате пришел со смены, выпив там кружку (как он успел сказать) производственного метилового спирта. У него начался мучительный бред, он стал метаться по комнате. Через полчаса приехала вызванная нами «скорая». Больше мы его не видели. Это был великан со светлыми волосами и голубыми наивными глазами, необычайно сильный.

Такова была заводская жизнь в Ульяновске. Потом я узнал, что в некоторых других местах было несколько лучше, но в некоторых, например, на уральских заводах, — много хуже, тяжелей и голодней. О Ленинграде я не говорю. Всюду труднее всего было иногородним, эвакуированным и, конечно, подросткам-ремесленникам.

Я работал в заготовительном цеху до конца октября и ушел при довольно напряженных обстоятельствах.

Однажды, в отсутствие старшего технолога, начальник цеха поручил мне провести по технологической линии ящик с заготовками из только что полученной партии металла. Металл (полосы со специальным названием «штрипсы») был попросту ржавым, и его, конечно, нужно было отправить прямым ходом на переплавку или на какие-то другие цели. Но, видимо, никто не хотел принять на себя ответственность за такое неприятное решение.

Я принес несколько полос станочнице нашего цеха. Она посмотрела на меня с неудовольствием, но нарубила из них ящик «колпачков» (первая стадия производства гильз). Я взвалил ящик на плечо и отнес его в следующий цех. Уже после первой и особенно второй вытяжки (следующие операции гильзового производства) заготовки стали походить на решето и царапать инструмент. Надо было кончать комедию. Я отнес ящик мастеру участка и попросил никуда не выкидывать и в работу не пускать, в подкрепление вложил записку с моей подписью. Было уже около 8 вечера, и я решил, что самое время уйти домой (т. е. в общежитие). А на другой день разразилась буря. В цехе устроили собрание. Мастер (его фамилию я случайно запомнил — Врублевский) произнес речь примерно такого содержания: «Товарищ Сталин отдал приказ — ни шагу назад. Советские воины самоотверженно выполняют его, бьются с врагом, не щадя жизни. А в это время технолог Сахаров ушел со своего боевого поста, не выполнив важного задания. На фронте дезертиров расстреливают. Мы не можем терпеть таких действий на нашем заводе».

Никто не возражал Врублевскому и не поддерживал его выступление. Рабочие и другие мастера молчали. Меня никто ничего не спрашивал, и я молчал. Однако дальше разноса на собрании дело не пошло. Вероятно, мой «ящик» уже попал в руки военных приемщиков и кому-то крепко влетело за всю эту авантюру. Эта история была последним толчком, заставившим меня искать другое место работы, где я был бы более полезен. Я отправился с этим в Центральную заводскую лабораторию. Ее заведующий Б. Вишневский (родственник, — кажется, племянник известного хирурга-академика) обрадовался моему приходу и сказал: на днях главный инженер Н. Н. Малов был в лаборатории и предложил нам заняться разработкой прибора контроля бронебойных сердечников на полноту закалки; этой темой уже занимаются в одном НИИ, но у них дело плохо идет; я предлагаю вам перейти в ЦЗЛ и взять эту тему. Я сказал, что согласен. Вишневский быстро оформил перевод, и 10 ноября, сразу же после праздников, я приступил к работе на новом месте.

Моя тема заключалась в следующем. Бронебойные стальные сердечники пуль калибра 14,5 мм (для противотанковых ружей) подвергались закалке в соляных ваннах. Иногда (в основном из-за технологических ошибок) закалка не охватывала всего объема и внутри сердечника оставалась непрокаленная сердцевина. Такие сердечники обладали пониженной бронебойной способностью. Для отбраковки непрокаленных партий из каждого ящика наугад брались пять сердечников и ломались (делали это девушки-контролерши, сердечник наполовину вставлялся в стальную плиту, затем на него надевалась стальная же труба и производился излом; работа не из легких, 1,5% готовых сердечников шла на переплавку). Моя задача была найти метод контроля без разрушения сердечника. Через месяц у меня уже было хорошее решение, и я начал первые контрольные опыты на опытной модели, сделанной мною собственноручно с помощью механика лаборатории...

В декабре — начале января я испытывал модель прибора самостоятельно, проводя много часов в цеху, где проводились операция закалки сердечников и их проверка. Потом выделенный мне в помощь конструктор сделал чертежи «промышленного» варианта, и вскоре его испытывала специальная комиссия. Промышленный вариант, впрочем, был очень похож на лабораторный; даже медная трубка, которую я нашел на свалке около лаборатории, была точно такой же.

Прибор был разрешен комиссией к использованию в производстве и фактически использовался много лет, может быть, используется и сейчас. Я получил денежную премию, 3000 рублей, это было не очень много, но приятно, а признание давало большую свободу действий. (Для сравнения — моя зарплата была 800 рублей; по теперешним деньгам премия примерно 300 рублей, зарплата — 80 рублей). В 1945 году я получил авторское свидетельство об изобретении. Через несколько лет я случайно увидел в учебнике «Патронное производство», написанном бывшим главным инженером Н. Н. Маловым, описание моего прибора.

10 ноября 1942 года, в первый день своей работы в Центральной заводской лаборатории, я впервые увидел свою будущую жену, Клавдию Алексеевну Вихиреву (1919—1969) — Клаву. Много лет спустя мы отмечали (без гостей; у нас, к сожалению, не было традиций праздников) нашу

серебряную свадьбу именно в этот день (так хотела Клава, и это, конечно, было хорошо), а не в годовщину нашей официальной регистрации в ЗАГСе Заволжского района 10 июля.

Я числился при металлургическом отделе лаборатории, в котором, кроме меня, работало несколько приезжих молодых специалистов (впрочем, все — кроме меня — со специальным «патронным» образованием). Клава работала лаборанткой химического отдела, там все были молодые женщины, в основном местные, кроме одной женщины, постарше — ее звали Дуся Зайцева, она была эвакуирована из Ленинграда. Клава и Дуся любили вспоминать Ленинград, свою жизнь там. (Клава училась в Ленинграде.) Помню их радость, когда была прорвана блокада.

Мы — мальчики — часто заходили в химическую лабораторию, девушки «опекали» нас всех подряд, угощали домашней картошкой, которую они тут же пекли. Быстро образовывались дружеские отношения. Помню, что Дуся часто ставила меня в пример, какой я якобы усидчивый и настойчивый (а я как раз в это время начал и бросил заниматься английским языком, возобновив эти занятия лишь в аспирантуре). Зимой мы с Клавой несколько раз ходили в театр (в том числе в Московскую оперетту, приехавшую в Ульяновск), в кино на памятные фильмы тех лет (в их числе военные фильмы, хороший английский фильм «Леди Гамильтон» и др.). Весной 1943 года наши отношения неожиданно перешли в другую стадию.

На майские дни я пришел к Клаве домой, предложил свою помощь в копке огорода под картошку. Одновременно я вскопал небольшой участок для себя (на целине за заводской стеной, купив семенную картошку на рынке). Убирали эту картошку (очень немного, два мешка) мы уже вместе с Клавой, будучи мужем и женой. Алексей Иванович Вихирев (1890 — 1975), отец Клавы, однако, несколько раз вспоминал, много лет спустя, последний раз в 1971 году, «Андрюшину картошку». Я чувствовал, что ему это было приятно и почему-то важно. Он не каждый раз вспоминал при этом, что фактически в апреле — мае 1943 года семья осталась все же без картошки (мой лишний рот тут тоже играл роль) и пришлось выкапывать из земли перезимовавшие там неубранные клубни, полугнилые, и делать из них лепешки по довольно сложной технологии, издавна разработанной голодающими крестьянами.

В мае мы с Клавой два или три раза катались на лодке по Волге и по протокам (я был не очень ловок и уронил Клавину туфлю, но ее, кажется, удалось спасти). Клава нашла у своей родственницы (крестной) ботинки для меня (оставшиеся от покойного мужа), вместо тех, которые у меня украли в бане в октябре. Тогда мне пришлось по первому ледку возвращаться в общежитие в носочках, а потом ходить зимой в летних туфлях. Понемногу начиналась новая жизнь. 10 июля мы расписались. Алексей Иванович благословил нас с иконой, перекрестил, сказал какие-то напутственные слова. Потом мы, взявшись за руки, бежали через поле, на другой стороне которого были райсовет и ЗАГС. Мы прожили вместе 26 лет до смерти Клавы 7 марта 1969 года. У нас было трое детей — старшая дочь Таня (родилась 7февраля 1945 года), дочь Люба (28 июля 1949 года), сын Дмитрий (14 августа 1957 года). Дети принесли нам много счастья (но, конечно, как все дети, и не только счастья). В нашей жизни были периоды счастья, иногда — целые годы, и я очень благодарен Клаве за них.

Клава после школы четыре года училась в Ленинграде в Институте местной и кооперативной промышленности на факультете стекольного производства. Ей нравилась ее специальность, но еще важнее для нее была та студенческая среда, в которой она впервые оказалась, — более свободная, с какими-то запросами и интересами; эти годы были для нее незабываемыми, счастливыми. Клава не успела кончить институт до войны, а после войны она уже не смогла это сделать.

По-видимому, уже тогда у нее не было душевных сил для тех усилий, которые были необходимы для завершения образования (с неизбежной потерей года, с отдачей нашей дочери Тани в детский сад — Таня болела, как все дети, а мы — молодые родители — сильно это переоценивали), вообще для тех требований, которые предъявляла жизнь (не простая у нас, как у всех людей). Нам казалось также (ошибочно), что ее стекольная профессия не дает четкой перспективы работы по специальности в Москве, с которой я уже чувствовал себя твердо связанным.

Я здесь забегаю вперед по времени, но уж раз коснулся этих вопросов, добавлю еще несколько слов. Клава после 1945 года нигде не работала. Не работала и моя мама, но в ее поколении, в ее время это было естественным, обычным — она вела дом, папа работал, содержал семью и был ее главой. В наше же с Клавой время жены почти всех моих сослуживцев (во всяком случае, моего поколения) работали, учились, имели профессию. Клава оказалась в положении, усиливавшем уже существовавшую у нее закомплексованность. Моя вина (если можно говорить о вине в таких случаях), что я не сумел настоять на том, чтобы она училась и, во всяком случае, работала, не вполне понимал важность этого и не был уверен, что она справится, не смог преодолеть ее закомплексованности в этом и других отношениях, не смог создать такой психологической атмосферы в семье, при которой было бы больше радости и для Клавы — воли к жизни. Конечно, если бы мы остались в Ульяновске, Клава продолжала бы работать и, быть может (но не наверное!), ей было бы легче, а наш переезд на «объект» — в секретный город — наоборот, все очень усугубил. В нашей жизни был сравнительно короткий период материальных трудностей (денежных, квартирных и других), особенно два-три года, в 1945 — 1947 гг.; в большинстве семей, особенно тогда, материальный недостаток растягивался на гораздо больший срок, часто на всю жизнь. Но и потом, когда к нам пришло материальное благополучие, мы (и по объективным причинам, но в основном по субъективным) мало получали от него радости в жизни и жили, в общем, скудно. Особенно плохо, что мало радости имели наши дети. Конечно, я говорю здесь «в общем», счастливые периоды были, я уже об этом писал и буду писать, а детям мы стремились — насколько мы это могли — сделать жизнь радостной.

Я, к сожалению, в личной жизни (и в отношениях с Клавой, и потом — с детьми, после ее смерти) часто уходил от трудных и острых вопросов, в разрешении которых я психологически чувствовал себя бессильным, как бы оберегал себя от этого, выбирал линию наименьшего сопротивления (правда, своих физических сил, времени не жалел). Потом мучился, чувствовал себя виноватым и делал новые ошибки уже из-за этого. Комплекс вины — плохой советчик. Но с другой стороны, я, вероятно, мало что мог сделать в этих, казавшихся неразрешимыми личных делах, а устраняясь от них, все же смог быть активным в жизни в целом. Но вернусь опять в 1943 год.

Клава жила с родителями и сестрой Зиной в большом доме деревенского типа в рабочем поселке, недалеко от Волги (в июле туда же перешел жить и я). В этом поселке у всех жителей были большие участки земли, которые использовались под картофельное поле, сад и огород. Участок был одним из основных источников существования семьи. Часть овощей продавалась на рынке. Конечно, такое большое хозяйство требовало много труда, и я старался посильно в этом участвовать. Алексей Иванович, не довольствуясь приусадебным участком, распахал весной 1944 года (с моей помощью) участок целины километрах в двадцати от нашего дома и посеял там просо. Осенью он убрал урожай, но очень трудно было доставить его домой. Мы с ним вдвоем впряглись в тележку и почти целую ночь, до утра, тянули ее и все же добрались до дома. Алексей Иванович всегда называл меня «Андрюша» (и на «ты», а я его на «вы»). Он относился с большим уважением и интересом к моей работе на заводе и до последних лет жизни помнил разные подробности, о которых я успел забыть. Ему казалось, что меня недостаточно ценят. Особенное впечатление на него произвела почему-то работа по контролю толщины немагнитных покрытий пулевых оболочек, к рассказу о которой я вскоре перейду. Но прежде я хочу подробней рассказать о самом Алексее Ивановиче. Он родился в 1890 году (т. е. был на год моложе моего отца), в том же самом поселке, где я познакомился с ним 53 года спустя, и рос в этой полугородской, полудеревенской среде. Образование у него было небольшое (обучение в техникуме было уже очень поздно — в 30-е годы, и не было доведено до конца. Алексей Иванович рассказывал об этом разные истории, но в основе все было, вероятно, просто — человеку старше 40 лет очень трудно учиться школьным премудростям).

Алексей Иванович, видимо, еще в молодости, выработал себе определенные принципы жизни и поведения, может, заимствованные им у стар-

ших. В чем-то эти принципы были довольно широкими. Но следовал он им неукоснительно. Он был в молодости, да и потом, когда я его узнал, очень общительным и веселым человеком. Любил в молодости принарядиться — сохранились фотографии, — и лихо промчаться в пролетке мимо тех, кого он хотел поразить. Алексей Иванович сочинял песни на собственные стихи, быть может, наивные, примитивные и подражательные, даже с невольным неосознанным заимствованием, но для него это было важно, и какая-то искра таланта в этом была. Последняя сочиненная им песня — уже в 50-х годах — оплакивала затопление родных ему мест при строительстве Куйбышевской ГЭС — «великой стройки коммунизма», как ее тогда называли; когда он пел эту песню, то неизменно плакал. Он был несомненно доброжелательным человеком (к тем людям, которые, по его мнению, этого заслуживали и принадлежали к определенному кругу). В доме постоянно останавливались на ночь весьма отдаленно знакомые люди, большинство — деревенские.

Алексей Иванович умел делать самые разнообразные работы — от сельскохозяйственных до сапожных — и гордился этим, так же, как и тем доверием, с которым к нему относились на заводе — он работал приемщиком-браковщиком инструмента в инструментальном цеху; но больше всего, пожалуй, он гордился тем, что до революции симбирские купцы-миллионеры доверяли ему ключи от своих амбаров, — он работал тогда возчиком.

Во время первой мировой войны Алексей Иванович был солдатом-пехотинцем, начал службу в тех же Мазурских болотах, где тогда же мой отец служил санитаром.

Отношение Алексея Ивановича к советской действительности было сложным. Он не любил «начальство» и говорил: раньше в уезде был один урядник и брал иногда лишнее, так ведь он был один. Часто вспоминал он о диких беззакониях эпохи «продразверстки», о том, как тогда «выколачивали» хлеб. Клава рассказывала, как у самого Алексея Ивановича в 30-м или 31-м году отобрали в колхоз красавца-жеребца по кличке Мальчик. (Алексей Иванович подрабатывал тогда подвозом на стройке новой очереди завода.) Мальчик вскоре погиб. Алексей Иванович тогда много плакал и не любил потом вспоминать эту историю. Как и все ульяновцы, с большой горечью говорил он о тех садах, которые росли до коллективизации на знаменитом «обрыве» (описанном у Гончарова), теперь там зона оползней, ежегодно большие деньги вкладываются в борьбу с ними. Иронически относился Алексей Иванович к газетным и радиосообщениям о трудовых успехах и т. п. «А, опять болтуны заговорили», — была его обычная фраза. С чьих-то слов он говорил об убийстве Сталиным его жены, об ежедневных разорительных пирах в Кремле, о миллионах, затраченных на убийство Троцкого.

Но в то же время, когда я как-то (уже в конце 60-х годов) неодобрительно отозвался о Ворошилове, Алексей Иванович очень рассердился на меня, и убедить его в моей правоте было невозможно. Алексей Иванович почти ничего не читал, кроме Евангелия, которое он толковал иногда довольно произвольно, на мой взгляд.

Клавину маму звали Матрена Андреевна (фамилия до замужества Снежкина) — (1898 — 1987). Она была моложе Алексея Ивановича на 8 лет, замкнутая, менее откровенная и открытая. Пока Алексей Иванович работал на заводе, большая часть работы по хозяйству (готовка, огород, продажа на рынке) была на ее плечах. В 30-е годы и она была работницей на заводе, часто вспоминала об этом (в том числе о встрече ее с директором — он, к слову, был родственником Берии и имел огромные полномочия). Видимо, это был лучший период в ее жизни — с большей независимостью, более широким кругом общения с людьми. Вспоминала она и какого-то молодого человека, ухаживавшего за ней в прошлом, до замужества, которое, возможно, в какой-то мере было по настоянию родных.

В то время, когда я узнал ее и Алексея Ивановича, мне казалось, что их семейные отношения, пройдя какие-то трудности в прошлом (я знал об этом от Клавы, в детстве и юности она была на стороне матери), достигли некоторого равновесия в зрелые годы. Но, видимо, я не все понимал и знал.

В 60-е годы Клавины родители разошлись, после 45 лет совместной жизни; конкретные причины этой драмы мне неизвестны. С тех пор Матрена Андреевна жила в Ленинграде, в семье младшей дочери, ставшей врачом, и Клава ее до самой смерти не видела. Алексей Иванович продолжал жить в своем доме в Ульяновске (перевезенном после затопления, вызванного плотиной, на новое место). Умер он совсем один, соседка случайно обнаружила его лежащим на крыльце. На похоронах Алексея Ивановича отпевали те «истовые» старики и старухи, с которыми он общался последнее время. У него нашли деньги, завернутые в бумагу с надписью: «на мои похороны».

После успешного завершения работы над прибором контроля закалки я стал как бы признанным специалистом по магнитным методам контроля. В середине 1943 года мне предложили подумать над возможностью таких методов контроля толщины латунного покрытия на оболочках пуль ТТ (для автоматов), которые не требовали бы травления. (При травлении пули портились, а самое главное — расходовалось большое количество остродефицитного серебра). Я остановился на динамическом методе, основанном на зависимости величины силы отрыва намагниченного тела (стержня), приложенного к пулевой оболочке, от толщины немагнитного покрытия, разделяющего стержень и стальную оболочку.

...Одновременно с этой задачей я в 1943 — 1944 гг. решил еще несколько задач. Ни одна из них не была опубликована, но я уверовал в свои силы физика-теоретика — что так важно для начинающего ученого.

Некоторые из решенных мною задач я потом послал Игорю Евгеньевичу Тамму, но выбрал их, видимо, неудачно, они не показались ему интересными (много лет спустя Игорь Евгеньевич деликатно сказал, что из присланных работ угадывался мой высокий уровень, но написано было непонятно). Я никак не соберусь заново оформить все эти старые работы, оригиналы статей затеряны. Название и краткое содержание я, вспомнив, включил в автореферат, написанный в 1980 году для сборника моих работ, изданного в 1982 году в США под редакцией Д. и Г. Чудновских.

...В 1944 году я стал усиленно заниматься теоретической физикой по учебникам; делал я это в парткабинете, там было тепло и светло, и я был единственным посетителем. Но вскоре заведующая, видимо, доглядела, что я читаю в служебное время не Ленина-Сталина и даже не Маркса-Энгельса, а нечто непонятное. Заведующий лабораторией Вишневский был вынужден сделать мне замечание. Впрочем, он сделал это в такой сверхвежливой форме, что оно почти что не было замечанием.

Я вернусь немного назад, к началу 1943 года. В лабораторию прибыл дорогой оптический прибор — стилоскоп, предназначенный для спектрального полуколичественного анализа сталей и других металлических сплавов. Так как я был единственный в лаборатории и на всем заводе, кто что-то знал по оптике (чисто теоретически), то мне было поручено разобраться с этим прибором. Я действительно научился очень быстро и безошибочно определять на стилоскопе марки сталей, их непрерывно путали на складах, и собственно для помощи в этом деле и предполагалось использовать чудо-технику. Для контроля своих определений я отдал какое-то количество сомнительных образцов в химическую лабораторию. Некоторые из этих анализов поручили Клаве. То ли по неосторожности, то ли из-за неисправности вытяжного шкафа она отравилась сероводородом. Этот инцидент послужил одним из толчков к нашему сближению зимой 42/43 гг.

Одновременно с оптическим методом определения марок стали я решил разработать экспресс-метод, основанный на использовании термоэлектрического эффекта. Пластинка из алюминия нагревалась от специального нагревательного элемента. К ней симметрично прикасались два стержня из эталонной и испытуемой стали. Цепь из двух стержней замыкалась через гальванометр. Если марки стержней были различными, гальванометр давал отклонение. Если марки отличались содержанием только одного легирующего элемента (например, хрома), можно было количественно оценить величину разницы содержания. Как я теперь понимаю, делая опыты с этим прибором, я легкомысленно нарушал правила противопожарной безопасности (применяя проводку-времянку). Я чуть было не получил крупные неприятности с пожарниками, но, как обычно бывает при серьезных нарушениях, дело замяли.

К сожалению, прибор не был доведен до производственной стадии. Потом я читал об аналогичных приборах, разработанных научно-исследовательскими институтами.

Однажды Вишневский вызвал меня посоветоваться в связи с тем, что в производстве пошел очень опасный брак. Уже на стадии вырубки — свертки колпачков (это заготовки гильз) они имели волнистый верхний обрез — «уши», а дальнейшая штамповка из них винтовочных гильз (калибра 7,62) оказывалась вовсе невозможной. Я сразу вспомнил университетские лекции про текстуры (ориентация микрокристалликов вдоль линии проката, возникающая при некоторых условиях). Чтобы проверить эту гипотезу, я взял несколько стальных полос из партии, дававшей «уши», нанес на них продольные риски и, взвалив себе на плечо, отправился в свой бывший цех, где попросил нарубить колпачков. На всех колпачках появились «уши», причем все как один ориентированные под углом 45° к моим рискам! Эти колпачки я показал Малову, и тот немедленно вылетел с ними в Магнитогорск, откуда пришли дефектные полосы (штрипсы). Режим проката был изменен, и колпачки вновь пошли гладкими. Конечно, догадались бы (и очень скоро) без меня (вероятно, Малов уже знал, что это текстура), но придуманный мной опыт был эффектным подспорьем.

Основная моя работа в 1944 году была связана с разработкой прибора для контроля бронебойных сердечников калибра 14,5 мм на наличие продольных трещин. Пули, в которых были сердечники с трещинами, рвались в канале ствола противотанковых ружей. Это был необычайно опасный дефект, требовавший сплошного контроля...

Я узнал, что над той же задачей работает один из сотрудников некоего ленинградского НИИ, прикомандированный к заводу. Я поехал ознакомиться с его работами. Мне очень понравился примененный принцип (соавтором был другой инженер, недавно умерший, кажется, после блокады). Использовался скин-эффект на ультразвуковых частотах. Каждый сердечник на секунду помещался в индукционную катушку, являвшуюся плечом индукционного моста. При наличии трещины возрастали индуктивность и омические потери (из-за увеличения «намагниченной» поверхности), мост выходил из равновесия, срабатывало реле и сердечник отбраковывался.

Сотрудника НИИ звали Алексей Николаевич Протопопов. Я рассказал ему о своих попытках, признал преимущества его принципа и сказал, что готов идти к нему в подручные, предупредив, что я больше теоретик, чем инженер или экспериментатор. Он усмехнулся, но согласился. Я перешел из ЦЗЛ в тот цех, где работал Протопопов. В дальнейшем мне, кроме него, очень помог в работе начальник цеха, уже немолодой инженер Ф. П. Балашов. Это был несколько на вид усталый, но фактически очень дельный и работящий человек, приносивший большую пользу делу и всем, кто с ним соприкасался.

За несколько месяцев мы изготовили опытный образец прибора (имевший вполне индустриальный вид). В лабораторных условиях были определены параметры допустимого эллипса рассеяния величины комплексного сопротивления индукционной катушки с помещенным в нее сердечником. Их удалось выбрать так, что сердечники, не обладающие трещинами, не браковались, а сердечники даже с очень малыми трещинами, не представляющими большой опасности, шли в брак. Стабильность работы прибора обеспечивалась специальными циклами автоматического самоконтроля. Предстояло испытание прибора в производственных условиях — на многих десятках тысяч сердечников, вместо тех 100—200, которыми мы пользовались в лаборатории.

В это время Протопопов получил вызов в Ленинград. Он очень заволновался. С одной стороны, ему хотелось довести до дела прибор, которому было отдано больше года работы и который, несомненно, был нужен. С другой — жизнь в эвакуации очень ему надоела, а Ленинград манил с непреодолимой силой; были, видимо, и чисто личные причины — его жена, как я узнал много лет спустя, была серьезно больна. В конце концов он решился уехать, и мы с Ф. П. Балашовым остались вдвоем. Прибор погрузили на телегу и отвезли в цех. Начались производственные испытания. Работа прибора контролировалась в ходе испытаний при помощи сплошного визуального осмотра, который является узаконенной обязательной операцией. Делалось это так — привезенные из термического цеха закаленные сердечники высыпались на обитые жестью смотровые столы. Девушки, работавшие на осмотре, протирали сердечники тряпками, смоченными керосином, а затем по одному осматривали их при свете ярких ламп, до предела напрягая глаза. Работали они, как и все, по 11 часов. Но это официально. Фактически, если девушки не выполняли норму, их оставляли дольше, иногда до шестнадцати часов. Самой младшей было 14 лет, самой старшей — 20. И все же время от времени на контрольном отстреле в тире происходило ЧП — каким-то образом при визуальном осмотре пропускались сердечники с трещинами и они рвались в стволе. В этом случае отбраковывалась вся партия бронебойных патронов — 50 тысяч штук!

Наш прибор и был призван заменить этот адский и не всегда приводящий к цели труд. А пока, во время испытаний, каждый сердечник проходил и через прибор, и через смотровые столы. Я провел в цехе около месяца. В общем, прибор показал себя хорошо. Ошибки были, но не больше, чем при визуальном методе. После принятия специальной комиссией прибор был принят в эксплуатации, вместо визуального осмотра. Как я узнал от Алексея Ивановича, прибор работал до конца 1945 года или до середины 1946-го, потом сломался, и его не смогли починить. Обычная история с новой техникой, в основе которой лежат организационные причины. В данном случае меня утешает, что, вероятно, выпуск бронебойных патронов в 1946 году практически был прекращен.

В конце декабря 1944 года мне пришел вызов в Москву в Физический институт Академии Наук СССР (ФИАН), к известному физику-теоретику Игорю Евгеньевичу Тамму, для экзаменов в аспирантуру. Вызов был послан после того, как мой папа обратился к Игорю Евгеньевичу с соответствующей просьбой (тогда же я послал свои работы). И. Е. знал папу еще с 30-х годов и относился к нему с большим уважением и доверием (они встречались в Педагогическом институте и на заседаниях туристического общества — И. Е. был страстный турист и альпинист; кроме того, И. Е. знал папу через Ландсберга и Леонтовича и по его книгам — может, это было главное). Толчком для папы послужила встреча с Петей Куниным — он уже был в аспирантуре у Игоря Евгеньевича и уговаривал папу, что мое место — там же. Папа решил сделать попытку. Он верил в мои способности с детства, и его мечта была, чтобы я стал научным работником. Хотя я и поступил тогда в аспирантуру, но дальнейшая моя судьба сложилась неоднозначно, не прямолинейно.

Я уже давно внутренне был готов перейти на чисто научные занятия, готовился к этому (хотя мне и было немного жалко оставить ту изобретательскую работу, которая начала у меня получаться). Но тяга к науке была сильней, с огромным перевесом.

Клава (и Алексей Иванович) также считали, что я обязательно должен ехать. Я подал заявление начальству с просьбой об увольнении, в начале января получил разрешение и 12 или 14 января выехал в Москву. Клава была беременной на последнем месяце. Мы надеялись, что она вскоре сможет присоединиться ко мне — уже с ребенком. Бытовые проблемы — где жить, на что жить — рисовались нам при этом очень туманно.

Клава и Алексей Иванович вдвоем провожали меня. Мой поезд отходил поздно вечером со станции Ульяновск-1 (вокзал в городе); была вьюжная, темная зимняя ночь. Проводив меня, они пешком прошли через спящий город и в 6 часов утра на станции Ульяновск-II сели на «трудовой» поезд, на котором добрались до дома.

Наша первая дочь Таня родилась через три с половиной недели после моего отъезда, как я уже писал, 7 февраля. В роддоме было холодно, топили бумагой. Роды, как это часто бывает при первом ребенке, были тяжелые.

Аспирантура в ФИАНе. Наука

Папа и мама встретили меня на вокзале. Меня поразило, как они изменились за прошедшие два с половиной года. Мы успели поговорить, пока не кончился комендантский час и открылось движение, и нас выпустили с

вокзала. Они жили на той же Спиридоньевской улице, рядом с Гранатным переулком, но уже не в помещении ясель. Им предстоял суд с бывшими хозяевами предоставленной им комнаты, вернувшимися из эвакуации (что, конечно, было полной юридической нелепостью. Более логично — бывшие хозяева могли бы судиться с Моссоветом и требовать о т н е г о переселить моих родителей куда-либо еще, но такого у нас не бывает. У бывших хозяев были две комнаты. Одна отошла им, а другая — моим родителям, и в этой комнате они прожили всю дальнейшую жизнь). Папа и мама после призыва Юры в армию жили вдвоем, теперь — до приезда Клавы — мы стали жить втроем.

На следующий день я уже входил в домашний кабинет Игоря Евгеньевича на Садовой. (В квартиру меня впустил кто-то из домашних.) Игорь Евгеньевич встал мне навстречу. В комнате была та же обстановка, которую я потом видел на протяжении десятилетий — над всем главенствовал письменный стол, засыпанный десятками пронумерованных листов с непонятными мне вычислениями, над столом — большая фотография Леонида Исааковича Мандельштама, умершего в 1944 году выдающегося физика, которого Игорь Евгеньевич считал своим учителем в науке и жизни. (Это были, как я убежден, не просто слова, а нечто действительно очень важное для И. Е.) По стенам — шкафы с книгами на трех языках — русском, английском и немецком — научные, справочники, немного — художественных. Длинный ряд зеленых «физ-ревов» *. И (к сожалению, т. к. я антикурильщик) — густые клубы голубого дыма над письменным столом. И. Е. не мог работать без папиросы, хотя и страдал при этом от приступов кашля. На стене висела карта военных действий. Только что передали последнюю сводку, и И. Е. переставлял флажки — как все, что он делал — с удивительной живостью и четкостью. Шло январское наступление — вероятно, самое крупное за всю войну. Игорь Евгеньевич спросил меня о папином здоровье и потом, почти сразу, начал спрашивать меня о науке. Он вел этот опрос тактично и спокойно, но с достаточно острым проникновением в тело моих знаний — весьма скромных, хотя твердых и, как мне кажется, не поверхностных. (Сам себя я оценивал, без излишней скромности, формулировкой военного билета: «Годен, не обучен».) К концу разговора И. Е. стал более требователен, по-моему, это означало, что он стал относиться ко мне всерьез. Он сказал, что принимает меня к себе в аспирантуру, на оформление уйдет несколько дней.

— Как у вас с языками?

Я сказал, что читаю по-немецки и совсем не знаю английского. Игорь Евгеньевич очень огорчился (возмутился) второй частью ответа.

— Вы должны немедленно освоить английский, сначала до уровня чтения «Physical Review» со словарем. Это надо сделать очень быстро, вне всяких формальных требований к аспирантам, независимо, без этого вы не сможете шагу ступить и вообще у вас ничего не получится. Но главные силы вы должны употребить на то, чтобы действительно глубоко изучить те книги, которые я вам дам. Это прекрасные книги. Они на немецком языке. К счастью, вы его знаете.

Это были книги Паули «Теория относительности», замечательный обзор, очень глубокий и с подробной прекрасной исторической и экспериментальной частью (действительно, лучшая книга по теории относительности, а написана она Паули в возрасте 19 лет!), и «Квантовая механика», тоже прекрасная книга. В дополнение к последней книге И. Е. дал мне рукопись статьи Мандельштама «К теории косвенных измерений», тогда она еще не была опубликована, теперь с ней можно ознакомиться в собрании избранных трудов Леонида Исааковича по оптике, теории относительности, квантовой механике и электродинамике. Это была очень интересная статья об интерпретации квантовой механики, написанная с большой глубиной и блеском. Многие сейчас считают проблему интерпретации квантовой механики исчерпанной. Но не перевелись еще и такие, кто ищет «скрытые параметры» или нечто еще более несбыточное, считая, как великий Эйнштейн, что Бог не играет в кости. Истина, наверное, гораздо ближе к первой позиции. Но мне все же кажется, что интерпретация квантовой механики еще не достигла той завершенности и ясности, которая имеется

* «Physical Review» — «Физическое обозрение».

в классической физике, включая теорию относительности (основной объект нападок целой армии ниспровергателей)...

Идея, что непосредственным объектом теории должны быть только свободные частицы, получила особенную популярность в связи с трудностями теории элементарных частиц. Но, во-первых, нерелятивистская квантовая теория вполне замкнута, описывает целый мир фактов и должна иметь свою интерпретацию независимо от того, что выяснится в теории элементарных частиц. Во-вторых, развитие теории элементарных частиц вот уже более пятнадцати лет идет под знаком реабилитации локальной квантовой теории поля; оказалось, что казавшиеся непреодолимыми трудности исчезают в так называемых калибровочных gauge теориях, в особенности в их суперсимметричных вариантах. (Добавление 1987 г. Сейчас особые надежды возлагаются на так называемые «суперструны». Это нетривиальное развитие идей квантовой теории поля, без какого-либо пересмотра принципов квантовой механики.) На самом деле сейчас приходится удивляться не трудностям, а успехам так называемой «стандартной модели». Но я забежал на четыре десятилетия вперед.

Книги Паули и статью Мандельштама я прочитал немногим более, чем за три месяца. Мне кажется, что выбор И. Е. для меня именно этих книг был удивительно удачным, сразу дал правильное направление моему ученью и работе на многие последующие годы.

Я стал в те же дни регулярно ходить на теоретические семинары, которыми руководил Игорь Евгеньевич. Было два типа семинаров — общемосковский, который происходил по вторникам в конференц-зале, и внутренний, «треп», происходивший по пятницам в кабинете И. Е. Игорь Евгеньевич сам распределял доклады по этим семинарам. Отдел работал также коллективно над монографией о мезоне (обзор экспериментальных и теоретических работ) — о мю-мезоне, сказали мы бы сейчас. Но этот обзор, к сожалению, устарел в момент выхода в свет — после того, как Пауэлл, Латтес и Окиалини открыли пи-мезон, а еще до этого выяснилось, что мю-мезон слабо взаимодействует с ядрами и очень медленно захватывается ими и поэтому не имеет отношения к ядерным силам.

Я вновь возобновил дружбу с Петей Куниным, а также у меня установились дружеские отношения с другими аспирантами теоротдела и вне его. Среди них был новый товарищ Пети — Шура Таксар, приехавший откуда-то из Прибалтики. Когда приехала Клава, она тоже вошла в этот круг. Таксар жил в общежитии со своей женой Тамарой, и мы часто ходили к ним в гости. Шура чем-то напоминал мне моего исчезнувшего товарища Яшу (хотя внешне они были очень непохожи). ФИАН тогда был еще очень невелик, и в круг моих друзей естественно вошли некоторые молодые ребята из других отделов — в их числе Матвей Рабинович, которого я помнил еще по университету — он был старше меня на курс или два. Матвей (его все звали Муся) специализировался под руководством Владимира Иосифовича Векслера, изобретателя новых принципов ускорения элементарных частиц, в совершенно тогда новой области ускорителей. Он быстро достиг там крупных успехов, а впоследствии перешел на физику плазмы и магнитно-термоядерную тематику. Вчера (июнь 1982 г.) я узнал о смерти Матвея Самсоновича Рабиновича, после года тяжелой и мучительной болезни.

Несколько раз я бывал у другого аспиранта — К. Владимирского, он с увлечением рассказывал мне о своей работе, он был не из нашего отдела.

Все они, за исключением Пети Кунина, после того как я в 1968 году оказался в «новом качестве», исчезли с моего горизонта (а некоторые, может, еще раньше, отчасти по моей вине); Таксар в середине 70-х годов получил разрешение на выезд, живет в ФРГ (сведения от Кунина).

Кроме Кунина и Таксара, аспирантами теоротдела в 1945—1948 гг. были — Гурген Саакян (сейчас он работает в Ереване, занимается астрофизикой, в частности, теорией строения звезд); Володя Чавчанидзе (стал руководителем Института кибернетики в Тбилиси), Джабага Такибаев (академик Казахской ССР, занимается процессами в космических лучах при сверхвысоких энергиях); Авакян (я не помню, к сожалению, его имени и научной специализации); Павел Немировский — «Павочка» (он получил после окончания аспирантуры предложение работать в Институте

атомной энергии; как я рассказываю дальше, аналогичное предложение получил и я, но я отказался; Немировский согласился и до сих пор работает в Институте; у него хорошие научные достижения в области теории атомного ядра; впоследствии мы стали его соседями, Клава была в хороших отношениях с его женой Шурочкой).

Ефим Фрадкин, как мы все его звали — Фима, появился в теоротделе в конце 1947 года, после демобилизации. Вся его семья была уничтожена немцами, он был совсем одинок.

Фрадкин в возрасте 17 лет был призван в армию, участвовал в боях на Западном фронте и под Сталинградом получил тяжелое ранение — сквозная рана из правой щеки в левую с перебитыми зубами, челюстью и пробитым языком. Фима говорил, что когда в комнату теоретиков входит генерал (уполномоченный ЦК КПСС и Совета Министров генерал КГБ Ф. Малышев), у него непреодолимый солдатский рефлекс вскочить по стойке смирно. Из всей нашей компании Фрадкин единственный достиг того амплуа высокопрофессионального физика-теоретика «переднего края», о котором мы все мечтали. У него большие достижения почти во всех основных направлениях квантовой теории поля (метод функций Грина в теории перенормировок, функциональное интегрирование, калибровочные поля, единые теории сильного, слабого и электромагнитного взаимодействия, общая теория квантования систем со связями, супергравитация, теория струн и др.). Ему первому, независимо от Ландау и Померанчука, принадлежит открытие «Московского нуля» (я потом объясню, что это такое).

Многие из полученных Фрадкиным результатов являются классическими. В методических вопросах Фрадкин не имеет себе равных. В 1970 году он стал членом-корреспондентом АН СССР, пользуется большой и заслуженной известностью во всем мире.

В связи с трудностями квантовой теории поля (в частности, воплощенными в «Московском нуле») в середине 50-х — начале 60-х годов возникло скептическое отношение к этой теории; к сожалению, этот скептицизм в какой-то мере распространился и на работы Фрадкина; некоторые из полученных им существенных результатов не были своевременно замечены и впоследствии переоткрывались другими авторами; в некоторых же важных вопросах и сам Фрадкин не проявил должной настойчивости. Может, наиболее драматический пример — исследование бета-функции Гелл-Мана — Лоу в неабелевых калибровочных теориях (я не буду тут расшифровывать эти специальные термины, скажу лишь, что в зависимости от знака бета-функции имеет место либо трудность «Московского нуля» — именно так было во всех исследовавшихся до сих пор теориях, или гораздо более благоприятная ситуация, условно называемая «асимптотическая свобода»). У Фрадкина и его соавтора Игоря Тютина тут все было в «руках», но они не обратили внимания на знак бета-функции или не придали этому должного значения, поглощенные преодолением расчетных трудностей. Аналогичная беда постигла (еще до Фрадкина и Тютина, если я не ошибаюсь) сотрудника Института Экспериментальной и Теоретической Физики Терентьева, которого не поддержал И. Я. Померанчук, тогда увлеченный «похоронами лагранжиана» (т. е. квантовой теории поля), и физика из Новосибирска И. Хрипловича. Асимптотическая свобода была потом открыта Вилчеком и Гроссом и одновременно Политцером, это открытие составило эпоху в теории элементарных частиц.

В феврале — апреле 1945 года я, почти не отрываясь, прорабатывал обе книги Паули, и они меняли мой мир. Но в то же время мне удалось сделать небольшую работу, доставившую мне удовольствие (хотя потом она и оказалась повторением уже опубликованных работ других авторов). На пятничный семинар пришел проф. Дмитрий Иванович Блохинцев (он тоже формально был сотрудником теоротдела, но находился в сложных отношениях с И. Е. и с остальными и действовал часто на стороне). В руках у него была мензурка с водой. Блохинцев щелкнул по мензурке пальцами, все услышали чистый тонкий звук. Затем он взболтал мензурку, зажав ее ладонью, и раньше, чем пузырьки успели всплыть, постучал еще раз — звук был глухой! Блохинцев сказал: вот интересная и важная задача. После бури в морской воде очень много пузырьков, они приводят к исчезновению подводной слышимости. Это очень важно для подводных лодок. В тот же вечер и в ближайшие дни я составил теорию явления. В поле переменного давления звуковой волны пузырьки испытывают радиальные колебания объема, при этом оказывается возможным резонанс, колебания большой амплитуды. Наличие в воде колеблющихся пузырьков меняет макроскопическую скорость звука, возникает звуковая «мутность». Я нашел также механизм поглощения звука. При сжатии и расширении воздуха в пузырьках происходит периодическое адиабатическое нагревание и охлаждение. Температура воды практически постоянна. На границе воды и воздуха возникают процессы теплообмена (тепловые волны), приводящие к диссипации. Игорь Евгеньевич посоветовал мне показать эти вычисления в Акустическом институте Академии наук. Я поехал туда, к сожалению, я не помню, с кем я говорил (кажется, одним из моих собеседников был Л. Бреховских, впоследствии академик). Мне быстро объяснили, что вездесущие немцы уже опередили меня. Но история на этом не совсем кончилась. Через тридцать лет мой зять Ефрем Янкелевич, работая на рыбо-научной станции, получил задание по изучению подводных звуков, испускаемых рыбами (они это делают, приводя в колебание свой плавательный пузырь). Мне пришло в голову, что самое время вспомнить свои работы 30-летней давности (то, что колебания имеют не радиальный, а «квадрупольный» характер, не вызывает трудностей). В частности, возможен резонанс. К сожалению, эта работа не получила развития — Ефрем вскоре был уволен.

И. Я. Померанчук все то, что не является большой наукой, называл «пузырьками» (не обязательно это были реальные пузырьки, как в только что рассказанной истории). Я немало имел дело с такими несолидными вещами, по существу и то, чем я занимался с 1948 по 1968 год, было очень большим пузырем.

Все сотрудники Игоря Евгеньевича были обязаны по очереди выступать на семинарах с реферированием вновь поступающей научной литературы (тогда, в особенности, «Физ-ревов»). Это распространялось и на молодых, как только они «вставали на ноги», и заставляло их «тянуться» изо всех сил. Подразумевалось, что это почетная и одновременно приятная обязанность. Поначалу, конечно, было невероятно трудно. Но зато — докладывая, например, работу Швингера об аномальном магнитном моменте электрона, я чувствовал себя посланцем богов. Я до сих пор помню, как тогда после моего сообщения об этой работе к доске выскочил Померанчук и в страшном волнении, теребя волосы, произнес что-то вроде:

— Если это верно, это исключительно важно; если это неверно, это тоже исключительно важно...

Это было, кажется, уже в 1948 году. Я далеко не сразу достиг того уровня широты и понимания, который необходим для реферирования, а потом — после привлечения к военно-исследовательской тематике — почти мгновенно потерял с таким трудом достигнутую высоту. И более никогда уже не смог на нее вернуться. Это очень жаль. И все же я в своей последующей работе в значительной степени опирался на то понимание, которое приобрел в первые фиановские годы под руководством Игоря Евгеньевича. Еще одно его требование, столь же мудрое, было — обязательное преподавание. Я три семестра читал лекции в Московском энергетическом институте, затем еще полгода — в вечерней рабочей школе при Курчатовском институте. Боюсь, что я был неважным преподавателем, хотя быстро учился на собственных ошибках преподавательскому опыту, в вечерней школе с ее другим контингентом пришлось учиться заново; возможно, если бы я продолжал преподавать — а я этого хотел, — то со временем из меня кое-что бы получилось.

В МЭИ заведующим кафедрой физики был проф. В. А. Фабрикант. Он очень опасался моей педагогической неопытности и давал мне разные полезные наставления. Его собственная научная судьба драматична. Примерно в те же годы, когда мы общались, он (вместе со своей сотрудницей Бутаевой) предложил принцип лазера и мазера (использование эффекта индуцированного излучения, на существование которого в 1919 году впервые указал Эйнштейн). Но радость осуществления этой замечательной идеи — и известность — достались другим. Говорят, что какую-то роль сыграло то трудное положение, в котором оказались в те годы борьбы с «космополитизмом» многие евреи. Впрочем, я не имею тут информации из первых

рук. Может, просто сказалась общая трудность проведения научной работы в условиях вуза — перегрузка учебной и административной работой, крайняя бедность в отношении материалов и оборудования. Через 20 лет Фабриканту была присуждена премия имени Вавилова (я был в числе членов комиссии). Явилась ли эта запоздалая премия хоть каким-то утешением уже старому и больному человеку, стоявшему у истоков одного из самых удивительных открытий нашего времени?

В Энергетическом институте я успел прочитать три курса — ядерной физики, теории относительности, электричества. Потом, — из-за каких-то кадровых проблем, возникших на кафедре, — вероятно, тоже в связи с борьбой против «космополитизма», пришлось уйти. Читал я один день в неделю, два часа. Подготовка к одной лекции занимала полностью один день или больше. Я не писал текста лекции, только конспект. После лекции чувствовал себя настолько усталым, что не мог уже ничем больше заниматься.

Из моих переживаний — прием экзаменов. Особенно я помню первый принятый мной экзамен — не меньше, чем первый сданный. Сначала я никак не мог «поймать» своих студентов, и у меня шли сплошные «пятерки». Лишь на последнем экзаменуемом я обрел «жесткость», он не ответил на один из моих, на самом деле чуть-чуть выходящих за обязательные рамки вопросов, и я поставил ему «четверку». Получилось постыдно, несправедливо, хуже всего, что мы оба это поняли. Я до сих пор чувствую вину перед этим молодым человеком, его фамилия — Марков, он был одним из лучших в группе.

Читая лекции, я «выучил» для себя ядерную физику (на том уровне, который был достигнут тогда, примерно в объеме известного обзора Ганса Бете в «Ревью оф Модерн физикс»); электродинамику и теорию относительности (в объеме учебников Ландау и Лифшица и монографии Паули). Я часто думаю, как было бы здорово, если бы я успел «пройтись» по всем теорфизическим дисциплинам. Мне кажется, если бы я в 50-х и 60-х годах прочитал курсы по квантовой механике и квантовой теории поля и элементарных частиц, включая теорию симметрии, по статистической физике (с теми новыми методами, которые перенесены в нее из теории поля), по газо- и гидродинамике, по астрофизике, то в моем образовании не было бы тех зияющих провалов, которые так мешали моей работе на протяжении десятилетий. Но моя жизнь сложилась иначе...

Что касается преподавания в вечерней школе, то, конечно, я ничего не получал в смысле повышения знаний, но зато педагогическая практика была очень полезной, и деньги — тоже. Много лет спустя, встречаясь со своими бывшими учениками, я чувствовал с их стороны большое уважение, оно было мне лестно и приятно.

Конечно, главным, что способствовало научному росту, была собственная научная работа, доведенная до стадии публикации (знаменитая триада Бора: work, finish, publish). Об этом чуть ниже. Что же касается аспирантских экзаменов, которым придают большое значение некоторые научные руководители, то тут Игорь Евгеньевич был очень либерален, они превращались почти в формальность.

Преподавание было для меня очень существенно как источник дополнительного дохода в семейный бюджет — в прибавку к небольшой тогда аспирантской стипендии. Я также подрабатывал, составляя рефераты для «Реферативного сборника» и для «Успехов физических наук». Мне кажется, что я делал это неплохо. Но научной пользы мне самому это приносило меньше, чем преподавание, тут не было той систематичности, благодаря которой образуется прочный фундамент на всю жизнь.

А деньги были нужны. Не только на еду — с питанием, конечно, было неважно, но тогда так было у большинства, у многих еще хуже; у нас же было три карточки на троих — моя, как аспиранта, Клавина — иждивенческая, Танина — детская. Вообще, чтобы не было ложного впечатления, я хочу подчеркнуть, что наши трудности не были тогда исключением — почти всем в первые послевоенные годы жилось нелегко, нам скорей гораздо легче в материальном отношении, чем другим — большинству; а самое главное — в нашей семье все были живы. Защитив диссертацию, я получил гораздо лучшую карточку, но тут карточная система была отменена — одновременно с очень разорительной для многих денежной реформой.

Главная трудность была квартирная. Мы все время должны были снимать комнату то у одних, то у других хозяев, больше двух месяцев не удавалось обычно задержаться нигде по не зависящим от нас причинам. Комнаты были обычно плохими, иногда нестерпимо холодными, наша маленькая дочь простужалась, у нее начался пиелит, один раз мы жили в проходной подвальной комнате, очень сырой, хозяева непрерывно ходили мимо нас; другая комната была теплой и сухой, но хозяйка, бравшая деньги за месяц вперед, имела обыкновение выживать своих жильцов досрочно разными безобразиями и таким образом «снимать два урожая с одной нивы» — у нее была справка из психдиспансера, и ей сходило с рук. С нами у нее номер не получился — мы все выдержали, спали, привалив входную дверь мешком картошки. По истечении месяца она привела выселять нас милиционера, очевидно, ее знакомого, и нам пришлось все же уехать. После того как нам отказывали в квартире, нам приходилось каждый раз возвращаться к моим родителям, и это еще больше обостряло и без того плохие отношения, сложившиеся между Клавой и моей мамой. Это было большой бедой для нас, в которой в равной мере были виноваты — или не виноваты — мы трое: я, Клава и мама; папа же занимал очень разумную позицию.

В 1947 году, отчаявшись найти комнату в Москве (мало кто хотел сдавать семье с ребенком), мы сняли две комнаты в Пушкино под Москвой, в частном доме (в ФИАН я ездил на электричке два раза в неделю). Там я, в более холодной комнате, устроил себе — первый раз в жизни — кабинет. Накинув на плечи шубу, я усердно писал диссертацию. Клава время от времени посылала Таню проведать, не обратился ли я в ледышку. Таня подглядывала в щелку, потом возвращалась с докладом:

— Там папуська смеется.

Хозяин, в прошлом сапожник, в это время был уже тяжело болен, не вставал с постели. Семья существовала за счет того, что хозяйка что-то перепродавала на рынке (в СССР это называется спекуляцией и считается уголовно наказуемым, однако множество людей живет таким способом, «подмазывая» милицию и другое начальство и время от времени, если не повезет, пополняя ряды заключенных; в первые послевоенные годы черный рынок особенно процветал). Хозяйка была расположена к нам и часто вела задушевные разговоры, очень колоритные. В ее рассказах о разных «удачливых» женщинах часто встречался забавный рефрен:

— У нее были груди — во; он (т. е. муж или не муж) устроил ей жизнь, «как в сказке»...

Этот рефрен я часто потом вспоминал (в последние годы мы с Люсей дополняли иногда формулировку — как в сказке, только страшной).

Осенью 1947 года мы, через каких-то посредников, сняли маленький домик недалеко от станции метро «Динамо», по слухам принадлежавший полковнику ГБ. Только мы стали его осваивать, как к Клаве, в мое отсутствие, явился некий представитель ГБ и предложил ей «сотрудничать», докладывать ему о всех моих встречах, конечно, не посвящая меня в это; обещал помочь в житейских делах. Клава отказалась, через два дня нас «вытряхнули» из домика, сославшись на «оперативную необходимость». Замечу, что я тогда еще не имел никакого отношения к секретной работе. Так что этот эпизод был просто вполне ординарным узелком той общей сети слежки, которая охватывала всю страну.

Папа помогал нам оплачивать жилье, этого не хватало; весной 1947 года Игорь Евгеньевич дал мне в долг 1000 рублей, я смог отдать их только после защиты диссертации. Как-то, оказавшись совсем без денег (не на что было купить молока), Клава пыталась продать полученные по карточкам конфеты; но ее тут же схватила милиция как спекулянтку; еле отпустили.

В январе 1948 года по ходатайству Института нам предоставили номер в гостинице Академии Наук (формально это был «Дом для приезжающих ученых», но там было большинство таких, как я, к тому же не имеющих никакого отношения к академии). Номер мне оплачивал ФИАН, частично или полностью, сейчас не помню. По поводу этого дела я ходил к директору ФИАНа, известному оптику академику Сергею Ивановичу Вавилову; Сергей Иванович был родным братом другого академика, еще более известного — Николая Ивановича Вавилова, биолога, арестованного и погибшего в заключении за несколько лет до этого. Эта история была одной из самых

ужасных страниц в многолетней трагедии советской биологии. Сергей Иванович вскоре стал (или уже был) Президентом Академии Наук. При этом он регулярно — минимум раз в неделю, встречался с Т. Д. Лысенко, членом Президиума АН, который был одним из главных виновников гибели его брата. Представить, как это происходило, мне трудно.

Дополнение 1987 г. Недавно Я. Л. Альперт, один из старейших сотрудников ФИАНа, рассказал мне (со слов Леонтовича, а тот якобы слышал от Вавилова) следующую историю. Вавилову, возможно, самим Сталиным или через кого-либо из его приближенных, было сообщено: есть две кандидатуры на пост президента Академии — Вы, а если Вы не согласитесь — Лысенко. Вавилов просидел, обдумывая ответ, всю ночь (выкурив при этом несколько пачек папирос) и согласился, спасая Академию и советскую науку от неминуемого при избрании Лысенко ужасного разгрома. Дополнение 1989 г. По версии, сообщенной Е. Л. Фейнбергом, альтернативным кандидатом в президенты был А. Я. Вышинский. Пожалуй, это правдоподобней — и еще страшней!

Вавилов был доброжелательным человеком, в личном общении — мягким и добрым. Он, в качестве депутата Верховного Совета СССР, очень много общался с избирателями, приезжавшими к нему с жалобами и просьбами. Что это было такое — я легко могу себе представить по своему личному опыту «Комитета прав человека» в 70-х годах. У него в столе лежали заготовленные заранее конверты с деньгами (из его президентской зарплаты), и он, не имея в большинстве случаев реальной возможности помочь несчастным людям иначе, давал многим эти деньги. Это стало известно, и ему пытались это запретить. Вавилов был, кроме ФИАНа, директором еще одного института, ко всем своим обязанностям относился чрезвычайно рьяно, самоотверженно (тут я могу сравнить его только с еще одним, в некоторых отношениях совсем другим человеком, — с Юлием Борисовичем Харитоном, научным руководителем учреждения, где я потом проработал много лет). К личным делам сотрудников Сергей Иванович относился всегда с большой заботливостью, он глубоко и искренне любил науку и был прекрасным ученым-оптиком, а также хорошим популяризатором. В качестве президента ему приходилось много выступать с официальными речами. В одной из них он назвал Сталина «корифеем науки», этот пущенный им в ход эпитет стал почти что частью официального титула (видимо, понравился).

Судьба двух братьев — умирающего от голода при чистке нечистот в Саратовской тюрьме и осыпанного всеми почестями президента — была парадоксом, крайностью даже в то время, но и было в этом что-то очень характерное.

Сергей Иванович, и раньше относившийся ко мне внимательно, хорошо запомнил мою жилищную проблему. Мне говорил потом Игорь Евгеньевич, что это сыграло некоторую роль в моей дальнейшей судьбе.

В 1945—1947 годах Игорь Евгеньевич разрабатывал выдвинутую им гипотезу о природе ядерных сил (сильных взаимодействий, в более современном словоупотреблении). Как теперь очевидно, это была преждевременная попытка, которая не могла быть удачной. Ведь даже пи-мезон, легчайший из мезонов, определяющий значительную часть ядерных взаимодействий при меньших энергиях, был открыт только к концу этого периода, и, естественно, его квантовые числа и изовекторная природа были неизвестны (я не разъясняю в этой книге некоторые термины, пусть читатель не-физик извинит меня, рассматривая их как некие туманные и прекрасные образы). А вся очень хитрая механика сильных взаимодействий до конца не выяснена до сих пор, хотя каждое последующее десятилетие приносило удивительные экспериментальные открытия и глубокие теоретические идеи.

В специальной гипотезе Игоря Евгеньевича предполагалось существование заряженного псевдоскалярного мезона и нейтрального скалярного. Он предложил Пете Кунину произвести релятивистские — очень трудные — расчеты ядерных взаимодействий двух нуклонов (это собирательное название для протона и нейтрона), а мне дал тему — рождение мезонов. Так как модель имела мало общего с действительностью, то от наших работ почти ничего не осталось, у Пети — преодоленные им методические трудности. Что касается меня, то мой главный выигрыш был в том, что я освоил метод расчетов по нековариантной теории возмущений (по книге Гайтлера, именно тогда я с ней познакомился), тогда — до работ Фейнмана — это было вершиной науки, впоследствии мне эти навыки очень пригодились. В моей работе были некоторые моменты, сохранившие свое значение вне зависимости от конкретной формы модели И. Е. Тривиально, но важно — я вычислил (вероятно, далеко не первый) пороги рождения частиц в лабораторной системе отсчета (т. е. такой, в которой покоится нуклон мишени). Я также указал, что пороги сдвигаются в сторону меньших энергий, если учесть, что нуклоны связаны в ядре, и дал оценку сечений в этой расширенной области энергий налетающих частиц. Я рассмотрел процесс рождения частиц и рассеяния света в сильных полях. Это тогда не имело актуального практического значения, но представлялось поучительным теоретически. Теперь нелинейное рассеяние света наблюдают в лазерных пучках, это целая отрасль науки. Для меня тогда рассеяние света скорей имело иллюстративное значение. В работе приведен пример, когда теория особенно прозрачна — рассеяние на свободном электроне поляризованного по кругу света с удвоением частоты. Классически электрон движется по кругу, удвоенная частота соответствует квадрупольному излучению. (Удвоенная частота и другие «обертоны» возникают потому, что при конечном радиусе орбиты эффекты запаздывания делают сигнал не синусоидальным, это теория так называемого синхротронного излучения.) На квантовом языке — электрон поглощает два фотона и испускает один. Я сделал работу за несколько месяцев в 1946 году, а в 1947 году она была опубликована в основном научном физическом журнале «Журнал экспериментальной и теоретической физики», сокращенно ЖЭТФ. Это была моя первая публикация. Радость была испорчена тем, что я уже понимал, что теория И. Е. не верна. Редакция при публикации заменила название «Генерация мезонов» на неточное «Генерация жесткой компоненты космических лучей»; И. Е. объяснил мне замену так:

— Даже Лаврентий Павлович (Берия) знает, что такое мезоны.

Я не думаю, что реально имелось в виду вмешательство самого Берии, он тут в этой фразе в качестве крайнего примера, но вполне можно было опасаться реакции «бдительных» людей меньшего ранга, достаточно опасных и автору, и редактору. Незадолго до этого прошло шумное дело об имевшем якобы место рассекречивании информации о методах лечения рака (на самом деле в основе лежала абсолютная пустышка, но это выяснилось потом, а тогда Сталин был в гневе; в нормальном обществе вся эта история представляется абсурдной, но мы не были нормальным обществом). Тогда очень обострилась вся обстановка в издательском мире, а вскоре появились те ужасные правила публикации научных и технических статей, которые действуют до сих пор, пережив все смены руководства. Эти правила предусматривают на каждую статью сложную систему оформления — представление справок и многостраничных анкет, акта специальной постоянной комиссии учреждения, в котором работает автор (а если автор по тем или иным причинам не работает в научном учреждении, то он и вовсе не может опубликовать свою статью). В акте комиссии должно быть указано, что в статье нет секретных данных или запатентованных предложений, имеющих важное прикладное значение. Затем все эти документы отсылаются в так называемый Главлит (условное название для ведомства цензуры, работа которого окружена таинственностью — никто из простых смертных не должен знать его сотрудников). У Главлита свой — необъятный — список запретных тем — не только по соображениям секретности, а главным образом, по «политическим» (запрещается, например, публикация данных о преступности, алкоголизме, эпидемиях, состоянии здравоохранения и образования, водоснабжения, самоубийствах, запасе и производстве цветных металлов, реальных данных о питании населения и его доходах, о посещаемости кино и театров, демографических данных, о состоянии охраны среды, о стихийных бедствиях и катастрофах без специального разрешения для данного случая и т. д. и т. п. Главлит должен также давать санкции на публикации художественных произведений и вообще всего, что публикуется в стране, вплоть до рекламы и этикеток спичечных коробков). Лишь после разрешения Главлита научная или техническая статья попадает в редакцию журнала.

Легко представить, насколько при этом замедляются все публикации, в том числе посвященные самым абстрактным темам, вроде теории чисел или астрофизики.

Диссертацией моя первая работа быть не могла. Я выбрал себе диссертационную тему сам, прочитав (при подготовке к лекциям по ядерной физике) про два не сопровождающихся гамма-излучением ядерных перехода в RaC′ (читается радий це штрих, один из членов радиоактивного семейства) и в ядрах кислорода. Мне пришло в голову, что эти переходы соответствуют сферически-симметричным колебаниям ядер при равных нулю начальном и конечном угловых импульсах. Очевидно, что такие колебания не сопровождаются излучением — просто в силу симметрии. Я произвел соответствующие расчеты, Игорь Евгеньевич утвердил тему в качестве диссертационной, я написал диссертацию, в ней, кроме основной темы, были некоторые побочные линии, «украшения» — новое правило отбора по зарядовой четности и учет взаимодействия электрона и позитрона при рождении пар (вероятность рождения пары возрастает при тех значениях импульсов, при которых относительная скорость электрона и позитрона очень мала). И тут выяснилось, что основная идея работы не оригинальна, безизлучательные переходы уже рассмотрели задолго до меня японские физики Юкава и Саката. Я очень огорчился, но И. Е. решил, что все же тему можно не менять, сделанного достаточно для диссертации — в особенности «украшения». И. Е. хотел, чтобы одним из оппонентов был Ландау, но он отказался, к счастью; я бы чувствовал себя очень неловко: ведь я понимал недостатки диссертации.

Оппонентами были два прекрасных физика — А. Б. Мигдал и И. Я. Померанчук, оба впоследствии академики. Я долго не мог поймать Мигдала, чтобы он написал отзыв — он в то время купил машину и целыми днями занимался водительскими упражнениями на дорожках липановской территории. ЛИПАН — прежнее название Института Курчатова. (Вообще он увлекающийся человек, но главной его страстью, азартом является наука, в которой он много сделал.) В конце концов Мигдал написал мне самый положительный отзыв. Еще трудней было с Померанчуком. Приближался день защиты, а отзыва все не было. В это время я сам себе сильно подпортил. У меня оставался несданным аспирантский экзамен по философии (марксистской, конечно). Экзамены принимали на кафедре философии отдела Академии специальные экзаменаторы — общие для всех институтов. Я сдавал за неделю до уже назначенной защиты. Меня спросили, читал ли я какие-нибудь философские произведения Чернышевского — тогда уже начиналась мода на чисто русских ученых и философов, без западного душка. Я с излишней откровенностью ответил, что не читал, но знаю, о чем речь, — и получил «двойку». Через неделю я прочитал все требуемое и пересдал на «пятерку», но было поздно — защита была перенесена на осень, все уже разъезжались по отпускам. Для меня это была финансовая беда — жить на аспирантскую зарплату и карточки было трудно. Аспирантуру я и с этой задержкой закончил досрочно, но уже лишь за несколько месяцев до срока. Осенью мне удалось поймать Померанчука только в день защиты — в 7 часов утра я приехал к нему домой, он тут же в одних трусах сел за столик, стоявший рядом с большим письменным столом, заваленным бумагами, написал прекрасный отзыв, и через час я вручил его Секретарю Ученого Совета. А еще через несколько часов Вавилов поздравил меня с присуждением кандидатской степени. Я был зачислен младшим научным сотрудником Теоретического отдела ФИАНа.

Летом 1947 года мы жили с Клавой и Таней в Пушкино, я часто ездил в ФИАН. Диссертация была готова, я думал о дальнейшей научной работе. Я расскажу о двух попытках, может, это будет кому-то интересно, а может, даже полезно читающим меня молодым научным работникам.

В связи с диссертацией я размышлял об альтернативных возможных объяснениях безизлучательных ядерных переходов (т. е. не сферически-симметричных переходах с электромагнитным-кулоновским взаимодействием ядра с электроном, как предположили Юкава и Саката и я, а о гипотетических неэлектромагнитных взаимодействиях). В этой связи я вспомнил, что в литературе обсуждалось наличие в оптическом спектре атома водорода некоей аномалии, противоречащей следующей из теории формуле. А именно были указания (не очень определенные в силу крайней малости эффекта, лежавшего на пределе точности оптических методов измерения уровней), что из двух уровней атома водорода, которые согласно теории должны точно совпадать, один лежит несколько выше другого.

Поразмыслив, я решил, что неэлектромагнитные эффекты в обоих случаях ни при чем — и для безизлучательных переходов, и для атома водорода.

Безизлучательные переходы, безусловно, объясняются тривиально — по Юкава и Саката, в частности, об этом свидетельствует знак угловой корреляции импульсов электрона и позитрона. Но я уже «зацепился» за аномалию в атоме водорода и продолжал неотступно думать о ней. У меня возникла идея (я опишу ее чуть-чуть упрощенно), что это проявление того, что сейчас называется радиационными поправками, эффект взаимодействия электрона с квантово-механическими колебаниями электромагнитного поля, а точнее — разность этих эффектов для электрона, связанного в атоме, и свободного электрона.

Как известно, в квантовой механике не существует «покоя» в том смысле, как в классической, неквантовой теории, любая механическая система, находящаяся в состоянии равновесия, как бы вибрирует около точки равновесия — это следствие так называемого принципа неопределенности Гейзенберга. Указанное свойство распространяется и на вакуум, рассматриваемый тоже как некая механическая система с бесконечным числом степеней свободы. Возникают нулевые колебания вакуума. В этой книге я расскажу потом об идеях, связывающих энергию нулевых колебаний с теорией гравитации. В 30—40-х годах наибольшее внимание привлекало взаимодействие нулевых колебаний электромагнитного поля в вакууме с электроном и другими заряженными частицами. Энергия этого взаимодействия оказывалась при вычислениях бесконечной! Более конкретно, бесконечный вклад во взаимодействие вносили колебания высоких частот, т. е. при искусственном ограничении взаимодействия какой-либо предельной частотой «обрезания» эффект вновь становился формально конечным.

Это была великая трудность теории, под знаком которой происходило все развитие физики квантовых полей на протяжении многих десятилетий. Я предположил, что надо рассматривать разность эффектов для связанного и свободного электрона. Так как эффект связи сказывается, как я правильно предполагал, лишь при не очень больших частотах нулевых колебаний, то была надежда, что разностный эффект окажется конечным. Чтобы придать корректный смысл вычитанию двух бесконечных величин при вычислениях, сначала можно ограничиться взаимодействием с колебаниями с частотой меньше некоторой предельной частоты «обрезания», достаточно высокой, так что для нее уже мало существенен эффект связи, а затем формально перейти к пределу бесконечной частоты обрезания. Я, конечно, понимал, что значение этой идеи далеко выходит за рамки частной задачи об аномалии в атоме водорода и, в частности, должно распространяться на процессы рассеяния. Я был очень взволнован. Со всем этим я пришел к Игорю Евгеньевичу (летом или осенью 1947 года). К сожалению, он не поддержал и не одобрил меня, скорей — наоборот. Во-первых, он сказал, что эти идеи не совсем новые, в той или иной форме высказывались неоднократно. Это было действительно так, но само по себе не могло бы меня остановить — я уже был настолько увлечен и заинтересован, что меня не слишком заботили такие вещи, как приоритет, меня интересовало существо дела. Во-вторых, он сказал, что идея, по-видимому, «не проходит», конечного результата не получается. И. Е. сослался при этом на недавно опубликованную работу американского теоретика Данкова, который вычислил радиационные поправки к процессу рассеяния — методом, принципиально очень близким к тому, что я предполагал делать для разности уровней в атоме водорода. Я отыскал в библиотеке работу Данкова, действительно, у него не получилось при вычитании конечного результата (т. е. стремящегося к постоянной величине при стремлении к бесконечности энергии «обрезания»). Вычисления Данкова были очень сложными и запутанными — так как все это происходило еще до работ Фейнмана, придумавшего гораздо более компактный и обозримый общий метод вычислений («диаграммы» Фейнмана). Данков попросту ошибся, но, конечно, ни Игорь

Евгеньевич, ни я не могли этого обнаружить с ходу конкретно. Если бы нам не отказала интуиция, мы должны были усомниться в работе Данкова столько раз, сколько было нужно, чтобы обнаружить ошибку, или, что еще разумней, временно игнорировать возникшее противоречие и искать более простые вычислительные задачи, результат которых можно было бы сравнить с опытом. Как известно, именно так действовали более проницательные и смелые люди, добившиеся успеха. Но не мы. Так я упустил возможность сделать самую главную работу того времени (и самую главную, с огромным разрывом, в своей жизни). Конечно, это было не случайно. Перефразируя известное изречение, каждый делает те работы, которых он достоин.

Что дальше произошло в этой области — тоже хорошо известно физикам. Лэмб и Резерфорд (а потом и другие) измерили разность уровней в атоме водорода радиоспектроскопическими методами. Они не только подтвердили сам факт различия уровней (в чем можно было сомневаться раньше при оптических методах), но и измерили разность уровней с огромной точностью. На одной из научных конференций, состоявшихся в 1947 году (кажется, на Рочестерской), Х. Крамерс выступил с программой вычисления конечных радиационных поправок для наблюдаемых величин — с так называемой идеей перенормирования. Тогда же или несколько позже Ганс Бете сообщил о своем расчете разности уровней. По существу, исходные идеи обеих работ были очень близки к тем, которые я описал выше. Бете приводил свои расчеты нерелятивистским образом (что было сознательным переупрощением). Поэтому он получил не конечный результат, а логарифмически растущий при стремлении к бесконечности энергии «обрезания». Но, как любил говорить Ландау:

— Курица — не птица, логарифм — не бесконечность.

Результат Бете, по существу, означал прорыв в новую область, делал очень вероятным получение полностью конечного результата в этом и во всех других электродинамических явлениях. Остальное было делом техники (весьма трудной). Явились гиганты, которые одолели все эти трудности — Томонага, Швингер, Фейнман, Дайсон, Вик, Уорд и многие, многие другие. Первый последовательный расчет расщепления уровней (давший конечный результат в согласии с опытом Лэмба и Резерфорда) был произведен в работе Вейскопфа и Френча.

Я не могу удержаться от краткого рассказа о дальнейших событиях, в которых я никак не был участником...

В 1955 году независимо Фрадкин, Ландау и Померанчук нашли, что последовательное вычисление радиационных поправок приводит к чудовищному следствию — к полному исчезновению наблюдаемых электромагнитных взаимодействий (знаменитый «Московский нуль»).

В тот год я встретил Ландау на новогоднем банкете в Кремле. С очень озабоченным, даже удрученным видом он сказал:

— Мы все оказались в тупике, что делать — совершенно непонятно.

К этому же времени относятся слова Ландау:

— Лагранжиан — мертв. Его надо похоронить, конечно, со всеми полагающимися покойнику почестями.

Лагранжиан — квантовый аналог так называемой функции Лагранжа, основное понятие квантовой теории поля. Ландау, однако, ошибался, лагранжиан не был мертв. Многие годы трудность «Московского нуля» рассматривалась как указание на необходимость отказа в физике высоких энергий от квантовой теории поля, делались попытки найти другие пути построения теории элементарных частиц, оказавшиеся неэффективными. Лишь в 1974 году вновь появился проблеск надежды — было показано, что в так называемых неабелевых калибровочных теориях нет «Московского нуля» (хотя все еще необходимо манипулирование бесконечными величинами). А еще через несколько лет были найдены (среди т. н. суперсимметричных теорий, о них подробнее дальше) нетривиальные примеры (пока не реалистические, т. е. не описывающие реального мира), в которых вообще нет бесконечностей. Сейчас, когда я просматриваю рукопись в Москве, вернувшись из Горького, самые смелые надежды связаны с так называемыми «струнами» — протяженными объектами — ниточками и колечками невообразимо малых размеров. Героические усилия целой армии ученых — теоретиков и экспериментаторов — продолжаются!

Вспоминая то лето 1947 года, я чувствую, что я никогда — ни раньше, ни позже — не приближался так близко к большой науке, к ее переднему плану. Мне, конечно, немного досадно, что я лично оказался не на высоте (никакие объективные обстоятельства тут несущественны). Но с более широкой точки зрения я не могу не испытывать восторга перед поступательным движением науки — и если бы я сам не прикоснулся к ней, я не мог бы ощущать это с такой остротой!

Другая моя неудачная попытка в те же месяцы касалась, напротив, совсем мелкого вопроса. Я все же расскажу. Я задался вопросом, зависит ли возможность аннигиляции электронов и позитронов, образующих атомоподобную систему — позитроний, от углового импульса (углового момента, или спина) позитрония. Я стал вычислять вероятности аннигиляции свободно сталкивающихся электронов и позитронов при параллельных и антипараллельных спинах (первый случай соответствовал бы спину позитрония 1 — в единицах постоянной Планка, а второй — 0). Но я ошибся в знаке складываемых членов. Я производил эти вычисления в поезде электрички Пушкино — Москва и потом в шутку «утешал» себя, что вагон тряхнуло в тот момент, когда я писал знак минус, и получился знак плюс. Правильный результат получил Померанчук (тем же топорным методом, который пытался применить я). Позитроний со спином 1 (ортопозитроний) не аннигилирует на 2 гамма-кванта, а лишь на 3! Когда об этом результате узнал Ландау, он воспроизвел его гораздо более красивым и плодотворным методом, основанным на соображениях симметрии (т. е. почти без вычислений). Вывод Ландау распространялся на любую частицу со спином 1. Поэтому, когда вскоре был обнаружен распад Пи-ноль мезона на два гамма-кванта, это полностью исключало, что спин пи-мезона равен 1 (результат огромного значения). Можно сформулировать систему неравенств $L>P>S$ (L — Ландау, P — Померанчук, S — Сахаров).

Все описанные события происходили еще до защиты диссертации, летом и осенью 1947 года. После защиты передо мной встала задача выбора «солидной» тематики (я не знал, что вскоре эту задачу решат за меня). Я сделал попытку сделать что-либо в теории плазмы. Мне казалось, что кинетическое уравнение с логарифмическим обрезанием «по порядку величины» — некий монстр, хотелось придумать что-либо более изящное и более точное. Задача оказалась мне не под силу, но она, так же, как следующая, о которой я сейчас расскажу, научно подготавливала меня к тем проблемам, с которыми мне пришлось столкнуться в спецтематике.

Весной или зимой 1948 года я прочитал в «Nature» работу Франка. Автор обсуждал исторические эксперименты Пауэлла, Латтэса и Окиалини, в которых был открыт пи-мезон. Экспериментаторы применили тогда новую методику облучения в космических лучах фотопластинок с толстым слоем фотоэмульсии и нашли интересные треки распада какой-то остановившейся в эмульсии частицы, более легкой, чем протон, причем при распаде образовывался, несомненно, мю-мезон. Пауэлл, Латтэс и Окиалини сделали вывод, что это более тяжелая частица, чем мю-мезон — иначе она не могла бы распадаться с выделением довольно заметной энергии. Впоследствии частица получила название пи-мезон. Ввиду фундаментального характера вывода о существовании нового типа частиц было необходимо проанализировать все альтернативные возможности объяснения, среди них Франк разбирал и такую: первичная частица — обычный мю-мезон. Она захватывается ядром водорода, образуя подобие атома (теперь говорят — «мезоатом»). Затем мезоатом соединяется с еще одним ядром водорода, образуя «молекулярный мезоион». Если одно из ядер водорода является тяжелым изотопом (дейтоном, природное содержание 1/7000), то в «мезоионе» возможна ядерная реакция дейтона с протоном с образованием гелия-три и гамма-кванта. При этом избыток энергии сообщается мю-мезону, и он вылетает, образуя трек. Интересующая нас ядерная реакция происходит между двумя заряженными частицами — дейтоном и протоном... Я поставил перед собой вопрос, нельзя ли создать такие условия, при которых каждый мю-мезон (скажем, «сделанный» на ускорителе) вовлекал бы в ядерную реакцию большое число дейтонов. Попросту говоря, что будет, если в большой сосуд с дейтерием впустить пучок мю-мезонов? Я придумал название для этого предприятия — «Мю-мезонный катализ», произвел некоторые оценки — не очень обнадеживающие и далеко не исчерпыва-

ющие сложные явления, происходящие в системе, и написал отчет. Отчет был засекречен (первый засекреченный в моей жизни, кажется, по инициативе Вавилова), но с работой было ознакомлено довольно большое количество людей в ФИАНе и за его пределами *.

...В начале 1948 года сотрудник ФИАНа оптик проф. С. Л. Мандельштам (сын Л. И. Мандельштама) попросил меня произвести расчеты каких-то неравновесных процессов в плазме газового разряда, деталей я не помню. Я выполнил эти расчеты (потом они были даже опубликованы). Эта работа явилась поводом для поездки в Киев на спектроскопическую конференцию, что было очень приятно. Первый в жизни полет на самолете, прекрасный город с интереснейшей архитектурой и историей, какое-то отключение от всего того, что осталось в Москве. Я ходил на некоторые заседания конференции больше из общего любопытства, чем по деловым причинам...

Я жил в гостинице «Украина» на углу Крещатика, по утрам под окнами пели соловьи. Моим соседом по номеру оказался Борис Самойлов (тот самый, который в 30-х годах работал на обсерватории Планетария, а потом его вместе со мной в 1942 году принимали за еврея ашхабадские мальчишки). Самойлов в это время работал в Институте физических проблем и приехал (в отличие от меня, для которого спектроскопия была лишь побочным эпизодом) с очень интересной экспериментальной работой. Борис был все таким же шумным, непоседливым, веселым, он очень развлекал меня тогда. В дальнейшем мы не встречались, я знаю, что он стал хорошим экспериментатором, добившимся известности среди оптиков. Недавно он умер.

Получилось так, что эта поездка в Киев явилась для меня «глотком свободы», последней интермедией перед двадцатью годами секретности. Вновь я попал в Киев уже с Люсей в декабре 1971 года и январе 1972 года, при совсем других обстоятельствах, в совсем другой жизни.

Атомное и термоядерное. Группа Тамма в ФИАНе

Об открытии явления деления ядер урана я впервые узнал еще до войны, кажется, в 1940 году, от папы. Он был на каком-то докладе, не помню чьем, и рассказал мне услышанное. Через некоторое время я прочитал на ту же тему обзорную популярную статью в «Успехах физических наук» (папа выписывал этот журнал). К своему стыду, я не вполне оценил тогда важность открытия деления, хотя и в папином рассказе, и в обзорной статье упоминалась принципиальная возможность цепной реакции — кажется, без четкого разграничения управляемой цепной реакции (которая осуществляется теперь в ядерных реакторах) и взрывной цепной реакции (которая происходит при взрыве атомного оружия). В настоящее время физические процессы, существенные при управляемой реакции, подробно описаны в открытой литературе, кое-что (с рядом недомолвок и умышленных неточностей) опубликовано и о физике ядерного взрыва. В обоих случаях происходит «цепная реакция»... Реакция эта — управляемая, управление реакцией крайне облегчается тем, что часть нейтронов образуется при акте деления не мгновенно, а с некоторым запаздыванием. В 1939—1940 гг. многое еще не было известно. Последняя (и очень важная) довоенная публикация, в которой обсуждается возможность управляемой и (отчасти) взрывной цепной реакции — статья Я. Б. Зельдовича и Ю. Б. Харитона. В это время за рубежом все публикации уже прекратились.

Как известно, исследования продолжались — и очень энергично — в секретном порядке. Что касается меня, то до 1945 года я просто забыл,

* В дальнейшем развитии этой тематики принимали участие в СССР С. С. Герштейн, Л. И. Пономарев, их сотрудники. Экспериментальный мю-мезонный катализ изучался В. П. Джелеповым с сотрудниками. В целом мю-мезонный катализ — большая область исследований, в которой занято немало людей.

что существует такая проблема. Лишь в феврале 1945 года я прочитал в ФИАНовской библиотеке в журнале «Британский союзник» (который издавался английским посольством в Москве для советских читателей) о героической операции английских и норвежских «коммандос» (впоследствии Черчилль назвал эту операцию подвигом исторического значения). Они уничтожили в Норвегии завод и запасы тяжелой воды, предназначенной немцами для производства «атомной бомбы» — взрывного устройства фантастической силы, использующей явление деления ядер урана. Это, по-моему, было первое упоминание об атомной бомбе в печати. История и истинная цель этой удивительной публикации мне неизвестны. Несомненно, это было «просачивание» секретной информации, я думаю, что намеренное. Может, с целью какого-то воздействия на немецкие программы, кто его знает. Как пишут в книгах о разведке, центры психологической войны всех государств вели тогда очень сложную и не всегда понятную простым смертным игру. Я сразу вспомнил тогда все, что мне было известно о делении и цепной реакции. В эти же месяцы я слышал время от времени обрывки разговоров (не придавая им особого значения) о какой-то лаборатории 2, («двойка»), которая якобы стала «центром физики». Речь шла, как я узнал потом, о большом научно-исследовательском институте под руководством И. В. Курчатова для работ в области атомной энергии (теперь — Институт атомной энергии им. И. В. Курчатова). Атомная проблема опять ушла из моего поля зрения, заслоненная интенсивным изучением всего широкого мира теоретической физики. В мае — незабываемое событие — Победа над фашизмом, окончание войны в Европе (хотя на востоке война продолжалась).

Наступил август 1945 года. Утром 7 августа я вышел из дома в булочную и остановился у вывешенной на стенде газеты. В глаза бросилось сообщение о заявлении Трумэна. На Хиросиму 6 августа 1945 года в 8 часов утра сброшена атомная бомба огромной разрушительной силы в 20 тысяч тонн тротила. У меня подкосились ноги. Я понял, что моя судьба и судьба очень многих, может, всех, внезапно изменилась. В жизнь вошло что-то новое и страшное, и вошло со стороны самой большой науки, перед которой я внутренне преклонялся.

В ближайшие дни «Британский союзник» начал публикацию «Отчета Смита» — так назывался отчет об американских работах по созданию атомной бомбы — целый массив рассекреченной информации о разделении изотопов, ядерных реакторах, плутонии и уране-235 и кое-что об устройстве атомной бомбы (в самых общих чертах). Я с нетерпением хватал и изучал каждый вновь поступающий номер. Интерес у меня при этом был чисто научный. Но хотелось и изобретать — конечно, я придумывал при этом либо давно (три года) известное (относительно реакторов, это был — блок-эффект), либо непрактичное (методы разделения изотопов, основанные на кнудсеновском течении в зазорах между фигурными роторами). Мой товарищ школьных и университетских лет Акива Яглом говорил тогда — у Андрея каждую неделю не меньше двух методов разделения изотопов.

Когда публикация в «Британском союзнике» завершилась, я остыл к этим вещам и два с половиной года почти не думал о них.

Между тем судьба продолжала делать свои заходы вокруг меня (я вспомнил ту сценку на крестьянском празднике в «Фаусте», которую читал когда-то Олег). В конце 1946 года я получил странное письмо — меня просили прийти в определенное время в гостиницу «Пекин» *, номер 9. Там была и какая-то неправдоподобная аргументация, я ее не помню. Гостиница «Пекин» расположена на углу площади Маяковского, недалеко от моих родителей, и я, прямо от них, зашел по указанному адресу. В номере оказалась обстановка, типичная для служебного кабинета — стол в виде буквы «Т», портрет Сталина на стене и т. п. Сидевший за столом человек встал навстречу мне, пригласил сесть, отрекомендовался «Генерал Зверев» и сказал:

— Мы (он не уточнил, кто это — мы) давно следим за Вашими успехами в науке. Мы предлагаем Вам после окончания аспирантуры перейти работать в нашу систему, для участия в выполнении важных правительственных заданий. У нас Вы будете иметь все возможности для научной ра-

* Вероятно, А. Д. Сахарова подвела память: в это время гостиница «Пекин» еще не была построена.

боты — лучше, чем где-либо, — лучшие библиотеки со всей мировой научной литературой, у нас — все большие ускорители. И лучшие материальные условия. Мы знаем — у Вас большие трудности с жильем. Если Вы сейчас дадите нам принципиальное согласие, Вам будет предоставлена квартира в Москве, которая будет забронирована за Вами, если Вас временно пошлют работать куда-либо в другое место.

Я подумал, что не для того я уезжал с завода в последние месяцы войны в ФИАН к Игорю Евгеньевичу для научной работы на переднем крае теоретической физики, чтобы сейчас все это бросить. Я сказал коротко, что сейчас я хочу продолжить свою чисто теоретическую работу в отделе Тамма. Зверев выразил сожаление и надежду, что мое решение — не окончательное. Какова была бы моя судьба, если бы я согласился? Через несколько лет я встретился на «объекте» с сотрудником Н. Н. Боголюбова — Д. Н. Зубаревым, приехавшим туда с Н. Н. и уехавшим вместе с ним в 1953 году. Он рассказал мне, что примерно в то же время его вызвал тот же Зверев в ту же комнату; в отличие от меня, он согласился — у него тоже были квартирные трудности — и попал в научный центр на берегу Черного моря, где работали привезенные из Германии немецкие ученые. Хотя начальство возлагало на них большие надежды (А. П. Завенягин, о нем я пишу ниже), но не очень им доверяло. Поэтому почти никакой серьезной работы не велось, было очень скучно. Д. Н. Зубарев, используя свои отношения с Н. Н. Боголюбовым, добился перевода к нам (или это была инициатива самого Н. Н., вернее всего, именно так).

В 1947 году я уже завершил свою диссертационную работу, меня пригласили рассказать ее «у Курчатова», т. е. в Лаборатории измерительных приборов — ЛИПАН (условное название, заменившее «Лаборатория 2», теперь, как я уже писал, Институт атомной энергии им. Курчатова). Я сделал доклад в небольшом конференц-зале, присутствующие физики и среди них Курчатов задавали мне много вопросов. После доклада Курчатов предложил мне пройти к нему в кабинет. Это была очень большая комната, где можно было проводить большие совещания, с большим письменным столом с горой научных журналов и множеством телефонов всех цветов, по стенам — книжные полки со справочной и научной литературой. Курчатов сидел за письменным столом, разговаривая со мной, он изредка поглаживал свою густую черную бороду и поблескивал огромными, очень выразительными карими глазами. Напротив на стене висел большой, в полтора роста, портрет И. В. Сталина, с трубкой, стоявшего на фоне Кремля, написанный маслом, несомненно — подлинник, не знаю кого из придворных художников. Это был символ высокого положения хозяина кабинета в государственной иерархии (портрет висел некоторое время и после XX съезда). Курчатов предложил мне после окончания аспирантуры перейти в их Институт для занятий теоретической ядерной физикой. Я уже знал, что на таких условиях в ЛИПАНе и в другом аналогичном институте — рангом пониже — у Алиханова — работают физики-теоретики А. Б. Мигдал и И. Я. Померанчук, мои оппоненты по диссертации. Курчатов считал необходимым, используя возможности своего ведомства, всемерно поощрять фундаментальные научные исследования, при этом время от времени «перебрасывая» соответствующую производственную и научно-лабораторную базу и умы ученых для прикладных задач, — делал это всегда очень тактично, никого не обижая и «не насилуя». По его инициативе построен целый научный городок Дубна, в котором сооружены два больших ускорителя. По-видимому, Курчатову понравился мой доклад, или я сам, или еще раньше ему хорошо меня отрекомендовал Мигдал, и он решил меня «переманить» к себе — для пользы своего Института. Я отказался, с той же аргументацией, как при разговоре со Зверевым. Вскоре Курчатов пригласил работать в свой Институт моего товарища по аспирантуре Павла Эммануиловича Немировского (я об этом уже писал).

Итак, в 1946 и 1947 гг. я дважды отказался от искушения покинуть ФИАН и теоретическую физику переднего края. В 1948 году меня уже никто не спрашивал.

В последних числах июня 1948 года Игорь Евгеньевич Тамм с таинственным видом попросил остаться после семинара меня и другого своего ученика, Семена Захаровича Беленького. Это был так называемый «пятницкий» семинар «для своих», который проходил в маленьком кабинете

Игоря Евгеньевича (теперь бы теоретики ФИАНа там не поместились). Когда все вошли, он плотно закрыл дверь и сделал ошеломившее нас сообщение. В ФИАНе по постановлению Совета Министров и ЦК КПСС создается исследовательская группа. Он назначен руководителем группы, мы оба — ее члены. Задача группы — теоретические и расчетные работы с целью выяснения возможности создания водородной бомбы; конкретно — проверка и уточнение тех расчетов, которые ведутся в Институте Химической Физики в группе Зельдовича. (О Якове Борисовиче я буду много писать в этой книге.) Сейчас я думаю, что основная идея разрабатывавшегося в группе Зельдовича проекта была «цельнотянутой», т. е. основанной на разведывательной информации. Я, однако, никак не могу доказать это предположение. Оно пришло мне в голову совсем недавно, а тогда я об этом просто не задумывался. Более позднее добавление (июль 1987 г.). В статье Д. Холовея в «Интернейшнл Секьюрити» 1979/80, т. 4, 3, я прочитал: «Клаус Фукс информировал СССР о работах по термоядерной бомбе в Лос-Анджелесе до 1946 г. Эти сообщения были скорей дезориентирующими, чем полезными, так как ранние идеи потом оказались неработоспособными». Моя догадка получает таким образом подтверждение!

Через несколько дней, оправившись от шока, Семен Захарович меланхолически сказал:

— Итак, наша задача — лизать зад Зельдовича.

Беленький недавно защитил докторскую диссертацию — фундаментальное исследование в области теории электромагнитных ливневых процессов в космических лучах. Но во время войны он работал в ЦАГИ, плодотворно занимался процессами сверхзвуковых течений в связи с проблемами реактивной авиации. Вероятно, это и было причиной его включения в нашу группу — никто, кроме него, в ФИАНе не имел отношения к газодинамике. Что касается моей кандидатуры, то до меня дошел рассказ, что якобы директор ФИАНа академик С. И. Вавилов сказал:

— У Сахарова очень плохо с жильем. Надо его включить в группу, тогда мы сможем ему помочь.

Вероятно, кроме этого, играло роль и то, что я занимался конкретной ядерной физикой и теорией плазмы, имел предложение по мю-катализу. Кроме того, Вавилову могло быть известно, что в 1945 году я пытался предложить новые способы разделения изотопов. Но в 1945 году я был не только заинтересован, но и потрясен ужасом применения великого научного достижения для уничтожения людей! Основную же роль, как я думаю, в моем назначении сыграла высокая характеристика, которую дал мне Игорь Евгеньевич.

Вавилов сдержал свое обещание относительно нашей жилищной проблемы. В мае мне были предоставлены две комнаты на улице 25 Октября. Хотя этот дом находится в самом центре Москвы, он был не очень «фешенебельным» — с коридорной системой и дровяным отоплением. Одну из двух комнат в последний момент «увел» зам. директора по хозяйственной части для своей матери, симпатичной и очень старой женщины, с которой у Клавы установились прекрасные отношения. Наша комната имела площадь всего 14 м², обеденного стола у нас не было (некуда было поставить), мы обедали на табуретках или на подоконнике. В длинном коридоре жило около 10 семей и была одна небольшая кухня, уборная на лестничной площадке (одна на две квартиры), никакой ванной, конечно. Но мы были безмерно счастливы. Наконец, у нас *свое* жилье, а не беспокойная гостиница или капризные хозяева, которые в любой момент могли нас выгнать. Так начался один из лучших, счастливых периодов нашей семейной жизни с Клавой (который длился три-четыре года). Это время в личном семейном плане вспоминается светлым, даже радостным. Клавины отношения с моей мамой, которые так мучили меня (а я — их обеих), в это время стали гораздо мягче, спокойней. Возникла какая-то близость с соседями по квартире и даче. Дочь Таня росла веселой и доброй девочкой. У нее появились «поклонники» (пока в кавычках) среди мальчиков нашей квартиры. Летом 1948 года я перевез Клаву с Таней на дачу. Мы сняли одну из двух комнат в деревенском доме в поселке Троицкое на берегу канала Москва-Волга (вместе с нами в другой комнате в том же доме жила хозяйка тетя Феня, очень милая, овдовевшая в войну). Я каждое воскресенье

ездил к ним с продовольственными сумками и проводил там день и одну-две ночи. Это лето памятно мне блеском воды, солнцем, свежей зеленью, скользящими по водохранилищу яхтами (меня, правда, мигом прогнали с яхты за неспособность). Подружились мы и с нашими соседями — Обуховыми, Рабиновичами, Шабатами. Рядом жил также сотрудник ФИАНа Моисей Александрович Марков с женой Любой и дочкой. С Любой у меня были свои отношения — легкого взаимного подкалывания. (А. М. Обухов — впоследствии академик, специалист по физике атмосферы и турбулентности. М. С. Рабинович — мой товарищ по аспирантуре, я уже писал о нем. Шабат — математик. М. А. Марков — впоследствии академик, физик-теоретик.)

Не меньше пяти дней в неделю я проводил в ФИАНе, в комнате теоротдела, ставшей теперь рабочей комнатой специальной группы. В нашу группу включили еще двоих — доктора физико-математических наук (теперь академик) Виталия Лазаревича Гинзбурга, одного из самых талантливых и любимых учеников Игоря Евгеньевича, и молодого научного сотрудника, недавно принятого в теоротдел, Юрия Александровича Романова. Гинзбург был принят, видимо, на каких-то условиях частичного участия. в дальнейшем, когда группу перевели на «объект», в отношении него этот вопрос не стоял. Несмотря на летнее время, мы все работали очень напряженно. Тот мир, в который мы погрузились, был странно-фантастическим, разительно контрастировавшим с повседневной городской и семейной жизнью за пределами нашей рабочей комнаты, с обычной научной работой.

Продолжение следует

Дмитрий Бобышев

РЕЧЬ-ВОРОЖЕЯ

Любой предлог (Венера в луже)

Зрит ледяное болото явление светлой богини...
Пенорожденная — вниз головою с небес
в жижу торфяно-лилейную под сапоги мне
кинулась, гривной серебряной, наперерез.

Бедная! Белая — в рытвине грязной она отразилась...
Видно, и в самой ледащей из наших дорог —
лишь бы вела! — с ней замешана общая милость
низкому озеру Вялью и острову Милос,
и пригодится для чуда любой завалящий предлог.

Вот и гляди в оба глаза на волглые плоские глади:
чахлые сосны, коряга застряла, как хряк,
да лесопилка сырая всё чиркает сзади,
в кучу слежались опилки, и будка на складе
в серых подтеках глядит — отвернись от меня, Бога ради!
Это ведь родина. Что же ты плачешь, дурак?

ноябрь 1967

Новомученики

Столько теплого, свято-родимого
намолили за тысячу лет
от Владимира — и до Владимира.
Столько, думали, неизгладимого!
А очнулись, и где оно? — Нет...

На свою поглядели землю мы, —
в мерзлых комьях кровавая грязь;
на себя — простаками емелями,
словно впрямь опоенные зелием:
— Уж не я ль это спьяну, вчерась?..

Стройки бодрые, вервие, плетие;
зек и тачка — советский союз.
И устали вперед на столетия!..
Не молитвы, а брань пистолетная,
глад и мор, надруганье и трус.

БОБЫШЕВ Дмитрий Васильевич (р. 1936) — ленинградский поэт, «адресат» стихотворения А. А. Ахматовой «Пятая роза». С 1979 г. живет в США. Автор двух поэтических сборников: «Зияния», 1979 г., Париж; «Звери св. Антония», 1989, Нью-Йорк.

Но не знали в Кремле нострадамусы,
что мы все-таки сможем пронесть
эту веру свою стародавнюю:
где гонение, там сострадание,
на колымских голгофах, а — есть!

Для безбожника век перемучиться —
беспросветный и жуткий пролет.
Видно, сердце у всех — где имущество.
А для верных и в пыточной участи
Бог Распятый причастье дает.

С Ним и казнь — навоскрес Вознесение
к Небу новому с новой земли,
святомученной мощью засеянной.
Вот что петь! Но кому? Младо-зелено...
Запевалы туда же ушли.

И прошу, как у бедного Лазаря:
— Приложи к неуклюжим устам
каплю звука с хрусталиком разума
из разлива кастальски-алмазного,
светлопевец ты — Там... Мандельштам.

— Дай и меду, и яду из улея,
где посмертно гудишь, Гамаюн, —
я зову узорóчного Клюева,
и оплакиваю, и молю его...
Там он, в радуге солнец и лун.

Верю: их, как поморы — сказителей,
было, к промыслу брали в ладью, —
архипастыри взяли, святители
равнотерзанных — к вечной обители.
Вижу их, богопевчих, в Раю.

1988

●

Бортнянский. Православная Россия.
Над весями висит, светясь, Ave Maria.
Мы слушаем его, ее, как бы впервые,
взмывая на воздушных завитках.
И музыке в ответ великой, малой, белой
Капелла звездная — над певческой Капеллой
в подпругах всеми скрипами запела,
кренясь на серафических ветрах...

декабрь 1970

Молитва ангелу-хранителю

Ангеле Божий, Хранителю мой,
братик небесный в нелюбе земной!

Наших нежнейше неслышных бесед
на языках человеческих нет.

Слух ни глагола не выловит. Лишь
духу звучит эта теплая тишь.

Что это: зов? Или весть? Или знак?
— Что-то... А сердце оттукнется: — Так!

Братик! Самóй неразрывью своей
что-нибудь сделай, и мраки отвей.

Вот я, и вот они, — все потроха
Божьего грешника и батрака.

Что я могу? Только душу — по шву...
Как получился, таким и живу:

крепкий, работал и, слабый, грешил,
разве что дар не менял на гроши.

Выпрями, ежели можешь, состав,
И в обстояниях не оставь.

18 апреля 1984

Ты не забыла о дворцовой церкви...

Ты не забыла о дворцовой церкви,
где, отсвет люстры взяв за образец,
по изразцу скользнув, к царям, бывало,
входил нарядный Бог?

А помнишь ли фарфоровые лары,
которые в плену жеманных поз,
казалось, хрупкую предпочитали смерть
застывшей глуповатости секунд
остановившихся? Их позы — помнишь?

А мраморную бабочку в ладони
и белизну брачующихся душ,
и ангельское их предцелованье?

Еще бы... Как забыть! Ушло мгновенье,
а нам уже за ним не промелькнуть.

И этот львенок с гобелена —
случайности свидетель долговечный,
и тот наружной лепки херувим —
непреходящий соучастник мига.

Львиноголовая царица,
Сын Человеческий в кровавом крапе,
распятый в глянцевом ночном окне...

Ты видишь, как опасно быть вдвоем!

1970

Ксения Петербуржская

Юрию Иваску

1

Ну, что́ с того, что пил?.. Зато как пел «Блаженства»!
Из плоти искресах конечны совершенства

и кроткия жены изрядно поучах...
Что стало из того, что сей Никто исчах?

А то и вышло, что из Ада мрачной сени
восхитила его любы блаженной Ксеньи.

Коль с мужем плоть одна у вдовыя жены,
чем плохи мужнины кафтанец и штаны?

— Ах, светелко супруг, я — ты, я — ты, я телом —
лампадка масляна; тебя во мне затеплим.

— Ты — это я, ты — я (и крестится скорей),
мой милый баринок, я нарекусь: Андрей.

И молится (язык да не прильпе к гортани):
— Благословивая брак в Галилейской Кане!

— Простри же, Чюдная, на этот брак — Покров...
Полковник баба — я, я — певчая Петров!

2

И, нищелюбая, бредет она, — раздавши,
да что имение? саму себя и даже

гораздее того... — с просвиркой поутру,
и хвалит Господа за — в башмаке дыру.

Морозец искрится; свет позлащает резко
снег между кирпичей, меж бочек свинорецкой

и сяжской извести, меж хохотов и крикс...
Толпа и гвардия. «Виват, императрикс!»

И ангелы плетут златые канители.
— Ах, не спугните их. Ах, вот и улетели!

Ухватки ихние лишь Ксении видны:
— Что, люди русские? Пеките-ка блины!

— Дак ведь не Масляница. Да окстись ты, Ксеня!
А тут Елисавет почила к Воскресенью...

За Ксенины блины, что знала наперед,
скорей, чем за любовь, любил ее народ

с поминок царских и —

3

...И вдруг прошло два века.
Стоит на кладбище Смоленском склеп-калека,

на «ладанки на грудь» растащен, а — стоит.
Не склеп — часовня. Нет, и не часовня — скит,

поскольку Божия не сякнет здесь работа!
«Святая Ксения, избави от аборта», —

наскрябана мольба. И дата — наши дни.
«Сдать на механика позволь». «Оборони —»

Здесь — гривенник в щели. А там — пятиалтынный.
«— от зла завистников...» «Дай преуспеть в латыни».

И — даты стертые. «Споспешествуй в пути...»
И — «Отведи навет...» И — «Виноват, прости!»

И — «Благодарствую». И — «Слава в вышних Богу».
Христоблаженную, хлопочущу о многу,

о теплой мелочи и о слезе людской,
ее бы помянуть саму за упокой,

горяще-таящую истово и яро...
Я помолился лишь «о нелишеньи дара».

август 1980

●

Словесность — родина и ваша, и моя.
И в ней заключено достаточно простора,
чтобы открыть в себе все бездны бытия,
все вывихи в судьбе народа-христофора.

Поток вкруг ног бренчал заливисто и споро,
и приняла в себя днепровская струя
перуна древний всплеск с плеч богобора
и плач младенчика, и высвист соловья.

Народу своему какой я судия,
но и народ пускай туда не застит взора,
где радужный журавль, где райские края,
где песнь его летит до вечного жилья...

А впрочем, мало ли какого вздора
понапророчила нам речь-ворожея!

сентябрь 1971

Владимир Максимов

ЗАГЛЯНУТЬ В БЕЗДНУ

РОМАН

Глава шестая

Адмирал

I

Надо же было тому случиться, что, едва вступив в должность Верховного правителя, Адмирал слег: снова, в который раз уже за последние годы, дала себя знать застарелая, настигшая его еще в русско-японскую кампанию хроническая пневмония.

Явь перед ним растекалась в знойном тумане, а в ней, в этой яви, плавали лица и голоса, но чаще всего единственный голос и одно лицо — Анны. У нее для него всегда находились слова, приносившие ему облегчение: «Александр Васильевич, милый, Пепеляев уже в Перми»; «Слава Богу, Александр Васильевич, с Семеновым все улажено!»; «Антон Иванович Деникин признал вас, дорогой, сегодня утром пришло официальное подтверждение»; «Англичане и французы обещают самую скорую поддержку, Александр Васильевич, милый, это победа!»

Ее сообщения сливались в почти беспрерывный, праздничного накала мотив, с которым в нем все более нарастали силы и прояснялось сознание. Взмывавший над ним потолок медленно опускался, сообщая вещам и предметам вокруг ровную устойчивость.

«Неужели все-таки перелом возможен? — окрыляла его ликующая надежда.— Наверное, есть же предел людскому безумию?»

Когда явь окончательно определилась в нем и к нему вернулась способность отчетливо воспринимать окружающее, он решил, что настало время обратиться к населению и войскам с ободряющим воззванием, и попросил вызвать для разговора на эту тему кого-нибудь из правительственного отдела печати.

Человек, присланный по вызову, был довольно высок, плотен, с отрешенными, как у больной овцы, глазами и типично профессорской бородкой на тонкогубом лице. Войдя, он нерешительно помялся у порога, после чего бочком двинулся навстречу адмиральскому кивку, по кивку же сел, вернее, примостился на краешке кресла и, вопросительно воззрившись на хозяина, выслушал его соображения.

— Распространить ваше воззвание как можно шире — это наш долг, адмирал,— этим сугубо штатским обращением к нему гость как бы подчеркивал свою независимость от существующей субординации.— Я могу записать сейчас же, под вашу диктовку.

Что-то в этом человеке сразу же насторожило Адмирала. Во всем его облике, в тоне, в манере держаться чувствовалась затаенная уверенность в чем-то таком, что недоступно пониманию многих, если не всех остальных, смертных и чем он не спешил поделиться с ближними.

«Еще один мессия,— досадливо поморщился про себя Адмирал,— сколько вас, куда вас гонят!»

— Извините, с кем имею честь?

Окончание. Начало см. «Знамя» № 9 за 1990 год.

— Бывший приват-доцент московского университета Николай Устрялов, адмирал,— с подчеркнутой размеренностью ответил тот.— Теперь служу у вас, в бюро печати.

Гость уже вызывал в Адмирале настоящее любопытство.

— Вы только служите или еще верите в свою службу?

— Нет, адмирал, не верю,— овечьи глаза гостя пристально отвердели,— но отправляю ее исправно, я прочно привязан к вашей колеснице, адмирал, и другого пути у меня нет.

— Во что же вы верите, уважаемый?

— В то же, что и вы, адмирал, но у меня нет иллюзий.

— Что вы имеете в виду?

— Я могу быть откровенным, адмирал?

— Вполне.

— Хорошо, адмирал, я хочу изложить вам свою личную точку зрения на развитие событий,— поерзав, он чуть поплотнее вдвинулся в кресло, но все же окончательно не расслабился, видно, опасаясь быть прерванным в любую минуту.— Поймите меня правильно, адмирал, у меня нет сомнений, я дойду с вами до самого конца, но считаю, что наша борьба диктуется лишь политическим романтизмом, реальных же шансов у нас нет, потому что происходящее — это не просто бунт или даже революция, что было бы еще полбеды, после революции общественный организм в конечном счете восстанавливается в том или ином виде, сейчас, адмирал, происходит нечто куда более судьбоносное, чем революция...

— Что же? — нетерпеливо перебил его адмирал.— Что?

— Смена цивилизаций. И Россия только начало этой смены. Уверяю вас, адмирал, ни Ленин, ни Троцкий тут ни при чем, будь они хоть о семи пядях во лбу, им не дано изменить ничего в этом процессе, он протекает помимо их усилий, искусство их состоит только в том, чтобы держаться на его поверхности, придет время — он поглотит и их, если они вовремя не успеют умереть своей смертью. В подобных катаклизмах, как при землетрясениях, нет правых и виноватых, есть только жертвы, вне зависимости от места на баррикаде. Кто бы ни оказался победителями, им придется строить новые баррикады уже друг против друга и так до бесконечности, пока последнюю из баррикад не воздвигнут два оставшихся на земле человека, после чего победитель уничтожит самого себя и тогда конец, сумерки богов, тьма: сегодня впервые в своей истории, адмирал, человек восстал не против социальной несправедливости, а против самого себя,— он беспомощно развел руками и впервые слабо улыбнулся.— Вы хотели откровенности, адмирал.

— Так чей же это замысел, наконец? — надсадно вырвалось у Адмирала.

— Дьявола,— все тем же ровным голосом откликнулся гость.

— А Бог? Бог где?

— Если люди забыли о Нем, то, видно, не в Его правилах напоминать им о себе.

— Ну, это уже кощунство! — взвился Адмирал.— Хула на Духа Святого!

— К сожалению, словами ничего нельзя изменить, адмирал.

— Предлагаете сдаться без боя?

— Наоборот. Мы обречены идти до конца.

— И скоро, по-вашему, этот самый конец?

— Мы в самом его начале, адмирал.

— Но они бегут!

— Это как в океане, адмирал, только временный отлив, следующий прилив накроет нас с головой.

— Что же тогда, по-вашему, делать?

Устрялов снова виновато улыбнулся:

— Драться.

— Спасибо за совет.— Адмирал встал, прекращая разговор, охваченный одновременно запальчивостью и смятением.— Текст обращения я напишу сам и передам по назначению. Честь имею.

После ухода Устрялова Адмирал еще долго не мог успокоиться. Впервые то, что он всегда предчувствовал и о чем беспрестанно думал, было высказано ему вслух другим человеком и с такой пугающей откровенностью. Перед ним вдруг воочию раздвинулся некий покров, за которым его сметенной душе открылась такая зияющая пустота, что все в нем до колкого холода в кончиках пальцев зашлось от смертной тоски и бессильного крика: «По какие грехи нам кара, Господи!»

Словно увлекаемый в эту притягательную пустоту, Адмирал в поисках опоры вцепился в подлокотники кресла, и явь снова поплыла вокруг него в бредовом тумане. Свет и тени скрещивались между собой, стремительно прокручивая в памяти цветной калейдоскоп лиц, голосов, видений. С мучительным упрямством продираясь к своему сознанию сквозь эту обжигающую мешанину, он снова и снова изводился разъедающей сердце виной: зачем он взял на себя эту ношу, по какому праву, не веря в конечный результат, повел за собою других на верную гибель, по каким Божеским или человеческим законам действовал и во имя чего?

В такие минуты ему нужна, необходима была Анна. Одно ее присутствие облегчало его, врачевало знойно тлевшую в нем боль, сообщая ему то ровное умиротворение, которого ей было не занимать. Стоило ему приступить к работе, и ее тут же уносило в повседневные хлопоты. Госпиталь, швейные мастерские, благотворительные организации отнимали у нее ровно столько времени, сколько было необходимо, чтобы оставаться на расстоянии от него до первого его зова. Если бы она знала сейчас, как он нуждался в ней в эту минуту!

Появление Удальцова на пороге кабинета облегчающе заслонило распахнувшуюся было перед Адмиралом и влекущую его к себе бездну:

— Прибыл генерал Нокс, Ваше превосходительство!

А тот, не ожидая приглашения, уже светился, сиял из-за удальцовского плеча всем своим белозубым ртом, ямочками на холеных щеках, безукоризненным пробором:

— У меня для вас великолепные новости, адмирал! — Его сияние напористо заполняло собой окружающее пространство.— Правительство Его Величества готово признать вас, уверяю вас, адмирал, это дело считанных дней.

Казалось, в эту минуту через него на Адмирала излучалась вся мощь Британской Империи, сулящей безвестному туземцу несметные россыпи стеклянных бус и до слез умилявшейся при этом собственным великодушием.

— Будем надеяться,— не поддался, не размяк в его сиянии Адмирал,— знаете, как у нас говорят в России: улита едет, когда-то будет.

Уязвленность гостя оказалась прямо пропорциональной его тут же угасшему энтузиазму:

— Вы мне не доверяете, адмирал, я только что получил депешу из Форин-офис, слово офицера!

— Бог с вами, генерал, я высоко ценю ваше искреннее желание помочь нам в нашем праведном деле, но, окажись ваше правительство на моем месте, я бы ни на минуту не раздумывал, признавать мне или не признавать силы законности и порядка в стране-союзнице. Если же ваше правительство считает, что своим признанием делает нам одолжение, то, буду с вами откровенным, генерал, я не жажду такого признания.

Гость, словно отгорающая «шутиха», потухал на глазах, осыпаясь напоследок холодными искрами:

— Вы — русские, люди крайностей, адмирал: или всё, или ничего, но нам надо быть реалистами, сейчас в России существуют две власти — ваша и большевиков, признание одной в ущерб другой может иметь самые непредвиденные последствия для внешнего мира, принимать решения в таких условиях — огромная ответственность, поверьте мне, адмирал.

— Простите, генерал, но вы всё еще живете в девятнадцатом веке.

— То есть?

— А то, что Россия только эпизод в драме, которая началась теперь на земле, рано или поздно она перекинется и на английские подмостки, прошли те золотые времена, генерал, когда Британская Империя дралась за владычество на морях, отныне ей придется драться за само свое существование, как, впрочем, и всем другим.

— Зачем эти крайности, адмирал, роль Кассандры не для боевого офицера, честно говоря, я на вашем месте избрал бы другой путь.

— Любопытно, какой?

— Красные, зеленые, белые, какая разница! Сели бы за один стол и поговорили бы по душам, ведь речь идет о судьбе России, в конце концов! Я уверен, что если бы каждая сторона немного уступила, можно было бы найти взаимоприемлемый компромисс, в конечном счете вы все — русские люди!

Адмирал верил в искренность Нокса. Из всех союзнических эмиссаров тот действительно делал все от него зависящее, чтобы помочь ему в снабжении армии и контактах с иностранными правительствами. Но тем не менее невозможно было понять, взять в толк, как, каким образом этот достаточно поживший и видавший виды солдат, оказавшись в эпицентре кровавого вихря русской смуты, ухитрился сохранить в непорочной целости и эту свою лучезарность, и этот безукоризненный пробор, и это почти девственное недомыслие?

— Стола еще такого не придумали, генерал, за который бы они с нами сели,— вставая, он чувствовал себя так, будто поднимал на плечах какую-то внезапно навалившуюся на него тяжесть.— Впрочем, и мы с ними — тоже.

Англичанина явно передернуло от адмиральской бесцеремонности, но вида он не подал, только еще более схлынул лицом и, поднявшись, молча откланялся.

И Адмирала снова властно потянуло к ней — к Анне. Хотелось уйти, скрыться от этой удушающей бессмысленности вокруг, спрятать лицо в ее прохладные, чуть пахнувшие лавандой ладони и хотя бы на короткие мгновения забыть обо всем на свете, безвольно отдаваясь неистребимой в ней душевной ясности.

Он позвонил:

— Прошу вас, ротмистр, найдите, пожалуйста, Анну Васильевну, передайте ей, что мне необходимо ее видеть,— он говорил, не поднимая глаз, знал: Удальцов уже стоит в дверях, преданно устремленный в его сторону.— Хотя нет, подождите, я поеду сам, проводите меня.

И, подхваченный собственным решением, одним рывком, через кабинет и приемную, на ходу обрастая верхней одеждой, на крыльцо, в сани, сквозь легкую метелицу — к ней.

2

— Здравствуйте, Анна Васильевна, милая, простите ради Бога!
— Александр Васильевич, голубчик, что так вдруг, что-нибудь случилось?
— Ровным счетом ничего, Анна Васильевна, дорогая, просто очень захотелось вас увидеть.
— И это все? Как вы меня напугали, Александр Васильевич.
— Еще раз простите, но я не мог не приехать.
— Какой же вы, право, еще ребенок, Александр Васильевич.
— Для вас — да.
— Дайте-ка я на вас погляжу, милый, как следует.
— Анна Васильевна... Анна... Дорогая... Если бы вы знали...
— А я знаю, все знаю.
— Люблю вас...
— Господи, Саша, Александр, что с вами?
— Ничего, я просто устал... Устал без вас...
— Милый...
Молчание.

3

Поездка по фронту закончилась в Екатеринбурге, где было белым-бело. После первых февральских метелей наступило морозное безветрие. Снежный покров осел, засахарился, отчего выглядел как бы спекшимся. В его крахмальной белизне город походил на полустершийся чертеж, в котором едва угадывались полоски крыш, изгородей и оконных переплетов. И над всем этим нависало повитое печными дымками, белесое от стужи небо.

Позади оставалась долгая, но ободряющая дорога: фронт, несмотря на лютые холода, продвигался по всем направлениям, радушие населения было неподдельным, боевой дух на позициях держался без дисциплинарных понуканий, будущее представлялось обнадеживающим. Пожалуй, впервые за последние два года Адмирал несколько приободрился, уповая на лучшее. Но даже в эти, казалось бы, безоблачные дни к нему нет-нет да подступала сосущая сердце тревога: надолго ли все это?

Город, сквозь который несли его штабные сани, смотрелся вымершим: жизнь его, словно зверь в берлогу, забралась под снег, напоминая о себе лишь курной куделью над заснеженными кровлями.

С того самого дня, когда на Адмирала обвалилась весь известием о гибели Монарха, его тянуло сюда — в этот город, как притягивает путника близкая бездна: взглянуть, увидеть собственными глазами всю смертную жуть ее влекущей глубины, чтобы или окончательно сойти с ума, или навсегда излечиться от безумия.

Поэтому прямо с вокзала он приказал вести себя к дому Ипатьева, где его, по предварительной договоренности, уже должны были ждать с подробным докладом обо всех обстоятельствах этого рокового для России убийства.

Дом развернулся к Адмиралу с лету, всем фасадом — двухэтажный, приземистый, но не без претензий на некоторую вычурность. Его мертвые окна тускло посвечивали по сторонам из-под обледенелых наростов, одновременно маня и отпугивая содеянным в нем злодейством. Было в нем что-то от разграбленного склепа или заброшенного могильника, откуда исчезло содержимое, оставив после себя лишь тлен и дыхание смерти.

Во дворе навстречу Адмиралу высыпала небольшая группа людей, из которой сразу же выделился, приближаясь, высокий, остролицый, в черных усах человек в барашковой шапке и шинели без погон:

— Здравствуйте, Ваше высокопревосходительство, разрешите представиться: судебный следователь Соколов,— он близоруко вглядывался в Адмирала сверху вниз, будто гадал, не ошибся ли адресом.— Дозвольте также представить вам моих сотрудников...

После церемонии беглого знакомства все, следом за Адмиралом, гуськом потянулись в дом. Сумрак, царивший внутри, только подчеркивал его отпугивающую заброшенность. Все здесь носило следы разнузданной вольницы: замызганные полы, испещренные ругательствами стены, перекореженная, в беспорядке, мебель. Было видно, что бежавшие даже не пробовали замести следы совершенных бесчинств, настолько оставались уверены в своем праве на них.

С глухо бьющимся сердцем спускался Адмирал в подвальную часть дома, с каждым шагом все более ощущая приливавшую к ногам ватную слабость: «Хоть бы детей, женщин пожалели. Господи!»

Ему вдруг вспомнилась его единственная аудиенция у Императора в могилевской Ставке, перед назначением на Черноморский флот. Тот принял его без обычных официальностей, усадил в кресло против себя, с отсутствующим видом глядел сквозь него, заученно складывая формулы Высочайшего повеления, но голос его при этом не выражал ничего, кроме укорененной усталости и безразличия ко всему окружающему.

Помнится, уже в тот июльский вечер шестнадцатого года Адмиралу передалась эта безвольная обреченность Императора, и он с тоской подумал тогда: «Не жилец».

И еще одно отчетливо отложилось в памяти: в разговоре с ним Император то и дело досадливо морщился, отмахиваясь от назойливо кружившей перед его лицом мухи...

Тусклый свет керосинового фонаря из-за плеча Адмирала слабо озарял перед ним небольшую, если не сказать крохотную, комнату об одно окно, с растерзанной в беспорядочной стрельбе стенкой впереди.

«И как только они все здесь поместились! — завороженно вглядывался он в выщербленную штукатурку и черные пятна на полу.— Это же бойня, настоящая бойня!»

И уже почти задыхаясь, отвернулся, дернулся к выходу:

— Разрешите, господа...

Наверху, в наспех прибранной столовой, на покрытом белой простынею обеденном столе были выставлены для обозрения разрозненные останки императорской семьи.

Перед Адмиралом аккуратно разложенное и пронумерованное, лежало то, что осталось от Дома Романовых, целой династии, трехсотлетней истории России; пепел, прах, горстка костей. Стоило ли строить государство, вести страну через кровавые бунты и еще более кровавые войны, правдами и неправдами умножать ее славу и богатство, чтобы в конце концов обратить все в ней и обратиться самим в щепоть безымянного тлена? Конечно, тут сошлось множество разных причин и роковых случайностей, но уверенная в себе монархия вековым инстинктом должна, обязана была предугадать все эти причины и случайности вместе взятые и в судьбоносный час противопоставить смертельному стечению обстоятельств всю мудрость и глубину своего Божественного знания.

Только целиком проникшись этой единосущностью, можно разрешить себе, не угрызаясь совестью, отправлять на плаху собственных детей, не брезговать святотатством и клятвопреступлением, престу-

пать, если нужно, все Божеские и человеческие законы, а потом, в редких промежутках между громкими победами и еще более громкими поражениями, замаливать собственные грехи смиренными молитвами и показной щедростью.

И сразу же почему-то отчеканилось в памяти из переписки Грозного с Курбским: «Како же сего не могл еси разсудити яко подобает властителем не зверски яритися, ниже бесловесно смирятися? Яко же рече апостол: «Овех убо милуйте разсуждающе, овех же страхом спасайте, от огня восхищающе». Видиши ли, яко апостол страхом повелевает спасати? Тако же и во благочестивых царех и временех много обрящеши злейшие мучение. Како убо, по твоему безумному разуму, единако быти царю, а не по настоящему времени? То убо разбойницы и татие мукам неповини суть (паче же и злейша сих лукавая умышления!). То убо вся царствия нестроения и междуусобными браньями разтлятся. И тако ли убо пастырю подобает, еже не разсмотряти о нестроении о подвластных своих?»

Но как раз этим качеством и был обделен от природы последний монарх династии. Взамен этого она одарила его многими иными добродетелями — простотой, деликатностью, редким великодушием, но первая зачастую оборачивалась для окружающих хуже воровства, вторая воодушевляла проходимцев, а третьей пользовались все, кому не лень, от казнокрадов до бомбометателей. Его государством была собственная семья. Только в ней он находил опору в повседневных делах, только в единении с нею чувствовал себя полноценным человеком и лишь ее считал гарантией будущего России. Все, что находилось за пределами этого замкнутого мирка, представлялось ему крикливой и докучливой суетой, на соприкосновение с которой его обрекало происхождение и долг, вытекающий из этого происхождения.

Поэтому в роковой час, когда от него потребовалось усилие воли, чтобы взять на себя окончательную ответственность за судьбу династии и государства, он предпочел малодушно бежать в этот мирок, оставив страну на поток и растерзание разнузданной бесовщине. И затем: бесславное отречение, прозябание в Тобольске, скорая нелепая гибель.

Монархия, по его глубокому убеждению, могла и еще сможет стать надежным залогом непрерывности истории и культуры, только если не будет пытаться приспосабливать их к своему образу и подобию, а, наоборот, приспособит себя к ним, сделавшись лишь регулирующей силой, способной с чуткостью любящей, но умной матери мгновенно отзываться на их взлеты и падения и при этом помочь им в первом, но удержать во втором...

Потом Адмирал почти машинально листал объемистое следственное дело, мелькали даты, имена, фамилии так и не схваченных обвиняемых. Откуда, из какой тьмы возникли они — все эти белобородовы, голощековы, юровские или медведевы и сколько они еще прольют невинной крови, пока та же тьма не поглотит их?

(Много, много, Адмирал, они еще прольют невинной крови, но Тьма, породившая их, поглотит всю эту свору скорее, чем вы думаете, Ваше высокопревосходительство. Правда, прежде чем поглотить, она протащит их через все девять кругов пыточного ада, и некому им будет помолиться, чтобы облегчить хотя бы душевные свои муки. Когда одного из них уже поволокут на плаху, ему только и останется, что вопить благим матом: «Я Белобородов, передайте в ЦК, меня пытают!» Но ЦК — не Господь-Бог, кричи не кричи, не поможет!)

— Благодарю вас, господа.— Его неудержимо тянуло прочь от этого места, от этого дома, от этой засасывающей душу пропасти.— Честь имею.

И снова по коридору, через двор, наружу, а затем в сани и сквозь городскую белизну — к надежному теплу штабного бронепоезда.

На станции его застала необычная суматоха: на вокзальной платформе, оцепленной часовыми, бурлила толпа чешских легионеров, по путям беспокойно сновала железнодорожная обслуга, вокруг бронепоезда настороженно сгрудился адмиральский конвой.

— Беда, Ваше высокопревосходительство,— кинулся оттуда навстречу Адмиралу Удальцов: обычно невозмутимый, он выглядел не на шутку встревоженным.— Один из наших застрелил легионера.

— Кто? — на ходу бросил Адмирал, направляясь к поезду.

— Егорычев.

— Каким образом?

— Действовал по уставу, Ваше высокопревосходительство,— возбужденно дышал ему в затылок тот.— Стоял на посту, сначала крикнул, потом дал предупредительный выстрел, но ведь вы сами знаете, Ваше высокопревосходительство, чехам теперь сам черт не брат и море по колено, тип этот только обложил Егорычева матом, а на выстрел даже ухом не повел, ну, Филя мой и хлопнул его, как его по уставу учили.

— Так в чем же дело, если по уставу?

— Чехи подняли союзников, те грозятся разорвать отношения, легионеры, как видите, тоже бушуют, Сыровой вот-вот прибудет для объяснений.

— Что ж, примем.— После пережитого им в этот день нервы его были напряжены до предела.— Пора наконец действительно объясниться.

Сыровой вкатился к нему в салон без предупреждения, волчком закружил по ковру перед ним, возмущенно поблескивая в его сторону своим единственным глазом:

— Когда прекратится это беззаконие, адмирал, я больше не намерен этого терпеть, вы можете безнаказанно лить кровь своих соотечественников, вы сами ответите за нее перед историей, но я не могу допустить, чтобы ваши люди лили чешскую кровь, за нее отвечаю я! — но тут же осекся, поймав на себе побелевший от ярости взгляд адмирала.— Это очень серьезно, Ваше высокопревосходительство.

Адмирал медленно поднялся, не спуская с гостя помертвевших в исступленном гневе глаз:

— Слушайте, вы, как вас там, господин Сыровой, вы не в пражской пивной, а в салон-вагоне Верховного Правителя России, держите себя в руках или я прикажу выбросить вас вон. Вы прекрасно знаете, что часовой действовал согласно существующим воинским правилам, поэтому незачем разыгрывать передо мной дешевую мелодраму. Зарубите себе на носу и передайте вашим иностранным друзьям: за неукоснительное исполнение служебного долга я объявляю часовому благодарность в приказе и рассылаю этот приказ по войскам.

— Но, адмирал...

— Для вас я не «адмирал», а «Ваше высокопревосходительство», видно, генеральский мундир еще не сделал из вас военного, Сыровой, не сделал он таковых и из ваших подчиненных, иначе они бы знали, что такое честь, а они ведут себя в приютившей их стране как шайка обезумевших мародеров. Сначала вы изменили одной присяге, теперь изменяете другой, и все это ради спасения своей собственной шкуры, чего вы сто́ите вместе со своим воинством, Сыровой, плевка не сто́ите!

— Я вынужден доложить об этом своему Правительству,— еще догорал, попыхивая угольным треском тот.— Это неслыханно!

— Под шумок большой войны, за спиной у истекающей кровью Европы вырыли себе свою национальную норку и думаете отсидеться

в ней от всемирного потопа. Не получится, Сыровой, рано или поздно потоп этот доберется и до вашего иллюзорного убежища, где вы вознамерились теперь избавиться от своей лакейской мизерабельности за счет чужой крови, а от этого можно избавиться только за счет своей, но она настигнет вас, эта кровь, и падет, если не на вас, то на ваших детей,— гнев в нем схлынул так же внезапно, как и возник, он даже не сел, а обессиленно упал в кресло, отвернувшись к окну.— Среди вас был лишь один человек — полковник Швец, который понимал это, вот он и покончил с собой, чтобы не разделять с вами вашего позора.

— И все же, Ваше высокопревосходительство...

Адмирал только отмахнулся с вялой брезгливостью:

— Я вас более не задерживаю, Сыровой, но в следующий раз соблаговолите предварительно докладывать о своем визите по форме, иначе, повторяю, я прикажу спустить вас с лестницы.

И прикрыл веки, словно занавес опустил между собой и гостем.

4

Предсмертная записка полковника Швеца:

«Я не могу пережить позора, постигшего нашу армию по вине многочисленных необузданных фанатиков-демагогов, которые убили в себе и в нас всех убивают самое ценное — честь».

Открытое письмо капитана польских войск в Сибири Ясинского-Стахурека генералу Сыровому:

«Как капитан польских войск, славянофил, давно посвятивший свою жизнь идее единения славян,— обращаюсь лично к Вам, генерал, с тяжелым для меня, как славянина, словом обвинения.

Я, официальное лицо, участник переговоров с Вами по прямому проводу со ст. Клюквенной, требую от Вас ответа и довожу до сведения Ваших солдат и всего мира о том позорном предательстве, которое несмываемым пятном ляжет на Вашу совесть и на Ваш «новенький» чехословацкий мундир.

Но вы жестоко ошибаетесь, генерал, если думаете, что Вы, палач славян, собственными руками похоронивший в снегах и тюрьмах Сибири возрождающуюся русско-славянскую армию с многострадальным русским офицерством, пятую польскую дивизию, полк сербов и позорно предавший Адмирала,— безнаказанно уйдете из Сибири. Нет, генерал, армии погибли, но славянская Россия, Польша и Сербия будут вечно жить и проклинать убийцу возрождения славянского дела.

Я приведу только один факт, где Вы были главным участником предательства, и его одного будет достаточно для характеристики Иуды славянства, Вашей характеристики, генерал Сыровой!

9 января сего года от нашего высшего польского командования, с ведома представителей иностранных армий, всецело присоединившихся к нашей телеграмме, было передано следующее:

«5-я польская дивизия, измученная непрерывными боями с красными, дезорганизованная беспримерно трудным передвижением по железной дороге, лишенной воды, угля и дров, и находящаяся на краю гибели, во имя гуманности и человечности просит Вас о пропуске на восток пяти наших эшелонов (из числа 56) с семьями воинов: женщинами, детьми, ранеными, больными, обязуясь, предоставив Вам в Ваше распоряжение все остальные паровозы, двигаться дальше боевым порядком в арьергарде, защищая, как и раньше, Ваш тыл».

После долгого пятичасового томительного перерыва мы получили, генерал, Ваш ответ, ответ нашего доблестного брата-славянина:

«Удивляюсь тону Вашей телеграммы. Согласно последнему приказанию генерала Жанена, Вы обязаны идти последними. Ни один польский эшелон не может быть мною пропущен на Восток. Только после ухода последнего чешского эшелона со ст. Клюквенная Вы можете двинуться вперед. Дальнейшие разговоры по сему, вопросы и просьбы считаю излишними, ибо вопрос исчерпан».

Так звучал Ваш ответ, генерал, добивший нашу многострадальную пятую дивизию.

Конечно, я знал, что Вы можете сказать мне, как и другим, что технически было невозможно выполнить наше предложение; поэтому заранее говорю Вам, генерал, что те объяснения, которые Вы представили и представляете другим, не только не убедительны, но и преступно лживы. Мне, члену комиссии, живому свидетелю всего происходящего, лично исследовавшему состояние ст. Клюквенной, Громодской и Заозерной, Вы не будете в состоянии лгать и доказывать то, что Вы доказывали генералу Жанену. Если бы Вы не как бесчестный трус, скрывавшийся в тылу, а как настоящий военачальник были бы среди Ваших войск, то Вы увидели бы, что главный путь был свободен до самого Нижнеудинска. Абсолютно никаких затруднений по пропуску пяти наших эшелонов быть не могло. У меня есть живые свидетели, специалисты железнодорожного дела, не поляки, а иностранцы, бывшие 7, 8, 9 января на ст. Клюквенной, которые, несомненно, подтвердят мои слова.

Я требую от Вас, генерал, ответа только за наших женщин и детей, преданных Вами в публичные дома и общественное пользование «товарищей», оставляя в стороне факты выдачи на моих глазах на ст. Тулуне, Зиме, Половине и Иркутске русских офицеров, «дружественно» переданных по соглашению с Вами, для расстрела, в руки «товарищей» совдепско-эсеровской России... Но за всех их, замученных и расстрелянных, несомненно, потребуют ответа мои братья-славяне, русские и Великая Славянская Россия. Я же лично, генерал, требую от Вас ответа хотя бы только за нас, поляков. Больше, генерал, я не могу и не желаю говорить с Вами — довольно слов. Не я, а беспристрастная история соберет все факты и заклеймит позорным клеймом, клеймом предателя, Ваши деяния.

Я же лично как поляк, офицер и славянин обращаюсь к Вам: к барьеру, генерал! Пусть дух славянства решит наш спор — иначе, генерал, я называю Вас трусом и подлецом, достойным быть убитым в спину.

Капитан польских войск в Сибири Ясинский-Стахурек, 5 февраля 1920 года».

Ответа на это письмо не последовало.

После завершения чешской эвакуации генерал Жанен вручил Сыровому в Харбине орден Почетного Легиона.

5

Сквозь смотровую щель штабного блиндажа и расступавшееся впереди редколесье обзор открывался как на ладони. Адмирал поднял бинокль, и полевая даль за лесной опушкой приблизилась к нему почти вплотную.

Сначала в знойном мареве над июльским полем перед ним выявилась кромка березовой рощицы, дальним своим краем стекающей за горизонт. Затем от этой рощицы, словно стронувшийся с места подлесок, выделилась изреженная россыпь темных фигурок. Издалека казалось, что они не передвигались, а плыли поверх некошеной травы, устремляясь туда, где на крутом изгибе речного берега сгрудились впритык друг к другу тесовые крыши облепившего его села.

Фигурки плыли в полной тишине, прошитой лишь шипом и стре-

котом полевого царства, и, глядя со стороны, можно было подумать, что происходит безобидная игра в «детские солдатики».

Но чем короче становилось расстояние между атакующей цепью и селом на взгорье, тем явственней обозначался в фокусе адмиральского бинокля облик наступающих: жесткие, без кровинки лица, напряженно откинутый немного назад корпус, руки, судорожно слившиеся с прикладом и ложем винтовки у плеча,— знак смерти на гимнастерке.

В двух шагах впереди цепи, словно возглавляя парадный строй, вышагивал подбористый, саженного роста офицер, и, остановив на нем окуляры, Адмирал сразу узнал его: Каппель.

«Будто сам смерти ищет,— горько отложилось в нем,— не к добру это».

Что он знал об этом Каппеле? Почти ничего, кроме обычного послужного списка: Николаевское кавалерийское училище, Академия Генштаба, Мировая война, герой штурма Симбирска и Казани. При немногих, да и к тому же коротких встречах сух, подтянут, исполнителен до подобострастия: типичный выученик старой школы. Но что-то привлекало в нем Адмирала, тянуло встретиться в другой, менее официальной обстановке, даже пооткровенничать под сурдинку, но ежедневная суета закручивала его с утра до ночи, не давая опамятоваться, выбрать случай для душевной беседы, а время той порой шло и шло, упрямо увлекая их, отдаленных друг от друга людьми и расстоянием, к одному и тому же концу.

Чуткая, а потому осторожная к людям Анна, словно угадывая его слабость к Каппелю, не раз замечала ему в разговорах:

— Один у вас друг, Александр Васильевич, без лести преданный,— это Владимир Оскарыч, вот кому бы вам довериться...

За месяцы Верховной власти он так и не смог избавиться от некоторого ученического почтения к армейскому генералитету. Ему казалось почти непостижимым искусство распоряжаться целыми массами людей, двигая их по своему усмотрению в любую сторону и маневрируя ими в зависимости от случайностей, возникающих уже по ходу боя. Для этого, по его убеждению, они должны были обладать каким-то особым даром постоянного чувства личного взаимопонимания не только с этими массами, но и с каждым из подчиненных в отдельности.

Во флоте дело обстояло совершенно иначе. Флотоводцу вообще почти не было нужды выходить за пределы флагманской каюты или соприкасаться со сколько-нибудь большим количеством людей. Корабельная армада жила сама по себе, как предельно отлаженный механизм, в котором воля командующего играла не направляющую, а скорее регулирующую роль. Знания и точный анализ считались здесь важнее интуиции и таланта.

Наверное, поэтому Адмирал так благоволил к Гайде и младшему Пепеляеву, прощал им их своеволие и заносчивость. Для него — образованного и опытного моряка — было почти сверхъестественным, что вчерашний поручик и неудачливый фельдшер безбоязненно брались за любые крупномасштабные операции и, что самое поразительное, доводили их до более или менее успешного завершения.

Эта его слабость к сухопутным практикам не раз оборачивалась для него промахами в выборе военачальников...

Пулеметная очередь вперемежку с одиночными выстрелами, словно град ребячьих хлопушек, вдруг прошила раскаленную тишину и пошла, пошла сыпать, выхватывая из плывущих цепей мишень за мишенью. Но не замедляя и не ускоряя шага, цепи продолжали двигаться, неотвратимо, волна за волной накатывались, приближались к сельской околице, увлекаемые волей ведущего, и, наконец, растекаясь, слились с контурами далеких построек.

Стрельба, будто захлебнувшись, мгновенно смолкла.

— Взяли! — азартно выдохнул у него за спиной Удальцов.

— Молодец, Каппель!

Но в отличие от него Адмирал не испытывал радости. Он думал сейчас о тех, кто, не дойдя до цели, полег там — в некошеных травах, с застывшим у них в глазах июльским небом.

«Ради чего,— изводился он,— и зачем все это? За что, во имя какой корысти эти безусые мальчики кладут свои головы вот так, еще не вздохнув полной грудью?»

Ответить на эту источавшую его муку после всего пережитого им за последние месяцы он не мог даже самому себе. События развивались так, что эти мимолетные успехи только подчеркивали общую обреченность.

Ему вспомнилась его зимняя поездка вдоль прифронтовой полосы. Тогда, после Перми, счастье, казалось, улыбнулось им: взятие Оханска и глубокий обход Осы, бегство красных от Камы в сторону Вятки, победный штурм Уфы и, наконец, соединение передовых линий лыжников с архангельцами. Признание союзников ожидалось в ту пору со дня на день.

Но и тогда Адмирал не спешил обольщаться. Если бы враг у него существовал только впереди, ему не о чем было бы беспокоиться: под его рукой имелось достаточно боеспособных сил и опытных военачальников, чтобы одолеть любого противника. Но враг был сзади, у него за спиной: в штабных и гражданских канцеляриях, на железнодорожных путях и проселочных трактах, в салон-вагонах и резиденциях союзников, в рабочих поселках, в лесных деревнях, казачьих станицах: человеческая душа страшилась упустить выпавший ей случай пожить по своей воле и собственному разумению, не имея, к несчастью, ни того, ни другого.

Поэтому царившее зимой вокруг него повсеместное ликование не вселило в него особых надежд, слишком поучительным оказался для него весь его послефевральский опыт, чтобы утешаться иллюзиями удержать прорванную плотину всеобщего безумия хрупкими подпорками фронтовых успехов.

Еще там, на Черноморье, в июне семнадцатого, когда корабельные заводилы вломились к нему во флагманскую каюту с нелепым постановлением судового комитета о его смещении и аресте, он понял, что это конец всему и всего: то, что еще вчера казалось ему хорошо и надолго отлаженным механизмом, у него на глазах превращалось в груду беспорядочного лома, вдруг потерявшего всякое понятие о своем назначении.

У них не было причин подозревать его в чем-либо или за что-то ненавидеть: он не лукавил с ними и был к ним неизменно справедлив, но в их тогдашней торжествующей возбужденности и не чувствовалось ни обиды, ни злости, а лишь одно ликующее упоение властью над тем, что еще вчера оставалось им неподвластно.

Сколько разговоров, сколько мифов и легенд распускалось потом обо всей этой сцене, а в особенности о выброшенном Адмиралом за борт Георгиевском кортике! На самом деле все происходило обыденней и короче, без красивых жестов и аффектации. По правде говоря, он не прочь был даже подчиниться: в конце концов что, собственно, означал для него этот самый кортик, если рушилась сама основа, которая еще сообщала смысл каким-либо ценностям или отличиям, но победительная ухмылка главаря — в прошлом знающего и покладистого боцмана — вызвала в нем такой прилив черного бешенства, что на минуту он потерял контроль над собой:

— Руки прочь, не ты мне его давал,— кортик со свистом рассек синеву за распахнутым настежь иллюминатором,— не ты его и отберешь...

Приходя в себя, Адмирал повернулся к Удальцову:

— Каппеля ко мне!

Потом, когда в сумерках они сидели друг против друга за собранным на скорую руку ужином, Адмирал вглядывался в невозмутимое, без единой морщинки лицо собеседника в поисках хотя бы тени, пробленска, налета тревоги или беспокойства, но тот в продолжение всего разговора производил на него впечатление человека, только что вернувшегося с безобидной прогулки и готового по первому приглашению ее повторить.

И, лишь прощаясь, Каппель впервые напряженно потемнел, выдавая выжигавшую его изнутри муку:

— Вы спрашивали, Александр Васильевич, стоит ли командующему самому подставляться под пули? — В выпуклых глазах его проступила сдержанная ярость.— Не знаю, может быть, и не стоит, но только мне с ними,— он кивнул куда-то за спину себе,— на одной земле не быть, а единственное, что у меня есть в обмен на это,— моя жизнь,— и тут же официально вытянулся: — Разрешите идти, Ваше высокопревосходительство?

После его ухода Адмирал долго еще сидел в одиночестве, глядя сквозь блиндажную щель в наступающую снаружи ночь. Он снова думал о тех, кто полег сегодня там, в июльских лугах, и для кого уже не существовало ни этой ночи, ни этой тишины, ни завтрашнего, может быть, еще более тяжелого для них дня.

«Кто знает,— складывалось в нем,— не придется ли мне еще завидовать их участи? И одному ли мне?»

Впереди, над зубчатой кромкой отдаленного леса, вдруг возникла, мерцая и разрастаясь, одинокая, но торжествующая в ночной тверди звезда. Звезда, от которой веяло горькой полынью. Его звезда.

Не оборачиваясь, он позвал Удальцова и, едва услышав за спиной легкое движение, распорядился:

— Попросите заготовить приказ о производстве генерал-лейтенанта Каппеля в полные генералы.

— Слушаюсь, Ваше высокопревосходительство!

А звезда продолжала набирать силу и возноситься.

6

Из записок Г. Гинса:

«В начале октября Верховный Правитель собирался в дальнюю поездку, в Тобольск. Я решил сопровождать Адмирала. Мне хотелось ближе познакомиться с ним, хотелось также побывать на фронте, у самого огня увидеть солдат, офицеров, ознакомиться с их настроением.

Как раз накануне отъезда в доме Верховного был пожар. Нехороший признак. Трудно было представить себе погоду хуже, чем была в этот день. Нескончаемый дождь, отвратительный резкий ветер, невероятная слякоть — и в этом аду огромное зарево, сноп искр, суетливая беготня солдат и пожарных, беспокойная милиция.

Это зарево среди пронизывающего холода осенней слякоти казалось зловещим. «Роковой человек», уже говорили кругом про Адмирала. За короткий период это был уже второй несчастный случай в его доме. Первый раз произошел разрыв гранат. Огромный столб дыма с камнями и бревнами взлетел на большую высоту и пал. Все стало тихо. Адмирала ждали в это время с фронта, и его поезд приближался уже к Омску.

Взрыв произошел вследствие неосторожного обращения с гранатами.

Из дома Верховного Правителя вывозили одного за другим окровавленных, обезображенных солдат караула, а во дворе лежало несколько трупов, извлеченных из-под развалин. Во внутреннем дворе продолжал стоять на часах оглушенный часовой. Он стоял, пока его не догадались сменить.

А кругом дома толпились встревоженные, растерявшиеся обыватели. Как и часовой, они ничего не понимали. Что произошло? Почему? День был ясный, тихий. Откуда же эта кровь, эти изуродованные тела?

Когда Адмиралу сообщили о несчастье, он выслушал с видом фаталиста, который уже привык ничему не удивляться, но насупился, немного побледнел.

Потом вдруг смущенно спросил: «А лошади мои погибли?»

Теперь, во время пожара, Адмирал стоял на крыльце, неподвижный и мрачный, и наблюдал за тушением пожара. Только что была отстроена и освящена новая караульня, взамен взорванной постройки, а теперь горел гараж. Что за злой рок!

Кругом уже говорили, что Адмирал несет с собой несчастье. Взрыв в ясный день, пожар в ненастье... Похоже было на то, что перст свыше указывал неотвратимую судьбу.

Поездка в Тобольск состоялась. Для Адмирала был реквизирован самый большой пароход «Товарпар». Он должен был отойти в Семипалатинск. Уже проданы все билеты, и публика начала занимать каюты, когда пришло известие: «всем пассажирам выгружаться». Шел дождь. Другого парохода не было, а публику гнали с парохода.

Бедный Адмирал! Он никогда не знал, что творилось его именем. Исправить сделанного уже было невозможно, и я ничего не сказал ему».

7

После тобольской поездки что-то словно бы хрустнуло, надломилось в налаженной было Адмиралом машине. И от этого надлома потянулись трещины и трещинки во все стороны ее не окрепшего еще организма.

Тюменская операция окончательно захлебнулась. Красные не соблазнились кратчайшим путем отхода через лесные топи на Тюмень, а вопреки всем ожиданиям повернули обратно — к Тобольску, по частям разбивая небольшие отряды воткинцев, выдвинутых в тыл отступающего противника, а встретивших наступавшего. Под самым Тобольском они, не заходя в город, повернули на Тюмень, оказавшись за спиной армии генерала Редько, шедшей вдоль Тобола в том же направлении. Сразу же началось беспорядочное отступление, а вернее, бегство. Северный фронт разошелся по всем швам.

Затем, словно сполохи по сухой стерне, пошли дымить крестьянские бунты, отзываясь на усмирения все новыми и новыми зарницами. Волнения подступали к самому Омску из Славгородского и Тарского уездов, с юго-востока и северо-запада, прервав линию сообщений Семипалатинск — Барнаул. Земля уходила из-под ног Адмирала.

После чего и с запада посыпались известия одно тревожнее другого. В конце октября Юденич отступил от Петрограда. Почти одновременно Деникин сдал Орел и начал стремительно откатываться к Ростову. Архангельского фронта больше не существовало. Омск оставался в одиночестве, с глазу на глаз с Пятой армией наступающего противника.

И пошло, поехало.

Атаманщина в полном составе окончательно вышла из повиновения. Верным оставался только Дутов, но до него было далеко, и поэтому он мало чем мог помочь. Семенов удельным князьком отсиживался в Чите, Анненков куролесил по Семиречью, а Калмыков жег и

грабил вокруг Харбина. И не существовало отныне на этой земле силы, которая смогла бы обуздать или утихомирить их.

Чехи, поддержанные союзниками, с каждым днем вели себя все более вызывающе. Их эшелоны забили железнодорожную сеть до самого Новониколаевска, блокируя любые перевозки в каких бы то ни было направлениях. Не считаясь ни с грузом, ни с графиком и пренебрегая чьими-либо приказами и просьбами, они самочинно реквизировали тягу и подвижной состав для подручных нужд и праздного передвижения. Сибирь сделалась заложницей этой разнузданной орды у себя, в своей собственной стране.

Омск стал походить на осажденную крепость. Вокруг города дымили кострами таборы беженцев, из которых наспех формировались разношерстные соединения: мусульмане, легионеры, православные крестоносцы. Молва перекатывала из конца в конец города недавние слова Адмирала: «Бежать больше некуда, надо защищаться».

На полыхающий неподалеку фронт были брошены последние резервы: морской батальон, городское ополчение и даже большая часть адмиральского конвоя. Упорство наступающих схлестнулось насмерть с отчаянием оборонявшихся.

Но — странное дело! — чем хуже и безнадежнее становилась общая ситуация, тем увереннее и тверже чувствовал себя Адмирал. Осознав худшее, он словно бы отряхнул душу от страхов и тревог вчерашней неопределенности и с облегчением взглянул в глаза своей гибели. Наверное, так чувствует себя беглец, настигнутый долгой погоней, когда уже нет надобности никуда бежать и не от кого скрываться: флажки сомкнулись за ним, и ему ничего не оставалось, как наблюдать из своего загона за окружающими с отчаянным спокойствием обреченного.

Царившая вокруг него паническая суета, обтекая его со всех сторон наподобие гулкого водоворота, почти не отзывалась на нем. По сравнению с тем, что ожидало его впереди, волнения и страсти вокруг виднелись ему теперь словно сквозь опрокинутый бинокль, настолько они выглядели микроскопическими.

Видит Бог, он сделал все, бывшее в его силах, чтобы, оказавшись в самой стремнине сокрушительного потока, попытаться если не остановить этот поток, то хотя бы прикрыть собою тех, кто был ему особенно близок, и если и не сумел этого сделать, то не по своей вине.

Да и кому на его месте удалось бы совершить большее? Едва ли вокруг него имелись люди, видевшие дальше, чем он, и понимавшие, что все, случившееся в России, только начало пожара, который рано или поздно охватит остальной мир, и что война, залившая ее, теперь уже не кончится до тех пор, пока на земле останется хотя бы одна живая душа. Простому смертному не под силу была бы догадка, что человек впервые в истории затеял войну, которая захлестнет землю, а затем, дробясь и дробясь на все более малые бойни, обернется последним поединком двух живых существ, после чего победитель, в последний раз огласив мертвую землю предсмертным криком, уничтожит самого себя. И тогда над поверженным миром прокатится торжествующий хохот Сатаны: «Я победил тебя, Галилеянин»...

Губернаторский дом, где размещались службы Верховного правителя, превратился в придорожный табор: повсюду громоздилась ручная кладь, товарный багаж, беспорядочные груды документации, а поверх всего этого сидели, лежали, возбужденно метались люди с загнанными от растерянности глазами.

В кабинете Адмирала происходило почти беспрерывное заседание. Разговоры велись лишь об одном: сдавать или не сдавать Омск? В принципе эвакуация была решена еще в августе, но затем не раз отменялась в надежде на изменения к лучшему. Даже теперь, когда, казалось бы, другого пути не оставалось, наиболее отчаянные головы призывали правительство защищаться во что бы то ни стало и любой ценой.

Адмирал беспрерывно принимал министров, генералов, представителей городской общественности, вполуха выслушивал все «за» и «против», невидяще смотрел сквозь собеседников, едва воспринимая обращенные к нему доводы и доказательства.

Слегка оживился он только при появлении командующего Третьей армией генерала Сахарова. Тот прибыл прямо с фронта, вымокнувший под мокрым снегом с ног до головы, в заляпанных грязью сапогах возник на пороге и уже оттуда, не стесняясь субординацией, обрушил на присутствующих водопад новостей, одну хуже другой:

— Фронта больше не существует, господа, солдаты разбегаются куда глаза глядят, Щетинкин гуляет по нашим тылам, как у себя дома, измена поднимает голову на каждом шагу, большевики могут оказаться в любую минуту на ружейный выстрел от Омска! — но, выложив все это одним духом, закончил он довольно неожиданно.— Выход один: собрать остатки сил в единый кулак вокруг города и защищаться до последнего, противник тоже на последнем пределе, если мы выстоим, возможен перелом.

И лишь после этого не сел, а облегченно рухнул в кем-то сочувственно выдвинутое к нему кресло, с вызовом вздернув бульдожий подбородок в сторону Адмирала.

Даже видавший виды Пепеляев не сразу нашелся, настолько он был ошарашен сахаровским натиском:

— Какими же силами защищаться, Константин Васильевич, где они у нас, эти силы?

— Наличными, Анатолий Николаевич, наличными,— Сахаров не скрывал давней своей неприязни к Пепеляеву.— Вытянуть на свет Божий из разных канцелярий и штабных щелей всю тыловую сволочь, поставить под ружье и отправить на позиции, хватит ей пробавляться на казенном корму за спиной у фронтовиков, вот и весь сказ, а то ведь, я смотрю, эта сволочь не воевать, а удирать собралась на семеновские хлеба, только как бы ей этими хлебами не подавиться...

В дальнейшую перепалку Адмирал уже не вникал. К нему вдруг вернулось спасавшее его временами упрямство: почему бы и нет? Да, положение практически безнадежно, да, реальных шансов у них, если смотреть правде в глаза, нет, но вот находится человек, который хочет и полон решимости драться, отчего не позволить этому человеку рискнуть? Сколько можно выслушивать нытье Дитерихса, этого тихопомешанного ханжу, возомнившего себя перстом Божьим, или надеяться на шальное везение Пепеляева, удачливого только на ровной дорожке, пусть честолюбивый новичок попытает счастья, может быть, еще не все потеряно и есть шанс хотя бы отсрочить худшее?

Возвращаясь к действительности, Адмирал решительно вклинился в гудевший вокруг него спор.

— Быть по сему.

8

Из дневника Анны Васильевны:

«Как трудно писать то, о чем молчишь всю жизнь,— с кем я могу говорить об Александре Васильевиче? Все меньше людей, знавших его, для которых он был живым человеком, а не абстракцией, лишенной каких бы то ни было человеческих черт. Но в моем ужасном одиночестве нет уже таких людей, какие любили его, верили ему, испытывали обаяние его личности, и все, что я пишу,— сухо, протокольно

и ни в какой мере не отражает тот высокий душевный строй, свойственный ему. Он предъявлял к себе высокие требования и других не унижал снисходительностью к человеческим слабостям. Он не разменивался сам, и с ним нельзя было размениваться на мелочи — это ли не уважение к человеку?

И мне он был учителем жизни, и основные его положения: «ничто не дается даром, за все надо платить — и не уклоняться от уплаты» и «если что-нибудь страшно, надо идти ему навстречу — тогда не так страшно» — были мне поддержкой в трудные часы, дни, годы».

9

Из записок Г. Гинса:

«В день отъезда ударил мороз. Стало легче на душе: армия сможет отойти за Иртыш.

По обе стороны пути тянулись обозы отступающих частей. На станциях стояли длинной цепью эшелоны эвакуирующихся министерств и штабов. Платформы были наполнены всяким скарбом.

В Новониколаевске мы получили известие, что дела Деникина идут очень плохо. Я посетил стоявшего там Дитерихса. Он показал мне торжествующее радио большевиков, которое заканчивалось словами: «плохо, брат Деникин, пора умирать». «А вы знаете,— сказал Дитерихс,— что вам лично грозила опасность в Омске? Я просил генерала Домонтовича вас об этом предупредить».

Мы тронулись дальше. Ехали спокойно, но чувствовали себя путешественниками, а не правительством. Все разбилось, разорвалось на части и жило своей жизнью по инерции, не зная и не ища власти. Только начиная от Красноярска, где путь уже не был так разбит, стали выходить местные администраторы, чтобы встретить и получить инструкции.

Но что мог дать им Вологодский, который в то время больше походил на путешественника, чем когда-либо! И встречавшие получали только последний номер «Правительственного Вестника» с Положением о Государственном Экономическом Совещании. Это была последняя ставка правительства.

Любопытно, что одна из последних телеграмм Деникина извещала о разработке проекта учреждения законодательного органа. Этого же хотел и Миллер в Архангельске. Все пришли к этому выводу. Но Миллер просил одновременно дать ему право производить в чины и награждать орденами. Эту телеграмму мы оставили без ответа...

Армия Адмирала обратилась в беспорядочное бегство, а в район расположения сил генерала Деникина врезался клин наступающих красных войск. Деникин отступал, и не только миновала опасность Москве, но и открылись перспективы освобождения хлебных районов. Юденич отступил к границам Эстляндии. В Юрьеве было достигнуто соглашение между советской Россией и Эстляндией о признании последней и прекращении военных действий. Юденич уже не думал о взятии Петрограда, его внимание было направлено в сторону спасения остатков разбитой армии.

Было чему радоваться в красной Москве.

Омское Правительство выехало 10 ноября, а 14-го Омск был уже занят красными. Произошло занятие Омска с той же понятной только для свидетелей гражданской войны, объяснимой только социальной психопатологией, катастрофической быстротой. Восстание внутри, неожиданное появление отрядов красных с севера — и все побежало, все силы гарнизона куда-то испарились. одни отнимали у других лошадей, одни других пугали.

Впечатление непреодолимости красных сил усиливалось от стихийности их движения. Красная армия начала казаться всем непобедимой. Сила сопротивления становилась все слабее. Перелом настроения в сторону большевиков вызвал массовый переход на их сторону всех тех, кто относился безразлично или с антипатией к власти Верховного Правителя».

10

В Нижнеудинске поезд Верховного Правителя загнали в тупик. Адмирал сразу же почувствовал себя будто под стеклянным колпаком, настолько осязаемой сделалась окружающая его тишина. Связь с внешним миром прервалась окончательно, и лишь невероятными ухищрениями Удальцова, правдами и неправдами уломавшего станционных связистов, удалось дважды соединиться со штабом Западного фронта, но вести оттуда не принесли облегчения: фактическая боевая сила продолжала существовать только на штабных картах.

На следующий день нарочным было доставлено два пакета: от Совета министров и генерала Жанена. В первом ему предлагалось отречься в пользу Деникина, во втором — отдаться под опеку чехов. Ультиматум вчерашних подчиненных выглядел дурной шуткой, предложение союзников о чешской опеке — смертным приговором.

Но, давно приготовившись к худшему, Адмирал не считал себя вправе связывать своей судьбой сопровождавших его людей.

— Вот что, полковник,— он брезгливо протянул Удальцову обе бумаги,— передайте этой сволочи, что я согласен, и соберите ко мне тех, кто еще остался,— офицеров, обслугу, конвой, я хочу попрощаться с ними.

Бумаги тот взял, но так и остался стоять с ними с вытянутой по шву рукой:

— Разрешите, Ваше высокопревосходительство, изложить вам кое-какие свои соображения?

— Только давайте теперь попросту, Аркадий Никандрыч, без чинов,— от Удальцова исходила жаркая волна ожесточенной решимости, которой так не хватало сейчас ему самому,— чего уж там, выкладывайте.

— Надо пробиваться в Монголию, Ваше высокопревосходительство,— под укоряющим взглядом Адмирала он тут же с усилием поправился,— Александр Васильевич, к весне собрать там силу и ударить снова, я уже говорил с людьми, два десятка соберется вполне надежных, медлить нельзя никак, каждую минуту могут разоружить.— Видно, уловив в лице Адмирала проблеск колебаний, заговорил еще жарче, еще убежденнее.— Пробьемся, Александр Васильич, легко пробьемся, комитетских здесь кот наплакал, если бы не чехи, мы бы их без выстрела сняли, они носа за нами не высунут, а в тайге мы сами себе хозяева, я ведь родом из этих мест, с завязанными глазами проведу и выведу...

Надежда золотой рыбкой встрепенулась было в Адмирале, но померкла так же мгновенно, как и занялась:

— Верность вашу, Аркадий Никандрыч, я всегда ценил и ценю, но бегство — это не для меня,— он устало горбился за столом вполоборота к Удальцову, но на собеседника не глядел разговаривая скорее с самим собою.— За мной пошла армия, тысячи людей, они поверили мне, сколько из них сложили головы, а теперь, когда им совсем плохо, когда у них ничего не осталось, кроме веры в меня, я соглашусь их бросить? Нет, Аркадий Никандрыч, этому не бывать, это означало бы предать и живых, и мертвых, погибать — так уж вместе с ними.

— Но без вас-то нам уже и вовсе не подняться, Александр Васильевич,— почти выкрикнув, взмолился Удальцов.— Тогда всему конец!

— Пробивайтесь на соединение с Каппелем, Аркадий Никандрыч,— все так же, вполоборота к собеседнику, Адмирал поднялся,— во Владимира Оскарыча я верю, он еще сумеет, за ним пойдут,— он медленно повернул к Удальцову опустошенно схлынувшее лицо.— Храни вас Бог, Аркадий Никандрыч!

И весь ушел в свои глаза, замкнувшись в них, как в раковинах.

Какой долгой видится жизнь вначале и какой короткой она оказывается в конце! Теперь ему представлялось, будто ее и вовсе не было, и мгновение, когда он сознал свое «я», все еще длится, вобрав в себя его путь от первых шагов по земле до сегодняшнего дня. Прерывистыми кадрами вспыхивали в его памяти фантомы и видения прошлого, сливаясь в конце концов в одно целое, в котором полностью замыкался магический круг его судьбы...

У него не было надобности даже оборачиваться, чтобы почувствовать ее присутствие, а почувствовав это, он тихо спросил, все так же глядя перед собой, но в себя:

— Вы уже знаете?

— Да.

— Что вы об этом думаете?

— Будем надеяться, Александр Васильевич, они все-таки европейцы.

— Европейцы обычно употребляют это слово, когда хотят оправдать свое равнодушие.

— Но они военные, дорогой Александр Васильевич, для них небезразлично понятие чести.

— К сожалению, они давно забыли о том, что это такое.

— Но они предлагают нам перейти в вагон под их флагами.

— То есть в мой собственный гроб, покрытый их знаменами.

— И все же будем надеяться, Александр Васильевич, будем надеяться...

Легкие ладони ее легли ему сзади на плечи, и от этого их летучего прикосновения все в нем затихло, выровнялось, улеглось. Поэтому, когда на пороге появилась тучная фигура генерала Зенкевича, он был уже снова собран и предупредителен:

— Слушаю вас, генерал.

Тот некоторое время смущенно таращился на Адмирала базедовыми глазами, грузно переминался с ноги на ногу и, наконец, выдавил из себя с заметным усилием:

— Простите, Ваше высокопревосходительство, союзники торопят... Мы должны немедленно перебраться в чешский эшелон... Иначе они не ручаются за вашу безопасность... На станции неспокойно...

— Кто с нами?

Зенкевич еще более сник и напрягся:

— Только ближайшее окружение, Ваше высокопревосходительство... Таково условие чехов... Генерал Сыровой уже распорядился поставить нас на общий солдатский котел...

Адмирал равнодушно пожал плечами: Сыровой мстил. Мстил мелко и глупо, как всякий торжествующий плебей. На таких у Адмирала обычно не хватало даже презрения.

(Новоиспеченный чешский генерал великодушно дарил полному русскому адмиралу, Верховному Правителю России, право пользоваться котлом иноземных солдат, состоявшим из харчей, реквизированных ими у сибирских крестьян: не правда ли, восхитительно, а?)

— Я готов,— он бережно снял ее руки с себя и, повернувшись к ней лицом, взял их в свои.— Надеюсь, эти милостивые государи не оставят здесь, вместе с моим конвоем, русского золота?

— Золотой запас, Ваше высокопревосходительство, уже отбыл в Иркутск.

— Я был уверен, что об этом они позаботятся, деньги они считать умеют, в особенности чужие. Попросите собрать для меня самое необходимое, больше мне уже, наверное, не понадобится. Благодарю вас.— И к ней, с обреченной решимостью: — Анна Васильевна, милая, оденьтесь потеплей, холод на дворе анафемский...

С этого момента их отношения, дошедши до своего последнего предела, сделались обыденнее, проще, доверительней. У них уже не было надобности считаться с какими-либо ограничениями или условностями, связанными с их официальным положением. Впервые за эти годы существовавшей между ними переменчивой близости они стали наконец по-настоящему близки...

Ночь обвалилась на них звездной пропастью, перехватила дыхание режущей стужей и хрустко заскрипела под ногами, сопровождая их путь к чешскому эшелону.

Где-то далеко впереди, из-за крыш станционных построек, призывно попыхивали огневые зарницы и перекатывался гул орудийной переклички. Тепло живой жизни затаилось под кровлями жилищ и вагонов, посвечивая оттуда тусклыми огоньками притемненных окошек, а над всем этим, угрожающе сдвигаясь, аспидно возносилось раскаленное от звезд небо.

(Мне кажется, что я и вправду вижу ее — эту маленькую процессию на железнодорожных путях заштатной сибирской станции, с падающими летучими тенями на сверкающем снегу, и все во мне устремляется следом за нею, этой процессией, чтобы, преодолев барьеры времени, настичь ее и остановить: куда вы!)

В коридоре вагона второго класса было не протолкнуться, но при появлении Адмирала и его спутницы солдатский гомонок затих, раздвинулся вдоль окон, уступая им место для прохода, а затем молча, со смущенным любопытством, пропустил мимо себя в отведенное для них купе.

Щелчок замка задвинутой за ними двери отделил их от этого любопытства, и они наконец остались наедине, порывисто припав друг к другу:

— Вам холодно?

— Нет, нет, Александр Васильевич, совсем нет!

— Я виноват перед вами, Анна.

— Александр Васильевич, милый, полноте!

— Хорошо, Анна Васильевна, я больше не буду.

— Вот и славно, дорогой мой, вот и славно.

— Милая Анна, Аннушка, Аннет...

— Если бы всегда так...

— Еще не поздно, Анна, еще не поздно...

— О, если бы!

Потом он укладывал ее на диване, кутал ей ноги своей шубой, а после сидел над ней, уже спящей, глядя в плывущую за окном ночь.

Сидел и думал о том, зачем и откуда он появился на этой земле, где и как его жизнь кончится и что останется после него на ней? В чьей гремучей смеси славянской и восточной кровей пустило корни родословное дерево, одним из побегов которого сделался он,— нынешний адмирал и Верховный Правитель России в самую, может быть, страшную пору ее истории...

Ему не требовалось гадать о своем конце. Конец этот был совсем близок и уже неотвратим. Гадать он мог лишь о том, где и как это произойдет. Но вот что останется после него на земле и останется ли вообще что-нибудь, это сейчас занимало и мучило его более всего.

Где-то там, в далеком Париже, затерялись два близких ему существа — жена и сын. С женой они расстались без объяснений, у нее оказалось достаточно ума, силы и великодушия, чтобы понять, что случившееся между ним и Анной не было мимолетным увлечением, и вовремя отойти в сторону, но судьба сына продолжала терзать его до сих пор. Что будет с ним, кем он вырастет и каким запомнит отца?

В последние месяцы, оставаясь наедине с собой, Адмирал часто мечтал о том, чтобы после него остался хотя бы один-единственный свидетель, который когда-нибудь рассказал бы его сыну историю выпавшего ему крестного пути. С каким облегчением он принял бы тогда свой конец!..

Дверь распахнулась, будто вывалилась, обнажив прямоугольник тускло освещенного коридора, а в нем, как в портретной раме, приземистую фигуру чешского офицера:

— Наше командование,— тот старательно выговаривал явно заранее выученные наизусть слова, но на Адмирала не смотрел, скосил взгляд в сторону, в глубину купе,— передает Вас иркутским властям в целях Вашей собственной безопасности.

И хотя Адмирал ждал этого и давно приготовил себя к самому худшему, все в нем мгновенно оборвалось и зябкой волной схлынуло к ногам:

— Значит, союзники предают меня? — но усилием воли ему тут же удалось встряхнуться и взять себя в руки.— Пройдемте в коридор, даме необходимо привести себя в порядок...

При этом Адмирал смотрел мимо чеха, в окно за его плечом, где на чернильном фоне холодной ночи, словно вклеенная в верхний угол оконного стекла, неслась навстречу ему одинокая и торжествующая в своем одиночестве звезда.

Его звезда.

11

В ярко освещенной зимним солнцем комнате перед ним собралось четверо. Разглядывая их по одному, он не находил в них ничего такого, что отличало хотя бы одного из них от простых смертных единой чертой или повадкой. Встреть такого случайно на улице, пройдешь мимо, даже не заметив. Но вот теперь именно им — этим четверым предстояло вести допрос и решать его судьбу.

Да и сам допрос менее всего походил на допрос. Это было скорее нечто среднее между праздным разговором и школьным экзаменом, где стороны заранее знают, о чем пойдет речь. Он старательно пересказывал им свою биографию (будто они ее сами не знали!), политические взгляды (словно взгляды эти оставались для них секретом!), историю его деятельности на посту Верховного Правителя (деятельность эта была им известна лучше, чем ему самому!), а следователи благодушно попивали себе чаек (впрочем, подследственного тоже не обносили!) да посматривали на него с неослабевающим любопытством.

Собственно, из всех четверых и старался-то только один, некто Алексеевский, этакий въедливый господин с обличьем испитого сельского учителя. Он явно дорвался до своего звездного часа и старался вовсю, но, особенно не поддержанный остальными, тоже вскоре разился общей вялостью и сник, уступая очередной вопрос кому-либо из коллег.

Они словно бы играли с ним в какую-то еще непонятную ему игру. Постепенно у него стало складываться впечатление, что у них самих нет уверенности в своем праве вести такой допрос, что судьба его решается не ими и что все происходит по инерции, в ожидании некоего подлинного хозяина положения, который и должен будет решить участь арестованного.

Поэтому, машинально отвечая на вопросы, он стал теперь мысленно конструировать для себя прошлое каждого из следователей, и это отвлекало его от томительных мыслей о завтрашнем дне.

Кем бы мог, например, быть Председатель Попов в своей прошлой жизни? По внешнему облику, по манере двигаться и немногословности в нем чувствовался полуинтеллигентный мастеровой из кадровых подпольщиков, а вот в его заместителе со странной фамилией Денике проглядывался скорее тип хлопотливого, но не слишком удачливого земца с большими, хотя и едва ли осуществимыми амбициями.

Особенно Адмирала заинтересовал четвертый член комиссии — Лукьянчиков, более других походивший на судейского, но за все дни допроса так и не проронивший ни единого слова, даже поглядывавший на него временами с некоторым сочувствием.

«Что он, кто он,— терялся Адмирал в догадках.— На чиновника не похож, на «светлую личность» из обиженных тоже, слишком интеллигентен для этого, тогда кто же он все-таки?»

Его занятиям физиономистикой положило конец появление на очередном заседании быстрого в движениях, грачиного облика человека в щегольской солдатской гимнастерке, перепоясанной наборным кавказским ремешком. С этого дня Адмиралом занялись всерьез, хотя сам новоприбывший в разговоре участия не принимал, сидел себе, поигрывая своим ремешком, искоса поглядывая на подследственного.

Но в нескрываемом нетерпении, с каким тот выслушивал вопросы и ответы, в той почти неуловимой непоседливости, с которой он обсиживал свое место, и в самом этом его нервном поигрывании ремешком сквозила уверенная повадка человека, облеченного настоящей, а не одной лишь видимой властью. Машина допроса сразу же закрутилась, избегая длиннот и каких-либо околичностей. Речь теперь шла только о фактах и месте этих фактов в общей цепи доказательств.

К тому же Адмирал сразу отметил, что с появлением этого непоседливого грача чаем его стали обносить, но всякий раз, когда стаканы проплывали мимо него, рука Лукьянчикова, будто невзначай, подвигала ему свой. В таких случаях Адмирал благодарно кивал, но тот мгновенно отворачивался от него.

«Господи,— удивлялся он,— есть ведь и среди таких вот нормальные люди!» А про грача сразу подумал: «Мелок ты, брат, мелок, а в большую власть войдешь, еще мельче станешь!»

И чувствуя, что развязка скользяще устремилась к концу, стал с большей охотой возвращаться к себе в почти не топленную камеру, чем сидеть в этой ярко освещенной январским солнцем и жаркой комнате за уже ничего не означавшими в его судьбе разговорами с чужими для него людьми. Там, в тюрьме, у него все еще оставалась возможность встречаться с Анной на прогулках и разговаривать, разговаривать, разговаривать с ней.

Когда перед очередным допросом его после завтрака вывели на прогулку (о, если бы ему знать тогда, что эта его прогулка с ней будет в их жизни последней!), он, взяв по обыкновению ее руки в свои, вдруг почти с детским восторгом просиял в лицо ей:

— А что, Анна Васильевна, неплохо мы с вами жили в Японии!..

Это было последнее, что она услышала от него на земле.

ИЗ ПРОТОКОЛА ДОПРОСА:

21 января 1920 г.

Председатель: Вы присутствуете перед Следственной Комиссией в составе ее Председателя Попова, заместителя председателя В. П. Денике, членов комиссии: Г. Г. Лукьянчикова и Алексеевского для допроса по поводу Вашего задержания. Вы адмирал Колчак?

Адмирал: Да, я адмирал Колчак.

Председатель: Мы предупреждаем Вас, что Вам принадлежит право, как и всякому человеку, опрашиваемому Чрезвычайно-Следственной Комиссией, не давать ответов на те или иные вопросы и вообще не давать ответов. Вам сколько лет?

Адмирал: Я родился в 1873 году, мне теперь 46 лет. Родился я в Петрограде на Обуховском заводе. Я женат формально законным браком, имею одного сына в возрасте 9 лет.

Председатель: Вы являлись Верховным Правителем?

Адмирал: Я был Верховным Правителем в Омске Российского Правительства — его называли Всероссийским, но я лично этого термина не употреблял. Моя жена Софья Федоровна раньше была в Севастополе, а теперь находится во Франции. Переписку с ней я вел через посольство. При ней находится мой сын Ростислав.

Председатель: Здесь добровольно арестовалась г-жа Тимирева. Какое она имеет отношение к Вам?

Адмирал: Она моя давнишняя знакомая, она находилась в Омске, где работала в моей мастерской по шитью белья и по раздаче его всинским чинам — больным и раненым. Она оставалась в Омске до последних дней и затем, когда я должен был уехать по военным обстоятельствам, она поехала со мной в поезде. В этом поезде она доехала сюда до того времени, когда я был задержан чехами. Когда я ехал сюда, она захотела разделить участь со мною.

Председатель: Скажите, адмирал, она не является Вашей гражданской женой, мы не имеем права зафиксировать этого?

Адмирал: Нет.

Н. А. Алексеевский: Скажите нам фамилию Вашей жены.

Адмирал: Софья Федоровна Омирова. Я женился в 1904 году, здесь, в Иркутске, в марте месяце. Моя жена уроженка Каменец-Подольской губернии. Отец ее был судебным деятелем или членом Каменец-Подольского Суда, он умер давно, я его не видал и не знал. Отец мой, Василий Иванович Колчак, служил в морской артиллерии. Как все морские артиллеристы, он проходил курс в Горном институте, затем он был на уральском Златоустовском заводе, после того он был приемщиком морского ведомства на Обуховском заводе. Когда он ушел в отставку, в чине генерал-майора, он оставался на этом заводе в качестве инженера или горного техника, там я родился. Мать моя Ольга Ильинична, урожденная Посхова. Отец ее происходит из дворян Херсонской губернии. Мать моя уроженка Одессы и тоже из дворянской семьи. Оба мои родителя умерли. Состояния они не имели никакого. Мой отец был служащий офицер. После Севастопольской войны он был в плену у французов и при возвращении из плена — женился, а затем он служил в артиллерии [...] в Горном институте. Вся семья моего отца содержалась исключительно только на его заработки. Я православный, до времени поступления в школу я получил семейное воспитание под руководством отца и матери. У меня есть одна сестра Екатерина, была еще одна сестра Любовь, но она умерла в детстве. Сестра моя Екатерина замужем, фамилия ее Крыжановская. Она осталась в России, где она находится в настоящее

время — я не знаю. Жила она в Петрограде, но я не имею о ней никаких сведений с тех пор, как я уехал из России.

Свое образование я начал в 6-й Петроградской Классической Гимназии, где я пробыл до 3-го класса, затем в 1888 [86?] году я поступил в Морской Корпус 12-ти лет и окончил свое воспитание в Морском Корпусе в 1894 году. В Морской Корпус я перевелся по собственному желанию и по желанию отца. Я был фельдфебелем, шел я все время первым или вторым в своем выпуске, меняясь со своим товарищем, с которым поступил в Корпус, из Корпуса вышел вторым и получил премию адмирала Рикорда. Мне тогда было 19 лет. В Корпусе был установлен целый ряд премий для 5 и 6 первых выходящих, и они получались по старшинству. По окончании Корпуса я начал свою службу. По выходе из Корпуса в 1894 году я поступил в Петроградский 7-й флотский экипаж, пробыл там я несколько месяцев до весны 1895 года, когда был назначен помощником вахтенного начальника на только что законченном тогда постройкой и готовящемся к отходу за границу броненосном крейсере «Рюрик». Затем я пошел в первое мое заграничное плавание. Крейсер «Рюрик» ушел на восток, и здесь во Владивостоке я ушел на клипер «Крейсер» в качестве вахтенного начальника в конце 1896 года. На нем я плавал в водах Тихого Океана до 1898 года, когда этот клипер вернулся в Кронштадт. Это было первое мое большое плавание. В 1898 году я был произведен в лейтенанты и вернулся уже из этого плавания вахтенным начальником. Во время моего первого плавания главная задача была чисто строевая, на корабле, но, кроме того, я специально работал по океанографии и гидрологии. С этого времени я начал заниматься научными работами, я готовился к Южно-Полярной экспедиции, но занимался этим в свободное время, писал списки, изучал южно-полярные страны, у меня была мечта найти Южно-Полярный Полюс, но я так и не попал в плавание на Южном Океане.

(...)

Председатель: Иначе говоря, мирились ли Вы с существованием монархии, являлись ли Вы сторонником ее сохранения, или Японская война и революция 1905—06 гг. внесли изменение в Ваши политические взгляды?

Адмирал: Моя точка зрения была точкой зрения служащего офицера, который этими вопросами не занимался. Я считаю, что при нашей присяге моя обязанность заключается в несении службы так, как эта присяга этого требовала. Я относился к Монархии как к существующему факту, не критикуя и не вдаваясь в вопросы по существу об изменениях строя; я был занят тем, чем занимался. Как военный, я считал обязанностью выполнять только присягу, которую я принял, и этим исчерпывалось все мое отношение. И сколько я припоминаю, в той среде офицеров, где я работал, никогда не возникали и не затрагивались эти вопросы.

Н. А. Алексеевский: Среди военных, как среди всего русского общества, условия и политические события, связанные с династией и, в частности, с семьей бывшего императора, события последних лет перед Революцией повлияли в значительной степени на разрушение тех симпатий, которые существовали раньше. Военная среда в этом отношении не была чужда этой перемены. В частности, появление Распутина, его роль, насколько мне известно, повлияли на изменение отношений к династии и, в частности, к императору Николаю среди военных. Я имею сведения, что и в военно-морской среде существовали такие же настроения. Так вот, захватывали ли Вас эти настроения и в какой степени?

Адмирал: Насколько мы получали эти сведения и, в частности, о распутинской истории, они глубоко возмущали ту среду и меня, и

тех, которые об этом деле осведомлялись и получали какие-нибудь известия. Я, например, помню такой случай. В 1912 году, когда я плавал на «Уссурийце»,— верно это или нет,— прошел слух, что Распутин собирается из Петрограда прибыть на место стоянки императорской яхты в шхеры и для этого будет дан миноносец. Я помню, со стороны офицеров было такое отношение: что бы там ни было, но я не повезу, пусть меня выгоняют, но я такую фигуру у себя на миноносце не повезу. Это было общее мнение командиров. Но дело в том, что мы в это время плавали, получали такие известия, но на самом деле и [этого] не было, и никого из нас не звали, и никакого Распутина не возили. Эта история глубоко возмущала нас, но непосредственно с ней мы не соприкасались, никто толком не знал, была масса слухов и разговоров.

В. П. Денике: Мы как будто бы остановились на том, как сложились Ваши воззрения к концу 1906 года. Что же в дальнейшем за этот период времени с 1906 г. по 1917 г. ко времени революции происходили ли изменения Ваших политических воззрений и принимали ли Вы какое-нибудь прямое или косвенное участие в политической жизни страны?

Адмирал: Нет. Я не принимал участия, я в это время был занят чисто технической работой, у меня не было времени, я соприкасался с ними, поскольку бывали разговоры.

Н. А. Алексеевский: Здесь уместен один вопрос, который касается вот чего: Вы сначала нам скажите, имели ли Вы личные отношения с бывшим Императором и с выдающимися членами и деятелями династии и, в частности, имели ли Вы хоть одно свидание с Распутиным.

Председатель: Я прибавлю, не изменились ли эти отношения до самой революции 1917 года.

Адмирал: Я никакого участия в политической работе не принимал. Я скажу прежде всего о Государе. Нужно сказать, что до войны — меня выдвинула война — я был слишком маленьким офицером, слишком маленьким человеком, чтобы иметь соприкосновение вообще с какими-нибудь высшими кругами, и потому я непосредственных сношений с ними не мог иметь по существу. Я не имел ни связей, ни знакомств, ни возможностей бывать в этой среде, среде придворной, среде правительственной. Соприкасался я с отдельными высшими правительственными лицами только тогда, когда я работал в Генеральном Штабе, когда я бывал в Думе, где мне приходилось встречаться с отдельными министрами, а кроме своего прямого начальства, я непосредственно не мог ни с кем сталкиваться. Государя я видел в Могилеве, в Ставке, перед этим я видел его, когда он приезжал на смотры во флот. При дворе я никогда не бывал. В 1912 году я видел Государя и царскую фамилию, когда царская фамилия стояла на рейде «Штандарт» — в шхерах. Туда были вызваны отряды заградителей для постановки пробных заграждений и отряд миноносцев для конвоирования этих заградителей. Я тогда командовал «Пограничным». Туда прибыл Эссен. Мой миноносец состоял в распоряжении Эссена. Характер постановки мин был такой, что заградители шли из строя и сбрасывали мины, но для того, чтобы видеть характер этой постановки, мой миноносец назначен был идти рядом с ними. Вот на мой миноносец прибыли Государь, свита его и адмирал Эссен. Мой миноносец шел рядом с одним из заградителей, «Амуром», который ставил мины. Это был случай, когда Государь был у меня на миноносце, но так как я был командиром, стоял на миноносце и управлял им, то не мог с ним разговаривать. Затем после окончания постановки мин я пришел на «Штандарт».

Председатель: Вы уклоняетесь от прямого ответа: были ли Вы монархистом или нет?

Адмирал: Я был монархистом и нисколько не уклоняюсь. Тогда вопроса: «каковы в Вас политические [убеждения]»,— никто не задавал. Я не могу сказать, что монархия — это единственная форма, которую я признаю, я считаю себя монархистом и не мог считать себя республиканцем, потому что тогда такого не существовало в природе. До революции 1917 года я считал себя монархистом. Итак, я был на завтраке на «Штандарте», затем я вгорой раз видел Императора в Ревеле, когда Государь прибыл на смотр, на крейсер «Россия». Я тогда стоял во фронте, он пришел, обошел фронт, поздоровался с командой и уехал. Никаких других по своему положению я не мог иметь связей. Императрицу я видел единственный раз, когда я был на «Штандарте» — во время завтрака. Из Великих Князей до 1917 года я встречался в Морской Академии с Кириллом Владимировичем, видел я также Великих Князей, когда были смотры.

Н. А. Алексеевский: С Распутиным Вы ни разу не видались?

Адмирал: Нет, ни разу не видал.

Н. А. Алексеевский: В числе вещей у Вас есть икона — золотой складень; там, как будто, есть надпись, что она Вам дана от Императрицы Александры Федоровны, от Распутина и какого-то епископа.

Адмирал: У меня есть благословение епископа Омского Сильвестра, которое я от него получил, это маленькая икона в голубом футляре. Эта икона принадлежит ему, он получил ее от каких-то почитателей с надписью, и так как у него другой не было, то он мне эту и подарил.

Н. А. Алексеевский: Мы бы хотели, чтоб Вы нам сказали, не касаясь всех событий, какие произошли после февральского переворота, изменились Ваши политические взгляды за это время и какими они представляются в настоящее время?

Председатель: Какова была Ваша общая политическая позиция во время революции?

Н. А. Алексеевский: Если угодно, мы зафиксируем в протоколе, что с высшими представителями прошлого режима личных отношений Вы не имели.

Председатель Чудновский: Мы бы хотели знать в самых общих чертах Ваши политические взгляды во время революции, о подробностях Вашего участия Вы нам расскажете на следующих допросах.

Адмирал: Когда совершился переворот, я получил извещение о событиях в Петрограде и о переходе власти к Государственной Думе непосредственно от Родзянко, который телеграфировал мне об этом. Этот факт я приветствовал всецело. Для меня было ясно, как и раньше, что то правительство, которое существовало предшествующие месяцы, Протопопов и т. д., не в состоянии справиться с задачей ведения войны, и я вначале приветствовал самый факт выступления Государственной Думы как высшей правительственной власти. Лично у меня с Думой были связи, я знал много членов Гос. Думы, знал как честных политических деятелей, совершенно доверял им и приветствовал их выступление, так как я лично относился к существующей перед революцией власти отрицательно, считая, что из всего состава министров единственный человек, который работал, это был Морской Министр Григорович. Я приветствовал перемену правительства, считая, что власть будет принадлежать людям, в политической честности которых я не сомневался, которых знал и поэтому мог отнестись только сочувственно к тому, что они приступили к власти. Затем, когда последовал факт отречения Государя, ясно было, что уже монархия наша пала и возвращения назад не будет. Я об этом получил сообще-

ние в Черном море, принял присягу вступившему тогда первому нашему Временному Правительству. Присягу эту я принял по совести, считая это правительство, как единственное правительство, которое необходимо было при тех обстоятельствах признать, и первый эту присягу принял. Я считал себя совершенно свободным от всяких обязательств по отношению к монархии и после совершившегося переворота стал на точку зрения, на которой я стоял всегда, что я в конце концов [служу] не той или иной форме правительства, я служу родине своей, которую ставлю выше всего и считаю необходимым признать то правительство, которое объявило себя тогда во главе Российской власти. Когда совершился переворот, я считал себя свободным от обязательств по отношению к прежней власти. Мое отношение к перевороту и к революции определилось следующим. Я видел, для меня было совершенно ясно уже ко времени этого переворота, что положение на фронте у нас становится все более угрожающим и тяжелым и что война находится в положении весьма неопределенном в смысле исхода ее. Поэтому я приветствую революцию, как возможность рассчитывать на то, что революция внесет энтузиазм — как это и было у меня в Черноморском флоте вначале — в народные массы и даст возможность закончить победоносно эту войну, которую я считал самым главным и самым важным делом, стоящим выше всего,— и образа правления, и политических соображений. (...)

Из дневника Анны Васильевны:

«И вот, может быть, самое страшное мое воспоминание: мы в тюремном дворе вдвоем на прогулке — нам давали каждый день это свидание,— и он говорит:

— Я думаю, за что плачу такой страшной ценой? Я знал борьбу, но не знал счастья победы. Я плачу за вас — я ничего не сделал, чтобы заслужить это счастье. Ничто не дается даром».

Оттуда же:

«Киев, июль 1969 г.

Сегодня я рано вышла из дома. Утро было жаркое, сквозь белые облака просвечивало солнце. Ночью был дождь, влажно, люди шли с базара с охапками белых лилий в руках. Вот точно такое было утро, когда я приехала в Нагасаки по дороге в Токио. Я ехала одна и до поезда пошла бродить по городу. И все так же было: светло, сквозь облака просвечивало солнце, и навстречу шел продавец цветов с двумя корзинами на коромысле, полными таких же белых лилий. Незнакомая страна, неведомая жизнь, а все, что было, осталось за порогом, нет к нему возврата. И впереди только встреча и сердце полно до краев.

Не могу отделаться от этого впечатления.

Приблизительно с месяц тому назад мне позвонил по телефону М. И. Тихомиров — писатель, который пробовал писать роман об А. В. Колчаке, и, узнав, что я еще жива, приехал ко мне для разговора.

Роман он написал скверный, сборный — и, собственно, о генерале Лукаче. Эпизодически и об Александре Васильевиче, меня наградил княжескими титулами и отвел крайне сомнительную роль, ничего общего со мной не имеющую, и имел дерзость мне его прислать. Перелистав, я читать не стала. Но тут он сообщил мне, что в архиве сохранились не отправленные мне письма А. В., частично напечатанные в журнале «Вопросы истории», № 8 за 1968 г., что писатель Алдан-Семенов имел их в руках и может мне передать в перепечатке из журнала.

Я просила его передать Алдан-Семенову, чтобы он доставил мне их. Письма 1917—18 годов. Тот привез их мне.

И вот больше чем через 50 лет я держу их в руках. Они на машинке, обезличенные, читанные и перечитанные чужими,— единственная документация его отношения ко мне. Единственное, что сохранилось из всех его писем, которые он мне писал с тех пор, как уехал в Севастополь,— а А. В. в эти два года писал мне часто. Даже в этом виде я слышу в них знакомые мне интонации. Это очень трудно — столько лет, столько горя, все войны и бури прошли надо мной, и вдруг опять почувствовать себя молодой, так безоглядно любимой и любящей. На все готовой. Будто на всю мою теперешнюю жизнь я смотрю в бинокль с обратной стороны и вижу свою печальную старость. Какая была жизнь, какие чувства.

Что из того, что полвека прошло, никогда я не могу примириться с тем, что произошло потом. О Господи, и это пережить, и сердце на куски не разорвалось.

И ему и мне трудно было — и черной тучей стояло это ужасное время, иначе он его не называл. Но это была настоящая жизнь, ничем не заменимая, ничем не замененная. Разве я не понимаю, что даже если бы мы вырвались из Сибири, он не пережил бы всего этого: не такой это был человек, чтобы писать мемуары где-то в эмиграции в то время, как люди, шедшие за ним, гибли за это и поэтому.

Последняя записка, полученная мною от него в тюрьме, когда армия Каппеля, тоже погибшего в походе, подступала к Иркутску: «Конечно, меня убьют, но если бы этого не случилось — только бы нам не расставаться».

И я слышала, как его уводят, и видела в волчок его серую папаху среди черных людей, которые его уводили.

И все. И луна в окне и черная решетка на полу от луны в эту февральскую лютую ночь. И мертвый сон, сваливший меня в тот час, когда он прощался с жизнью, когда душа его скорбела смертельно. Вот так, наверное, спали в Гефсиманском саду ученики. А наутро — тюремщики, прятавшие глаза, когда переводили меня в общую камеру. Я отозвала коменданта и спросила его:

— Скажите, он расстрелян? — И он не посмел сказать мне «нет»:

— Его увезли, даю Вам честное слово.

Не знаю, зачем он это сделал, зачем не сразу было узнать мне правду. Я была ко всему готова, это только лишняя жестокость, комендант ничего не понимал.

Полвека не могу принять —
Нельзя ничем помочь —
И все уходишь ты опять
В ту роковую ночь.
Но если я еще жива
Наперекор судьбе,
То только как любовь твоя
И память о тебе».

Глава седьмая

Егорычев

1

В этот раз Егорычев принял пост за полночь. Над станцией сквозь морозный туман мерцало, словно перемигиваясь, звездное небо, отчего тьма вокруг казалась еще гуще и непрогляднее. И лишь в отда-

лении, в пределах вокзала, маячил островок света, откуда разносилась по путям хмельная многоголосица: праздничная гульба чешских легионеров, видно, была в самом разгаре.

«Вольготно живут,— с горечью откликнулось в нем,— чего им по чужие беды ходить!»

Вспомнились ему его дорожные встречи с ними по пути в Омск: степенный, обходительный народ, смотреть на них было любо-дорого. Чего это с ними стряслось, что они будто с цепи сорвались, слова никому из них не скажи, сразу в мат, чему хорошему, а этому быстро научились. Грабят, смертоубийством не брезгуют, над бабами, девками нашими измываются, куда это годится?

Эти его раздумья прервал возникший невдалеке со стороны станции голос. Голос приближался к нему, проборматывая на ходу исковерканную сильным акцентом русскую матерщину. Затем под ноги к Егорычеву протянулась текучая тень и в темноте перед ним выявилась фигура человека, пересекающего пути по направлению к штабному вагону Адмирала.

— Придержи, браток,— добродушно осадил было идущего Егорычев,— не туда гребешь.

В ответ из ночной тьмы послышались те же ругательства, одно другого замысловатее.

— Стой, говорю! — обозлясь, крикнул Егорычев.— Стрелять буду! — И выстрелил вверх. — Стой!

Но тень продолжала надвигаться на него, а ругательства в темноте сделались еще заковыристее. Сердце Егорычева вдруг занялось таким остервенением, что руки его, помимо воли, выбросили винтовку вперед, а палец мгновенно нажал курок. В плотном от холода воздухе выстрел прозвучал, словно одиночный хлопок в ладоши. Тень перед Егорычевым подломилась и стаяла на снегу, свернувшись впереди в черный комок.

Из вагона на выстрел встревоженно выскочил в наспех накинутой на плечи шинели Удальцов.

— Что у тебя?

— Да вот,— еле приходя в себя, кивнул в темноту Егорычев, — свалил одного.

— Что случилось?

— Да что ж, Аркадий Никандрыч, слов не понимает, выстрел вверх дал, ругается, ну я и свалил, как по уставу положено,— чуя по необычной взволнованности Удальцова, что произошло что-то непоправимое, тихо сник. — Чего ж мне еще делать-то было, Аркадий Никандрыч?

— Ладно,— отодвинул его в сторону Удальцов, надевая на себя шинель,— иди к себе, сиди тихо, никуда не показывайся, пока не позову, быстро!

Запершись в купе конвойной дежурки, Егорычев вслушивался в чешский галдеж за стенкой вагона, перекрываемый зычным голосом Удальцова:

— Прошу перед штабом Верховного Правителя России митингов не устраивать! Здесь вам не совдеп!.. Если не разойдетесь, прикажу стрелять... Прошу немедленно разойтись!

Удальцов постучался к нему, когда за окном определился тусклый рассвет.

— Поднимайся, Филя,— раздалось из-за двери,— Верховный зовет, выложишь, как на духу...

Адмирал поднял на Егорычева квелые от бессонницы глаза, спросил вяло, словно отбывая урок:

— Рассказывай, как дело было?

У Егорычева язык к гортани присох: так близко да еще один на

один видеть Адмирала ему еще не доводилось.

— Так что... Вашссство... Как по уставу ссслужбы,— с трудом складывал он. — Приказано...

Видно, вникнув в состояние Егорычева, Адмирал усталым жестом остановил его, молча поднялся, неспешно вышел из-за стола, подступился к нему почти вплотную, оказавшись ему по плечо, и, снизу вверх, вскинул на него ожесточившиеся вдруг глаза:

— Молодец, Егорычев, благодарю за службу, чтоб незваные гости помнили: кто к нам с добром, к тому и мы всей душой, а кто со злобою, пусть на себя пеняет,— он, не глядя, снял со своего кителя Георгиевский крестик и старательно пристроил его на гимнастерке Егорычева. — И с первым офицерским чином тебя!

И чуть заметным кивком отпуская гостя, повернул обратно — к столу.

Но времена скоро наступили такие, что Егорычеву стало не до своего скороспелого офицерства. С каждым днем конвой Адмирала превращался в боевую часть, которую перебрасывали из прорыва в прорыв, откуда она выходила еще более поредевшей и потрепанной.

А с первыми холодами грянула катастрофа.

2

ИЗ ЛАГЕРНЫХ РАССКАЗОВ ФИЛАРЕТА ЕГОРЫЧЕВА:

«Правда, после той лихой атаки под Курганом все у нас пошло-поехало наперекосяк. Фронт посыпался кругом, только подол подставляй. В одном месте треснуло, в другом прохудилось, в третьем потекло да так уж и без передыху. Конвой из боев не выбирался, только что ж конвой один может, вроде подспорья, а против большой силы таким числом не выстоишь. Ко всему, народ по деревням совсем задубел, смотрит зверем, от мобилизации в леса норовит, да и то сказать — наш брат тоже не сахар, гребут у мужиков что ни попадя, на руку тяжелые сделались, иные вовсе лютовали, хотя, бывало, и за чужие грехи на себя напраслину принимали. Помнится, отбили мы деревеньку как-то, а там за околицей нашего брата горой навалено. Думали, красные в злобе навалили, а на поверку вышло, что сами мужики допьяна напоили и хмельных потом косами посекли, до того им уже допекло тогда, так те зверовали. Только, как стали ихнюю обувку-одежу растаскивать да приспосабливать по домашней нужде, документы в барахле обнаружились, а по документам тем они все красными оказались, с особым заданием мужицкую злобу против нас распалять, вот ведь на какой обман шли, греха не боялись. Правда правдой, а поди расскажи кому, не поверит, да и рассказывать некому, никто слушать не хотел, надоела мужикам эта канитель, одно долбили: замиряться пора. К зиме ближе совсем у нас худо сделалось, офицеры и те разбегаться стали, красные обложили наши фронта со всех сторон, один путь оставался — двигаться на Иркутск. С первым снегом и двинулись из Омска по железной дороге. Однако дальше Нижнеудинска не доехали, застряли на путях вместе с золотом, ни туда, ни сюда. Вот тут-то и зовет меня как-то к себе мой начальник: «Вот,— говорит,— Филя, какие дела: продали нас союзнички, ни за понюх продали, Адмирал решил никого не неволить, предлагает подчиненным выбираться на свой страх и риск, а мне советует пробиться к Каппелю, так что решай: со мной пойдешь или свою дорогу выберешь?» А мне в ту пору и думать было нечего, такое с им вдвоем прошли, что меня от него только с мясом оторвать можно было. «Пол-России прошли,—говорю,—Аркадий Никандрыч, глядишь,

Бог пособит, и вторую пройдем вместях». Обнял он меня и прослезился даже: «Братом ты мне стал,— говорит,— а не подчиненным, судьба нас с тобой, Филя, навсегда побратала». Двинулись мы с им той же ночью, а как к Каппелю попали, убей меня Бог, не помню, я уже тогда в тифу был, шел, как во сне, ни земли, ни ног под собой не чуял, уж потом узнал, что прямо в каппелевском штабе и свалился. Чем выжил, сам не знаю, однако молодой был, выдюжил».

3

За конной атакой, в которой участвовал адмиральский конвой, Егорычеву выпало следить издалека: его, как еще необстрелянного, определили в стрелковый заслон, что должен был, в случае неудачи кавалерийского удара, принять на себя натиск преследующих.

Он лежал заряжающим у пулемета, глядя, как конница, в две лавы, одна за другой, полукругом охватывала прибрежное село на взгорье, и дробь долетавшей оттуда пальбы отзывалась в нем исступленной мольбой: «Не попусти, не попусти, Господи, спаси душу раба твоего Аркадия!»

Облегченно вздохнулось ему только, когда ружейная пальба у сельской околицы впереди внезапно, словно захлебнувшись, смолкла, и в оглохшей вслед за этим тишине взмыл над его головой пронзительный и протяжный звук походной трубы: отбой!

К селу рекой потянулись ожившие в предвкушении близкого отдыха стрелковые цепи и войсковые обозы, по дороге все более возбуждаясь и беспорядочно смешиваясь.

Егорычев оказался в селе одним из последних, застав здесь уже запущенный в действие круговорот армейского механизма: вокруг местной школы мельтешила штабная карусель, по улицам дымили походные кухни, а в церковной ограде, в неверной тени развесистых лип разворачивался походный лазарет.

На базарной площади, на самом солнцепеке, ему бросилась в глаза сбитая в почти безликую кучу группа пленных, сидевших прямо на земле, в окружении хмурого от жары и усталости конвоя.

Скорее в растерянности, чем из любопытства, Егорычев замер перед этим зрелищем и одновременно услышал у себя за спиной отрывистый, похожий на перепалку разговор, сразу же выделив в нем знакомый, с легкой хрипотцой голос Удальцова:

— Адмиральский конвой, Ваше высокопревосходительство, не расстрельная команда, Верховный приказал мне поддержать фронт, но убивать пленных он мне не приказывал, увольте, Ваше высокопревосходительство, палачеству не обучен.

— Но, ротмистр,— упрямо гнул кто-то в ответ,— Верховный сам настаивал на расстреле коммунистов во всяком случае и без суда.

— Разве мы успели уже выяснить их убеждения, Ваше высокопревосходительство? Уверяю вас, что большинство из них такие же коммунисты, как мой Филарет, они и слова-то этого толком не произнесут, набрали их по мобилизации и погнали в огонь, вот и вся их партийность, нашими экзекуциями мы только озлобляем мужицкую массу.

— В таком случае, куда же их девать, ротмистр?

— А переодеть и в строй, за милую душу воевать пойдут, им ведь все равно с кем, лишь бы начальство было.

И словно туман расступился пред глазами Егорычева: в серой мешанине на земле он вдруг разглядел лица, много лиц, самых, казалось бы, разных, но, при всей их непохожести друг на друга, сквозило в них что-то такое, отчего они — эти лица поначалу сливались для него в одно, как бы присыпанное пеплом пятно, отмеченное лишь покорным безразличием к окружающему.

«Наша, мужицкая кость,— всматривался он в них, будто в зеркало,— какой с них спрос!»

(Множество раз впоследствии доведется Егорычеву сталкиваться вот так, лицом к лицу с этой безликой покорностью, но долго еще ему предстоит впереди быть клятым и битым, прежде чем он проникнется ее спасительным отупением: двум смертям не бывать, а одной не миновать!)

А тем временем в разговор за его спиной неожиданно вклинилась чья-то насмешливая скороговорка:

— Дозвольте мне, Ваше высокопревосходительство,— быстрый голос сзади даже пресекался от нетерпения,— я человек простой, меня тонким чувствам в академиях не обучали, зато жена моя с дочерью комиссарскую науку сполна прошли, потешилась над ними красная сволочь досыта, обе руки на себя наложили, у меня душа не дрогнет, пускай только господин ротмистр кружевным платочком прикроется, а то еще сблюет ненароком от сердечного благородства,— тяжелая рука властно отодвинула Егорычева в сторону.— Осади, солдат!

В замкнутый круг перед пленными решительно вступил приземистый, с бычьим загривком казачий офицер и, тяжело покачавшись на коротких ногах, отрывисто скомандовал:

— А ну, поднимайсь! — и к конвойным:— Выводи за околицу! — тут он круто развернулся, оказавшись почти лицом к лицу с Егорычевым, и хмельно подмигнул кому-то в толпе перед собой.— Вот так-то, господин ротмистр!

Но при этом широкоскулое лицо его оплывало такой презрительной ненавистью, что хмельная усмешка на нем выглядела вымученной гримасой.

Стоило Егорычеву только представить, что вот-вот этих, поднятых по пьяной команде, мужиков поведут на верную гибель за чужие вины и не свои грехи, как явь у него перед глазами занялась горячей дымкой от обиды за них и вызывающей несправедливости происходящего.

— Господин офицер,— поплыла под ним неподатливая земля,— не по закону это будет вот так-то...

Но прежде чем нагайка в руках казака взвилась над головой Егорычева, свет перед ним заслонила широкая спина начальника адмиральского конвоя:

— Это мой ординарец, господин подхорунжий, я за него ручаюсь,— он повернул к Егорычеву встревоженное лицо, крепко обхватил ординарца за плечи и принялся вминать, волочь, заталкивать его в толпу, шепотно приговаривая ему на ухо:— Ты что, спятил, Филя, собственной головы не жалко?.. Ты же видишь, он не в себе, ему теперь и своя жизнь — полушка?

Уже в безопасном отдалении Егорычев, успокаиваясь под упрямой рукой командира, не смог все же побороть соблазна — обернулся, и снова душа его мгновенно взмыла и сжалась от обморочного удивления: пленные нестройным таборком безвольно текли вдоль пропыленной улицы в знойное марево сельской околицы в сопровождении молчаливой охраны, и в этой их сонной безвольности явственно прочитывалась грозная завязь и предостережение.

«Не к добру это,— отложилось напоследок в Егорычеве,— ох, не к добру!»

4

Когда в заснеженной Иннокентьевской Егорычев после болезни встретил своего командира, душа в нем зашлась трепетной радостью и он, пожалуй, впервые в жизни восхищенно осознал, что есть Бог на земле, что жизнь человеческая чего-нибудь да стоит и что нет для людей непоправимой беды, если они вместе.

Много лет пройдет, прежде чем в скитаниях по гулаговским кругам выветрится из Егорычева эта восторженная уверенность, тому, впрочем, помогут во многом самые разные люди и нелюди.

ИКОНА СТАРОГО САПОЖНИКА

Мордовать Егорычева принялись уже в начале двадцатых, едва затихла Гражданская. Поначалу ласково, с подходцем, больше мелочью, подробностями интересовались, как-никак, мол, при самом Адмирале служил, не припомнит, мол, чего занятного? Но с годами стелили все жестче, а спать давали все реже. Как ни хоронился он месяцами по зимовкам, как ни прятался от людских глаз, из дома носа не высовывая, дотягивалась-таки до него хваткая чекистская пятерня, вытаскивала на свет Божий и ставила пред свои грозные очи: как попал к Адмиралу, по принуждению или по личной охоте, принимал ли участие в карательных заданиях, до какого дня в точности оставался в его конвое? Историю с пьяным чехом и тут раскопали, припомнили: на каком основании применил оружие? Ко времени коллективизации с ним совсем уже не церемонились, брали, когда хотели, и разговаривали, как хотели, а с началом колхозов взяли окончательно и навсегда. В ту пору у них с Дарьей целый выводок подрастал: трое мальцов и девка за старшую, в которых он души не чаял и жизни впереди не видал. Последнее расставание с ними Егорычев запомнил на всю свою последующую горькую долю. Часто потом на вагонках бесчисленных в его судьбе лагерных командировок грезилось ему это расставание: распластанная в беспамятстве на полу избы Дарья и четыре пары ребячьих глаз над ней, застывших в испуганном недоумении: не искушай, Господи, кровь от тоски высохнет или руки на ближнего наложу! Трудно давался Егорычеву лагерный век, больно уж не по вине казалась ему его кара, а тягости заключения и того пуще. Чуть не с первого дня под замком взялся он писать жалобы и прошения во все концы, правды, милости добивался, выводил заскорузлой рукой кривые каракули на любой случайной бумажке, а когда у него самого не получалось, соседей-грамотеев просил, последней пайкой расплачивался. Думал, не звери же наверху сидят, какой уж такой его смертный грех, что довелось ему у Адмирала служить, вникнут, опамятуются, простят по молодости. Егорычев писал, но в ответ ему одни добавки шли: к первому пятерику десятку добавили, а к той еще столько же. Вот и весь сказ, как говорят. Не сыскав правды в канцеляриях, стал задумываться он о Божьем Промысле, вспомнил вдруг молитвы полузабытые, притчи евангельские, любую вольную минутку Богу молился, спрашивал, за что, за какие грехи такое испытание ему и когда этой расплате срок придет? Но и этим не облегчился, не всякому, видно, дано от самого Господа Бога отчеты получать. Тогда застыл Егорычев сердцем, оглох душой и принялся жить изо дня в день со своей тоской один на один По этому времени и свел его случай с лагерным сапожником Сутейкиным. Был Сутейкин человек нелюдимый, слов в разговорах не тратил, больше матком обходился да смешочком коротеньким в бороду. Должность у него была нехитрая, зато хлебная: сапожник в зоне всем нужен, зеку, само собой, а начальству тем паче, тоже ведь не босые ходят. Оттого Сутейкин

держался уверенно, шапки ни перед кем не ломал, до себя допускал по редкому выбору, но Егорычева почему-то сразу отметил, смотрел по-доброму, латки на драной обувке его ставил без запросу и на совесть. Завернул как-то к нему в барачную кабинку Егорычев с очередной нуждой, а тот ему вдруг и скажи: «Гляжу я на тебя, браток, и без очков вижу — доходишь ты, на глазах доходишь, дух из тебя черной тоской смердит, не протянуть тебе долго, послушай меня, старого, смирись, совладай с памятью, забудь про всё, не гляди под ноги, живи, как живется, будто для того и родился. Ты думаешь, другим легче, возьми хоть меня, я ведь тоже третий срок тяну, а вины моей и на один-то слишком, хочешь расскажу? — согласия, правда, ждать не стал, поплел дальше.— Сам я из Москвы родом, из Черкизова, место там такое имеется, все в нашем роду сапожники, ну и я по этой части пошел, будка у меня собственная была, кустарем числился, зарабатывал не то чтобы много, но на закуску с выпивкой хватало. Ну вот как-то по пьяному делу и сбрехни я в пивной, мол, Сталин — человек нашего сапожного роду. Вроде и не сказал я ничего против правды. Ведь отец-то евонный по-настоящему сапожником был, чего ж ему этого стесняться, а вышло на следствии, что я великого вождя оскорбил и на евонную светлую личность покусился. Что они со мной, эти следователи, выделывали, ни в сказке сказать, ни пером описать, кровью намыливался, мочой умывался и получил первые десять, как одну копеечку. И стал тоже вроде тебя по верхам челобитные слать, а от них мне, как и тебе, ничего, кроме добавок. Пробовал на твой манер и молитвами, не полегчало. Совсем до края дошел, но как-то заглянул ко мне один матерый зек, его, считай, чуть ли не с самого семнадцатого по этапам поволокли, да и заплатил мне за работу вещицей одной, вроде иконки, которую он хоронил при себе по всем дорогам от Соловков до Колымы. «На,— говорит,— ничего у меня дороже нет, спрячь у себя и держись за нее, как черт за грешную душу, не пропадешь». Сам этот зек скоро дуба дал, а я по евонной милости, как видишь, все еще жив-здоров, чего и тебе желаю, а потому и хочу показать тебе сейчас вещицу эту, глядишь, и ты придешь в чувство». Сказав это, отогнул Сутейкин висевший на стенке кабины засиженный мухами плакат «Родина-Мать зовет!» и обнажил пред гостем кусок закопченной фанеры, на которой чьей-то рукой выжжено было одно-единственное слово: «Насрать!»

Этим Егорычев и прожил всю остальную жизнь.

5

Но это было потом, а пока Егорычев смотрел на возникшего перед ним командира, и слабое сердце его обливалось слезами и кровью от не изведанной еще до сих пор преданности.

Глава восьмая

Она

1

После отъезда Адмирала в Тобольск в ней все словно бы окаменело. Не то что она обиделась, что он не взял ее с собой, для нее это было не в новинку, просто всякий раз, когда она его долго не видела, ей становилось невмоготу: где он, что с ним, не забыл ли?

В такие дни она день и ночь пропадала в госпитале. Только здесь, среди обнаженной до предела человеческой боли, она оттаивала от изводящей ее тоски в сострадании и самоотдаче. Лазарет, размещенный в обширных корпусах бывшего сельскохозяйственного училища, круглые сутки стонал, бредил, взывал к сочувствию и помощи. Больными и ранеными были забиты, заполнены не только служебные помещения, кабинеты и коридоры, но и лестничные площадки. Смрад стоял такой, что даже настежь распахнутые окна и двери не облегчали дыхания. Люди лежали вповалку, голова к голове, без разбора болезни или ранения. В обрез было не одних лишь лекарств, но даже бросового белья, которое удавалось менять не чаще, чем раз в месяц. Где здесь приходилось думать о чем-то, кроме тех ежечасных, ежеминутных, ежесекундных забот о самых насущных людских нуждах, которыми был заполнен ее маятный рабочий день. Они — эти нужды, тянулись к ней из каждого угла и закоулка в ожидании сострадания, слова или хотя бы взгляда. И она разрывалась на части, расточая по крохам свою душу, которой все равно не хватало на всех.

Стараясь не обойти никого вниманием, однажды по-матерински все-таки выделила для себя из многих других молоденького, лет восемнадцати, не более того, солдатика-сибирячка, смертельно раненного в живот, но все еще жившего надеждой на свое близкое выздоровление и встречу с родней.

Наверное, память о брате, сгоревшем когда-то у нее на глазах с той же лихорадочной уверенностью в скором выздоровлении, сыграла здесь не последнюю роль. Могла ли она забыть, как в тот его последний приезд летом пятнадцатого он, выгорая вовне испепелявшим его жаром, требовательно вымаливал у нее «святой лжи»:

— Если б ты знала, Аннушка, сестренка дорогая, как я рад, что, несмотря ни на что, выжил! Только теперь, пережив смерть, я понял, как мы не ценим того, что дает нам жизнь. Нам все мало, мы просим и просим у нее как можно больше, не хотим замечать, что и того, что дано нам ею, слишком много...

И она, глотая слезы, послушно поддакивала ему:

— Да, да, Сережа, это ты очень хорошо сказал, надо радоваться тому, что нам дано, а не строить воздушных замков, ведь даже без маленьких огорчений жизнь стала бы невыносимо пресной. Снег, вода, ветер, шум деревьев, огонек в окне — все может приносить радость, ведь из этого и складывается жизнь...

Теперь, в этой страждущей преисподней, ей казалось, что она только продолжает памятный для нее разговор с братом, когда, утешая своего умирающего подопечного, поддерживала в нем уже несбыточные надежды:

— У тебя, Коля, все впереди, тебе только отлежаться нужно, отоспаться как следует, подлечишься, голубчик, и домой, в деревню к себе, места у вас тут такие, что мертвого на ноги поднимут, не воздух, а настоящее чудо, лучше всяких лекарств!

А тот тянулся к ней сияющими глазами, выглядевшими на его воспаленном лице чужими:

— Эх, Анна Васильевна, сестрица милосердная, у нас на Байкале об эту пору самый клёв и такая благодать кругом, что, куда ни поглядди, душа поет, как вернусь к своим, дня дома не высижу, ружьишко на плечо, сетя за спину и до самых снегов под крышу ни ногой...

Николай даже веки прикрывал в счастливом предвкушении своего близкого праздника, но темные глазницы его при этом мертвенно проваливались, а черные тени резче обозначались у него на заостренных скулах.

«А вдруг,— заражалась его надеждой она,— ведь бывают же в конце концов чудеса!»

С этим она снова и снова шла к доктору Мягкову — усталому, постоянно вполпьяна скептику с насмешливыми и в то же время затравленными, как у бездомной собаки, глазами:

— Голубушка, Анна Васильевна,— доктор лишь беспомощно разводил руками,— чудеса если и бывают, то не от рук человеческих, а я ведь только немощный эскулап, будь я даже о семи пядях во лбу и обладай самыми новейшими средствами, мне все равно не удалось бы его спасти... Простите, голубушка.

И усмехался в седеющую бороду снисходительно и печально.

По ночам ей грезились лица, множество лиц, виденных ею в жизни, и среди них чаще всего лицо брата Сергея, сливавшегося в ее сумеречном сознании с обликом умирающего Николая.

А тот истлевал, испепелялся, сгорал на глазах, почти в полной памяти, лишь изредка впадая в бредовую полуявь:

— Ты мне, Петёк, зубы не заговаривай, знаю я тебя говорка... Да только мы таких говорков, знаешь как с бугорков.... Ты на чужих девок не зарься, своих обхаживай, Настю мою не замай,— и вдруг запел тоненько и тихо.— «Эх, Настасья, эх, Настасья, открывай-ка ворота, открывай-ка ворота, принимай-ка молодца...»

Умирая, он счастливо сиял и как бы дымился выжигавшим его жаром, и, казалось, не он — душа его пела от чего-то такого, чему нет названия на человеческом языке и что дарится ей лишь на пороге жизни и смерти, а за какие добродетели, не нам знать.

Она не отходила от него до самого конца, а когда лицо его стало у нее на глазах отвердевать в меловой бледности, не выдержала и, беззвучно изливаясь в слезном сострадании, приникла к его уже отвердевшим губам. Это было единственное, что ей оставалось доступно подарить ему на прощанье: пусть вот так он запомнит в ней свою далекую Настасью!

Потом она навзрыд, содрогаясь всем телом, плакала на плече Мягкова, а тот, стараясь не дышать на нее, гладил ее по голове, словно обиженную девочку, и монотонно приговаривал при этом:

— Ну, ну, голубушка, Анна Васильевна... Ну, ну... Полноте... То ли еще будет, то ли еще будет...

2

Вскоре после возвращения Адмирала началась распутица, а с нею и новые беды. Но — удивительно! — никогда еще она не видела его таким спокойным и уравновешенным. Он словно перестал замечать, что творится вокруг него, глядя на все с грустной снисходительностью. Она это почувствовала даже на себе: в тяжелые для себя часы он уже не искал в ней поддержки, а скорее наоборот, сострадал ей в ее беспрерывных волнениях за него. В его отношении к ней проявлялось что-то отеческое, отчего их встречи сделались сдержанней, но душевней.

— Вот, дорогая Анна Васильевна,— сказал он ей при первой же встрече,— злые языки говорят, что во мне турецкая кровь бушует, а у меня сейчас такое чувство, что я совсем без крови остался, будто выжали ее из моих жил до последней капельки: уезжал, думал, как Антей, сил у родной земли призанять, но вышло — последнее потерял.

— Что-нибудь случилось, Саша? — она умоляюще приникла к нему.— Александр Васильевич, милый, не мучайте!

Он легонько прикоснулся губами к ее лбу и, положив ей руки на плечи, бережно, но настойчиво усадил в кресло:

— Ровным счетом ничего, дорогая Анна Васильевна, просто я понял наконец, что проиграл, проиграл окончательно, и не надо больше строить иллюзий. Но стоило мне осознать это, как я увидел окружающее совсем другими глазами. Говорят, когда тонущий теряет волю к сопротивлению, к нему приходит ровное, ничем не омраченное спокойствие, остаются только воспоминания и больше никаких чувств. То же самое испытываю теперь и я, страсти, которые бушуют сейчас вокруг меня, не вызывают во мне ничего, кроме жалости и презрения, отныне я готов ко всему и поэтому абсолютно спокоен.

— Александр Васильевич, Саша, зачем же терять надежду?

— Моя надежда не в том, чтобы выжить, Аня.

— В чем же? — почти в отчаянии не выкрикнула — простонала она.

— В том, чтобы достойно умереть.

3

Когда доложили о приходе американского Генерального консула Гарриса, она было поднялась, чтобы оставить его наедине с гостем, но он снова и еще настойчивее усадил ее:

— Мне нечего от вас скрывать, Анна Васильевна, пусть объясняется в вашем присутствии, от него не убудет, да и вряд ли этот господин сообщит мне что-либо новое, обычная дипломатическая болтовня.

Гость — высокий, громоздкий, но тем не менее элегантный толстяк, явно смутился присутствием дамы, хотя тут же взял себя в руки и рассыпался в любезностях, после чего, без особого перехода, приступил к деловой части:

— Мне хотелось бы, Ваше высокопревосходительство, ознакомить вас с только что полученной мною телеграммой Государственного Департамента, смею думать, что это хорошая новость для нас всех. Это почти признание!

Гаррис протянул Адмиралу телеграмму таким барственно щедрым жестом, будто дарил ему полцарства, а вторую половину держал за пазухой для пущего сюрприза.

Но из прочитанного текста Адмирал не узнал ничего, кроме того, что твердые намерения правительства Соединенных Штатов Америки по отношению к нему не изменились, что намерения эти основаны на обменных нотах между ним и представителями союзников и что оно питает уверенность в содействии ему всех элементов России, преданных делу ее воссоздания на демократических началах.

«Слова, слова, слова,— усмехнулся про себя Адмирал,— но где же ваша сладость?»

А вслух сказал:

— Положение, господин Гаррис, таково, что я считаю необходимым говорить с вами без дипломатических околичностей. Откровенно говоря, я рад, что меня до сих пор не признали, таким образом мы избежали Версаля, не дали своей подписи под договором, который оскорбителен для достоинства России и тяжек для ее жизненных интересов. Мы будем свободны, и, когда окрепнем, для нас этот договор окажется не обязательным.

Гость сразу же поскучнел и вызывающе вскинул тяжелый подбородок:

— Неужели, Адмирал, после того, что случилось в вашей стране, вы все еще бредите имперскими амбициями? Зачем она вам, эта лоскутная империя, она только связывает вас по рукам и ногам, обрекая на бесплодное распространение и тем самым умножая ваших врагов?

Адмирал насмешливыми глазами уперся в гостя:

— Мне не хотелось бы преподавать вам уроков американской истории, дорогой господин Гаррис, вы ее и сами прекрасно знаете, но я с удовольствием задал бы вам несколько вопросов по этой части. Разумеется, вы самая демократическая страна в мире, но, может быть, не следовало бы забывать, какой ценой обошлась на ее территории эта самая демократия? Кому, к примеру, исторически принадлежит Калифорния? Или Техас? Куда делись целые племена и народности с большей части американских земель? Да едва ли стоит забывать и о чумных одеялах, с помощью которых ваши доблестные пионеры освобождали для себя лучшие земли от нежелательных аборигенов? И давно ли вы освободили черных от крепостного права? Помнится мне, что чуть попозже, чем мы в нашей варварской стране своих. Не смею более продолжать, боюсь этот разговор может завести нас слишком далеко. Теперь о деле, господин Гаррис. Разумеется, мы сами заварили свою кашу, мы сами должны ее и расхлебывать, но уж коли наши союзники в нее вмешались, то они должны отдавать себе ясный отчет, что не делают нам этим одолжения, а защищают прежде всего себя, поскольку программа большевиков, насколько я знаю, не предполагает остановки на границах бывшей Российской Империи, а простирается в своих претензиях на весь мир. Рано или поздно вам самим придется сойтись с ними лицом к лицу, но тогда у вас уже не окажется такого безотказного союзника, как Россия, она сделается вашим кошмаром и наваждением, вы забудете о процветании и вынуждены будете думать о том, чтобы только выжить, но, уверяю вас, что выжить вам в конце концов не удастся, потому что невозможно вечно жить в состоянии обороны, вам так или иначе придется капитулировать. Впрочем, эту военную аксиому вам может преподать любой лейтенант из Вест-Пойнта.

— Но мы делаем все, что можем! — заволновался, заколыхался всем своим грузным телом гость.— Разве мы мало сделали для вас?

— Даже если бы вы сделали в десять раз больше, это было бы каплей дистиллированной воды в море серной кислоты, заливающей сегодня Россию.

— Чего же вы хотите, Адмирал, прямого военного вмешательства?

— Не просто вмешательства — войны.

— Это невозможно, Ваше высокопревосходительство, никто в нашей стране не санкционирует нам этого безумия.

— Тогда, знаете,— Адмирал безнадежно развел руками,— могу вам на прощание, господин Гаррис, лишь процитировать Гамлета: «Из жалости к вам я вынужден говорить правду: несчастья ваши только начались, готовьтесь к еще большим».

Гаррис встал и молча откланялся, но в тяжелой его поступи по дороге к двери чувствовались недоумение и растерянность.

— Вот,— повернул он к ней, едва тот вышел,— даже лучшие из них не в состоянии понять, что же действительно происходит сегодня в России, чего нам ждать от худших, вроде генерала Жанена, я уже не говорю о нашем русском мужике, который просто устал и уже согласен на любую власть, лишь бы замириться. Мало кто хочет замечать, что человечество заразилось новым видом эпидемии, которая лишает его основной жизненной функции — чувства самосохранения, а это в сто раз страшнее чумы.

До сих пор он никогда не говорил с ней о делах или политике. Его внезапная откровенность не столько польстила ей, сколько испугала ее: видно, груз, который ему выпало нести на себе, становился ему не по силам, и он спешил поделиться им с нею, чтобы облегчить

себя. Нет, она не боялась разделить с ним этот груз, ее пугало лишь то, что он теряет веру в себя и в свою звезду, а это было для нее страшнее всего.

— Неужели вы не видите выхода, Александр Васильевич, дорогой,— взмолилась она,— неужели поражение неизбежно?

— Смотря что считать поражением, Анна, победа моя — это вы, а большего мне и желать грешно.

И он благодарно приник к ее руке.

4

Из воспоминаний Г. К. Гинса:

«По всей Сибири разлились, как сплошное море, крестьянские восстания. Чем больше было усмирений, тем шире они разливались по стране. Они подходили к самому Омску из Славногородского и Тарского уездов, с юго-востока и северо-запада, прерывая линию сообщений Семипалатинск — Барнаул, захватили большую часть Алтая, большие пространства Енисейской губернии. Даже местным усмирителям становилось, наконец, понятно, что карательными экспедициями этих восстаний не потушить, что нужно подойти к деревне иначе. Зародилась мысль о мирных переговорах с повстанцами, так как многие присоединялись к движению, совершенно не отдавая себе отчета, против кого они борются.

Приходили сведения о жестоких расправах в городах с представителями местной социалистической интеллигенции. Делавшие это помпадуры не понимали, что интеллигенция — мозг страны, что она выражает настроения широких кругов населения и заражает их своими настроениями, что всякая излишняя, а тем более произвольная жестокость вредна не только потому, что убивает без смысла, но и потому, что создает тысячи новых врагов.

Трудно было проверить все, что приходило с мест. Красильников, один из участников переворота 18 ноября, повесил на площади городского голову города Канска, и, как рассказывают, когда ему сообщили о жалобе на него Верховному Правителю, то он пьяным, заплетающимся языком ответил:

— «Я его посадил, я его и смещу».

Красильникова послали на фронт. Он повиновался. Он был всегда послушен власти, никогда не проявлял атаманской склонности ни захватывать власть, ни наживаться. Один из близких Красильникову людей, честный молодой офицер Ш., отрицал справедливость обвинений, возводившихся против Красильникова, а прокуратура молчала. Несомненно, Красильников был хорошим офицером, но отвратительным, невежественным администратором.

Дыма без огня не бывает. Красильников успел, вероятно, натворить много зла. Страшные сибирские расстояния и разобщенность власти с обществом затрудняли правильную информацию. Отсутствие представительного органа, в котором могли бы представляться запросы и вопросы, более чем когда-либо давало себя чувствовать...

Но что же происходило на фронте? Бои проходили с небывалым ожесточением. Обе стороны дрались со страшным упорством. Наше командование бросило на фронт все резервы. Пошли крестоносцы, морской батальон, состоявший из квалифицированных техников, часть конвоя Верховного Правителя. Смерть безжалостно косила ряды бойцов.

Погода установилась отвратительная. Обмундирование, которое было выслано на фронт, каталось по рельсам, так как непрерывное наступление не давало возможности развернуться. Солдаты мерзли в окопах.

Беспрерывные мобилизации дали несколько десятков тысяч новых солдат, но этим солдатам нельзя было доверять. Не было гарантий, что они не перейдут к красным, не потому, что они сочувствовали им, а потому, что больше верили в их силу, чем в силу Адмирала. Кто наступал, тот вел за собой солдат.

Ряды первой армии так поредели, что, когда красные повели наступление на армию ген. Пепеляева, ему некого было выслать; он бросился в бой сам, вместе со штабом, и отбросил противника.

Генерал Дитерихс объехал всех командующих армиями: Сахарова, Лохвицкого и Пепеляева. По соглашению с ними он решил отступать, не останавливаясь перед сдачей Омска.

Омск начал разгружаться. Дитерихс наметил новую линию фронта и начал отводить армии. Первой уходила сибирская армия, как наиболее поредевшая.

К омскому вокзалу потянулись длинной вереницей возы».

5

Прощание с Омском было тягостным. Ночной город провожал их настороженной тишью, готовый в любую минуту взорваться криком или пальбой. Станцию обогнули стороной, чтобы своим появлением не вызвать цепной паники. На путях товарной-сортировочной их уже ожидала толпа штабников. Толпа молча расступилась, освободив для них узкий проход, и молча потекла следом за ними вдоль приготовленного к отправке поезда.

— Оперативный отдел здесь, господа,— шелестел в ночной тиши полушепот Удальцова,— интендантство сюда пожалуйте... Конвой в следующем вагоне... Ваше высокопревосходительство, вам в следующем...

Но не успела за ними захлопнуться дверь вагона-салона, как снаружи проникла невнятная многоголосица, перешедшая тут же в короткую перепалку уже прямо за стенкой — в тамбуре, после чего в салон следом за взволнованным Удальцовым ввалился генерал Пепеляев, или, как его еще называли в войсках, Пепеляев-младший.

— Ваше высокопревосходительство, прошу извинить, но дело мое не терпит отлагательств,— в шинели нараспашку, из-под которой выпукло выпирал его туго обтянутый с офицерским Георгием на груди торс, он производил впечатление необузданной силы и напористости.— Медлить сейчас смерти подобно, правительство давно потеряло доверие населения и общественности, необходимы срочные реформы, но со стариками каши не сваришь, пришла пора менять упряжку, иначе все погибло, фронт разлагается на глазах, солдаты не желают защищать то, что уже давно сгнило. Ваше высокопревосходительство, от вашего решения зависит теперь не только наша судьба, но и судьба России!

Гость явно не чувствовал себя здесь подчиненным: он не просил, он требовал, но Адмирал тем не менее оставался невозмутимо ровен:

— Что же вы предлагаете, генерал?

— Правительство общественного доверия,— выпалил тот, заметно настраиваясь на победительный лад.— Другого выхода нет.

Адмирал, расслабляясь, откинулся на спинку кресла:

— И не надоело вам, Анатолий Николаевич, вместе с вашими приятелями жевать эту кадетскую жвачку, без малого ведь пятнадцать лет пережевываете, неужели Февраль вас так ничему и не научил?

Пепеляева передернуло от едва сдерживаемого негодования, но,

видно, зная характер Адмирала, он не рискнул искушать судьбу, сбавил тон:

— Ваше высокопревосходительство, не о себе пекусь, об общей пользе, надо действовать пока не поздно, силы реакции толкают нас к пропасти, необходимо освободиться от них. Прогрессивные элементы общества готовы взять на себя ответственность за судьбу страны.

— Полноте, Анатолий Николаевич,— поморщился Адмирал,— что за слова: «реакция», «прогрессивные элементы»! Оставьте это для митингов, можно же хотя бы в такой обстановке не употреблять этот птичий язык и говорить по-человечески! — Он закрыл глаза и выговорил, словно продиктовал:— Передайте Виктору Николаевичу, пусть действует по своему усмотрению, я подпишу. И желаю вам и ему всех благ.

Подхваченный неожиданной удачей, Пепеляев молодцевато щелкнул каблуками и, круто развернувшись, выкатился из салона.

(Эх, Пепеляев, Пепеляев, играя свои эсеровские игры, ты в конце концов переиграешь только самого себя и через год, брошенный и забытый всеми, займешься частным извозом, чем тебе и следовало бы заняться с самого начала, а не Россию спасать!)

— Вот,— кивнул ему вслед Адмирал,— еще один благодетель отечества, одной ногой на том свете, а в голове солнце Аустерлица и колокольный звон над белокаменной.— Молящий взгляд его взмыл к потолку.— Дети, злые, испорченные, несчастные дети! Если бы они знали, что их ждет впереди, то вместо того, чтобы играть в министров и главнокомандующих, молились бы за упокой собственной души. Спаси их грешные души, Господи!

И, как бы откликаясь на его мольбу снаружи раздался приглушенный снежной сыростью паровозный гудок, и состав дрогнул, тронулся с места и потянулся в ночь, навстречу неизбежности.

6

В Новониколаевске их ожидала нелепая весть: на Дальнем Востоке против Адмирала выступил Гайда. Отставленный после горячей размолвки с Верховным еще в июле от должности, но с сохранением чина и содержания, тот был отправлен на восток, с условием покинуть пределы России. Да, видно, не выдержала фельдшерская душа честолюбивого искушения, сдалась перед заманчивой перспективой облагодетельствовать русский народ, не погнушавшись клятвопреступлением.

Услышав об этом, Адмирал лишь укоризненно покачал головой:

— Ох, Гайда, Гайда, забубенная твоя голова, не сносить ее тебе долго, не по росту тебе эта страна, всосет она тебя, как пылинку, всего, без остатка, а если и унесешь ноги, то на всю жизнь горбатым останешься.

(И как в воду глядел: не пройдет и семи лет, как исчезнет, забудется всеми этот горе-вояка в одной из чешских тюрем, осужденный за сотрудничество с советской разведкой! Вот такие пироги, как выражаются в наше время!)

Ей оставалось только диву даваться: Адмирал и сейчас, после того, что случилось, продолжал сочувствовать ему, этому чешскому проходимцу. Она же прониклась к Гайде неприязнью с первого взгляда, едва увидав его однажды на улице, гарцующего в окружении конвоя, разряженного в форму придуманного им самим покроя и расцветки: вытянутое книзу лошадиное лицо с тяжелым подбородком, бесцветные, навыкате глаза, с наглой незрячестью глядевшие перед собой, и тоже, в тон конвою,— весь в регалиях и позументах.

«Боже мой,— помнится, мелькнуло у нее тогда,— и они еще называют себя европейцами, им бы еще кость в нос и серьгу в ухо, какие дикари!»

Но, следуя раз и навсегда принятому для себя правилу, мнения своего высказать Адмиралу не спешила, тем более, что Гайду поначалу прямо-таки преследовал успех. Пермь, Уфа, Казань — в каждой из этих операций его участие оказалось решающим. Поэтому она старалась относить свою неприязнь к нему за счет поспешного впечатления. Но женское чутье все же не подвело ее: после первых же неудач между ним и Адмиралом начались трения, в которых одна из сторон (Гайда!) нападала, а другая (Адмирал!) защищалась. В итоге это кончилось июльским разрывом, после чего опальный генерал с видом оскорбленной добродетели отбыл спецпоездом во Владивосток, но дальше не поехал, а застрял там на станционных путях, где, оказывается, не сидел сложа руки все эти месяцы.

— Александр Васильевич, дорогой, а чего же иного вы ждали от этого чешского выскочки? — она твердо выдержала его вопрошающее удивление.— Наглый, невоспитанный фанфарон, типичный искатель счастья и чинов да еще с претензиями на всероссийскую власть. Удивительно, как вы, с вашим умом и чуткостью, не разглядели в нем его хвастливого ничтожества?

Тот вглядывался в нее все с тем же вопрошающим удивлением, как бы впервые узнавая ее:

— А ведь вы, Анна Васильевна, могли бы во многом помочь мне, почему вы никогда не заговаривали со мной о моих делах, о людях, которые меня окружают, о вашем отношении к происходящему наконец?

— Я не хотела огорчать вас, Александр Васильевич, у вас и без того было слишком много советников.

— Жаль.

— Отчего?

— Может быть, мне удалось бы избежать многих промахов и ошибок, иногда, к сожалению, роковых.

— Женщины — плохие советницы, Александр Васильевич, в свои оценки они вносят чересчур много личного.

— Но у вас, Анна, я заметил, есть удивительное чутье на людей, помните, как вы как-то говорили мне о Каппеле?

— Владимир Оскарыч так открыт, что с первого взгляда ясно, каков этот человек.

— Вы и теперь так думаете?

— Разумеется.

— Что ж, быть по сему, мой друг, я сегодня же назначу его Главнокомандующим,— острый подбородок его упрямо отвердел.— Я знаю, что спасти положение не сможет теперь даже он, но, наверное, никто не в силах завершить наше дело достойнее его.

— Кто знает, Александр Васильевич, кто знает.

Адмирал позвонил и поспешно отнесся к возникшему на пороге Удальцову:

— Попросите, полковник, генерала Зенкевича заготовить приказ о назначении Владимира Оскарыча Каппеля Главнокомандующим. И вот еще,— задержал он того нетерпеливым жестом,— попробуйтека связать меня с Жаненом.

После ухода Удальцова они молча сидели друг против друга, вслушиваясь в тишину вокруг себя. Снежная каша стекала по стеклам ослепших окон, и, казалось, что вагон, словно огромная рыба, бесшумно плывет в ней — в этой каше в неведомую никому даль.

«Как странно,— думала она, невольно укачиваясь в своем ощущении,— будто и в самом деле плывем!»

Из расслабляющего оцепенения их вывело лишь появление в дверях Начальника конвоя:

— Ваше высокопревосходительство,— Удальцов обескураженно мялся на пороге,— генерал Жанен молчит.

— Хорошо, полковник, идите,— и повернулся к ней, усмехнувшись одними глазами.— А вы говорите — Гайда. Бедняге Гайде и в голову не приходит, что он лишь пешка в большой игре, которую ведут за него другие. Но у него есть хотя бы одно достоинство: он искренен в своих наивных амбициях, настоящая опасность не в нем, Анна.

— В ком же, Александр Васильевич, в таких, как Жанен?

— Отчасти. Эти преследуют свои национальные интересы, а потому тоже дальше собственного носа не видят. Существует сила, в руках которой и они пешки.

— Тогда кто же?

— В последнее время я много читал, дорогая Анна Васильевна, читал, сравнивал прочитанное с тем, что происходит вокруг, и пришел к выводу, что все мы и те, и другие оказались пешками в чужой игре, где нам отведено место пушечного мяса для достижения цели, далекой от каких-либо человеческих интересов, как дурных, так и праведных.

— Во имя чего же, Александр Васильевич?

— Во имя власти.

— Чьей же?

Он встал, подошел к ней, притянул ее голову к себе, и она облегченно затихла у него под рукой:

— Я не хочу, чтобы ты знала об этом, Анна, тебе еще жить и жить, а с этим тебе не продержаться!

7

Телеграмма полковника Сыробоярского генералу Жанену:

«Как идейный русский офицер, имеющий высшие боевые награды и многократные ранения и лично известный Вам по минувшей войне, позволяю себе обратиться к Вам, чтобы высказать о том леденящем русские сердца ужасе, которым полны мы, русские люди, свидетели небывалого и величайшего предательства славянского нашего дела теми бывшими нашими братьями, которые жертвами многих тысяч лучших наших патриотов были вырваны из рабства в кровавых боях на полях Галиции. Я лично был ранен перед окопами одного славянского полка австрийской армии, находящегося ныне в Сибири, при его освобождении от рабства. Казалось, год назад мы получили заслуженно-справедливо братскую помощь, когда, спасая только свои жизни, бывшие наши братья-чехи свергли большевистские цепи, заковавшие весь русский народ, ввергнутый в безысходную смертельную могилу. Когда стихийной волной по Сибири и всему миру пронесся восторг и поклонение перед чешскими соколами и избавителями! Одним порывом, короткой победной борьбой, чехи превратились в сказочных богатырей, в рыцарей без страха и упрека. Подвиги обессмертили их. Русский народ на долгие поколения готовился считать их своими спасителями и освободителями.

Назначение Ваше на пост главнокомандующего всеми славянскими войсками в Сибири было принято всюду с глубоким удовлетворением. Но вот с Вашего приезда чешские войска начали отводиться с фронта в тыл, как сообщали, для отдыха от переутомления. Русские патриоты, офицеры, добровольцы и солдаты, более трех лет боровшиеся с Германией за общие с Вашей Родиной идеалы, своей грудью прикрывали уходивших чехов. Грустно было провожать их уходившие на восток эшелоны, перегруженные не только боевым имуществом, но более всего так называемой военной добычей. Везлась мебель, экипажи-коляски, громадные моторные лодки, катера, медь, железо, станки и другие ценности и достояние русского народа. Все же верилось, что после отдыха вновь чешские соколы прилетят к братьям-русским, сражавшимся за Уральским хребтом. Но прошел почти год, и мы вновь свидетели небывалого в истории человечества предательства, когда славяне-чехи предали тех братьев, которые, доверившись им, взяли оружие и пошли защищать идею славянства и самих их от большевиков. И вот, когда они, спокойно оставив в тылу у себя братьев, оторвавшись на тысячи непроходимых верст, приняли на себя все непосильные удары и, истомленные и обессиленные, начали отходить — поднялись ножи каинов славянства, смертельно ударивших в спину своим братьям.

Я не знаю, как и кем принимались телеграммы от русских вождей-патриотов, полные отчаяния, со смертельным криком о пощаде безвинных русских бойцов, гибнувших с оружием в руках, защищая не пропускаемые чехами эшелоны с ранеными и больными, с семьями без крова и пищи, с женщинами и детьми, замерзающими тысячами. Я прочел телеграмму генерала Сырового, которая еще более убедила нас всех в продуманности и сознательности проведения чехами плана умерщвления нашего дела возрождения России. Кроме брани и явного сведения личных счетов с неугодным чешскому командованию русским правительством и жалкой попытки опровергнуть предъявленные к ним обвинения в усугублении происходящих бедствий русской армии и русского народа — в ней не было ничего соответствующего истине. А что думает Сыровой о брошенных и подставленных под удары большевиков братьях-поляках, сербах, румынах, кровавыми жертвами устилающих свой путь?

Ваше превосходительство! Ваш преждевременно поспешный отъезд в тыл возглавляемых Вами частей лишил Вас возможности быть непосредственным свидетелем и беспристрастным судьей всех ужасных преступлений, производимых Вашими подчиненными. Сведения, поступающие к Вам из источников явно тенденциозного свойства, не могли дать истинной картины всего происходящего. Лучший судья человечества — время даст будущей истории фактические данные о роли возглавляемых Вами чехов в переживаемые тяжкие дни России.

Вы, главнокомандующий славянских частей, со дня своего приезда, не зная обстановки, осуждали атамана Семенова за его недоразумения с Верховной властью, а теперь со всей Вашей армией готовы видеть в нем врага за то, что он остался верен той власти, в подчинении которой Вы ранее его лично убеждали и от которой Вы так быстро отвернулись, оставив ее без помощи и поддержки. То, что происходит сейчас в Сибири, несравнимо с предательством Одессы, похоронившей в себе все, что было лучшего, честного и идейного в ней. Неужели же и здесь, в Сибири, существует неумолимое решение не дать даже одиночным бойцам, которых Вы снабжали оружием, одеждой и тем самым поддерживали в борьбе с большевиками, выйти из той искусственно созданной Вами обстановки, где они неминуемо должны погибнуть? Об издевательствах и оскорблениях, нанесенных чехами главе и представителю русской армии, нашему Адмиралу, говорить не приходится, так как неожиданная перемена в поддержке неформально признанной Вами Всероссийской власти вызывает сомнения в чистосердечности прежних отношений. Полковник Сыробоярский. 14 января 1920 года. Ст. Черемхово».

* * *

С тех пор прошло пятьдесят лет, но память, равнодушно пропустив мимо себя все последующее, сохранила в ней только то, чем она жила долгие эти годы. И теперь, в наползающих со двора сумерках, перед ее глазами, словно сквозь проявляемый негатив, вырисовывались мельчайшие подробности ее последних дней рядом с ним.

8

Из записок Гришиной-Алмазовой:

«Раз в неделю допускались передачи для заключенных с воли. Этими передачами только и можно было спасаться от голода, потому что тюремная пища была невыносима. Едва только на лестнице появлялся тюремный суп, весь корпус наполнялся зловонием, от которого делались спазмы. К счастью, я получала передачи, которыми делилась с Тимиревой и Адмиралом. Впоследствии они также стали получать передачи от своих друзей. Разносили пищу и убирали камеру уголовные, которые относились довольно радушно к новым арестантам, хотя и были довольны переворотом, сулившим им близкое освобождение. Они охотно передавали письма, исполняли просьбы и поручения политических заключенных. Политические отвечали таким же дружелюбием. Один из уголовных был застигнут на месте преступления, когда брился безопасной бритвой, данной ему Адмиралом. В ответ на негодование начальства он простодушно заявил: «Так ведь она безопасная» и добавил: «Это — наша с Александром Васильевичем». Надзиратели держались корректно. Служа издавна, они столько раз видели, как заключенные становились правителями, а правители — заключенными, что старались ладить с арестантами. Поэтому власти не доверяли надзирателям, в тюрьму был введен красноармейский караул. Часовые стояли у камер Адмирала, Пепеляева и в третьем этаже. Они не должны были допускать разговоров с заключенными и передачу писем. Но кто не знает русского солдата, который может быть до исступления свиреп, но и до слез добр! Очень скоро с караулом завязалась дружба. Тимирева и я свободно выходили в коридор, передавали письма, разговаривали с заключенными. Не вовремя явившееся начальство могло бы увидеть красноармейца, откупоривавшего банку с ананасом, переданную нам с воли.

Но это благодушие длилось недолго. Скоро наступили безумные, кошмарные, смертные дни. Появились слухи о приближении каппелевцев. Сначала этому не придавали значения, но скоро власти были охвачены тревогой. Тюрьму объявили на осадном положении. Было дано распоряжение подготовиться к вывозу заключенных из Иркутска. С 4 февраля егерский батальон, несший караульную службу, был заменен красноармейцами из рабочих. Почти все уголовные были убраны из коридоров, по которым хищно бродили красноармейцы, врывавшиеся в камеры, перерывавшие вещи и отнимавшие все, что им попадалось под руку. Открыто делались приготовления к уничтожению заключенных в случае захвата города. Тревога и ужас царили в тюрьме».

9

За промерзшим насквозь окном, будто далекая лавина обвалилась, ухнул пушечный выстрел и сразу же следом за ним коротко просыпалось ружейное эхо. Сердце у нее вдруг жарко набухло и, мгновенно холодея, опало в смертельной тоске: спаси и сохрани, Господи!

За те немногие недели, что довелось ей провести в тюрьме, она уже свыклась с мыслью о скорой смерти. Адмирала они едва ли оставят в живых, а без него она не мыслила себе своего существования. Если ее сочтут недостойной умереть вместе с ним, у нее найдутся силы самой совершить суд над собою. Но всякий раз, когда, как ей чудилось, неминуемое уже случилось, душа ее опаленно взмывала, чтоб тут же свернуться в ней клубочком ледяного ужаса: пронеси, пронеси, пронеси!

Ее соседка по камере, жена осевшего где-то на юге генерала Гришина-Алмазова — Ольга, излучая на нее маслянистую желтизну своих, татарского разреза, глаз, добродушно подтрунивала:

— Ради Бога, Анна Васильевна, не изводите вы себя так, нельзя же каждый день умирать заново, рано или поздно это случится с каждым из нас, зачем же опережать судьбу?

На допрос ее вызывали всего один раз. Перед ней сидел черноволосый человек с резким лицом, по-птичьи прямо поставленной головой, в солдатской гимнастерке, плотно облегавшей его сухое, но уверенное тело.

— Вы настаиваете, гражданка Тимирева,— штопорно ввинтился он в нее колючим взглядом,— что являетесь гражданской женой бывшего Адмирала, не так ли?

— Разве это новость для вас?

В тонких губах у того прорезалась едва заметная трещинка злорадной усмешки:

— На допросе он отказался подтвердить это,— и поверх ее головы, к часовому:— Уведите.

(Прежде чем злорадствовать, знать бы тогда Председателю Иркутской чрезвычайки Чудновскому, что не так уж далек тот день, когда не только жена, но и родные дети предадут его, но, в отличие от Адмирала, не ради спасения близкого им человека, а ради самих себя, хотя все равно не купят себе этим спасения!)

В камеру она вернулась раздавленной и опустошенной.

«За что, за что,— рыбой, выброшенной на песок, билось в ней вопросительное отчаяние,— почему он это сделал, неужели я не нужна ему даже для того, чтобы умереть рядом?»

Сбивчивый ее рассказ не произвел на соседку ровно никакого впечатления.

— А чего же вы ждали от него, голубушка Анна Васильевна? — с ленивой снисходительностью осадила ее та.— Александр Васильевич — русский офицер, дворянин, не думали же вы, в самом деле, что он потянет вас за собой на виселицу?

Но ей все еще трудно было прийти в себя:

— Это я понять могу, Оля, а если просто не любит? — голос ее удушливо пресекся.— Или не любил никогда? Знаете, Оля, ведь Александр Васильевич очень влюбчив. Помнится, он рассказывал мне, как его поразила одна женщина во Владивостоке. Он встретил ее случайно, мельком в гостинице, а рассказывал о ней, будто о близкой знакомой, с мельчайшими подробностями.

Гришина неожиданно вспыхнула и зашлась в громком и безудержном хохоте:

— Анна Васильевна, миленькая, вот уж чего не ожидала, так ведь это я и была, как сейчас помню, выхожу из номера, а навстречу мне моряк, да какой еще моряк, с ума сойти, я с самого первого взгляда по уши влюбилась... Потом, когда в одном поезде с вами в Омск ехала, на каждой станции слушать его ходила, горела вся, будто влюбленная гимназистка... Знать бы мне тогда, родненькая, что и он равнодушен не остался, отбила бы я его у вас, за милую душу отбила бы!

И затормошила, закружила ее по камере в шутливом вальсе, самозабвенно убаюкивая партнершу в его плавном ритме. В безвольном этом кружении Анна Васильевна незаметно для себя успокаивалась, возвращалась в тот привычный ей мир, где вновь обретала веру в себя и в свой завтрашний день. Их день.

Но на утренней прогулке, впервые за все их пребывание здесь, Адмирала не оказалось. И зимнее небо мгновенно качнулось над ней и сплющилось у нее в глазах в каменный монолит, навалившийся ей на плечи всей тяжестью своего вечного холода: нет, нет, нет, только не это!

Она сразу же перестала ощущать время и пространство вокруг и, лишь возвращаясь в камеру, омертвевшим сознанием выделила из коридорной пустоты морщинистое, в прокуренных усах лицо разводящего, который всегда казался ей несколько если не добрее, то покладистее других:

— Скажите мне правду,— чуть слышно сложила она, задерживаясь около него,— где он, его казнили?

Тот опустил перед ней глаза и в тон ей обронил себе под ноги:

— Его увезли, гражданка.

— Куда?

— Не могу знать...

В камере она приникла спиной к запертой за нею двери и стояла так, глядя в зарешеченное окошко перед собой: без дум, без надежд, без желаний.

С подоконника на пол капала стекавшая с оттаявших стекол вода, и ей виделось, будто окружающий мир вместе с нею вытягивается в одну протяжную каплю, готовую в любую минуту сорваться вместе с нею в еще неведомую, но бесконечную бездну.

Прощай!

10

Так и прошла, пролетела, пронеслась ее жизнь, не оставив после себя ничего, кроме воспоминаний, в которых она безвольно неслась к своему уже близкому концу, упиваясь ими, словно наркотической дурью.

То грезилась ей вечерняя набережная в Гельсингфорсе, а там, за этой набережной, зовущие огоньки стоящих на рейде кораблей и его голос, протянувшийся к ней сюда, на московскую окраину, из минувшей Земли и из-под ушедшего Неба:

— Анна Васильевна, Аня, Аннушка, жизнь моя!

То снилась аспидная ночь с полынной звездой в самой своей середине, где под эхо отдаленной канонады затерялись в морозном тумане хлопушки ружейного залпа, проводившего в последний путь ее мятежного Адмирала. Рожденного для воды, вода приняла его в свой текучий саван и бережно понесла вдоль крутых берегов Ангары туда, к тем морям, по которым он тосковал всю свою жизнь:

— Прощай, Саша, свет Александр, Александр Васильевич!

А то вспоминалась ей Новониколаевская пересылка, где изможденная женщина с белыми, будто вылинявшими волосами, собранными на затылке в жиденький пучок, металась по камере и, горестно искажаясь упрямым лицом, исступленно проборматывала с утра до отбоя:

— Не доругались мы тогда, не доругались с Ильичем, если бы доругаться, по-другому, по-другому бы пошло...

Может, и вправду была она Марией Спиридоновой, как себя называла, много их в ту пору — этих Спиридоновых, объявлялось по тюремным командировкам России, но если и была, то нелегко доходило до человека в ясном уме и твердой памяти, каким это чудом сохранялись в таких вот женщинах их копеечные партийные страсти, не иссякавшие в них даже у острожной параши и на расстоянии вздоха от гробовой доски?

Часто ей виделся и ее сын, но почему-то всегда маленьким: сколько она ни силилась, не могла представить его взрослым да еще зеком, насмерть затоптанным чьей-то кованой злобой.

— Жизнь моя, кровь моя, боль моя, я-то знаю, за что плачу, но за какие вины, за какое прегрешение так страшно, так мучительно страшно пришлось заплатить тебе? Неужто мое короткое женское счастье должно быть оплачено такой дорогой ценой, что и дети мои еще остались должны? Прости меня, прости меня, прости меня, прости!

Но чаще всего она, сама того не замечая, вслух разговаривала с ним, с возникавшим перед ней из небытия Адмиралом:

— Ты хотел, чтобы я жила,— сейчас, в преддверии конца она позволяла себе говорить ему «ты»,— и я осталась жить, но трудно назвать жизнью то, что выпало на мою долю! Знал бы ты, сквозь какие тернии и через какую темь протащила меня судьба, прежде чем выбросить на эту окраину, в мое последнее одиночество! В тот день, когда мне наконец сказали, что тебя больше нет, жизнь моя кончилась, я лишь продолжала существовать, плыть по течению без руля и ветрил туда, куда несло меня обезумевшее от крови время. Сидела, выходила замуж, снова сидела, скиталась по ссыльным углам, малевала задники в провинциальных театрах, а сегодня вот добираю век в коммунальном вертепе московского вавилона, но все это происходило не во мне и не со мной, а сквозь меня, не оставляя в моей душе никакого следа. Я оставалась с тобой в той оголтелой зиме двадцатого, когда в прогулочном дворе ты в последний раз взял мои руки в свои. Этим я и жила все остальные годы. Теперь ко мне ходит множество людей, старых и молодых, знаменитых и никому не известных, всех возрастов, полов и профессий. Гости сидят часами и спрашивают, спрашивают, спрашивают, но я-то знаю, чувствую, что приходят они не ко мне, а к тебе и вопросы их обращены тоже прежде всего к тебе. Им жаждется прозреть в твоей судьбе меру вещей и понятий той эпохи, которая для них ушла вместе с тобой. Однажды ты мне сказал, что миру, в котором мы родились, наверное, придется умереть заодно с нами, но, как видишь, он не умер, он снова появляется на свет Божий, вопреки всему тому, что ему пришлось пережить. Те же чувства и те же ценности, которыми жили мы, прорастают сегодня в людях, и уже никакая сила не в состоянии этого остановить. В конце концов ты все-таки победил, мой Адмирал!

И сама себе отвечала за него:

— Это не ты осталась вместе со мною в той оголтелой зиме двадцатого года, Анна, это душа моя срослась с твоею и шла вместе с нею по всем твоим малым и большим голгофам, где бы ты ни была и что бы с тобою ни случалось. Помнишь, я говорил тебе, что никогда не знал победы, но если эта победа все же пришла наконец, то это не моя, а наша с тобой общая победа, Анна, и я счастлив, что ты дождалась ее еще при жизни. До свиданья, Анна, заря моя невечерняя, неугасимая моя звезда!

И тут же, словно откликаясь на ее зов, сердце ее блаженно обмерло, солнечная явь за окном медленно закружилась, ввинчивая тающее сознание в какую-то ослепляющую воронку, из глубины которой навстречу ей двинулся знакомый силуэт в адмиральском мундире, и не успела она удивиться, как Адмирал был уже рядом, протя-

гивая к ней руки. Она отдала ему свои, ладони их сомкнулись, и они поплыли вместе к сияющему в глубине воронки свету, соединенные отныне благостно и навсегда.

Глава девятая

Бержерон

Год девятнадцатый

1

«Осознать мир, как заговор, значит, потерять надежду,— заметил мне однажды полковник Пишон,— путь, на который вы встали, Пьер, ведет только к отчаянью». Наверное, он прав, этот Пишон, но я ничего не могу с собой сделать. На каждом шагу я сталкиваюсь с фактами, подтверждающими мои предположения. Назойливые вопросы прямо-таки одолевают меня. Почему у меня на глазах вполне нормальные, уравновешенные люди вдруг теряют обратную связь, перестают видеть и слышать реальную действительность, принимаются жить болезненными химерами, утрачивают логику в мыслях, поступках, намерениях? Отчего естественные ценности — благородство, великодушие, верность слову — даже мне начинают казаться безнадежно старомодными? Чем объяснить беспричинную злобу, что разливается вокруг, затягивая в свое раскаленное поле и тех, кого я еще вчера считал образчиками добродушия и снисходительности? Взять хотя бы, к примеру, чешских легионеров. По делам службы мне приходилось бывать в чешской части Австро-Венгрии еще до войны. Я встречался там с десятками самых разных людей, от крупных общественных деятелей до простых крестьян. Признаюсь, ни до, ни после я не встречал в своей жизни народа более уживчивого, щепетильного, наделенного неиссякаемым чувством юмора. Что же могло с ним случиться, чтобы, оказавшись на чужой земле вдали от родины, они превратились в ораву полупьяных демагогов, не брезгующих никаким святотатством и хватающих на своем пути все попадающее им под руку, от пары валяных сапог и крестьянских самоваров до роялей и моторных яхт? Тогда что же? Или какие причины заставляют кичащихся своим свободолюбием американцев брататься во Владивостоке со злейшими врагами свободы — большевиками? А что общего вдруг нашлось у привередливых японцев с разнузданной атаманщиной? И какие соображения логического порядка вынуждают англичан почти открыто саботировать снабжение армии Адмирала? Не лучшим образом ведем себя и мы, равнодушно наблюдая за схваткой в ожидании победы сильнейшего. Выходит, не одна только дикость русских и обрусевших племен и народов стала причиной окружающего безумия? Вот тут-то и открывается передо мной бездна, в которую я страшусь окончательно заглянуть. Поговаривают, что Адмирал употребляет наркотики, но если бы я оказался на его месте, то, наверное, я делал бы то же самое. Видно, только приобщившись к всеобщему забытью, можно еще совсем не сойти с ума. Глядя на все вокруг и в самого себя, я невольно вопию к небу: «Боже праведный, Господи, зачем ты оставил нас?»

Год двадцатый

2

«13 января. Вчера заполночь, после долгих речей и споров, союзники наконец выработали текст гарантий для Адмирала. Утром этот знаменательный документ уже был у меня на столе: « 1. Поезда Адмирала и с золотым запасом состоят под охраной союзных держав. 2. Когда обстановка позволит, поезда эти будут вывезены под флагами Англии, Северо-Американских Соединенных Штатов, Франции, Японии и Чехословакии. 3. Станция Нижнеудинск объявляется нейтральной. Чехам надлежит охранять поезда Адмирала и с золотым запасом и не допускать на станцию войска вновь образовавшегося в Нижнеудинске правительства. 4. Конвой Адмирала не разоружать. 5. В случае военного столкновения между войсками Адмирала и нижнеудинскими разоружать обе стороны; в остальном предоставить Адмиралу полную свободу действий». Когда днем я показал этот текст полковнику Пишону, он рассмеялся мне в лицо: «Послушайте, Пьер, кто может принять этот блеф за чистую монету! — воскликнул он.— Гарантия, которая не стоит бумаги, на которой дана, обратите внимание на последнюю фразу, она полностью снимает с нас всякую ответственность за последствия!» Увы, по зрелом размышлении, я согласился с ним: отныне Адмирал был обречен».

3

«16 января. Вчера Адмирала вместе с золотым запасом выдали Иркутскому комитету. В среде союзников все наперебой спешат свалить вину на чехов. Мы усиленно стараемся перекричать других, что вполне понятно: наше участие в этом сомнительном деле слишком бросается в глаза. Генерал Жанен официально Главнокомандующий Чехословацким корпусом в Сибири и без его ведома чехи никогда не решились бы на такой шаг. Головой несчастного Адмирала союзники расплатились с комитетчиками за свой беспрепятственный проезд через Байкальские туннели на Восток. Тимирева сдалась добровольно, предпочитая остаться с ним до конца. Какая сила любви и духа перед лицом циничного предательства! Стыдно считать себя после этого мужчиной и офицером. Встречаясь, мы стараемся не глядеть друг на друга, делаем вид, будто не случилось ничего из ряда вон выходящего, в разговорах об аресте Адмирала ни звука, словно мы и впрямь находимся в доме покойника. Такое чувство, что все кругом обгажены с головы до ног, но трусят в этом признаться. Боже, как это унизительно! Утром у меня был на эту тему разговор с полковником Пишоном. Он выслушал меня без особого интереса. «Ах, Пьер,— горестно воскликнул он в ответ,— если бы знали, как мне все это надоело! Мы лжем, изворачиваемся, лукавим, лишь бы уйти от ответственности. Вам, Пьер, известны мои взгляды, я никогда не симпатизировал Адмиралу, но то, что сделали с ним при нашем молчаливом согласии, это свинство, это больше, чем свинство, Пьер, уверяю вас, нам еще придется за это очень дорого расплачиваться».

Мне стало ясно, что я не одинок в своих пугающих предчувствиях. Россия вдруг представилась мне огромной опытной клеткой, в которой некоей целенаправленной волей проводится сейчас чудовищный по своему замыслу эксперимент. В чем замысел этого эксперимента и почему именно здесь, оставалось только гадать. Может быть, географическое пространство России, ставшее плавильным котлом для множе-

ства рас, вер и культур Востока и Запада, оказалось наиболее отзывчивым полем для социальных соблазнов и заманчивых ересей, а может, историческая молодость этой страны сделала ее столь беззащитной перед ними, кто знает, но что рано или поздно она втянет в свой заколдованный омут весь остальной мир, сомневаться уже не приходилось. И нечего теперь искать виноватых в этой роковой неизбежности. Большевики, инородцы, еврейский кагал, масоны или русские, с их рабскими инстинктами, какое то имеет значение? Все они, вместе взятые, заодно со своими врагами, лишь слепые пешки в чьих-то искусных и неумолимых руках, от которых не спасется никто: ни побежденные, ни победители. Вполне возможно, что погибающие сегодня окажутся счастливее оставшихся в живых и мне еще придется позавидовать судьбе Адмирала: ему в его трагическом пути было дано то, что навсегда утерял я,— Надежда. Итак, Адмирал: идущие на смерть приветствуют тебя!»

4

«5 апреля. Мы медленно движемся на Владивосток. Мимо окон проплывают невысокие горы, сплошь покрытые лесами. Снег вокруг них уже начинает оседать и темнеть в ожидании близкой весны. Только в таком вот томительно неспешном движении по-настоящему постигаешь всю почти фантастическую огромность этой земли. Мне, выходцу из страны, которую можно пересечь из конца в конец за пятнадцать — двадцать часов, такие расстояния и пространства представляются просто немыслимыми. Наверное, эта мрачная безбрежность и порождает в своих пределах страсти и катаклизмы соответствующего ее размерам масштаба. И если Сатана задумал вступить, наконец, в последнее единоборство с Богом, он не мог найти в мире место более для этого подходящее. В последние дни я занимаюсь тем, что сижу над конфиденциальными документами, пытаясь с их помощью напасть на след, ведущий к разгадке причин нашей дипломатии в Сибири. В первую очередь меня, конечно, заинтересовала переписка Жанена с нашим правительством. Вчитываясь в нее, я все более убеждался, что за ее протокольной лапидарностью кроется какой-то второй план. На первый взгляд, правительство Клемансо довольно последовательно придерживалось ориентации на Адмирала, но с развитием событий, хотя и едва заметно, менялся тон правительственных указаний: они становились все более обтекаемыми, позволяя адресату толковать их по своему усмотрению. Разумеется, как всякий опытный бюрократ, генерал Жанен моментально уловил эти нюансы, курс его политики по отношению к вчерашнему союзнику круто изменился, а в частных разговорах он и вовсе не считал нужным далее сдерживать себя. На одном из совещаний, предшествовавших выдаче Адмирала, он без обиняков заявил нам: «Со всех сторон мне напоминают о чести, совести, благородстве и прочих атрибутах сентиментального рыцарства, но у меня есть те же самые обязательства и перед чехами, которыми я командую, я не могу отдать их на убой большевикам ради спасения одного отставного русского моряка. К тому же, даже его собственные соратники, например, генерал Дитерихс, считают, что расстрел Адмирала был бы справедлив и что это надо было бы сделать сразу же по прибытии его в Нижнеудинск». Слушая Жанена, я не верил своим ушам: это говорил человек, который всего за несколько месяцев до этого рассыпался в восторженных комплиментах и грубой лести перед тем самым «отставным русским моряком», какого он чернил теперь в глазах своих подчиненных. Есть ли предел человеческой низости! Но что в конце концов значил цинизм этого, любившего пожить, буржуа в генеральском мундире и таких, как он, по сравнению с тем, что стояло за ними! А за ними, отныне я это отлично сознавал, стоял замысел. Замысел, рассчитанный всерьез и надолго, до того самого мгновенья, когда вечная тьма окончательно покроет опустевшую землю. Я не в состоянии закрыть глаза на эту очевидность ради сохранения иллюзорной надежды, я оставляю это пишонам. К сожалению, мир — это все-таки заговор. Заговор безбожного человека против всех и самого себя. И только Бог волен вывести нас из этого замкнутого лабиринта. Но заслуживаем ли мы Его снисхождения? Чтобы отвлечься от изводящей меня тоски, я с утра зарываюсь в бумаги, которые служат мне единственным выходом из всеобщего безумия. Неожиданно среди бумаг мне попалось на глаза письмо, адресованное в Париж на имя вдовы Адмирала. Оно было кем-то уже распечатано и приобщено к его общему досье. К письму прилагалась препроводительная записка. Признаюсь, я начал читать ее не без легкого волнения: «Дорогая Софья Федоровна! К сожалению, я нахожусь в таком положении, когда мне не к кому обратиться за помощью, кроме Вас, с кем у меня есть возможность связаться хотя бы через французскую миссию. Все остальные пути общения с внешним миром для меня отрезаны, я ничего не знаю о своих родных, близких, а главное, о сыне. Вы женщина и, я уверена, вы поймете меня, несмотря на то, что произошло между нами. Александра Васильевича больше нет, он ушел из жизни, как подобает мужчине и офицеру, даже его враги оценили это. Я была с ним почти до самого конца, но что будет со мною дальше, я не знаю. Поэтому я пользуюсь случаем, чтобы передать через Вас письмо своему сыну. Может быть, Вам удастся разыскать его. Я все же тешу себя надеждой, что моим близким удалось вывезти мальчика за границу, но даже если нет, то для Вас легче установить, где он и что с ним? С последней надеждой на Вас, бесконечно виноватая перед Вами Ваша А. Тимирева». И затем обращение к сыну: «Дорогой мой! Я не знаю, где ты сейчас и что с тобой, но горячо верю, что ты жив, здоров и чувствуешь себя молодцом. Кто знает, увидимся ли мы с тобой когда-нибудь, но, если не увидимся, ты должен знать, что твоя мать никогда не забывала о тебе, хотя судьбе было угодно отнять тебя у нее в самую трудную пору ее жизни. Когда ты вырастешь, ты поймешь, не сможешь не понять, почему это случилось и какая беда развела нас с тобой. Прощай, мой ненаглядный, кровь моя, любовь моя, боль моя неизбывная...» Дальше я не мог читать, спазмы сдавили мне горло, я лишь с горечью посетовал про себя: «Господи, не слишком ли это много для одной просто женщины!»

5

«20 июня. Сегодня я навсегда покидаю Россию. Год с небольшим, проведенные мною здесь, сделали меня другим человеком. В этой стране я познал то, что наверное не следует знать простому смертному, слишком это ему не по силам. Но я все же благодарен ей за то, что, потеряв надежду, я научился в ней самому спасительному для людей — состраданию. Поэтому, расставаясь с ней сегодня, я не говорю ей «прощай», я говорю ей «до свидания». До скорого свидания, несчастная и благословенная в своем несчастье страна, потому что ты первая взяла на себя роковую ношу! Не знаю, сколько еще мне предстоит существовать на нашей скорбной земле, но жить так, как я жил до тебя, я уже не смогу!»

Глава десятая

Удальцов

1

С утра Каппель впал в беспамятство. Обмороженное, в черных пятнах лицо его с каждым часом все более заострялось, глаза проваливались, горячечный бред клубился вокруг его западающих губ. Из жарко натопленной сибирской избы, сквозь тридевять земель, время времен и январскую стужу за окном память умирающего тянулась в прошлое, вызывая оттуда летучих духов казавшейся теперь непостижимой жизни: цветения кружевных лип над усадьбой, девушки в белом на берегу Невы, шумного эха офицерских застолий, возбужденной кутерьмы перед Пасхой, переклички смотров и парадов, шепотного забытья любви, отзвуков старинного романса, встреч, расставаний и опять встреч.

Распластанный на заскорузлых овчинах, Каппель метался в предсмертном бреду, и нить его связи с действительностью стремительно утончалась. Время от времени он приходил в себя, водил вокруг мутными глазами, утыкался взглядом в Удальцова, узнавал и не узнавал:

— А, это вы!.. Да, да, я помню... Я скоро обязательно поднимусь... Сколько еще до Иркутска?.. Кто вы? Мне нужен Войцеховский...

С того дня, как Удальцов, сопровождаемый Егорычевым, был задержан первым же каппелевским разъездом и доставлен в штаб, он неотлучно находился при Каппеле, снова и снова, по упорным настояниям занемогшего генерала, пересказывал тому мельчайшие подробности выдачи Верховного.

И тот всякий раз как бы заново вместе с участниками переживал случившееся, в особенно уязвлявших его местах подергивался всем телом, в сдержанной ярости поскрипывал зубами и даже глаза закрывал от вытлевающей в нем муки:

— Я знал, я говорил, предупреждал: солдат с награбленным уже не солдат, а скотина, которая способна мать родную продать ради ворованного добра, а союзнички, те и того гаже, им только русская кровь нужна, чтобы свою сберечь, всегда, во все века предавали при первой возможности себе на выгоду, мерзавцы, дьяволом меченные, только на этот раз не отсидятся за славянской спиной, эти и до них дотянутся, тогда собственной кровью умоются...

Генерал вновь забывался, и снова над ним принимались кружиться миражи и химеры прошлого, мимолетно воскрешая то, что уже разметалось по земле пылью, пеплом, ветошью или заросло полынью и чертополохом.

Сменявшие друг друга дежурные офицеры с озабоченной готовностью устремлялись взглядом в сторону умирающего, но, тем не менее, их явно не тяготило это зрелище: в ледовом пути, пройденном ими от красноярских предместий до Канска, они свыклись с присутствием смерти, которая сделалась для них частью их повседневного быта.

Время от времени заглядывал врач, будто нарочно скопированный с чеховского персонажа,— бородка лопаточкой, пенсне, усталая сутулость, едва скрытая полувоенным френчем,— беспомощно топтался около больного, механически щупал пульс, задумчиво пожевывал бескровными губами и отходил, сокрушенно вздыхая:

— Чего делать, делать нечего, теперь только один Бог волен, все под ним ходим, какая уж тут медицина, так только, для очистки совести, судьбу не вылечишь, как в народе говорят: попили-поели, пора по домам...

Бдения Удальцова возле Каппеля кончились вызовом к Войцеховскому. Тот ожидал его в соседней горнице, в полушубке и папахе, лицом к окну, вглядывался в режущую белизну перед собой, заложив красные, в темной поросли руки за спину. Не оборачиваясь, спросил:

— Что там, полковник?

— Все так же, Ваше Превосходительство.

— Думаете, выживет?

— Едва ли.

— Вот что, полковник,— Войцеховский круто повернулся к нему, вперившись в него воспаленными от бессонницы глазами.— Разведка докладывает, что положение Политического центра в Иркутске практически безнадежное, власть их — дело считанных дней, в следственной комиссии над Верховным большевики играют теперь первую скрипку, а у них правосудие, сами знаете, без лишних разговоров — к стенке. Если мы хотим опередить их, нам необходимо форсированным маршем идти на Иркутск, но я связан по рукам и ногам, мне нужно карт-бланш от командующего.

— Он спрашивал вас, Ваше Превосходительство.

— Сейчас ему трудно сосредоточиться, полковник, он ни о чем не может говорить, кроме Верховного, поэтому-то и не отпускает вас от себя, но время не ждет, полковник, сейчас крайне необходимо убедить его подписать приказ о передаче мне командования, вам это будет сделать легче.— От неловкости и напряжения у него даже испарина выступила на лбу.— Поймите меня правильно, полковник, Владимира Оскарыча мы уже не спасем, а Верховного же, может быть, успеем.— Он пристально вглядывался в собеседника, словно пытаясь заранее прочесть в нем ответ, а когда прочел, наконец, сразу же облегченно расслабился.— Аркадий Никандрович, голубчик, если бы вы знали, как для меня все это непереносимо!..

К вечеру Каппель стал задыхаться. Разметанное по овчине тело его то сжималось в судорожный комок, то безвольно опадало в полном изнеможении. Хрип в его провальных губах смешивался с едва членораздельным бредом, в пестрой мозаике которого постепенно стирался какой-либо смысл:

— В правый угол... Вера... Где? Кавалергард... Тише... Не нужно... Ес...

Но явь еще не отпустила его окончательно. Она клокотала в нем, вымывая из него последние остатки жизни, но в конце концов, как бы сжалившись над ним, вернула ему на прощанье память:

— Хорошо, что вы здесь, полковник... Кажется, легче... Неужто пронесло?.. Почему так темно, полковник?.. Нельзя ли зажечь лампу?

Глядя, как мертвенно разглаживается его воспаленное лицо, Удальцов, волнуясь, заторопился:

— Вы еще совсем слабы, Ваше Высокопревосходительство,— спазмы в горле перебивали ему дыхание.— Вам надо лежать и лежать.— И уже с некоторой опаской: — Необходимо подписать приказ о временной передаче командования, Ваше Высокопревосходительство.

Тот, к удивлению Удальцова, не выразил ни малейшего недовольства или протеста:

— Давайте,— с усилием дернулся он к протянутой ему бумаге.— Только сумею ли, рук совсем не чувствую, онемели...

Удальцову с трудом удалось втиснуть в холодеющие пальцы Каппеля случайный огрызок карандаша, и тот стелющимся движением

успел вывести на неподатливом листе начальные буквы своей фамилии, после чего карандаш выскользнул у него из-под ладони, уткнувшись в рыжую шерсть овчины. Рука его, вдруг окончательно обессилев, сползла к бедру и резко оцепенела.

— Все,— не оборачиваясь к стоящему у него за спиной Войцеховскому, сказал Удальцов и перекрестился.— Конец.

Каппель лежал вытянувшийся и сразу помолодевший, излучая вокруг себя тихое умиротворение, и лишь в уголках глубоко запавших губ остывала некая озадаченность, будто в мгновение, навсегда отделившее его от жизни, он увидел перед собой нечто сильно его поразившее.

В кружении возникшей потом суеты вокруг тела и хлопот по снаряжению похоронного обоза в Читу Удальцов никак не мог выбрать свободной минуты, чтобы навестить заболевшего ординарца, но тот в одночасье сам настиг его, представ перед ним как-то среди улицы, порядком осунувшийся и помятый:

— Здравия желаю, Аркадий Никандрыч,— Егорычев прямо-таки светился радостью встречи,— малость опамятовался вот, вас ищу.

Поеживаясь от лютой стужи, тот устремлялся навстречу командиру преданными глазами, и Удальцов, словно подхваченный изнутри горячей волной, не выдержал субординации, метнулся к ординарцу, порывисто полуобнял, но тут же оттолкнул от себя:

— Чертушка, чего ты поднялся, лежать тебе надо, олух царя небесного, ведь снова свалишься!

— Никак это невозможно, Аркадий Никандрыч, никак это невозможно,— заторопился, зачастил тот,— без меня вы совсем пропадете, вошь заест, а уж куском вас обделят, как пить дать.

— Ну уж и пропаду, я ведь у тебя не дитя малое, руки-ноги есть, голова работает, выкручусь как-нибудь,—и только тут по-настоящему разглядел ординарца, замотанного с ног до головы в сборное тряпье и обутого в расхристанные опорки.— Слушай, Филя, тебе так долго не протянуть, давай-ка я тебя отправлю с похоронным обозом в Читу, отлежишься там, отогреешься, а оттуда тебе до дому рукой подать.

Егорычев сразу же погас, сжался, растерянно засучил ногами по снегу:

— А вы как же, Аркадий Никандрыч?

— А я, Филя, на Иркутск пойду с генералом Войцеховским, Верховного спасать, может быть, еще успеем.

— А куда же я без вас, Аркадий Никандрыч,— умоляюще отозвался тот,— чего мне там, в этой Чите, делать, а и жив ли кто дома у меня, один Бог знает?

— А ведь если со мной, Филя, то почти на верную гибель.

— Двум смертям не бывать, Аркадий Никандрыч.

И вновь проник Удальцова обнадеженным взглядом, готовый хоть сейчас пуститься следом за ним на этот самый Иркутск, не ожидая другого слова или приказа.

— Эх ты, голова садовая,— сглатывая в горле комок, отвернулся от него Удальцов,— нечего делать, со мной так со мной!..

Ранним утром, едва развиднелись чернильные сумерки, похоронный обоз с завернутым в старые шинели телом Главнокомандующего в сопровождении конного конвоя потянулся в сторону железнодорожной магистрали в читинском направлении.

Стоя рядом с Удальцовым и глядя вслед все удаляющемуся в морозную мглу транспорту, Войцеховский решительно выдохнул:

— Ну, с Богом!

И санная колонна, будто повинуясь этому выдоху, дрогнула, сдвинулась с места и медленно потекла чуть в сторону — на Иркутск.

2

Через три дня части Второй армии, двигаясь по главному московскому тракту вдоль железной дороги, после десятичасового боя овладели станцией Зима, откуда Войцеховский, по прямому проводу, через чешского посредника, передал иркутскому ревкому условия отмены штурма города:

«1. Немедленная передача Адмирала иностранным представителям, которые должны доставить его в полной безопасности за границу.

2. Выдача Российского золотого запаса.

3. Выдача армии по наличному числу комплектов теплой одежды, сапог, продовольствия и фуража.

4. Исполнение всего изложенного под ответственностью и гарантией иностранных представителей, ведших переговоры».

Задержав до получения ответа Главный штаб в Зиме, командующий отдал приказ войскам наступать дальше.

Третья армия, развивая успех, продолжала движение по Московскому тракту, а Вторая направилась на тридцать — сорок верст севернее, в обход Иркутска. Шли день и ночь с минимальными передышками, без особого труда сметая на своем пути выдвинутые навстречу им красные заслоны. И лишь в верстах семидесяти от города Вторая армия натолкнулась на первое серьезное сопротивление. Целый день шестого февраля и всю следующую ночь шел бой с введением в дело всех наличных сил наступающих. Только на утро седьмого (когда тело Верховного уже было спущено в ангарскую прорубь) части Второй и Третьей армий ворвались на станцию Иннокентьевскую, заняв авангардные позиции на западном берегу Ангары непосредственно напротив Глазговского предместья.

Остаток утра затем, не смыкая глаз после изнурительного пути, штабники вырабатывали планы Иркутского штурма. Прибывшему вскоре Войцеховскому оставалось только утвердить операцию и взять на себя общее руководство.

Но к полудню, когда все оказалось готово к выступлению, грянул гром. Сначала чешским нарочным в штаб был доставлен документ за подписью начальника Второй чехословацкой дивизии полковника Крейчи, в котором, в ультимативной форме, выдвигалось категорическое требование отменить захват Глазговского предместья, в противном случае, говорилось в документе, союзники выступят против каппелевцев вооруженной силой.

В помещении воцарилась тишина. Стало слышно, как отсчитывают время ходики на стене. Каждый понимал, что слова тут излишни: чехи в очередной, но теперь уже в решающий раз предавали их в угоду заклятому врагу. Впервые за эти годы перед ними по-настоящему разверзлась пропасть, а позади земли у них больше не было.

Первым не выдержал Сахаров. Он вдруг напрягся, побагровел, разъяренно замотал взбычившейся головой:

— Сергей Николаевич, отдайте приказ, я сам поведу армию, я раздавлю эту чешскую нечисть вместе с их приятелями из ревкома,— генерала несло, и сейчас даже сам он не мог бы остановить себя.— Что же это делается, господа, столетиями эта сволочь ползала на брюхе перед австрийцами, в четырнадцатом предали их, стали лизать задницу нам, а теперь у нас же в доме ведут себя как озверевшее купечество, заставляют наших женщин, стариков и детей выносить

из-под них дерьмо за объедки со своего стола да еще и ультиматумы ставят! — он вскинулся в сторону Войцеховского побелевшими от бешенства глазами.— На дворе за тридцать градусов, мои солдаты в рваных опорках идут походным маршем по тракту, а эта разжиревшая от даровой жратвы и безделья банда едет мимо них в комфортабельных теплушках с награбленным у нас добром и еще презрительно поплевывает сверху нам на головы, доколе же мы будем сносить это позорище, господа, не лучше ли уж тогда пулю в лоб?

Воспользовавшись вопросом, в начатый разговор вклинился всегда осторожный в суждениях генерал Вержбицкий:

— Но ведь, Константин Васильевич, чехи помогли нам взять Зиму, согласитесь, если бы не майор Пржахл, своими силами мы бы не смогли этого сделать.

Но вмешательство только подлило масла в огонь.

— Пржахл, Пржахл,— снова взвился Сахаров,— надолго его хватило, этого Пржахла, Ваше Превосходительство? Где он теперь, ваш доблестный майор Пржахл? Сидит запершись у себя в вагоне, совестно на люди показаться, нашелся один порядочный офицер, а мы его уже в святцы записать готовы. Были и до него, полковник Швец, например, может, еще несколько найдется, и это на пятьдесят-то тысяч!

— К тому же,— не слушая его, продолжал гнуть свое Вержбицкий,— союзники нас не поддержат, мы окажемся в одиночестве между всех огней.

При слове «союзники» Сахарова подхватила новая волна ярости.

— Союзники! — вскочил он с места.— На русской крови и костях отпраздновали победу, а теперь с ножом к нам в спину! Веками эти союзники спят и видят стереть с лица земли само ненавистное им название Россия, думают теперь, что дожили до своего звездного часа, ведут себя, как грязные мародеры после боя, только рано радуются, у Лейбы Троцкого с Ульяновым и для этой сволочи петля готова! Если мне разрешат, я их через двадцать четыре часа всех, вместе с ревкомом, поставлю к одной стенке! Я...

Кто знает, чем бы закончилась эта перепалка, если бы на пороге вдруг не возникла взволнованная фигура дежурного офицера:

— Позвольте доложить,— в эту минуту, видно, ему было не до уставных церемоний,— нынче утром Верховный правитель с Пепеляевым убиты!

Только тут, после длившейся целую вечность паузы, Войцеховский наконец подал голос:

— Что будем делать, господа?

Обычно помалкивающий и болезненно стеснительный казачий генерал Феофилов подал голос:

— Константин Васильевич, однако, прав, господа,— сивый хохолок на его похожей на крепкую репку голове заносчиво вздернулся.— Иркутск надо брать, пускай эти сукины дети отвечают за все по закону, стерпеть это никак невозможно, господа.

Его поддержал командир ижевцев генерал Молчанов:

— Мои молодцы рвутся в бой,— в его простоватом, задубелом на ветру и морозах лице проступила угрюмая решимость.— Поверни их сейчас, после такого марша, в сторону, пиши пропало, боеспособная сила превратится в холостой сброд.

Но Вержбицкий со своего места только ленивым взглядом повел в их сторону, продолжая настаивать:

— Возьмем город и окажемся в глухом мешке, нас начнут бить все кому не лень и со всех сторон: и красные, и зеленые, и чехи с союзниками. Выход единственный: в обход Иркутска двигаться к Байкалу, а оттуда на соединение с Семеновым.

Остальные молчали. Молчали так красноречиво, что Войцеховскому не составляло труда сделать из этого молчания вполне определенные выводы:

— Господа, как Главнокомандующий я не считаю себя вправе рисковать армией ради сведения счетов с противником, нам необходимо любой ценой сохранить силы для похода на соединение с атаманом Семеновым. Итак, мое решение: двумя колоннами обогнуть Иркутск и двигаться на Лиственничное и дальше на Мысовск. Вы свободны, господа...

Расходились молча, не глядя друг на друга, в подавленном оцепенении.

На прощание Войцеховский остановил выходившего последним Удальцова:

— Будьте любезны, Аркадий Никандрыч, задержитесь,— он сел и жестом указал на стул против себя.— Хочу поговорить с вами совершенно откровенно,— взгляд у него при этом скользил мимо собеседника и в сторону, он нервно сцеплял ладони перед собой, с ломким хрустом переплетал пальцы.— Положение, как видите, Аркадий Никандрыч, не из легких, это мягко говоря, а если всерьез, то почти безнадежное. Вы мне не подчинены, поэтому я не волен распоряжаться вашей судьбой, вы, разумеется, можете присоединиться к нам, но, думаю, у Семенова вы окажетесь не ко двору, ваше присутствие будет вызывать в нем не слишком приятные воспоминания. Мой вам совет: пробивайтесь в Монголию или Китай, там при желании еще можно собрать силы. Необходимо выждать, толпа должна перебеситься, в конце концов она устанет от собственного бедлама, тогда можно будет попытаться начать все сначала. Но, Аркадий Никандрыч, ради Бога, поймите меня правильно, это только совет, а решать вы вольны сами.

Здесь он впервые взглянул на Удальцова тяжелыми затравленными глазами, и тот понял, что Семенов тут ни при чем, что Главнокомандующему самому не терпится как можно быстрее и безболезненнее отделаться от него и что ему остается лишь принять предложенную игру и подчиниться.

Удальцов поспешил подняться первым:

— Ваше превосходительство,— коротко откланялся он,— честь имею.

Но выходя, всей спиной, лопатками, самой кожей чувствовал клубившуюся следом за ним липкую неприязнь.

3

Из Инокентьевской уходили затемно. И хотя на станционных складах брошенного красными интендантства людей удалось наспех, но сносно обмундировать, начатый путь оказался не легче предыдущего.

Вчерашний мороз сменился слепящей метелью, на протяжении вытянутой руки уже исчезало всякое представление о пространстве. Шли по наитию, следом за проводником, давно потерявшим какие-либо ориентиры. В этом движении было что-то сомнамбулическое, настолько оно выглядело бессмысленным и хаотическим. Люди инстинктивно жались друг к другу, но это их вынужденное сплочение не объединяло идущих, а лишь спекалось в них безнадежным ожесточением: сколько можно терпеть, и когда все это кончится? И ради чего?

Поэтому, когда после двух часов марша сквозь метельное крошево перед ними вдруг обозначилась смутная россыпь огней, это выгля-

дело миражем, галлюцинацией больного воображения: никакого жилья на многие версты вокруг никем не предвиделось. Но едва до их сознании дошло, что армия просто сбилась с дороги и впереди снова все тот же, ставший уже их наваждением и проклятием Иркутск, по изломанным рядам прошелестело решительное облегчение: надо брать! Брать, чтобы, одним последним рывком смяв на своем пути любое сопротивление, очутиться наконец в спасительном тепле, под защитой домашнего крова.

Думалось, еще мгновение, и вся эта, окрыленная внезапной надеждой людская масса, не ожидая приказа, ринется сквозь снежную замять навстречу светящимся впереди огням, и уже никакая сила окажется не в состоянии остановить ее, но в этот самый момент, когда неизбежное должно было бы вот-вот произойти, от головного конца колонны, наподобие волны морского отлива, покатилась над головами охлаждающая пыл команда:

— Поворачива-а-ай!.. Продолжать на юго-восток!

Дальше не шли, а вьюжная темень несла их без руля и ветрил, вверяя идущих воле судьбы и случая. Прощай, Иркутск!

Еще в Инокентьевской Удальцов отказался от предложенной ему в штабе лошади и шел вместе с Егорычевым в солдатском строю, целиком отдавшись общему потоку. После разговора с Войцеховским он лишь утвердился в убеждении, что дело проиграно. И проиграно окончательно. Никаким, даже сверхчеловеческим военным искусством невозможно было теперь ни предотвратить, ни остановить инерцию поразившего страну тотального распада, развала, разрушения. Земля, в крови и крике, словно бы сбрасывала с себя отжившую кожу, выпирая из-под коросты и омертвелой шелухи новым обличьем и другой статью. Можно было кричать, изводиться от бессильного гнева, выгорать в ненависти, пролить еще много и много крови, но изменить естественного развития событий это уже не могло: происходила неподъемная для нормального человека смена эпох. Поэтому он решил выходить из игры, не ожидая, пока колесница русского лихолетья подомнет его под себя, обратив в пыль или пепел своей очередной смуты.

С отступающей армией ему было только до Мысовска, оттуда пути их сразу же расходились: отступавшим войскам предстоял затяжной марш на восток, а Удальцову с Егорычевым — дорога на юг, вдоль по Иркуту до самой монгольской границы и дальше — в Китай.

«Может и прав Войцеховский, не лукавил попусту, светского приличия ради,— думал Удальцов, сгибаясь под секущим ветром,— перебесится русский мужик, войдет в разум, тогда и начать все заново».

Мутный рассвет застал каппелевцев уже верстах в пятнадцати от Иркутска в небольшой деревушке, откуда, едва обсохнув и накормив лошадей, двинулись дальше — к желанному Байкалу.

Марш на Лиственничное длился весь день и всю следующую ночь. Лишь к утру, в начале вторых суток пути, лес раздвинулся, обнажив впереди дымчатую гладь незамерзающего устья Ангары, а следом за этим — курящиеся трубы заснеженных крыш раскидистого села на берегу.

Вдали за рекой, над зубчатой линией скалистых гор, всплывало багровое, в дымном мареве солнца, окрашивая белую пустыню отдаленного озера в чуть розоватые оттенки. Там, на другом берегу этого озера, людей ожидало если не окончательное спасени то, во всяком случае, первый на их крестном пути долгий отдых, но туда еще надо было пробиться, а хватит ли у них для этого сил, никто не знал, слишком уж много испытали они позади.

Хозяин дома, куда сноровистый Егорычев устроил на постой своего командира, оказался долговязый мужик из бывших канониров, помнивший Адмирала еще по русско-японской кампании.

Принимая гостя, с любопытством пошарил по нему с головы до ног, обмяк жестким лицом:

— Эх-ма, ваше благородие, вот оно как дело-то оборачивается, жила-была Расея-матушка, во все концы корабельным носом упиралась, поглядеть — сдвинь ее попробуй с места, живот надорвешь, а как пришлось за себя постоять, так и потекла по всем пазам, собирай ее теперя ложками,— но, видно, проникшись наконец состоянием гостя, спохватился.— Ладно, чего уж там, располагайтесь, ваше благородие,— и уже куда-то, в глубину дома: — Мать, где ты там, мечика на стол что есть, по такому случаю спозаранку пополднюем,— и снова к Удальцову, добродушно подмигивая: — А к вечеру и баньку истопим, так-то, ваше благородие!

Подхваченный волной блаженного тепла и жадного насыщения, Удальцов плыл в полусонном тумане, едва различая вокруг себя лица и голоса, а когда, после черного провала в памяти, очнулся, хозяин, в валяных опорках на босу носу и полушубке, накинутом прямо на исподнее, стоял над ним, беззлобно посмеиваясь:

— Ишь, как тебя уходило, ваше благородие, прямо снопом свалился, будто подкошенный, даже будить жалко, да только банька застынет, еще жалчее, попаримся всласть, дурь из костей выгоним, а там закусим и сызнова на боковую.

Потом, в банном пару, изламываясь долговязым телом под хлестом собственного веника, он отечески втолковывал вконец разомлевшему Удальцову:

— Мне ординарец твой баял, ваше благородие, будто вы с им к монголам наладились, так мой тебе совет: одолеешь Байкал, дальше не ходи, зимой вам туда никак не добраться, тут в эту пору и местные-то далеко не ходят, а вы с непривычки и вовсе сгинете,— он вдруг шепотно понизил голос, словно кто-то мог его здесь услышать.— Слышь, ваше благородие, имеется у меня на той стороне, в сельце так дворов на двадцать друг-приятель, Иваном Малявиным кличут, зверем-рыбой промышляет, у него зимовья чуть ли не по всему Иркуту заложены, я вас к нему налажу, скажешь — от Силантьича, сразу примет, он вас до весны где хошь скроет, перезимуете, а как подсохнет, можно и к монголам, по суху недалёко, а в Мысовск не советую, мало чего там в Мысовске этом деется, может, уже красные шуруют али близко к тому.

Пар клубился под закопченным потолком, темной бездной льнула к окошку ночь, пахло дымом, застарелой смолой и прелым мочалом. Хотелось лежать вот так, не двигаясь, сладостно избывая из себя, казалось, въевшуюся в самое нутро стужу и не думать ни о чем, забыть обо всем на свете, тем более о завтрашнем или вчерашнем дне.

«Не ловушка ли это? — лениво шевельнулось в нем, но тут же отлегло.— Впрочем, едва ли, какая ему корысть, одна морока?»

Тот сверху снисходительно хохотнул:

— Ординарец у тебя орел, ваше благородие, он в Инокентьевской добра нахапал, на три зимовки хватит, а то и больше, одних пим по две пары на брата да амуниции разной мешок, как только унес. Насчет провианту — Иван от себя подкинет, промышлять можно навостриться, не такая уж мудреная наука, были бы руки-ноги да ружьишко какое-никакое, а уды ставить слепой справится.

— Байкал большой, не заблудиться бы.

— Дорога тут, ваше благородие, проще простого,— он опять перешел на полушепот.— Как Мысовск покажется, отваливай от своих

и бери сразу по правую руку, там ходу вам останется версты две, не больше, берег один, не заблудишься, в любую избу стучи, моим званием всяк откроет, а уж Малявин Иван там первейший человек, не боись, ваше благородие, однова живем...

После бани, распаренные и умиротворенные, они сидели в чистой горнице под озаренными робкой лампадкой образами за холодной бражкой с пельменями, и хозяин изливал перед гостем наболевшую за эти годы душу:

— Четверо их было у меня, ваше благородие, один к одному, без одного изъяну народились, молодцами выросли, за ними хозяйство у меня, как за каменной стеной стояло, а нынче где они — сыны мои, ищи ветра в поле, трое с белыми ушли, один к красным подался, однес со старухой оставили да и сгинули невесть в какой стороне, вот и скажи ты мне, ваше благородие, за что, за какие грехи на нас такая напасть?

Проникаясь его болью, Удальцов вместе с ним изводился той же мукой и тем же недоумением: за что, почему, за какую непростительную вину огромная страна со всем сущим и содержащимся в ней ввергнута теперь в столь непосильное для нее испытание? Изводился, но не находил ответа. Целый мир, в котором он вырос и с которым были связаны все его представления о добре и зле, рассыпался, рушился у него на глазах, отлагая трещины своего распада даже в таких вот, рубленых из вековых кедров и казавшихся еще вчера несокрушимыми деревенских избах. И опять, снова и снова, подступал горьким комком к горлу все тот же вопрос: за что?

С этим он засыпал, проваливаясь в ночное забытье, с этим и поднялся, чтобы под напутствия хозяев присоединиться к армейской колонне, темной лентой потянувшейся на байкальский лед.

Но путь к желанному сельцу оказался не таким коротким, каким он виделся из Лиственничного. Байкал трещал из конца в конец, артиллерийской канонадой отдаваясь в морозном воздухе. Казалось, некий огромный зверь, пробуждаясь, пытается сбросить с себя ледяной панцирь и высвободиться. Вконец обезножившие на льду лошади храпели и прядали ушами, дергали по сторонам, чувствуя под собой беспокойную бездну. Кованные обычными, без шипов, подковами, они скользили по ледяному зеркалу, спотыкались на каждом шагу, зачастую падали, не выдержав напряжения. И только люди, будто скроенные из бесчувственного материала, продолжали двигаться, пригибая голову против обжигающего ветра и не оборачиваясь.

Верхом, на санях, пешим ходом они тянулись следом за проводниками, наводили из досок и бревен временные мосты над полыньями и трещинами, подбирали падающих и сторонились павших. В этом исступленном порыве пробиться к другому берегу между ними впервые стерлась, сошла на нет разница в чинах и званиях, навсегда уравняв их перед лицом смертельной опасности. На любом месте, от выпряжки обессилевших лошадей до наведения переправ, генерал не уступал в сноровке младшему офицеру или солдату.

Скудное февральское солнце словно бы нехотя перекатывалось над завьюженным пространством, но не грело, не светило, не радовало. И лишь медленно матереющий впереди силуэт горной гряды на том берегу пробуждал надежду и сообщал людям силы, чтоб продолжать путь.

Наконец, на самом исходе дня впереди явственно определились признаки близкого жилья: с той стороны потянуло дровяным дымом, а вскоре в метельных сумерках проклюнулись первые огоньки: Мысовск!

Наказав ординарцу задержаться и ждать его возвращения, Удальцов поспешил в голову колонны, туда, где сквозь густеющий туман маячил над головами штабной значок.

За эти дни Войцеховский заметно сдал, лицо осунулось, плечи ссутулились, подернутый болезненным туманцем взгляд уткнулся в Удальцова с виноватой беспомощностью:

— Вот, полковник, и я занемог,— он сидел в розвальнях, зябко кутаясь в просторный тулуп,— глядишь, вот-вот за покойным Владимиром Оскарычем последую. Что у вас?

Удальцову было теперь не до условных соболезнований, вместо этого он одним духом, почти по-уставному выложил:

— Позвольте проститься, Ваше высокопревосходительство, следую вашему совету, хочу свернуть мимо Мысовска, сократить дорогу.

Тот мгновенно оживился, из-под жаркого туманца в глазах блеснула одобрительная заинтересованность:

— Не смею удерживать, полковник, Бог вам в помощь,— и все же напоследок не удержался от красного словца.— Только помните, полковник, Россия в нас еще верит.

Но, поворачиваясь к ожидавшему его ординарцу, Удальцов больше не слышал Главнокомандующего, а спустя час путники уже стучались в первые попавшиеся ворота обещанного им Силантьичем сельца.

4

Малявин оказался мужиком, на слово и подъем медлительным, с лицом мальчика-перестарка и лопатистого вида руками. Привет от Силантьича принял молча, лишь головой тяжелой кивнул, гостей выслушал так, будто все это ему было не впервой, а укладывая их после скорого ужина по лавкам, только и сказал себе бабьим голоском:

— Утро вечера мудренее.

Но разбудил чуть свет, уже одетый для долгой дороги.

— Попотчуйтесь, господа хорошие, чем Бог послал да и наладимся по морозцу,— подумал, подумал, как бы прикидывая, добавить ли словцо-другое, решил, видно, расщедриться.— Тут до моей заимки рукой подать, верст сорок, даст Бог, перезимуете помаленьку.

Сборы были недолгими, а завтрак и того короче. Хозяйка, полная противоположность мужу, подвижная и моложавая еще бабенка в темном платке, повязанном по самые брови, потчуя гостей на скорую руку, словоохотливо рассыпалась перед ними:

— Ешьте, ешьте, касатики, хучь наспех, зато от пуза, а на дорожку-то я вам разного наложила: и мясца, и рыбки, и шанежек напекла, девятерым хватит, все одно, люди бают, красные придут, добро наше прахом развеется, до смерти замордуют, хучь в тайгу уходи да ить и там углядят,— и вдруг тревожно стрельнула поочередно по тому и другому быстрым глазом.— Там у нас на займище-то девка наша младшая, Дарья, управляется, дак вы, молодцы, не больно-то раззадоривайтесь, она у нас така, што, осерди только, своего не пожалует, не токмо чужого, а ежели с ей по-хорошему, клад девка, у ей вы, как у Бога за пазухой, отзимуете... Ну, Христос с вами!

Уже во дворе, вставая на лыжи, Малявин снова, будто нехотя, отговорился в сторону спутников:

— Лыжным ходом хаживали хоть? Дело нехитрое, вставай крепче да и двигай ногами туда-сюда, в мой след. Ну, с Богом!

И заскользил в распахнутые ворота в синеющий рассвет впереди. Уходил он вроде бы неспешно, с некоторой даже ленцой, ухитряясь

при этом тянуть за собой еще и санки с кладью, а успевать за ним с непривычки оказалось непросто: широкие, походившие более на доски с загнутыми торцами лыжи непослушно размазывали лыжню в разные стороны, зарывались на спусках в снег и гирями обвисали на ногах при подъемах, словно и думать забыли о своих незадачливых спутниках.

Но, как водится, лиха беда начало. Постепенно нога свыкалась с лыжным креплением, чутко ощущая снежный покров под собой, дыхание выравнивалось, тело наливалось упругостью и теплотой: видно, опыт предыдущего пути не прошел для них попусту... И вскоре они уже уверенно держались в хвосте у Малявина, почти не уступая ему в сноровистой легкости хода.

Вековой кедрач в снежных шлемах с ледяными подвесками нависал над их головами и сквозь редкие его просветы под ноги им стекало чадное солнце студеного утра. Стояла такая тишь, что не верилось, будто где-то совсем рядом, может быть, всего в дне пути отсюда, в громе и грохоте испепеляется растерзанная междоусобная войной земля. Господи, неужели этот кошмар теперь позади и не гонится больше по пятам за ними!

Уже вызвездило, когда малявинский силуэт впереди вдруг замер и оттуда, из глубины густеющих сумерек, дотянулось до них тоненькое:

— Притопали...

И, словно отозвавшись на его слово, в хвойной темноте, чуть поодаль от них, перед ними обнажился слегка сплюснутый с боков, тускло освещенный изнутри прямоугольник двери, и оттуда потянуло обжитым жильем, сухим деревом, печным духом, а из проема скользнула навстречу им ломкая, на излете тень:

— Папаня, вы?

Потом, в неверном озарении светильной плошки, тень обернулась подбористой девахой в россыпи веснушек на скуластом лице и с выбивавшейся из-под платка темно-рыжей куделью. Собирая на стол и возясь у печки, она временами с любопытством постреливала в сторону гостей быстрым — в мать! — глазом, но, однако,— и это уже в отца! — настороженно помалкивала.

По всему видно было, что зимовье это рубилось умелой рукой и надолго, если не на века: из матерых, в добрых два обхвата лиственниц, с полом из неотесанного кедрача, широкими нарами по торцовым стенам и приземистой с лежанкой печью в углу справа от двери.

«В такой крепости,— одобрительно осмотрелся Удальцов, — до второго пришествия зимовать можно».

Задувая огонь и укладываясь, Малявин скупо просветил гостей насчет их будущей жизни:

— Завтрева лапнику наломаете, мягче перины будет, остатнему девка научит, она у нас на всякое дело быстрая, — помолчал, недобро добавил: — На руку особливо.

Пожалуй, впервые за последние годы Удальцов проснулся без угнетающих дум о предстоящем дне. Некуда было спешить, не о чем хлопотать и нечего опасаться. Он словно возвращался в свое естественное состояние после изнурительной и затяжной болезни. Сейчас его даже думать не тянуло о будущем, настолько отдаленным и призрачным оно ему представлялось. Хотелось лежать вот так, неподвижно глядя в прокопченный потолок, с блаженным ощущением вытекающей из всех пор и мускулов усталости. Утоли, Господи, моя печали!

Свет ослепительного утра струился вовнутрь сквозь раструб единственного окошка на лицевой стене зимовейки. В занявшейся новым теплом печи потрескивали горячие сучья. Пахло сухим корьем, паленой овчиной, горелой шелухой картофеля.

«До весны-то срок еще долгий,— мысленно одернул себя он, — не заметишь, как обабишься».

У печного зёва, на корточках, спиной к нему сидела вчерашняя деваха, сноровисто заталкивая в огонь обледенелые с мороза плахи. Торчавшие из-под платка темно-рыжие кудельки покачивались в такт ее движениям у нее над вспотевшими висками, словно огненные спиральки от печного пламени.

И тут же, боковым зрением, Удальцов перехватил жадно устремленный в ее же сторону взгляд своего ординарца, от которого исходил такой заряд тоскливого восхищения, что она, видно, и сама это почувствовала, обернулась, насмешливо озарившись всеми своими веснушками сразу:

— Очухались, мужики? — она вытянулась перед ними невысокой, но ладной фигурой. — Пора и честь знать, картошка стынет!

Февраль на дворе доживал необычно тихим и солнечным, без долгих метелей и хиуса. Белая стынь вокруг держалась еще крепко, вся в метельных наметах, застругах, снеговых гармошках, блистала на взгорьях ледяными залысинами, но что-то под ее промерзшей толщей уже сдвинулось, треснуло, вбирая в себя сонное пока пробуждение стосковавшейся по теплу земли: все чаще осыпались с хвойных подкрылков снежные шапки, все говорливее становились лунки в протоках, все томительнее тянулись закатные вечера.

Днем Удальцов старался пореже показываться в зимовье или около, лишь бы не смущать ординарца своим присутствием: тот усыхал, заострялся на глазах, обгорал, наверное, первым в своей жизни молодым обожанием. Филя тенью повсюду следовал за Дарьей, на лету, по мимолетному взгляду, слабой улыбке, малому движению угадывал ее в нем надобность, чтобы тут же, не мешкая, угодить ей, а по ночам тяжело ворочался у себя на нарах, протяжно вздыхал и даже слегка постанывал.

Время от времени наведывался Малявин, зорко посматривал по сторонам, видно, догадываясь о чем-то, насмешливо хмыкал, многозначительно покачивал лобастой головой и, после недолгих хлопот по хозяйству, не говоря ни слова, отправлялся восвояси.

Удальцов днями кружил по распадкам, борам и протокам, в долгих раздумьях подводил итоги минувшему и строил планы на будущее. Теперь, когда окончательно определился необратимый уже, по его мнению, исход того дела, которому он отдал последние годы своей жизни, его вдруг стали кровно волновать вещи, которые еще вчера представлялись ему если и важными, но не первостепенными: дом, семья, место под солнцем, хлеб насущный, о каком раньше у него даже не было времени думать.

Снова и снова прокручивал он про себя свою последнюю встречу с Элен в Красноярске. Что с ней, где она, смогла ли добраться до Владивостока? В памяти Удальцова всплывало ее, совсем еще детское, лицо и почти отчаянная мольба, долгим эхом звучавшая в нем на всем его последующем пути: «Вы, правда, меня не забудете, Аркадий Никандрыч?» Сердце его при этом обморочно падало от сострадания и любви.

«Вот уж воистину сильнее смерти,— пытался посмеиваться он над собой,— перед ней все равны: и я, и Адмирал, и Егорычев!»

Но смех соленым комком застревал у него в горле. Чем дольше он оставался наедине с собой, тем острее и неотступнее преследовала его память о ней. Он найдет ее, найдет даже на краю света. Она должна, она обязана выбраться из этого ада живой и невредимой не только ради себя, но и ради него, вернее, ради них обоих!

Удальцов заранее знал, что найти Элен будет не просто, как не просто встретиться в океане двум каплям дождя, пролитым над про-

тивоположными берегами, но он верил в свою звезду, к тому же, в мире существовали люди, много людей, которые были должны, обязаны были ему в этом помочь. И в первую очередь — Нокс. Ведь поклялся же тот тогда, после тобольской передряги, протянуть ему руку помощи, когда бы он этой руки ни попросил. Словом английского офицера поклялся!

Дни тем временем складывались в недели, а те, в свою очередь, принимались отсчитывать месяцы. Исподволь источался снег, наливались хрупкой синевой озерца и протоки, сиротел, наливался корявой чернью окружающий лес, а вскоре на луговых прогалинах выбросил первые стрелки свежий травяной покров. Весна отряхивала землю от праха и тлена зимнего забытья.

Той порой, как-то под вечер, когда зажгли светильную плошку, дверь зимовейки с коротким треском распахнулась, и через порог вовнутрь сплошным потоком хлынула людская лава — смешение малахаев, бород, дубленой овчины и сапог:

— Нишкни на месте!

Но лава тут же лохматым полукольцом растеклась по зимовью, уступая дорогу человеку с изможденным, но еще очень молодым лицом, на котором малярийно поблескивали тревожно-беспокойные глаза. Он был в офицерской папахе и шинели с притороченным к ней меховым воротником:

— Кто хозяин? — не выговорил, а скорее прокашлял он и мгновенно тревожным взглядом выделил из всех Удальцова. — Ты?

Тот выступил вперед:

— Что вы хотите?

Беспокойные глаза вдруг с пристальным вниманием остановились на Удальцове, гость некоторое время с видимым недоумением вглядывался в него, затем повелительно повернулся к сопровождающим:

— Всем выйти! — и к Дарье с Егорычевым: — И вам тоже,— после того, как дверь за людьми закрылась, он, отступив, устало прислонился к ней спиной. — Кто вы?

Запираться было бессмысленно: его могли прикончить на месте, если не выбить из него признание:

— Я полковник Удальцов, бывший начальник конвоя Адмирала, — в нем почему-то, от слова к слову, нарастала уверенность в том, что с этим, рано состарившимся мальчиком ему удастся договориться. — Что вам здесь нужно и с кем имею честь?

— Корнет Савин, честь имею, полковник,— на его изможденном лице обозначилось нечто вроде улыбки.— Честно говоря, я и сам не знаю, что мне нужно, собрал вот с бору по сосенке разный сброд и кружу с ним по здешним лесам без всякого толку, одним словом, вольница, — прикрыл бессильно глаза, откинулся папахой к притолоке. — У всех теперь свои знамена: у кого красные, у кого белые, у кого зеленые, один я без знамени, просто так кровь лью: и тех, и других, и третьих,— истончившиеся губы его передернулись в нескрываемой муке. — Предлагал ведь я себя Адмиралу, полковник, еще в Японии предлагал, нет, не поверил, не взял, пустяками отговорился, а ведь могли бы мы еще тогда, — последние слова он почти выкрикнул,— могли бы, была сила!

— Нет, не могли бы, корнет, никто не мог бы.

— Почему же,— исходил в своей муке тот,— почему же, полковник?

— Это не бунт, корнет, это обвал, а от обвала, как известно, может спасти только чудо, но чуда, к сожалению, не случилось.

— Что ж,— тот снова заострился и отвердел,— тогда пусть каждый платит за свое сам, лучше уж погибнуть с моим сбродом, чем сдаться на милость победителя, да еще такого победителя! — он, хотя

явно и без особой надежды, поискал сочувствия в собеседнике.— Может, вместе, полковник, а? Я за свое атаманство не держусь, готов подчиняться, скажите только слово, полковник. Хлопнем на прощанье дверью на всю Сибирь?

— Нет, корнет, у меня другие планы.

Уже полуобернувшись к нему и взявшись за дверную скобу, Савин вдруг спросил его:

— А знаете, как Адмирал закончил? — но не стал ждать ответа.— Хорошо закончил, полковник, нам бы так, да, видно, порода не та, но Анну Васильевну не тронули пока, держат еще, да,— взяв на себя скобу, прощально блеснул в сторону собеседника. — Ладно, живите по своим планам, полковник, Бог вам судья!

И вышел, тихо прикрыв за собой дверь.

Наутро, оставшись наедине с ординарцем, Удальцов решительно поделился с ним:

— Пора уходить, Филя, засиделись мы тут.

Но по тому, как мгновенно тот отшатнулся от него в виноватой растерянности, он понял, что уходить ему отныне придется одному.

А Егорычев уже спешил, захлебывался жалкими оправданиями:

— Извиняйте, Христа ради, ваше благородие, куда я дальше пойду, от добра добра не ищут, мы уж и сговорились с Дарьей, Малявин опять же не против, мужиков ныне с руками рвут, работников совсем не осталось; все кто по фронтам, кто в сырой земле отсыпается, почну крестьянствовать, своим домом обзаведусь, детишки пойдут, чего ж мне еще искать по свету, да и отыщу ли?

— Замордуют ведь, Филя! — попробовал образумить его Удальцов. — Не простят адмиральскую службу!

— А чего с меня взять, Ваше благородие, Аркадий Никандрыч? Солдат он солдат и есть, солдата куда пошлют, туда и идет, не по своей воле живет солдат, кому неведомо?

Спрашивал он и при этом виновато облучал Удальцова преданными по-собачьи глазами.

— Тебе видней, Филя, у тебя своя жизнь, у меня — своя,— безвольно покорялся Удальцов его исступленному напору.— Не мне тебя неволить.— Тот порывисто потянулся было губами к его руке, но он не разделил порыва, убрал ее за спину.— Ладно, Филя, собраться только помоги...

Удальцов ушел, едва засинела ночь за окошком. Ушел не прощаясь, жалко было будить их.

5

Дальше Удальцов уходил в одиночку. И в одиночку же коротал зябкие ночи в стороне от людных мест и обжитых берегов. В этом долгом пути он словно бы начал жить заново: все правила, ограничения, устоявшиеся привычки пришлось забыть, душа и тело его перерождались в совершенно иную сущность, которая не имела ничего общего с ним — в прежней жизни. Нечто звериное, почти первобытное прорастало в нем, властно диктуя ему первозданно новые для него навыки и повадки.

Он выучился высекать огонь, ставить силки, вязать на переправах утлые плоты ивняковой лозой, угадывать путь по солнцу, а в ненастье — по движению листвы, спать бодрствуя и бодрствовать во сне. Только теперь, в этой казавшейся ему нескончаемой дороге он по-настоящему почувствовал настороженную враждебность породившей его земли. Опасность, подвох, угроза таились на каждом шагу: поросшая веселой травой прогалина оборачивалась топкой трясиной,

хрупкий подлесок — непроходимой чащей, ласковая речушка — винтовым омутом. Ровная тропа вдруг срывалась под прямым углом в отвесный обрыв, рослая лиственница, перечеркнув небо над ним, внезапно отрезала ему ход, замшелая ветвь под ногой неожиданно оживала шуршащей нечистью. И чем дальше он пробирался, тем настырнее и круче сопротивлялось ему пространство.

На пятнадцатый день пути он вышел к прибрежному тракту. И только тут природа слегка отступила, распахнув перед ним сквозь опушку соснового бора безбрежный обзор затянутых сплошным лесом предгорий с вкрапленными в них слюдяными блюдцами озерных разливов. Даже воздух здесь уже не забивал душным настоем таежной всячины, а растекался в легких с освежающей невесомостью. И через все это хвойное море, от самых ледниковых зубцов на горизонте, голубой, с прозеленью по краям лентой летела, неслась, извивалась навстречу ему раскатисто говорливая река. И Удальцов со вздохом облегчения догадался: Иркут, где-то в самом своем истоке!

По его расчетам, до монгольской границы оставалось не более трех дней ходу. И хотя возможности его были на исходе, одно сознание близости спасительной цели придавало ему силы. Теперь-то он наверняка знал, уверен был, что дойдет, доберется до этой цели, не сгинет в дороге в числе многих, пополнив собой безымянный список российского лихолетья.

Устремляясь к желанной воде, Удальцов полной грудью вдыхал живительный запах соснового бора, охваченный упоительным ощущением возвращения к жизни и к самому себе. Резкое солнце, рассекая хвою разлапистых крон, слепяще било ему в глаза, сладостно кружило голову, и все в нем при этом пело от легкости и ликования.

И грезилось ему его августовское детство в их деревенской усадьбе. Он бежит босой по скошенному полю, колкая стерня под ним еще не высохла от росы, сквозь дубовую рощицу впереди поблескивает речка, а небо над головой такое чистое и высокое, что, кажется, припусти побыстрее, взлетишь, подхваченный первым же дуновением ветра.

И позади, захлебываясь в смехе, тянется за ним умоляющий голос отца:

— Аркашка-а-а!.. Бесено-о-ок!.. Останови-и-ись!.. Пожалей отца-а-а, совсе-е-ем пада-ю-ю!..

Почти в беспамятстве Удальцов приник к воде и пил, пил, втягивал, впитывал в себя ее сводящее зубы и скулы студеное облегчение, но, едва оторвавшись от нее, увидел рядом с собой в речном зеркале чье-то, в полный рост, отражение. Сердце в нем обморочно оборвалось и обомлело, затылок мгновенно одеревенел. Ожидая сзади выстрела или удара, он даже не нашел в себе силы обернуться, только со сдавленным хрипом спросил воду перед собой:

— Кто ты?

— Человек, не леший.

Голос за спиной звучал чуть насмешливо, но миролюбиво. Облегчаясь сердцем, Удальцов осторожно обернулся и, все еще снизу вверх, полюбопытствовал:

— Ты откуда тут?

— Я-то тутошний, ты вот откуда взялся?

Коренастый мужичонка в жиденькой бородке стоял перед ним, опершись на суковатую палку, и с озорным любопытством разглядывал его васильковым взглядом из-под белесых, будто выгоревших бровей.

— Напугал ты меня, брат,— Удальцов окончательно опамятовался и встал,— хоть бы голос подал.

— Лес шуму не любит,— беззлобно осклабился тот полнозубым ртом,— тише ходишь, целей будешь.

— Жилье близко?

— Э, мил-человек, тут жилья на сто верст кругом днем с огнем не сыщешь, я один тут кукую, на подножном корму.

— Не страшно одному-то?

— С людьми страшно, мил-человек, а себя чего же бояться!

— А зверье?

— Зверя не трогай, он тебя не тронет, я сам по себе, зверь сам по себе, живем — не грыземся.

— Где же ты тут обитаешь?

— А вон...

Проследив за приглашающим взмахом его руки, Удальцов вдруг разглядел почти слившийся с береговым кустарником сруб, с плоским, заросшим травой верхом, по самую оконную щель врытый в землю.

— Так и живешь?

— Так и живу, мил-человек,— спокойно утвердил мужичонка и вновь васильково засветился.— Заходи, гостем будешь, чайку попьем.

Не ожидая ответа, он двинулся вверх по береговому откосу, палкой раздвигая впереди себя цепкий кустарник. В пружинистой и бесшумной походке его чувствовалась укорененная привычка к долгой ходьбе и дорожной оглядчивости.

После солнечного ослепления дня темень внутри сруба показалась Удальцову почти чернильной. Немного пообвыкнув к этой темени, он различил наконец в ней громоздкую, из неотесанного камня печь, занимавшую здесь большую часть места, с наброснной на ней тряпичной рухлядью, и в косой полоске света, падающего от оконной щели, пол из плотно пригнанных друг к другу жердей.

— Ты, брат, гляжу, как медведь в берлоге устроился.

— Не жалуюсь,— тот стоял снаружи, у него за спиной.— На мой век хватит.

— Тут и свековать думаешь?

— А куда мне податься — некуда?

— Мир большой.

— Кому как.

— Не по тебе, значит.

— Не по мне,— уверенно согласился тот.— Земля большая, а места на ней мало.

— А прикорнуть у тебя можно, не прогонишь?

— Отчего прогоню, располагайся, а я пока пойду чайку спроворю,— и сразу захлопотал, засуетился у него за спиной.— В одночасье спроворю, мы и попьем на воздышке. Тут чем славно, что комара, мошки нету, потому как гнусь эта сырую низину любит, а тут высоко да сухо. Располагайся, мил-человек, опростай ноги от немочи.

Любо было смотреть, как ловко и споро орудовал он вокруг запылавшего вскоре костерка: ломал сушняк для огня, колдовал с травками над водой в таганке, мешал с лесным лучком вяленую рыбешку.

— Городского не сулю, а своим попотчую,— приговаривал он при этом, улыбчиво посвечивая во все стороны,— без рафинаду, зато с ягодой, сыт не будешь, а для дремоты лучше нету, пей да радуйся...

Потом они пили из одной жестяной кружки по очереди терпкий травяной настой, заедая выпитое рыбным волоконцем под таежный лучок, а хозяин тем временем не умолкал, растекался словоохотливо:

— Как призвали меня в германскую, так и подался я куда глаза глядят, чего я с тем немцем не поделил, пускай воюют, кому своя голова полушка, а чужая того дешевле, а я и не жил еще вовсе, не токмо девки, бабы живой не пробовал, одних сапог не сносил, дальше околицы носу не высовывал, на хрена, думаю, мне в этом пиру по-

хмелье, я пока жить хочу, ноги в руки и — ходу, ходу, токо бы не забрили...

— Сам-то из каких мест?

— Пермские мы, по-разному кличут, больше водохлебами, что греха таить, мастаки у нас чаи гонять из пустого в порожнее, хотя отец мой покойный, Царство ему Небесное, с Дона сам, после каторги в лесах осел, крестьянствовал помаленьку.

— Чем же ты здесь перебиваешься? — уже сквозь дрему полюбопытствовал Удальцов,— на твоих харчах долго не протянешь.

— Говорю тебе, на подножном, а когда совсем приспичит, на трахт выхожу, Христа ради кланяюсь.

— Кто ж теперь подает?

— Свет не без добрых людей, мил-человек, особливо монголы, иной плетью огреет, а иной и подаст, с миру по нитки да и много ли мне надобно одному-то, зимой, однако, хуже, лесным припасом живу... Э, да ты совсем сморился, милок,— тенью метнулся он перед гостем,— залезай-ка в нору, там сподручнее...

Умиротворенный угощением и незлобливым говором, Удальцов в сонном полузабытьи перебрался под крышу, свалился на услужливо подстеленное ему тряпье и канул в сон, как во тьму, без памяти и сновидений.

Знать бы Удальцову в эту провальную минуту, что топор уже вознесся над ним и затем с рассекающим присвистом врезался в пол за вершок от его затылка: откуда же было угадать хозяину, что за мгновение до удара гость схватится в бездумье повернуться на другой бок!

Но звука вошедшего рядом с его головой в древесную мякость острия Удальцову хватило, чтобы моментально прийти в себя, пружинисто вскинуться на ноги и, по-кошачьему оторвавшись от пола, броситься всем телом на человеческий силуэт перед собой. Цепкие ладони его сомкнулись вокруг теплой пульсирующей шеи, сдавливая хрипящую ему в лицо мольбу:

— Прости, Бога ради... Со страху я... Прости...

Из Удальцова вдруг словно выпустили воздух: ладони разжались сами собой, тело опустошенно обмякло, ноги сделались ватными. Он с трудом поднялся и, переступив через распростертую под ним человеческую плоть, тяжело шагнул к выходу:

— Будь ты проклят, тварь...

А тот полз за ним на карачках и все всхлипывал ему вслед, умоляюще поскуливая:

— Сам ить знаешь, как нынче живется, не люди — волки одни кругом, чуть сплошаешь, враз на распыл изведут... Не я тебя, так ты меня все одно извел бы... Кто ж знает, чего у другова на уме, а я ишшо жить хочу, молодой совсем, за какие грехи погибать мне тут... Прости, Христа ради, лукавый попутал, сам не знаю, как получилось, не оставь без отпущения... Прости-и-и!

Удальцов уходил не оборачиваясь, не мог, не хотел, не нашел в себе воли обернуться.

Он двигался сквозь лес, отныне окончательно уверенный, что на этой земле ему уже нет места. Все, что он любил в ней и к чему был на ней привязан, истекло в вечность, растворилось в воздухе, наподобие фата-морганы, не оставив после себя ничего, кроме терзающих душу воспоминаний. Она оставалась такой же большой, как и была, но не для него и таких, как он. От ее мертвой тверди не источалось теперь зовущего к себе света, и небо над ней выглядело сегодня каменным. Жизнь здесь начиналась с чистого листа, и какой она окажется — эта жизнь, еще никто не знал.

Далеко впереди, над сверкающей в свете убывающего дня горной грядой занимались сумерки, горизонт темнел, проявив на своем густеющем полотнище зыбкие контуры первой звезды. Звезда медленно приближалась, набирала блеска и четкости и наконец, с наступлением полного заката, обозначилась перед ним, поверх соснового частокола, твердо и торжествующе, упрямо воскрешая в путнике неистребимость надежды.

6

Дальше Удальцов уходил в одиночку...

7

Летом двадцать первого, перебиваясь в Лондоне с хлеба на квас, Удальцов с отчаянья поступился гордостью, позвонил Ноксу:

— Здравствуйте, генерал, вас беспокоит полковник Удальцов. Помните Омск, Ставку, Тобольский фронт?

В трубке возникла пауза, которая, как показалось Удальцову, длилась целую вечность, потом оттуда, словно из глубокого колодца, глухо, но отчетливо донеслось:

— Извините, сэр, я вас не припоминаю...

И связь тут же оборвалась.

* * *

Вот и все, господа хорошие, вот и все.

8

Анна Васильевна Тимирева умерла своей смертью в Москве 31 января 1975 года от Рождества Христова.

Борис Косвин

АССИМИЛЯНТЫ

РАССКАЗ

Субботнее утро старик Бронштейн провел в поисках партийного билета. Поиски напоминали обыск. Исаак Лазаревич перерыл все ящики письменного стола, одежный шкаф и сервант. Теперь примеривался к комоду.

— Ой, все! — причитал старик посреди комнаты, вцепившись пальцами в остатки седых волос. — Ой, что я буду делать?! Меня исключат как вредителя!

Переживал старик искренне, но осмотрительно. Один инфаркт у него уже был. Впечатления сохранились самые дрянные: свирепая боль, онемевшие конечности, постоянная дурнота, долгое, до пролежней, истязание неподвижностью. Повторения не хотелось.

— Ой, пропал я совсем! — голосил Исаак Лазаревич, покачиваясь и не сводя глаз с комода. — Исключат! Как врага народа исключат!

На крик из кухни пришла жена Фира Львовна, пожилая, очень полная женщина, с обширным гипертоническим румянцем:

— Что ты орешь как сумасшедший? Ты же разбудишь ребенка.

— А? — переспросил Бронштейн отрешенно.

— Я говорю, что у него сегодня нет первой пары, и он просил раз в жизни его не будить.

— Если билета нет в комоде, я на себя руки наложу, — пригрозил Исаак Лазаревич.

— В комоде? — занервничала старуха. — В каком комоде?

— В нашем комоде. В каком же еще?

— В комоде ничего нет! Как твой знаменитый партбилет мог очутиться в комоде?

— Я не знаю. Как-нибудь.

— Что как-нибудь? Что как-нибудь? Я тебя в комод не пущу! Ты мне все белье перекопаешь, а я не домработница перeглаживать второй раз.

Исаак Лазаревич оторвал наконец взгляд от вожделенной мебели и воздел руки:

— Что ты равняешь свое закаканное белье и партбилет?!

Сняв с себя кухонный фартук, который в этом доме называли передником, Фира Львовна сжала его в кулаке и указала им на входную дверь:

— Я сейчас выйду на лестницу и позову людей.

— А? — изумился Бронштейн.

— Пусть они на тебя посмотрят. Чтоб они знали, как выглядит настоящий сумасшедший. Пусть они, а не я вызовут карету и отправят тебя в сумасшедший дом. Тебе, нивроку, семьдесят семь лет, а ты так разрываешься, как будто тебе второй раз сделали обрезание. Тебя, не дай Бог, расстреляют? Тебя тоже, конечно, не дай Бог, посадят в тюрьму? Что тебе сделают за этот партбилет на семидесятом году советской власти в партбюро жэка?

— Ты малограмотная старуха! — Из глаз Бронштейна вывалились тяжелые старческие слезы. — Что ты такое говоришь? Это же партийный документ! Его дают раз на всю жизнь, без скидок на семьдесят семь лет возраста!

Реплика о малограмотности задела Фиру Львовну за живое. У нее было всего несколько классов образования, и она, как правило, не уточняла, сколько именно. Книжки она читала, шевеля губами, шепча каждый прочитанный слог.

— Чтоб ты так разрывался, когда потеряешь квитанцию на кладбище, — в сердцах пожелала старуха, потом спохватилась и тихо добавила, — не про нас будет сказано.

В дверях соседней комнаты показался внук Бронштейнов, Саша, худой, заспанный молодой человек двадцати лет, в черных трусах и зеленой болтающейся майке.

— Ну? — спросил он, и старики пристыженно смолкли, — я же вас просил... хотя бы раз в жизни... хотя бы до девяти часов утра...

Фира Львовна не привыкла, чтоб ее кто-нибудь стыдил, а уж особенно внук.

— Что я могу сделать, если у тебя ненормальный дедушка, — сказала она, повязывая на себе передник.

— Саша, — спросил Исаак Лазаревич с надрывом, — тебе случайно не попадался где-нибудь мой партбилет?

— Так, — зевнул внук, — у нас сегодня взносы?

— Нет, партсобрание.

— В жэке? — уточнил внук, будто это имело значение для обнаружения пропажи.

— В жэке, — обреченно подтвердил старик.

— Да, тяжелый случай, — заявил внук и отправился в ванную.

— Сашенька, внучек, — громко сказала Фира Львовна, когда в ванной стихла вода, — найди ему билет. Найди, я тебя прошу, пока он весь дом не поставил кверху дном.

— Может, я сначала штаны надену? — съязвил внучек, но к поискам все же подключился.

Через полчаса, вдоволь наискавшись, поползав на четвереньках, Саша решил передохнуть:

— Дед, а если найду, что мне будет?

— Благодарность командования! — игриво заявил Бронштейн, настроение которого значительно улучшилось, как только розыском занялся внук.

— Дед, не остри, а то без стимула... кстати, а где твой парадный пиджак?

— Крэмовый?

— Крэмовый, — передразнил Саша.

Исаак Лазаревич употреблял в словах твердое аристократическое «э», оставшееся от агитаторской его работы тридцатых годов. «Газэта». «Тэлэвизор». «Одэсса».

— Так где он?

— В передней висит.

Перешли в прихожую. Карманы парадного пиджака оказались пустыми, и Саша с трагическим вздохом снова опустился на четвереньки.

— Баллистика — великая наука!

Из резинового «колхозного» сапога старшей сестры Саша извлек темно-бордовую книжицу, раскрыл ее.

— Бронштейн Иван Лаврентьевич? — спросил он строгим голосом.

— Исаак Лазаревич, — недоуменно поправил дед.

— Тем более, с такими инициалами — и в сапог?

Смысл шутки дошел наконец-то до старика. Выхватив у внука билет, Исаак Лазаревич бросился на кухню делиться радостью с женой:

— Он в сапог Инне упал. Наверное, он упал, когда я вынимал из пиджака газэты.

— Ну, так ты не сумасшедший? — спокойно поинтересовалась женщина. — Надо было так кричать?

— Зато ты всегда спокойная! — снова обиделся старик. — Зато тебя ничего не волнует!

— Почему? Волнует, — тон Фиры Львовны воплощал уверенность и достоинство.

Борис КОСВИН (р. 1955) по профессии инженер-строитель. Живет в Харькове, работает на заводе железобетонных конструкций. В центральной печати публикуется впервые.

— И что же тебя волнует конкрэтно? — Исаак Лазаревич иронически приподнял одну седую бровь. — Чтоб курица не подгорела, тебя волнует?

— И курица! И курица тоже! А ты как думал?

— Я думал, что есть разница между сковородкой и документом!

Фира Львовна взмахнула скомканным льняным полотенцем:

— Что бы ты, интересно знать, делал со своим документом голодный? Куда бы ты годился без курицы с одним своим документом?

На кухню заглянул Саша, уже готовый к выходу из дому, с сумкой через плечо и в уличной обуви.

— Пять минут перемирия, — объявил он. — Заприте за мной дверь.

— А завтракать? — спросила с отчаянием бабушка.

— Некогда, — внук ухватил кусок со стола и затолкал в рот, — вечером позавтракаю.

— Ничего не хочу слушать! — старуха даже зажмурилась, негодуя. — Покушай как человек, а потом иди на все четыре стороны. Ну посмотри на себя в зеркало, какой ты худой!

— Я не худой, я стройный. Все. Пока. Дед, запри за мной дверь. Партийным это не возбраняется?

Щелкнув замком после ухода внука, Исаак Лазаревич принялся инспектировать квартиру. Комнат было четыре, по нашей мерке много, но здесь жили восемь человек. Не слишком просторно.

Старик упрятал партбилет в карман того же выходного пиджака и первым делом осмотрел свою с Фирой Львовной собственную спальню. Озабоченно выпятив губы, прикрыл дверцу шкафа, постоял у комода заветного, пошаркал дрожащей ногой, поправляя половик, и минуты две глядел на картину в широкой, точно дверной наличник, раме. Провинциальный живописец, довоенный подхалим Бронштейна, изобразил букет сирени в граненой, толстого стекла вазе. Пропорции веток и соцветий были нарушены, казалось, что в несчастную вазу затолкали целый сиреневый куст. Тем не менее полотно Исааку Лазаревичу нравилось. Картина вызывала воспоминания, аромат молодости, а от художественных нюансов Бронштейн был далек.

Длинный, загнутый, как водосточная труба, коридор привел старика в дальнюю комнатушку. Здесь после недавнего второго развода обитал сын. Миша. Михаил Исаакович. Из мебели в комнате поместился диван, одностворчатый шкаф, приземистое кресло и тумбочка с дорогим японским приемником. По этому приемнику Миша слушал заграницу, что весьма огорчало Исаака Лазаревича. Возникали споры. Пятидесятилетний Миша отмахивался от папы и требовал, чтоб его не дергали по мелочам.

— А если соседи услышат? — закатывал глаза старик.

К возражениям, что сейчас их даже никто не глушит, старик относился диалектически: сегодня не глушат, а завтра...

В Мишиной комнатке Бронштейн пробыл недолго, сын не любил, чтобы сюда входили без него. Хотел и замок врезать, но тут возмутилась Фира Львовна: где это видано, чтоб в еврейской семье друг от дружки запирали комнаты? Так что старик входил и быстро выходил. Ну, надо же было посмотреть, что там и как.

Посмотреть следовало, конечно, и комнату старшей дочери. Ели. Елены Исааковны. Она вместе с мужем Семеном и сыном Сашей занимала самое большое помещение в квартире. Убранство комнаты, как и фамилия зятя — Ривкин, раздражало старика уже более двадцати лет. Какую бы драгоценную вещь ни внесли в эту комнату, она выглядела скверно, тускло, обыденно и нищенски. Мебель, купленная в начале шестидесятых, вся была на длинных и тонких, как у цапли, ножках. Носильные вещи неряшливо разбросаны. На обоях какие-то черные разводы странного происхождения. Везде тут присутствовал рыжий, толстый, жадный к еде Семен Борисович Ривкин, инженер строительного треста, равнодушный, по убеждению Исаака Лазаревича, ко всему, кроме преферанса.

Четверть века назад за свадебным столом Бронштейн до слез жалел некрасивую, порывистую Елю, теперь ему жаль было внука. Старик даже лелеял крамольную, по отношению к дочери, фантазию, что Саша не сын Семену, уж очень не похожи. Разумом, однако, он понимал: Сашина судьба — это издержки молодости. С годами появится и косолапая походка родителя, и двойной подбородок, и тяга к преферансу.

Последняя на маршруте следования четвертая комната принадлежала дочери Елены Исааковны, а значит, внучке Исаака Лазаревича. Внучка именовалась Инной и была замужем за хорошим еврейским мальчиком Леней Раховичем. Дверь в комнату Бронштейн отворил с опаской и сразу же увидел то, чего опасался. Двуспальное румынское, в рассрочку купленное ложе семьи Рахович было смято только с одной стороны. Старик закрыл дверь и трусцой побежал на кухню.

— Ой! Фира! Ой! — заголосил он с порога кухни. — Леня опять не ночевал дома!

От неожиданного крика Фира Львовна упустила кастрюльную крышку, и та с грохотом покатилась по полу.

— Чтоб ты был здоров, псих ненормальный! — завопила она в свою очередь. — Чего же ты орешь?! Ты хочешь меня в гроб загнать?!

— Леня не ночевал дома, я тебе говорю!

Оглушенная собственным криком и криком мужа, Фира Львовна не сразу уловила суть проблемы:

— Что ты от меня хочешь?

— Я тебе третий раз говорю, что Леня сегодня опять не ночевал дома!

Убедившись, что старик ничего не напутал, любящая бабушка сорвала с себя передник, сжала его в кулаке и погрозила в окно:

— Я б ее убила! Задавила бы собственными руками, не про нас будет сказано!

— А может, Инночка и не виновата, — заговорил Исаак Лазаревич с напускным равнодушием, — он сам тоже хорошая цаца.

— Она его выгнала! — бушевала старуха с передником над румынской кроватью. — Ты что, не понимаешь? Она его выгнала, зараза сопливая, чтоб она была здорова! Ей сделали такую свадьбу! Ей подарили такие подарки! Ей купили такую кровать румынскую, чтоб она с мужем тут в кошки-мышки игралась! А она его через полгода из этой кровати выгнала!

— Ну все, все! — Бронштейн струхнул, увидев пылающее лицо жены. — Перестань, а то давление подскочит!

— Ты что, не понимаешь? Она останется одна! Кому она нужна будет, разведенная?!

— Успокойся ради Бога. Они еще не развелись, по-моему...

— Как я могу успокоиться?!

— Давление...

— Что давление?! Что давление?! Если тебя так волнует мое давление, не надо было мне говорить про Инну.

— Фира, я тебя прошу...

— Уйди с глаз моих, проситель!

Старик Бронштейн пожал плечами и ушел с глаз долой. Он пошел читать газеты. Устроившись за бурым от старости письменным столом, Исаак Лазаревич развернул «Известия», сложил руки по-ученически и привычно подпер подбородок оттопыренным большим пальцем. Читал Исаак Лазаревич очень эмоционально: закусывал губу, качал головой, цокал языком. Очки ползали по его внушительному носу вверх и вниз, как живые.

Фира Львовна осталась на кухне в размышлениях о внучке. Помешивая густой суп, женщина ворошила в себе гнев, точно угли в печи, хоть в последний раз топила печь лет двадцать тому назад. Внучка Инна рисовалась ей разнузданной неблагодарной девкой, топтавшей свадебные подарки, дорогую кровать в том числе. По мере готовности супа мысли успокаивались, Инна возвращала себе черты доброй, ласковой, умной девочки, самой, пожалуй, красивой в этом доме, кроме самой бабушки, в молодости, конечно.

Газ под кастрюлей был погашен, «Известия» проштудированы, когда хлопнула входная дверь. Елена Исааковна и Семен Борисович возвратились с покупками с рынка, с базара, как говорили в этом доме. Еля сразу же кинулась на кухню, начала вытаскивать на Божий свет миски, сковородки для раскладки купленных продуктов, гремела ими и шумно возмущалась ценами. Сема топтался в передней с двумя набитыми сумками, тяжело и шумно дышал, обильно потел, но не произносил ни слова. Только когда жена и теща надели передники и расставили на столе посуду в нужном порядке, его впустили наконец на кухню и позволили освободиться

от непосильной ноши. Семен Борисович поставил сумки на пол и проворно скрылся в комнате.

Недолго, пока женщины активно совали руки в сумки, в этом доме было тихо. Фира Львовна взвешивала на руке каждый овощ, негромко расспрашивая о подробностях покупки. Елена Исааковна двигалась и говорила порывисто, предметы мелькали в ее руках, точно ими жонглировали. Она стояла, ходила всегда чуть наклонившись вперед, верхняя часть ее туловища обгоняла нижнюю.

Продукты в сумках закончились быстро. Громкость женских голосов на кухне нарастала.

— Ну так она его выгнала! — кричала Еля.— И что я должна делать?! Я должна бежать за ним, чтоб он вернулся?! Жить с ним вместо нее?! Что я должна делать?!

— Девочка останется одна!—Старуха без труда перекрывала голос дочери.— Она никому не нужна будет! Мало того, что она еврейка, так еще и разведенная! Это ты понимаешь?

— Это я понимаю!

— И что ты себе думаешь?

— Пусть лучше будет одна, чем мучается, как я с ее отцом!

— У тебя плохой язык, и у твоей дочери такой же плохой язык.

Еля пожала плечами, дескать, какой есть.

— Тебе надо с ней поговорить,— настаивала Фира Львовна.

— Я уже говорила, когда Леня не ночевал первый раз.

— И что?

— Она не хочет с ним жить.

— Значит, надо поговорить еще раз.

— Это бесполезно. В конце концов, она взрослый человек, ей двадцать три года. Пусть живет своим умом.

— Ее ума хватает, только чтоб играться в кошки-мышки!

Мужчины слышали перебранку женщин, но молчали. У каждого из них была своя причина для молчания. Исаак Лазаревич, например, находил, что все происходит так, как должно происходить. Он свое дело сделал — поставил вопрос ребром, теперь пусть они, женщины, думают, теперь это их дело. Семен Борисович, положим, не вмешивался, ибо видел бессмысленность спора. Жена и теща бессильны были повлиять на девочку, потому и кричали столь неистово. Однако молчание обоих мужчин, каждого за своей закрытой дверью, делало их исключительно похожими между собой и порождало подозрение, что они боятся своих женщин и не рискуют подворачиваться им под горячую руку.

В разгар свары позвонил телефон. Аппаратов в этом доме было два, и оба стояли в коридоре, в разных его концах. Оба не звонили, а будто бы визжали пронзительно, похрипывая и подвывая, как живые существа, которым кто-то наступил на шнур. Оба были поставлены на полную громкость, чтобы Фира Львовна могла слышать звонок из кухни через скворчание сковородки.

Елена Исааковна вылетела в коридор, сорвала трубку с рычагов и, нависая над аппаратом, не остывшая еще после беседы с матерью, потребовала звонившего к ответу:

— Да! Алло!

— Здравствуйте,— вежливо отозвался незнакомый мужской голос.

— Я вас слушаю,— насторожилась Елена Исааковна.

— Простите за беспокойство,— заговорил голос с забытыми интонациями рафинированной русской интеллигенции,— будьте любезны, пригласите, пожалуйста, к телефону Инну.

— Ее нету. Что ей передать?

— Благодарю вас. Не стоит затрудняться. Скажите, когда я могу позвонить, чтобы застать Инну дома?

— А с кем я говорю...—начала спрашивать Елена Исааковна, но, вздрогнув от неожиданной догадки, закончила после паузы уже предупредительнее,—...собственно?

— Меня зовут Виктор,— поведал голос,— мы с Инной друзья.

— Друзья,— вяло повторила женщина.— Попытайтесь ее застать вечером. Вообще-то они по субботам выходные, но сегодня Инну отправили в колхоз на один день. В котором часу она вернется, ей-богу, не знаю.

— Благодарю вас. Извините за беспокойство. Всего хорошего.

У Елены Исааковны скребли на душе сиамские кошки. Она долго слушала визгливые, короткие гудки, прежде чем положить трубку. В переднюю выглянула Фира Львовна:

— Кто звонил?

— Виктор.

— Какой Виктор?

Дочь объяснила. Во всяком случае, попыталась объяснить.

— Очень хорошо! — разозлилась старуха вполголоса. Злиться в полный голос у нее, надо полагать, уже не было сил.— Просто замечательно! Не успела выставить мужа, как ей уже трезвонит какой-то антисемит!

— Почему антисемит? — изумилась дочь.

В коридор вышел Семен Борисович с сигаретой во рту и газетой под мышкой. Остановился, прислушиваясь.

— Что-то мне не попадались евреи с именем «Виктор»! — Старуха подняла вверх указательный палец.

— Люди бывают только трех типов. Да, Фира Львовна? — незажженная сигарета при разговоре зятя прыгала у него в губах.— Только трех типов: евреи, антисемиты и евреи-антисемиты.

Теща махнула рукой. Жена пожала плечами. Семен Борисович довольно усмехнулся, прикурил, вытащил из-под руки газету и проследовал в туалет.

— Твоя дочь такая же светлая умом, как ее отец,— резюмировала старуха.

Семен Борисович покинул туалетную комнату минут через десять, он не злоупотреблял таким укрытием. В этом доме при восьми обитателях, особенно по утрам, требовался подлинный героизм, чтобы надолго занимать санузел. Семен Борисович героизмом не обладал, ни подлинным, ни мнимым. Он был воспитан реалистом. В своем родном городке, местечке, как по-дореволюционному говорили в этом доме, Сема с детства усвоил некоторые особенности общения с внешним миром, обеспечивавшие максимальную безопасность. Поначалу трудно было не оглядываться на одноклассников, оравших вслед: «Сема-жид, по веревочке бежит!»

Но со временем, убедившись, что достойная реакция порождает лишь синяки и новые вспышки осмеяния, он перестал оглядываться. Даже затылок его выражал абсолютную уверенность—это не к нему, это не о нем. Семен достоверно хохотал вместе со всеми над анекдотами о вечном Абраме и жене его Сарре, не приглашал танцевать красивых русских девушек на школьных вечерах и перестал выступать на комсомольских собраниях. В институте, подсчитав, что на факультете его соплеменники составляют ровно три процента общего поголовья обучаемых, он навсегда отверг слишком модную одежду, лекторские приработки, художественную самодеятельность и общественную активность. Он избегал ситуаций, при которых мог очутиться на виду у большого скопления народа. Из зала или из аудитории всегда могли что-нибудь выкрикнуть.

Двадцать с небольшим лет Семен Борисович проработал в техническом отделе стройтреста, составил у начальства, как и у тещи, устойчивое мнение о себе, как о человеке более чем среднем. И только шурин Миша и друг Алик Берембойм признавали за ним изощренный аналитический ум, хотя бы и реализованный в основном в преферансе.

— Сема! — заискивающе позвал из своей комнаты старик Бронштейн.— Сема!

— Ну? — с раздражением отозвался Семен Борисович, заглядывая в спальню тестя.

— Ты читал? Почитай обязательно! — Исаак Лазаревич протянул зятю обильно испещренную синим и красным карандашом газетную статью.

Семен Ривкин отвернулся от разрисованного листа, как толстый ребенок от манной каши. Мало того, что он не разделял публицистических вкусов тестя, он еще терпеть не мог пометок в тексте: волей-неволей выделяется не главное, а подчеркнутое.

— Что? Не хочешь?—расстроился Бронштейн.

— Я это уже читал,— насилу выдавил из себя Ривкин.

Старик, приглашая к совместным переживаниям, стал качать головой и цокать языком:

— А? Что делается! Ужас! Кошмар!
— Да,— ответил Семен Борисович без выражения,— кошмар.
— Ты чувствуешь, к чему идет дело?
— Чувствую,— подтвердил Семен Борисович, глядя на газету пустыми глазами.

Старик явно пытался завоевать расположение зятя, которого не очень любил. Зачем? Семену Борисовичу не хотелось думать над этим. Кто знает, какие мысли роились в старой седой голове. Может быть, он пытался составить мужскую коалицию против не в меру разбушевавшихся дам?

Щелкнул замок, и хлопнула входная дверь. Пришел Михаил Исаакович Бронштейн. Миша. Пятидесятилетний, благоухающий французским одеколоном и сверкающий седыми висками, холостяк пронесся по коридору в свою комнату, задевая стену полой светлого плаща.

— Мама! — раздался в доме его резкий тенорок.— Мама!
— Еля, дочка,— откликнулась из кухни Фира Львовна,— скажи своему знаменитому брату, что если он хочет побеседовать со своей мамочкой, пусть снимет макинтош и по-человечески зайдет на кухню.

Елена Исааковна нервно сказала: «Ой-сы!» — и закрыла дверь своей комнаты.

— Сумасшедший дом! — определил Михаил Исаакович, но плащ все-таки снял, кивнул головой встретившемуся в коридоре Семену и приблизился к матери.— Ну, что за штучки?
— Это ты обо мне? — всплеснула руками старуха.— Это у меня штучки? Это, оказывается, я захожу в дом, как черносотенец, в сапогах и в макинтоше! Это я, наверное, бегаю по коридору и ору «Мама!», вместо того чтоб снять ботинки и сказать «Здрасьте!».
— Я уже снял ботинки.
— Как я с тобой расплачусь? Ты мне сделал такое одолжение!
— Мама, ты же даже не знаешь, что я хотел сказать.
— Я себе представляю! Новая мировая проблема! Ты вместе с твоим ненормальным отцом—главные политиканы в Советском Союзе. Просто удивительно, что вас до сих пор не вызвали для консультаций в Совет Министров.
— Мама!
— Что мама? Что мама? От вашей политики всех уже тошнит! У нас тут своя политика. Твоя племянница выставила мужа. Ты понимаешь?.. Что ты молчишь?
— Чепуха на постном масле. Молодые, дурные, поссорятся, помирятся.
— Я от тебя других слов и не ожидала!

Михаил Исаакович пригладил ладонями благородную седину на висках, сел возле матери на табурет, вздохнул и спросил:

— Мама, ты сегодня выходила из квартиры?
— А что? — нахмурилась старуха, настороженная сменой интонаций в речи сына.
— Ничего. Я просто интересуюсь, видела ли ты сегодня нашу входную дверь снаружи?
— А что там? Что с нашей дверью, я спрашиваю?! — Фира Львовна схватилась за сердце, привычно переходя на крик.— Не загадывай мне загадки!

На кухню ворвалась Елена Исааковна.

— Миша, я тебя прошу...— прошипела она.— Миша, маме нельзя волноваться, нельзя нервничать...
— А нервничать не надо.— Михаил Исаакович встал с табурета и сунул руки в брюки.— Надо все воспринимать спокойно. И ничего не замечать, и ничего не видеть, и вообще ходить с закрытыми глазами. Да, Еля?
— Мой Бог, мой Бог,— забормотала старуха, стаскивая передник,— зачем ты, мой Бог, дал мне таких глупых детей. У них же ничего нельзя узнать толком.

Не выпуская из рук передника, Фира Львовна устало выбралась в прихожую, отперла дверь и вышла на лестничную клетку. На стене, рядом с дверью было косо нацарапано:

«БЕЙ ЖИДОВ. СПАСАЙ РОССИЮ!»

И еще что-то невнятное, то ли знак, то ли буква. Штукатурка облущилась, и художественный замысел автора остался неясен. Возможно, это было изображение черепа с костями, во всяком случае, Фире Львовне так показалось. Царапали, надо полагать, тривиальным ржавым гвоздем: в заглавной букве «Б» содержались коричневые следы.

Сын и дочь ждали мать в прихожей. У них были одинаковые лица, со втянутыми, будто сразу исхудавшими щеками. К ним безмолвно присоединился Семен Борисович, жующий незажженную сигарету. Удивленный внезапной тишиной, выглянул и старик Бронштейн, но почуяв, что тишина эта зловещая, снова скрылся в своей комнате, прикрыв двери осторожно и плотно.

— Сема! — позвала старуха дрогнувшим голосом.

На зов вышли все трое.

— Сема, иди сюда. Ты это видел?
— Да,— ответил Семен Борисович.
— Сема, это надо замазать. У нас в кладовке есть немножко мела. Надо сделать такую замазку и замазать.
— Хорошо,— сказал зять.

Возвращались в квартиру гуськом. Последний, Семен Борисович, тщательно запер дверь.

— Чтоб им руки отсохли,— молвила Фира Львовна, неосознанно надевая передник,— гадам таким! Давно не видела этих надписей, лет сорок, наверное.
— А может, это относится не к нам,— пожала плечами Елена Исааковна.— Какой-нибудь чужой дурак нацарапал просто так, из хулиганства. И вообще не знал, кто живет в этой квартире. Может, это не о нас!
— Ну, конечно,— сморщил нос Михаил Исаакович,— это про Альтшуллеров из третьего подъезда!
— Ты очень умный, да? — взъерепенилась сестра.— Ты самый умный в этом доме? Так скажи умное слово! Объясни нам! Успокой нас!
— А зачем вас успокаивать? Вы и так спокойные. Вы сделали себе хорошее снотворное, что это все не про вас, и успокоились. Вы в полном порядке! Возле драмтеатра какая-то сволочь выдрала с мясом из рамки фотографию артиста Фрейфельда? Чепуха, это нас не касается! У Алика Берембойма на «Москвиче» нацарапали: «Абрам!»? Зачем нам волноваться? Это же не наша машина...
— О-ойсы! — передернула плечами Елена Исааковна и убежала к себе, хлопнув дверью.
— Ну ладно,— с трудом разлепила губы Фира Львовна,— хватит кричать. Мы все равно ни до кого не докричимся. Пора обедать,— и уже громче позвала,— Сема, иди кушать.

По выходным дням в этом доме обедали в три смены. Небольшой кухонный стол, купленный по случаю стариком Бронштейном перед денежной реформой шестьдесят первого года, мог принять двоих или — если потесниться — троих обедающих. Обычно первыми садились за него Михаил Исаакович и Семен Борисович.

— Они большие мужчины, им надо питаться,— объясняла первенство Миши и Семы Фира Львовна, сама не покидавшая кухни с утра до вечера.

Миша всегда поглощал еду торопливо, обжигался, крошил хлеб и стучал о зубы ложкой. Сема жевал медленно, уставившись в одну точку, точно корова на лугу. Вторая смена едоков включала в себя Исаака Лазаревича, Сашу, если он бывал дома, и, до сегодняшнего дня, Леню Раховича. Старик с полным ртом поучал молодежь или рассказывал свежепрочитанную газетную статью. Последними трапезничали женщины. Не из-за исконного восточного порабощения. Просто им уже никто не мешал, они ели долго и много разговаривали на свои, женские темы. Инна же, как говорили в этом доме, никогда не кушала по-человечески. Своевольная внучка либо устраивалась с тарелкой у телевизора, либо уносила еду в свою спальню и обедала, лежа с книжкой.

Когда Семен и Михаил почти одновременно погрузили ложки в горячий суп со шкварками, Фира Львовна сложила руки под грудью, вздохнула и проговорила как бы сама себе:

— Почему о н и нам не дают жить спокойно? Что они от нас хотят?

— Они хотят, чтоб мы уехали,— подул в ложку Михаил Исаакович,— раз и навсегда. Все. Туда. Подальше.

— Нет, они не хотят, чтоб мы уезжали,— сказал, прожевав, Семен Борисович.— Они не хотят, чтоб мы уезжали. Ведь если мы уедем — все равно куда,— то мы где-нибудь будем. Безразлично: в Израиле или в Биробиджане, но будем. А если мы где-нибудь будем, то нам т а м будет хорошо. Мы же такие хитрые, мы везде устраиваемся так, что нам хорошо!.. А как они могут допустить, чтоб нам было хорошо?

— Что же им надо? — снова вздохнула старуха.

— Чтоб нас не было вообще,— сочтя свое кредо заявленным, Семен Борисович выбрал в плетеной корзинке ломтик хлеба и продолжил трапезу.

— Мой Бог,— простонала Фира Львовна.

— Он прав, мама! Он прав на сто процентов! — Михаил Исаакович отодвинул полупустую тарелку.— Спасибо. Очень вкусно. Больше не хочу. Он прав!

— Нет, он не прав! — Исаак Лазаревич, бесшумно прокравшись по коридору к кухонной двери, размахивал газетой и топал ногами.— Фира, не верь им! У тебя может подскочить давление! А вы, два мужчины седые, зачем вы пугаете бедную бабушку?! Вас послушать, так завтра начнутся погромы!

— Может, и начнутся.— Бронштейн-младший поднялся с табурета и нервно сунул руки в карманы.— Завтра какая-нибудь «Память» бросит клич, который у нас возле двери, и начнется!

— Ты понимаешь, что ты говоришь?! — закричал Бронштейн-старший еще пронзительней.— Во все врэмена между национальностями были трэния. Там не любят цыган, здесь — евреев, еще где-то чукчей. Везде кого-нибудь не любят. Так что теперь, вешаться? Не про нас будет сказано.

Михаил Исаакович выдернул из брюк левую руку и азартно принялся загибать на ней пальцы:

— Во-первых, нас не любят нигде! Ни в России, ни на Украине, ни в Сибири — нигде! В Америке, что интересно, нас тоже не любят. Нас не любят даже в Израиле — там другой язык и другие евреи. Во-вторых, скажи, к примеру, эстонцу, что он эстонец, он ведь только усмехнется. Скажи грузину, что он грузин, и он от гордости засветится. А попробуй сказать еврею, что он еврей! Что он сделает?.. Скажи на улице или в трамвае: «Ты еврей!» Само слово «еврей» — это у нас уже не обозначение национальности, это общепринятая форма оскорбления.

Семен Борисович тем временем спокойно доел суп и, воспользовавшись паузой, попросил у тещи добавку.

С отвращением глянув на тучного зятя, Исаак Лазаревич положил газету на холодильник, выпучил глаза и привычно схватил себя руками за волосы:

— Фира, кого мы вырастили?! Наш сын к старости лет сделался местным сионистом! Он сейчас пойдет с лозунгами к горсовету требовать справедливости. Что ты напишешь на своем транспаранте, сынок? Что? «Еврей — полноценный человек»? Или «Дорогу евреям в Совет Министров»? Тебе за это открытие дадут или Нобелевскую премию, или по морде. И будут правы!

— Зато ты всю жизнь умел держать язык за зубами! — заметил сын.

— Почему? Я говорил, но с головой, с умом говорил.

— И за это тебя приняли в партию!

— В партию меня приняли в тридцать девятом году, когда тебе было два годика, а Еля только должна была родиться, у нас тогда был настоящий праздник...

— Я знаю! Я эту праздничную историю слышу с детства!

— Фира,— старик протянул к жене обе руки,— твой сын похож на тебя как две капли воды. Ему тоже ничего нельзя сказать. Он тоже слушает только себя... Миша, сынок, ты можешь меня не слушать, ты можешь говорить, что думаешь. Слава Богу, у нас теперь поголовная гласность! Только, когда будешь говорить, думай, я тебя прошу, не только о своей выдающейся персоне. Думай о своих отсталых родственниках, и у тебя сразу появятся нужные слова!

— Папа, они должны чувствовать, что за каждое оскорбление, за каждое унижение они получат от нас отпор. Не суйся в огонь — обожжешься! И это ложь, что им все равно, кого ненавидеть. Не было бы евреев, был бы кто-нибудь другой?! Шиш! Фига! Кукиш! Никого бы не было! Они ненавидят именно нас. Евреев. Всех. Каждого. Тебя. Меня. Маму. Елю. Инну. Сашу. Они нас ненавидят физиологической, желудочной ненавистью. Они передают эту ненависть с генами своим детям и внукам, как получили ее от отцов и дедов.

— Фира! — призвал Исаак Лазаревич жену.— Ты слышала эту речь конгрэссмена от дэмократической партии?

Давно уже потерявшая нить разговора, Фира Львовна приняла у Семена Борисовича пустую тарелку и подала кисель с гренками. Старуха поняла, что насчет погромов ни мужу, ни сыну толком ничего не известно, а к бесплодным спорам у нее выработался стойкий иммунитет.

— Проживи Сталин еще несколько лет,— не унимался Михаил Исаакович,— нас бы всех погрузили в вагоны — и в Сибирь. На корм уссурийским тиграм. А с таким дисциплинированным партийцем, как ты, папочка, наша семья ехала бы в первом поезде в головном вагоне. Маме бы ты прицепил пролетарский бант, а сам взял бы в руки портрет дежурного вождя. Да еще бы выступал на митингах по пути, рассказывая, как ты по зову сердца едешь в скотском вагоне осваивать тайгу.

На Михаила Исааковича нашел приступ тяжкой безысходной злости. Это случалось с ним довольно часто. Он никак не мог отвлечься, сменить тему. Злость душила его, накатывала, точно рвотные спазмы, и он выплескивал из себя все новые и новые порции обвинений и колкостей.

Благополучный сын руководящего работника, коим до начала пятидесятых годов оставался Исаак Лазаревич, Миша Бронштейн столкнулся с этим сравнительно поздно. То ли должность отца оберегала его, то ли ему повезло с одноклассниками и знакомыми, то ли случайность имела место, но все рассказы об антисемитизме Миша воспринимал как свидетельства жизни на других планетах. И вот однажды, как раз в период борьбы с космополитизмом, десятиклассников, в том числе Мишу, вывезли на автобусную экскурсию по местам боев в соседнюю область. По дороге шофер подобрал двоих мордатых здоровяков в телогрейках. Войдя в салон, один из них тут же облапил девушку-экскурсовода, а другой обратился к юным пассажирам с такими словами:

— Сейчас мы будем сильно бить жидов и рыболовов!

— А рыболовов-то за что? — пискнул кто-то с заднего сиденья.

— Я так и думал,— заржал здоровяк,— что насчет первого пункта возражений не будет!

Реакция на старый анекдот у Миши была достаточно острой — он испугался. Он вдруг представил себе, как этот мордатый принимается его «сильно бить», и покрылся холодным потом.

Эпизод закончился благополучно. Никто никого не бил. Экскурсоводочка вполне профессионально высвободилась из объятий. Здоровяки, довольные своими шутками, вышли в следующей же деревне, не заплатив. Мишин страх сменился бессильной, изнурительной злостью. Губы дрожали, слезы застилали глаза. Рисовались картины страшной мести: вот он хватает обидчика за телогрейку и треплет, как котенка, а здоровяк громко просит прощения. Рядом же, на сиденьях, разговаривали и смеялись ничем не встревоженные одноклассники.

Лет через десять случился еще один казус, превративший редкие приступы озлобленности в хронические. Технолога М. И. Бронштейна потребовали на беседу к директору завода по совершенно пустяковым техническим причинам. Директор, отдаленно напоминавший скульптуру с острова Пасхи, сидел за инкрустированным дубовым столом. Миша стоял на ковре, перебирая листки с аргументами в свою пользу.

— Ты! — сказало начальство и показало на технолога пальцем.— Своими бумажками подотрись!

Впервые общаясь со столь высоким руководителем, Миша не оценил обстановку и позволил себе открыть рот:

— Да вы послушайте... да вы посмотрите...

— Подотрись! — рявкнул директор.— Или вы, жиды, не подтираетесь?!

Михаил Исаакович, как тогда, в автобусе, мгновенно покрылся лип-

ким холодным потом. Он уже понимал, что означает «сильно бить», и боялся до судорог, до столбняка.

— Что в вас, жидах, плохо,— продолжил директор, убедившись, что возражений не последует,— вы постоянно забываете, что вы жиды. И лезете, лезете из всех дырок. Ты, Бронштейн, карьеру у меня не сделаешь, это я тебе обещаю. Карьеру ты будешь делать в Израиле! А если ты хочешь получать у меня зарплату, то помни, кто ты. Говно! Это я тебе без всяких свидетелей говорю, чтоб ты понял. Я вообще имею указание вас, жидов, на работу не брать... Иди в цех и говори «спасибо», что я тебя не выгнал.

Михаил Исаакович со своими приступами злости не боролся, он считал, что имеет на них моральное право. Отец его взглядов не разделял и потому затыкал уши и поджимал губы:

— Я не хочу тебя слушать! Это уже просто глупости и оскорбления! Фира, мы будем сегодня кушать?

Семен Борисович Ривкин понял, что пора освобождать место у обеденного стола. Он поблагодарил тещу, протиснулся между спорящими и отправился в кладовку за мелом. Накинув на плечи старую рабочую рубашку, развел в баночке беленькую кашицу с клеем и со шпателем наперевес подступил к оскорбительной надписи.

Надо признать, что лестница в многоэтажном доме — место весьма обитаемое. Там все время кто-нибудь ходит, даже при наличии двух лифтов. Не успел Семен Борисович покурить, прикидывая способ уничтожения призыва, как внизу гулко затопали и послышался скрежет: тащили нечто большое, судя по звуку, железное. Ривкин неожиданно для себя засуетился, взмок и, забыв строительные навыки, дрожащей рукой быстро залялал слово «жидов». Пятидесятилетний мужчина чувствовал себя подростком, застигнутым за постыдным занятием. Сердце колотилось, на покрасневшем носу созрела мутная капля пота.

К счастью, шаги и скрежет стихли этажом ниже. Исполинским внутренним усилием Семен Борисович взял себя в руки и уже спокойно заштукатурил слово «Россию».

Теперь шаги зашелестели сверху. По ступенькам спускалась соседка, жившая в квартире над Бронштейнами-Ривкиными. В поле зрения Семена Борисовича попали красные стоптанные тапочки, щиколотки с варикозными венами и полы блеклого домашнего халата.

— Ой! Здравствуйте! — сказала женщина и замедлила шаги.

Ривкин снова почувствовал себя, как голый на площади. Невнятно поздоровавшись, он прижался к стене, почти уперся носом в побелку, как бы дал соседке дорогу. Та, однако, не торопилась, ее внимание привлек бестолковый лозунг: «Бей...— спасай...!».

— Что?! Обратно стенки обцарапали?! У-у, молодежь, бить их некому! Только ж месяц назад подъезд белили!

Ривкин безмолвно стоял лицом к стене, как во время облавы.

— А вы молодец,— похвалила женщина.— Сам шпаклюете.

Семен Борисович судорожно вытер пот и хрипло проговорил, не оборачиваясь:

— Проходите, а то мелом забрызгаетесь!

Выдержав паузу, соседка обиженно продолжила шаркать тапочками по ступеням и уже с нижней площадки склочным голосом сказала:

— Если вы думаете, что это нацарапал мой сын, то зря! Мой стены не пачкает и сам не пачкается! Вы лучше за своими присмотрите! Ваша-то красавица под парадным прохлаждается...

Едва дождавшись ухода соседки, Ривкин бросился к окну. На лестнице окна расположены очень низко, и солидному отцу пришлось чуть ли не встать на четвереньки, чтоб увидеть улицу. Дочь стояла у подъезда с незнакомым молодым человеком. Разговаривая, незнакомый молодой человек прикасался к краешку ее серого вязаного шарфа.

Семен Борисович понуро возвратился к надписи и стал с остервенением втирать в стену густеющую замазку. Закончив работу, он вымыл в ванной руки и набрал номер телефона квартиры Раховичей.

— Леня, может, хватит валять дурака? — спросил тесть как можно теплее.— Возвращайся домой.

— Инна вам что-нибудь говорила? — спросил зять.

— Нет. А что она может сказать?

— Она не хочет жить со мной,— голос Раховича загустел, словно замазка.

— Она сама, наверное, не знает, чего хочет!

— Инна меня не любит, более того, у нее есть другой человек.

— Да? — поразился Семен Борисович и сам понял, насколько подурацки прозвучал его вопрос.— Это точно?

— Она сама мне это сказала.

— Да-а! — протянул тесть и после долгой паузы закончил.— Ну, как знаешь. Тебе виднее...

Семен Борисович положил трубку на рычаги и в раздумье сдавил губами незажженную сигарету. Ему захотелось быть сейчас где-нибудь возле Лени Раховича на другом конце города и только изредка звонить сюда, в эту квартиру, чтоб справляться о здоровье тещи. Он уже видел спешащих к нему по коридору Елю и Фиру Львовну, мысленно слышал их вопросы: «Ну как? Ну что? А ты ему?.. А он тебе?..» — и, не дожидаясь всего этого, спрятался в ванной. Там тоже было окно. Семен Борисович отодвинул штору, оперся на подоконник и стал смотреть на две юные фигуры у подъезда. Сверху они казались маленькими и потому еще более юными. Сверху они казались детьми.

— Твои родственники нас заметили,— сообщил молодой человек.

— Все или кто-нибудь один? — Инна поправила капюшон «колхозной» куртки, не оборачиваясь.

— Один. Мужчина. Полный. Лицо круглое. Возраст более чем зрелый. Волосы рыжие и, по-моему, редкие. Глядит с тоской.

— Отец...

— Ты не похожа на отца.

— Бестактность!

— Отчего же? Констатация факта.

— Мой брат тоже не похож на отца. Что из этого следует?

— Только то, что гены отца у вас в семье не доминируют.

— Это точно. У нас в семье доминирует бабушка,— молодая женщина передернула плечами.— Ты мне все время делаешь какие-то неловкие комплименты. Я похожа на своих родственников, похожа в главном.

— В чем же?

— Я еврейка.

Виктор сдержанно усмехнулся и потрепал бахрому Инниного шарфа.

— Милая Инночка, не находишь ли ты, что принадлежность к славному племени Моисея должна подтверждаться не только формой носа и фанатичным блеском в глазах?

— А можно не так витиевато?

— Можно. Что, например, ты знаешь по-еврейски, кроме детских ругательств и сакраментального «азохн вэй», пригодного на все случаи жизни? Держала ли ты когда-нибудь в руках талмуд? А если держала, что смогла в нем прочесть, какую мудрость? Можно еще проще. Когда отмечается праздник «пурим»? Кто такие фарисеи? Между кем, собственно, велась иудейская война?..

Инна несколько раз хлопнула в ладоши вместо ответа.

— Браво, браво! Пристыдил! Ниспроверг! Оказывается, евреями не рождаются? Ими становятся, овладев знаниями и вековым опытом, и так далее. Что-то очень знакомое... Где-то я уже слышала подобное. Кстати, о священных книгах, многие ли русские держали в руках Библию?

— Ладно,— Виктор покаянно опустил голову,— давай не будем ссориться. Я неправ. И тема очень болезненная.

— Никто не ссорится. Я тебя готовлю к грядущим боям. Ты ведь зайдешь к нам?

— Сегодня?

— Сейчас!

Потоптавшись и помолчав, молодой человек посмотрел ей в глаза:

— Если ты не обидишься, мы постоим еще. Поговорим. А к вам сегодня заходить мне не стоит.

— Очень интересно!

— Погоди... твой муж ушел вчера. Они еще ждут его возвращения, они еще будут пытаться вас помирить. Твои близкие меня не примут.

Будет скандал или что-то вроде того. В конце концов меня выгонят, может, и по шее дадут...

— Ну! По шее не дадут. Нет у нас, семитов, этой вашей великоросской широты, когда чуть что — и в рыло!

— Ладно. Ты меня обнадежила, по шее не дадут, но кричать будут.

— Обязательно будут.

— Вот. Всем станет неприятно. У всех появится дурной осадок. А я, хоть это и не согласуется с твоими понятиями о великороссах, хочу тем не менее понравиться твоей родне.

— Как трогательно!

— Пожалуйста, послушай меня: лучше подождать. Мы показали сегодня меня издали, теперь дадим им время. Пусть привыкнут к мысли...

— А я? — пыла в словах Инны поубавилось, она куражилась по инерции, внутренне соглашаясь с Виктором.— Все это время, пока привыкнут, они же будут меня грызть. Ты не боишься, что меня загрызут раньше, чем ты соберешься им понравиться?

— Не думаю, чтоб тебя кто-то из них обидел всерьез. Тебя все любят.

Молодая женщина обернулась и подняла взгляд к отчим окнам. К отцу в ванной присоединилась мать, теперь с тоской они смотрели вдвоем. За кухонным стеклом стояли дедушка и бабушка, у бабушки губы шевелились, дедушка качал головой, то ли отрицал, то ли сокрушался. У всех четверых в лицах было нечто общее, сквозь раздражение, обиду и непонимание проглядывала обреченность, проглядывала провидческая уверенность, что все произойдет не так, как следовало бы.

— Ты себе не представляешь, что значит быть дочерью в еврейской семье! — простонала Инна.

— Действительно,— улыбнулся молодой человек,— никогда не был дочерью, а в еврейской семье тем более.

— Ой-сы! Не остри,— сказала Инна точь-в-точь, как ее мать.— То, что надо возвращаться домой до девяти и ложиться спать в одиннадцать, вообще ерунда. То, что, уходя в гости, необходимо сообщать номер телефона и точный адрес и документально доказывать, что твои подруги из п р и л и ч н ы х семей,—это еще полбеды. То, что дискотека—место, где выключают свет, чтоб щупать девочек, а городской парк — сборище наркоманов, насильников и погромщиков, тоже объяснимо. Но то, что тройка на экзамене в институте гарантирует в доме недельный траур с сердечными приступами у дедушки и пропажей аппетита у мамы,— это, я считаю, уже чересчур. Мини носят только шлюхи или старые девы, для которых голые ноги — последний шанс. Тенями и румянами пользуются или на сцене, или под забором. Ты прав, Витя! Какие мы евреи? Куда подевалась вековая ироничная еврейская мудрость? Где мягкость, лукавство, понимание, терпимость? Во что мы превратились? Озлобленные, мелочные, изворотливые, деспотичные, но, главное, испуганные, на всю жизнь испуганные. Когда я, совсем еще маленькая, ссаживала коленку, начиналась паника, словно в город опять заходят петлюровцы: бабушка вызывала неотложку, а дядя Миша укладывал чемодан, чтоб немедленно везти меня в Курган к профессору Илизарову.

— Прости, пожалуйста, а твой дядя Миша, он что, холостяк? Если не секрет, конечно.

— Анекдот знаешь? У немца есть жена, есть любовница, но любит он жену. У француза тоже есть жена и есть любовница, а любит он любовницу. У русского есть жена и любовница, но он любит выпить. У еврея есть жена и любовница, а любит он маму. То же самое и дядя Миша. Первую его жену я не помню, маленькая была. А вот вторая ушла от нас после того, как бабушка выбросила в унитаз котлеты ее приготовления. Стоял большой крик. Бабушка заявила, что пока она жива, ее сын э т о кушать не будет.

— М-да! — сказал Виктор, кротко улыбаясь.— Прелестная обстановочка. И ты собиралась сегодня же отдать меня на заклание?

Инна опустила голову и несколько раз оттиснула на влажной земле у края асфальта волнистый след подметки:

— Не трусь, прорвемся. Это у нас только на невесток гонения, а зятья живут в любви и холе... А вообще, подумай, конечно. Свое предложение руки и пламенного мотора еще не поздно взять назад. Говорят, мы еврейки, классные любовницы, но сварливые жены...

Виктор смял пальцами отвороты капюшона, нырнул под него и нежно поцеловал Инну:

— Иди-ка домой, ты озябла.

Когда Инна, мгновенно сбросив туфли и куртку в прихожей, юркнула в свою комнату, а Фира Львовна направилась туда же прокурорским шагом для обвинительной беседы, на пути жены стал Исаак Лазаревич и протянул к ней руки ладонями вперед:

— Подожди! Дай мне сперва спокойно уйти на партсобрание!

Фира Львовна сразу обмякла, походка ее сделалась шаркающей, лицо — трагическим. В этом доме Исаака Лазаревича провожали на партийное собрание, как на фронт. Ритуал отрабатывался годами. Сначала Фира Львовна стояла в дверях спальни, напряженно сцепив пальцы под грудью, пока Бронштейн натягивал носки и душил себя полосатым галстуком-самовязом. Потом переходили на кухню, долго сидели там, вздыхали и барабанили пальцами по столу. А после, в передней, стоя, муж получал от жены последние наставления:

— Если будут читать новое «закрытое письмо», запомни слово в слово. А то потом не можешь толком ничего рассказать. В конце собрания отведи в сторонку секретаря партбюро и тихо спроси с глазу на глаз: будет война или нет? А вдруг он что-нибудь знает?

— Фира, откуда он может такое знать? Он работает в жэке, а не в министерстве иностранных дел!

— Тебе что, трудно спросить?

Тут Бронштейн обычно вздыхал особенно глубоко и шумно, отпирал входную дверь и, выпрямившись, шагал к лифту, широко разводя носки ботинок.

Так, в общих чертах, происходило и в эту субботу, но с одним маленьким нюансом: Фира Львовна, дожидавшаяся, как правило, на пороге квартиры, пока за мужем сомкнутся створки лифта, сегодня заперла дверь сразу, как только он вышел на лестницу, сняла передник и ринулась в комнату внучки. Елена Исааковна была уже там. Семен Борисович маячил в коридоре неподалеку.

— Ну? — спросила любящая бабушка, наливаясь малиновым цветом.— Так ты говоришь, что ты умная девочка? Или ты говоришь, что ты порядочная девочка?

Инна не говорила ничего. Она сидела, с н о г а м и, на превосходной двуспальной румынской кровати и переводила отсутствующий взгляд с бабушки на маму и обратно. В такие минуты Елена Исааковна свою дочь ненавидела. Что Инна, что Саша научились как бы отключаться от внешнего мира, если проявления этого мира их не устраивали. Научились, когда удобно, смотреть, но не видеть, слушать, но не слышать. Дочь водила за движущимися точками выпуклыми, как у мамы, но совершенно пустыми глазами. Это доводило до исступления. Хотелось орать, топать ногами, ущипнуть неучтивую девчонку побольнее.

— Что ты молчишь? — допытывалась Елена Исааковна, сдерживая бешенство.— Что ты дурочку из себя строишь?!

— А что? — переспрашивала Инна деревянным голосом.

— Ты же еще пожалеешь! Ты же еще будешь рыдать вот такими слезами! — бабушка чиркнула пальцем по пальцу, показывая, какими именно слезами придется рыдать.

— Ой-сы! — воскликнула внучка, не меняя выражения лица.

— Леня такой чудный мальчик! Умный! Красивый! Чистое золото! Что тебя крутит через одно место? Какого еще несчастья тебе надо? — воздела руки мать.

Инна безразлично пожала плечами и потерлась об одно из них щекой.

— Этот твой вежливый босяк, он лучше? Да? — неистовствовала бабушка.— Чем он лучше?! Он умеет в кошки-мышки проворнее играться?!

— Ба-абушка!

— Что бабушка? Что бабушка? Вот подожди, он один раз явится к тебе пьяный, даст тебе по физиономии, и ты сразу узнаешь, почем фунт изюма.

— Ой-сы!

— Еля, я слабею! — бабушка вытерла какой-то скомканной тряпкой обильный гипертонический пот. — Я не могу с твоей дочкой разговаривать по-человечески. Или она глухая, или я немая!

— Она не только глухая, она еще и слепая! Во всяком случае, она не видит, как мучаются ее родные!

Внезапно в коридоре возник неестественный звук. Плакал мужчина. Плакал на одной протяжной библейской ноте. «Ы-ы-ы!..». Так, наверное, должен был горевать близкий родственник Магдалины до ее знаменательной встречи с Мессией. Звук доносился из-за спины Семена Борисовича и не имел рационального объяснения до тех пор, пока в комнату не ступил его источник. Мелко перебирая ногами, вошел Исаак Лазаревич Бронштейн, он нес в очах две, с трудом рожденные слезинки.

— Ты бессовестная девочка! — провозгласил старик высоким вибрирующим тенором. — Как мы теперь будем жить?! Как я теперь буду жить?! Как я выйду на улицу?! Что я скажу людям?! Такого позора наша семья еще не знала!

Пораженные внезапностью явления, женщины безмолвствовали. Исаак Лазаревич ораторствовал в нехарактерной для этого дома тишине:

— Теперь, где бы я ни был, на меня начнут показывать пальцем, смеяться и говорить, что вот идет тот самый Бронштейн, чья внучка я не знаю кто. У твоих родителей будут на работе, наверное, неприятности! А ты как думала? У меня тоже могут быть неприятности по партийной линии! Мне скажут: «Товарищ Бронштейн, вы плохо воспитали свою внучку!», — и они будут правы! Вот что я тебе заявляю, внучка моя, иди сейчас на трамвай и найди своего мужа, стань перед ним на колени и попроси прощения. Пусть он вернется! Скажи ему, что ты сделала жуткую глупость, но дедушка тебе открыл глаза и ты все поняла! Иди, я тебе говорю! Иначе я не знаю, что я тебе сделаю, я тебя прокляну...

За время монолога слезы в глазах старика высохли, выпятилась нижняя челюсть и лицо приобрело почти зловещее выражение. Не желая допустить произнесения вслух кощунства, Фира Львовна подхватилась со стула и принялась легонько выталкивать мужа из комнаты.

— Откуда ты взялся? — спросила она, оттирая Исаака Лазаревича к двери. — Или собрание так быстро кончилось?

— Собрания не было. Его отменили. Докладчик умер.

— Умер? Ай-яй-яй! — загоревала старуха довольно неискренне. — А от чего он умер? Не про нас будет сказано, что с ним такое случилось?

— Я знаю? Может быть, у него тоже внучка выгнала мужа?

— Да-да-да! Ай-яй-яй! — тараторила Фира Львовна уже в коридоре. — Ты кого это собрался проклинать? Ты нашу девочку собрался проклинать? Ты хочешь, не про тебя будет сказано, чтоб у тебя еще и с Богом были неприятности? Тебе мало неприятностей с людьми?

Со словами «Сумасшедший дом!» Елена Исааковна покинула комнату дочери вслед за своими родителями, оставив свое строптивое чадо недораспропагандированным. Место жены занял муж. Семен Борисович поскреб ногтем полированную спинку румынской кровати, трудно вздохнул и так же трудно молвил:

— Может быть, тебе не стоит спешить?

— А я никуда и не спешу, — удивилась дочь.

— Я имею в виду, — снова вздохнул Семен Борисович, — не надо спешить... ну, с ним, с твоим Виктором.

— В каком смысле?

— В прямом! — непонятливость дочери раздражала. — Не торопилась бы ты пока с ним... ну, сближаться.

— Ах, вот оно что! Я как-нибудь сама разберусь.

— Что? Уже? — догадался отец, и так как Инна промолчала, еще раз вздохнул. — Ну, как знаешь. Тебе виднее.

По субботам ужинали в этом доме точно так же, как и обедали. В тесной кухне, где уютно чувствовала себя только Фира Львовна, за столом площадью с пятикопеечную монету, едва не ударяясь друг о друга лбами, первыми начали есть и спорить Семен Борисович с Михаилом Исааковичем. Поводом для спора послужило неосторожное замечание Ривкина о судьбе еврейства в мировом масштабе:

— Этот спасаемый Богом народ, — изрек вдруг Семен Борисович, жуя говяжью печень с макаронами, — размазан по земному шару, как... я не знаю, как что!

— Надо везде быть евреем, — замотал головой Михаил Исаакович. — Надо и в Африке быть евреем, если ты живешь в Африке. Если тебя размазали ровным слоем по какой-нибудь Африке.

— Я говорю, этот спасаемый Богом народ, — гнул свое Семен Борисович, — размазан ровным, а главное, тонким слоем. И его не наскрести на что-нибудь выдающееся.

— На что именно? На что выдающееся?

— На государство, например. Или хотя бы на автономную область.

— А Израиль? А Биробиджан?

— Кто туда поедет? Ты туда поедешь, в Израиль? Или ты поедешь в Биробиджан? Ты там будешь жить?

Михаил Исаакович отринул тарелку и втянул воздух носом:

— Если мы с тобой прилипли задницами к своим табуреткам, это еще не значит, что все живут с липкими задами. Есть другие люди, есть молодежь...

— Какие люди?! Какая молодежь?!

— Открой глаза...

— Нет, это ты открой глаза! Ты со своим лозунгом «Евреи всех стран, соединяйтесь!» похож на старого раввина, который вместо свежей газеты читает талмуд. Молодежь уже давно нашла выход и правильно сделала, — лицо Семена Борисовича стало темно-кирпичным, вилка с двумя наколотыми макаронинами застыла на полпути от тарелки ко рту. — Они женятся и выходят замуж за русских. Они просто с русскими спят. И очень хорошо! И молодцы! Может быть, на наших детях и внуках кончится это проклятие, может, хоть они проживут спокойно. А там... кто будет разбираться, был его дедушка евреем или не был. И все! Ты понимаешь? Все-о-о!

На несколько секунд Михаил Исаакович онемел. Он водил из стороны в сторону подбородком, будто ему давил шею воротник, и тыкал пальцем в направлении оппонента, пока наконец слова не хлынули из разверстых уст:

— Ой, какой же ты... Я тебя, оказывается, совсем не знал. Я так думал, что ты умный человек!

Семен Борисович снова принялся за макароны. Замершая вилка продолжила свой путь, как после стоп-кадра. К лицу возвращался природный цвет. А Михаил Исаакович есть уже не мог, тыча пальцем, он захлебывался словами, нервничал и даже немножко брызгал слюной:

— Случись завтра какая-нибудь заваруха — тебя первого поставят к стенке. Чтоб ты знал, это судьба всех отщепенцев!

Семен Борисович спокойно жевал, его тарелка неумолимо пустела. Хоть он не присягал на верность знамени царя Соломона, спорить с шурином, очевидно, было бесполезно.

— Нет, тебя-таки расстреляют первым, — настаивал Михаил Исаакович. — Ты же еврей! И от этого ты никуда не денешься. Национальность, как Родину, не выбирают! Тебя поставят к стенке эти, потому что еврей, который не хочет быть евреем, хуже антисемита, и тебя поставят к стенке те, потому что для них ты никогда не станешь своим.

Семен Борисович ел. Опасность скорой и жестокой расправы его, по всей видимости, не взволновала, во всяком случае, он никак на нее не прореагировал.

— Сема, подумай, взвесь! Мы не должны раствориться, вернее, нас не должны растворить. Мы уникальная нация, исключительная. Сема, ты ощущаешь свою исключительность?

Отрицательно покачав головой, Семен Борисович потянулся за компотом. В кухню пришла Елена Исааковна, она одновременно начала говорить и перебирать руками чашки, блюдца и вообще все, что попадалось на глаза:

— Миша, чего ты от него хочешь? Ты хочешь, чтоб он пошел на митинг? Так он не пойдет! И никто из нашей семьи не пойдет. Это надо быть сумасшедшим, чтоб пойти. Ты же сам не пойдешь! И потом, где эти митинги? Митингует у нас «Память», а евреи сидят тихо. Так что ты от него хочешь? Чтоб он думал, как ты?..

Допив компот, Семен Борисович выудил из заднего кармана своих синих спортивных штанов сигарету, из стопки на холодильнике взял «Литературку» и скрылся в ванной. Махнув на шурина рукой, Михаил Исаакович принялся доедать остывшие макароны. Пришедшая на помощь дочери Фира Львовна мыла тарелки и вздыхала:

— Что за мир?! Что за люди?! Сначала они тридцать лет были всем довольны, и все было хорошо, потом они тридцать лет были недовольны, и все тоже было хорошо. А теперь тихий ужас! Одни довольны, другие недовольны, они ругаются между собой и чего-то все время хотят. А спроси у них, — чего, так они долго будут думать и все равно путного не придумают.

По субботам в этом доме вечером каждый сидел в своей комнате, если не было «До и после полуночи», если «До и после полуночи» было, то все сходились к цветному телевизору в большую комнату Ривкиных. В эту субботу каждый сидел у себя. Михаил Исаакович назло домочадцам слушал по японскому приемнику «Маяк», всемогущая радостная радиостанция транслировала концерт «Виртуозов Москвы». В ванной Семен Борисович, покусывая давно погасшую сигарету, читал статью о СПИДе, статья в самом деле увлекла его, он читал очень внимательно, прикидывая, как бы поярче пересказать содержание дочери. Дочь в это время на роскошной своей кровати читала подаренный Виктором роман Себастьяна Жапризо — жуткий детектив с хорошим финалом. Исаак Лазаревич по маленькому черно-белому телевизору, а Елена Исааковна по большому цветному, каждый в своей спальне, смотрели один и тот же фильм о войне с огнем, с грохотом, со связистом, сипло кричащим: «Волга, прием, я Днепр!», и с любовью санинструктора к комбату. На кухне Фира Львовна готовила обед на завтра, она осторожно гремела крышками кастрюль, прислушиваясь к входной двери: до сих пор не возвратился Саша.

В этом доме, как, наверное, и в любом другом, молодые отпрыски возвращались домой поздно. Саша, например, вернулся в первом часу ночи.

— Быстро мой руки и садись кушать, — скомандовала любящая бабушка громким шепотом, поскольку остальные уже спали, и принялась разогревать заботливо отложенный для внука кусок.

Раздевшись в прихожей, внук томно повел очами, ввалился на кухню и шлепнулся на табурет неподалеку от плиты.

— Бабуля, я ничего не хочу, но если ты настаиваешь, могу молочка или компотика. Что есть. Я не сноб.

— Поел бы раз в день, как человек, — прошипела Фира Львовна, — был бы похож на человека. Одни кости, одни кости! Иди ужинать, я сказала!

— Бабуля! — с чувством произнес Саша и, не покидая табурета, ткнулся лбом в бабушкино предплечье. — Ты крутая женщина. И хозяйка хорошая. Если бы твои руки и сердце не были заняты дедулей, я бы на тебе женился, слово джентльмена.

— Э-э! — посокрушалась бабушка. — Нашел подружку для шуточек?! — и поставила перед внуком большую чашку компота.

— Ну как прошел день в нашей большой и дружной коммуналке? — вопрос прозвучал между глотками.

— Ой! Лучше не спрашивай.

— Что? Переругались? Опять, небось, дискутировался еврейский вопрос? Или исследовали общими усилиями интимную жизнь моей благонравной сестрички?

Бабушка устало стащила через голову передник и грустно молвила:

— Я бы хотела, чтоб ты женился все-таки на еврейской девочке, но разве ты меня послушаешь...

— Мне бы ваши заботы, — сказал отпрыск, сладко потянулся и ушел спать.

1988—1989. Харьков

Светлана Кекова

ЗЕРКАЛА

ОТ РЕДАКЦИИ. Предваряем публикацию стихов Светланы Кековой выдержкой из письма поэта Бахыта Кенжеева, живущего в Монреале, Канада.

«<...> Когда я писал статью о «Юности», то за год из ста авторов нашлись две звезды первой величины. Одна — известный и вам, и всему свету Чичибабин. Вторая — некая Светлана Кекова, представленная всего двумя стихотворениями в первом номере за 1989 год. Вот ее-то судьба и стала непосредственным поводом к этому письму. Я сам ей написал из Монреаля, потом уже в Ленинграде получил от ее ценителей корпус текстов — две машинописные книги, подборку последних стихотворений. Кое-что с восторгом приняли «Русская мысль» и «Континент», но смысла в этом немного, сами понимаете — разве что тщеславие потешить. Сама Светлана (будучи 39-летней матерью двух дочерей и обитательницей мало приспособленного к жизни города Саратова) своих стихов никуда не носит (они, правда, печатались когда-то в «Лит. Грузии» и «Лит. Таллинне»), и мне приходится прибегать к такому сюрреалистическому способу, как прислать кое-что вам из-за океана со следующим заклинанием: я прочел в жизни чертову уйму разнообразных стихов, и по пальцам одной руки можно пересчитать случаи, когда настолько перехватывало дыхание (хотя стихи ее, конечно же, неравноценны, много, как у Блока, проговорок и музыкальных пауз). Однако в лучших образцах это, на мой непросвещенный взгляд, будущая классика конца века.

Сможете вы сразу же, как говорили в дни нашей юности, «врубиться» в эти стихотворения — то есть оценить их глубину, трагедийность и главное — красоту? Скажу только, что все это доставляется благодарному читателю на гребне того, что сам я больше всего ценю, — музыкальной волны, насыщенности непересказуемыми смыслами, которые рождаются из столкновения звуков (мы как-то говорили об этом и сошлись на том, что нынешняя русская поэзия эту культуру в значительной мере утратила), а еще — из столкновения слов, окрашенных отсылками к предшественникам. Проблема в том, что большинство читателей считает: все стихи высшей пробы уже написаны когда-то какими-то хрестоматийными людьми из Серебряного века, на нашу долю осталось сочинять, как бы это выразиться, продукцию несколько уцененную. По этому сама естественность стихов Светланы Васильевны, их внешне простая (на самом деле виртуозная) интонация и свобода в обращении с цитатами могут «не узнаваться» — так, извините меня за американскую метафору, профан принимает современный «роллс-ройс» за копию автомобиля 1920 года. Не говоря уж о том, что нынешний читатель порядком отвык от того, что поэт должен быть отважен — ставить знак равенства между любовью и смертью, например, или, всматриваясь в царство насекомых и земноводных, чувствовать свое родство с ними, а не с проблемой, например, духовного возрождения интеллигенции в Саратове или отделения Литвы. И — где нужно — иметь чувство юмора.

В который раз русская провинция преподносит нежданные сюрпризы! Чичибабин, Цветков, Алейников, Кублановский, Лимонов... Если бы я стоял у вас на очереди в журнале, я бы уступил ее этому замечательному поэту <...>».

Бахыт КЕНЖЕЕВ

●

Пространство выгнуто, как парус, —
везде закон его таков.
И составляют верхний ярус
большие лица мотыльков.
Покуда мы еще над бездной
по пленке тоненькой скользим,
своей печалью безвозмездной
мы Божий мир не исказим.

Жизнь, как вопрос неразрешенный,
мы оставляем на потом,
и дятел, разума лишенный,
и рыба вод с открытым ртом
похожи на ключи, из скважин
торчащие, — и видно им,
как человек обезображен
и сыт неведеньем своим.

●

Не видно камня́м, черепахам,
земле, превратившейся в ад,
как, связаны смертью и страхом,
над городом люди летят.

На дереве старом омела
прозрачна, как ангельский лик,
и вновь распадается тело
на грешную плоть и язык.

Так пахнет полынью цитварной,
так темен звериный устав,
что вновь обновляется тварный
подлунного мира состав.

И тянет в себя, как воронка,
кровавого мира строка,
и рвется, где нежно и тонко,
небесная ткань языка.

Но, духом смиряя движенье,
полет торопливый и бег,
в бессмертном своем униженье
стоит на земле человек.

Не видит, не слышит, не внемлет,
не хочет он знать ничего,
и ветер пустынный колеблет
материю платья его.

●

Чуть помедлив, вздохнешь, уходя,
в темноте безнадежно кивая
на распятое тело дождя,
на расколотый череп трамвая,

на его обнажившийся мозг,
искореженный временем, ржавый,
на закрытый газетный киоск
и звезду над Российской державой.

Ветер грубо срывает с ветвей
предпоследние призраки плоти,
словно жизнь не бывает мертвей
в человеке, в душе и природе.

Ты покинул родные места,
но в глуши, над больницею земской,
словно призрак, блуждает звезда,
отраженьем звезды Вифлеемской.

Спи, несчастная, как тебя звать?
Ты, на горе родившая сына,
на железную ляжешь кровать,
и приснится тебе вся небесная рать
и какого-то грека картина:

В бывшей церкви стоят пастухи,
бродит скот в алтаре
за крещальней,
средь соломенной светлой трухи
спит дитя все светлей
и печальней.

Возле яслей четыре вола
наклонили могучие выи...
Да, у времени есть зеркала
и огромные рамы кривые.

●

...И дети не вернутся к нам
из недр земных — худы и слабы...
Смотри — по нищенским холмам
ползут кладбищенские крабы.
Как схожи с куполами волн
колокола молчащих звонниц!
На кладбище могильный холм
усеян крыльями лимонниц.
Но головы катились с плах,
шумело время, шла работа,
возили землю на ослах
через Дамасские ворота,
вздымался океан земли,
и петухи кричали в Риме,
огромных храмов корабли
стояли в Иерусалиме.
От скрипа похоронных дрог
качался в небе месяц узкий,
то там, то здесь кресты сорок
пейзаж венчали среднерусский.
Деревьев трескалась кора,
ее касался ветер ссыльный,
и так хотелось до утра
глотать холодный воздух
пыльный.
Но этой рати несть числа...
Спасаясь от ее коварства,
ползут по суше существа
из промежуточного царства.
Алмазный крест вверху горит,
встречает войско многопалых
шуршание сухих акрид
и дикий мед на темных скалах.
Но этих черт не исказит
глухая жажда обладанья,
а смерть навек преобразит
в любовь энергию страданья.

Печальные октавы

Вот ангел. Вот крылья его за плечами.
Смотри же, мой друг, не коснись ненароком,
иначе в короне житейской печали
событье любви перед мысленным оком
предстанет. И то, в чем его уличали,
к тебе подойдет и в покое глубоком
тебя голубыми крылами обнимет,
руками коснется — и разум отнимет.

Ну что ты глядишь, как старик богомольный
на ангела? Что я такого сказала?
На том берегу есть завод мукомольный,
идет пароходик с речного вокзала;
мы купим билеты в печали невольной:
ведь два — это много, один — это мало...
Наверное, лучше нам взрослый и детский
купить. Но орех разбивается грецкий

волны. Под прозрачной ее скорлупою
в морщинистой плоти увидеть сумей-ка,
как зеленью теплой и влагой тупою
себя окружили Сазанка, Шумейка.
Туда ль мы поедем сегодня с тобою?
Вот солнце в воде, как большая копейка,
вот птица летит над водой неизвестной,
вот двое несчастных в каюте двухместной.

У ангела крылья как будто мукою
присыпаны. Легкий ли запах пшеницы
отводит он ласково легкой рукою
от нас, или будущий крик роженицы?
И дети грудные кричат над рекою,
а вечером редкие блещут зарницы,
а мы все плывем и не слышим ни звука,
но в слове мукá просыпается мýка.

Увы, не простой перенос ударенья
со смыслом рождает опасные шутки,
мы все объясняем дефектами зренья
и слуха. Плывем мы десятые сутки
по этой реке. Растираем коренья
в муку. И летящие дикие утки,
предчувствуя муку, рыдают протяжно,
и лебеди плачут. Но это не важно.

Появится скоро пейзаж деревенский
и куст тамариска у окон усадьбы,
где голос высокий, наверное, женский
поет про короткие летние свадьбы.
А волны толпятся, как город губернский
на пестром базаре июньском. Узнать бы —
что там покупается, что продается,
ведь высшее знанье нам свыше дается,

потом отнимается. Наши потомки,
рожденные в муках неведенья дети,
сухие лепешки положат в котомки,
из речки слабеющей выберут сети.
Их руки прозрачны, их волосы тонки,
наверно, им трудно живется на свете,
но берег их детский, заросший осокой,
судьба заслоняет водою высокой.

И ты не увидишь, и я не узнаю,
какие огромные пройдены вехи,
закрыта на ключик шкатулка резная,
в которой лежат водяные орехи.
И сорвана с вётел одежда сквозная,
и брошенный ангел меняет доспехи,
и лик его светлый, как память, мерцает,
а сын его малый на лире бряцает.

Забудем, забудем, забудем навеки,
на мельницу сплавим, в муку перемелем...
Друг друга водою обнявшие реки
томятся в угоду неведомым целям.
У ангела в небе слипаются веки,
и дети бегут по лагунам и мелям,
лежит поплавок на подушке пуховой,
висит колокольчик на ветке ольховой...

●

Путь гадюкою завился,
ангел крылья опустил,
муравей остановился,
лапой мир перекрестил.

Бес прошел, стуча копытцем
на высоком каблуке,
пробежала тень по лицам
рыб, плывущих по реке.

Птица в терем деревянный
поселилась жить навек,
на поляну с песней странной
вышел мертвый человек:

«Надо мной летает бражник,
а за мною ходит стражник,
тяжело ему ходить —
ходит стражник и бормочет:

— То ли ржа железо точит,
то ли где-то крикнул кочет...
И меня тот стражник хочет
утром в клетку посадить.

Я у Бога на заметке:
по камням и по траве
я хожу в железной клетке
с бабочкой на голове».

Воздух в камень превратился,
больно птицам в камне петь,
жук за голову схватился,
Бог занес над нами плеть.

Певчий ангел сел на ветку,
превратилось зренье в слух,
и, сломав грудную клетку,
на свободу вышел дух.

Он прозрачными руками
воздух каменный схватил
и пропал за облаками
в иерархии светил.

Там, где Южная Корона
и воинственный Стрелец,
держит жало Скорпиона
незадачливый беглец.

Он теперь раба покорней —
уроженец диких мест,
и его тоскою горней
осеняет Ложный Крест.

●

Я с усилием вижу сквозь морок и хлам:
некрещеные вещи стоят по углам.

Вот висит над кроватью, скрывая мольбу,
потускневшее зеркало с раной во лбу.

Есть у ночи таинственный дар слепоты:
ни тебя увидать, ни себя разглядеть,
лишь граненых стаканов квадратные рты
да остывшего чайника тусклая медь,
только дьявола сеть да воздушная клеть,
где пространство, как певчая птица, сидит,
где свеча, начиная дымиться и тлеть,
кругом легкого света тебя оградит.

Боже, как беззащитна твоя нагота!
Падший ангел глаза неживые открыл.
Незаметная родинка около рта
и невидимый трепет оранжевых крыл...

●

Чистотел отцвел и донник, звук протяжный отзвучал,
голубь сел на подоконник, твердым клювом постучал.

Глядь — уже стекло разбито, по стеклу ползет змея,
все прошедшее забыто, ничего не помню я.

Я не помню, ты не помнишь, мы не помним, он забыл,
сквозь двойные рамы смотрит Волга желтая, как Нил.

И волною шелушится тело влажное ее...
Чисто вымыта посуда, накрахмалено белье.

И в домах пятиэтажных поселился прочный быт,
как усопший в недрах влажных треугольных пирамид.

Чьи угодья, чьи владенья разместились там и тут?
Как кирпичные растенья из земли сырой растут?

Почему сидят у окон запотевших млад и стар?
Что за каменные листья дом трясет на тротуар?

— Там, где дом кирпичный вырос, призрак царственный возник
и вокруг него папирус расплодился и тростник.

Волны Нила ледяные бьются с силой в берега,
и орехи водяные прячут острые рога.

●

Ночь да будет слепящей, пусть звезды немного косят,
над провинцией спящей летучие мыши висят.

Рыбам в длинной реке удержаться легко на плаву,
если лис пробежит и хвостом не заденет траву.

Там, в траве порыжелой, угрюмые бродят жуки
и ежи пожилые колючие мнут пиджаки.

И вращается время большим цирковым колесом,
воздух Богом несом, и поэтому он невесом.

И поэтому всюду сорок распластались кресты,
и, послушные чуду, небесные воды чисты.

В этой черной воде отражается каменный лес,
а растение жизни не может достать до небес.

●

Пусть время ходит ходуном, в ручье течет вода,
в бокал с коричневым вином опущен кубик льда

Русалка движет под водой серебряным хвостом,
и ходит мельник с бородой, как бес перед постом.

И знаю я, и знает он всех рыб наперечет;
вот это — рыба-скорпион и рыба-звездочет,

вот ёж морской в короне игл, а вот рогатый бык,
а вот на дне, зарывшись в ил, лежит морской язык.

Но кто молчит, и кто им лжет, кто правду говорит?
Он жизнь теснит, и нёбо жжет, как чистый спирт, горит.

Нам эта речь не по плечу, и, сев в рыбацкий челн,
мы видим плоскую свечу среди прозрачных волн.

Одной рукой обняв меня, в другой сжимая крест,
пришпоришь доброго коня, и все сорвется с мест:

и колченогий сброд вещей, и жизни мелкий сор,
и нужно время гнать взашей, скакать во весь опор.

Сияет солнце в облаках, летят любви гонцы —
с жемчужной сыпью на боках тибетские гольцы.

Они, раздевшись догола, вступают в некий круг,
дрожат нагие их тела и ждут своих подруг.

Ты засмолишь ковчег, как Ной, и встанешь в полный рост,
а в небе над моей страной лишь очереди звезд,

Там две медведицы ревут, и слышен вой собак,
морские ангелы плывут, клешней поводит рак.

И ты воды откроешь ларь и воздуха дворец,
в одной стихии будет тварь, в другой — ее Творец.

●

У прошлого запах укропный — и мне не сносить головы...
Смеркается. Зверь допотопный выходит из темной травы.

Ни страха, ни плотского пыла, ни плоской звезды в кулаке —
сорвем ли кукушкино мыло и спустимся к мелкой реке,

возьмем ли себя на поруки, сойдем ли случайно с ума —
Саратов, Великие Луки, Москва, Петербург, Колыма

плывут по теченью поло́вой, корой и древесной трухой,
а волны горы Соколовой покрыты сиренью сухой.

Шиповника нежная рана видна сквозь нетающий снег,
двадцатого, в месяц нисана, Господь остановит ковчег,

и ты, очарованный странник, изгнанник и вечный изгой,
увидишь звезды многогранник сквозь ставни с тяжелой резьбой.

Ты Библос увидишь и Фивы и крикнешь, как Ной, в пустоту,
что листья двудомной крапивы у голубя сохнут во рту,

что Ноя послушное семя приветствует ангелов рать,
а нам — сквозь пространство и время друг друга по имени звать.

г. Саратов

Владимир Сотников

РАССКАЗЫ

С первых дней являясь одним из самых талантливых студентов, он занимался в литературном семинаре, который я вел в 1983—1987 годах. «Читающий мальчик» — так я его назвал про себя для первого и не претендующего на точность запоминания; дальнейшие занятия лишь утвердили то, что угадалось с первого и скорого взгляда. Прошло время, теперь «читающий мальчик» обрел имя и, кажется, судьбу — писатель Владимир Сотников; ниже — его проза.

В. МАКАНИН

ПОЖАР

Когда приблизился рассвет и воздух побледнел, все обнажилось, словно вывернулось наизнанку. Разбросанно валялись обугленные бревна — сырой дым поднимался густо и нехотя. Казалось, пожар был где-то рядом, недалеко, а здесь вдруг оказались, притягивая к себе страхом, и эти бревна, и бесстыдно оголенная печь. Запах гари — уже ставший неотвратимым — стоял надо всем этим.

Всю ночь мелькали, кричали люди. И когда поняли, что надо дать догореть — поутихли. Стояли неровной толпой и смотрели. Разница между резким жаром, бьющим в лицо, и холодом в спину — завораживала. Скоро надоело так стоять, и люди стали переходить друг к другу, переглядываясь и озираясь. Все они жили на одной улице, но казалось, что встречаются взглядами впервые; как на похоронах, в их глазах молчали понимание и пустота.

Вместе с домом сгорела и старуха. Она долго жила здесь одна, и все давно привыкли к ней, как к пустому месту. Звали ее Гейчиха.

Со страхом ходил я среди людей, стараясь найти место повыше, чтобы увидеть, как где-то возле погнутой бревнами кровати лежит то, что осталось от Гейчихи. Раньше она меня пугала своей молчаливостью и одиночеством — это было непривычно ясно для меня, что она одна: и ходит по улице одна, и дома сидит тоже одна. Когда я залез на забор и вглядывался во что-то, и боялся рассмотреть хорошо — этот страх не изменился, а только стал намного сильнее.

Тогда мне казалось: все, что было связано с Гейчихой — ее пугающая молчаливость и одиночество, — были с ней все время, пока она жила, а теперь Гейчихи нет, и некуда деваться и молчанию, и одиночеству. Чувства эти, как невыносимый запах гари, висели надо всем: над пожарищем, над тем, куда до слез вглядывались мои глаза; и было страшно, что никуда это все может не поместиться, а только будет напрягаться в воздухе, усиливаясь с каждой минутой.

Когда я возвращался зимними вечерами из школы, то недалеко от своего дома — он стоял напротив дома Гейчихи — затихал, таил дыхание

и хотел как можно быстрее оказаться дома, в уютном и светлом тепле. Гейчихины окна тоже были ярко освещены, но за занавесками не мелькали тени, как во всех домах улицы, и казалось, что окна эти напряженно вглядываются куда-то, не мигая. Я знал, что мой страх останется таким же и после пожара, только станет сильнее, словно меня кто-то увидел, наконец, в темноте и смотрит, не отрываясь.

Больше всего Гейчиха не любила свиста. А я все время, когда летом не с кем было играть, насвистывал, прогуливаясь возле дома, не зная, что можно делать одному. Она выглядывала в окно и показывала кукиши. Большой палец при этом прижимался к самому стеклу и оттого казался еще бо̀льшим. А за кукишем странно улыбалось ее лицо.

Изредка она ходила с маленьким узелком в магазин. Для нее эта дорога была долгой, потому что ступала она, почти не отрывая ступни одну от другой — мы еще с хлопцами смеялись, что хорошо бы Гейчихе мерить расстояние между штангами ворот, когда мы играли в футбол. Потому что замеряли мы ворота так же, как она ходила, — ступнями. Я всегда ездил за хлебом на велосипеде, и если хлеба вовремя не привозили, делал несколько рейсов за день — и догонял и встречал ее много раз, почти у каждого дома нашей длинной улицы.

Мой сосед Павел — он был самый рослый из всех нас — говорил, что на чердаке у Гейчихи должно быть спрятано с войны оружие, наверное, пулемет. У Павла отец в войну был, кажется, полицаем — и Павел говорил о войне всегда знающе и много. На дворе у них, на гвозде, висел чехол от немецкого противогаза, там были гвозди, старые железки. И как-то они были похожи — отец Павла, сутулый большой старик с седой щетиной, и висящий на стене сарая чехол. Не то, чтобы похожи, а так: когда представлял я отца Павла, то перед глазами почему-то вставал и этот ржавый цилиндр. Однажды мы с Павлом дождались, когда Гейчиха ушла в магазин, и залезли к ней на чердак. Там пахло сырой глиной — дождь протекал по печной трубе — и плотно лежала старая солома. Мы лазили, стараясь просунуть руки в эту солому, нащупывали ногами. Ничего не нашли — только в дальнем углу лежали гнилые яблоки. Среди них были и хорошие, твердые, и мы почему-то набрали их себе за пазуху. Я не понимал, почему мы смеялись; Павел часто так смеялся, заливаясь, непонятно отчего.

— Как ты чуть не провалился сквозь чердак, — говорил он и опять заливался, вспоминая, как моя нога просунулась в солому. И я тоже смеялся. Кусая яблоки, мы пошли на луг — там хлопцы играли в футбол. Потом мы бросались вместе со всеми этими яблоками, и один из нас, Толя, придумал новый способ, как сильнее бросать. На прут он насаживал яблоко, резко им взмахивал — и яблоко летело далеко. Перед моими глазами и сейчас стоит эта картина: Толя выбрал самое твердое яблоко, бросил его по-своему — и оно попало прямо в лоб Павлу. Тот упал, как подкошенный — лоб был мокрый от размозженного яблока, и сразу же выскочила огромная смешная шишка. Павел плакал, катаясь по траве, а мы наклонялись к нему, разнимали его руки и не могли удержаться от смеха.

Гейчиха часто и помногу молилась. В сумерках своей хаты — даже днем там было темно — она зажигала лампадку и стояла возле иконы. Первым об этом узнал Павел. Заливаясь своим смехом, он рассказывал нам, и потом придумал — и мы все как-то согласились, да и не согласились, а так: просто слушали, чтобы потом сделать. Павел принес велосипедный насос и показал, как далеко он брызгает водой. Мы тихонько подкрались под окна Гейчихи; она стояла перед иконой, точно глухая. Кто-то отогнул гвоздики от оконного стекла и вытащил его. Мы сразу почувствовали запах ее хаты — он был такой же, как на чердаке, — затхлый запах сырой глины. Павел прицелился насосом в лампадку и изо всех сил нажал. Струя ударила с громким шорохом, разлилась о стену. Мне показалось, что лампадка ударила по потолку. Гейчиха, зажмурив глаза, как от страха, обернулась к окну. Я рванул убегать сразу, хлопцы еще остались немного, посмотреть, чтобы было что рассказывать; я убежал за свой дом и там остановился. Перед глазами была эта качающаяся лампадка и зажмуренные Гейчихины глаза — и слышался заливистый смех. А может, ничего не было у меня перед глазами; наверное, я боялся, что хлопцы будут надо мной смеяться. раз я убежал раньше всех. Может быть, это сейчас мне кажется, что перед глазами у меня была та картина — или она сейчас и появилась?..

После этого мы целое лето бегали с насосами — брызгались. Мишка рассказывал, что сидел с насосом на крыше своего сарая — сарай был возле самой улицы — и когда шла рядом Гейчиха, он сверху обдал ее струей воды. Мишка изображал, какое было у нее лицо.

Это все я вспоминаю сейчас. Не знаю, почему — не знаю, после чего это началось. Может быть, после одного моего недавнего сна. Мне снилось, что я в бреду — падаю, меня кто-то подхватывает, поддерживает. Я радуюсь этому и поддаюсь силе, которая медленно и настойчиво меня сваливает в мягкое забытье. Я вижу много-много мелких огоньков или иголочек — не помню. Кто-то мне говорит: «Это твои клетки — клетки твоего тела». Я напрягаюсь, вглядываюсь в них, но ничего не могу рассмотреть, и эти иголочки начинают меня колоть — потихоньку, сильней — во все мое тело. И я, показывая на них рукой, кричу: «Не может быть — это не мои... Не знаю... Они были до меня, они были всегда. И вот сейчас...»

И сейчас я опять вспоминаю то утро после пожара. Уже сложили все, что осталось от Гейчихи, в мешок и куда-то увезли, уже расходились потихоньку люди. И только запах гари, запах мокрой и обожженной глины висел надо всем. Так пахнет в бане, если, поддавая пару, попадешь водой на стенки печки.

Вставало солнце. Казалось, в свой красный цвет оно вместило и силу ночного пожара. А может, наоборот, — потускнело. Глаза устали за ночь и не умели различить.

СЛЕПАЯ БАБУШКА

Сегодня в ее очках выпало одно стекло. И длинное морщинистое лицо перекосилось, как сползший с одного гвоздя портрет. Мокрый глаз углубился и еле виднелся из-под века.

Когда я утром умывался возле рукомойника, бабушка медленно вышла из-под нависших на дорожку подсолнухов. Она держала перед собой руку, чтобы подсолнухи не ударяли в лицо, — по этой дорожке она проходила уже тысячи раз, и казалось, не думала, что идет, а просто слушала шорох подсолнухов. Я поспешил прополоскать рот, и ожидал, когда она подойдет.

— Доброе утро.

Она остановилась, взялась рукой за очки и посмотрела на меня.

— Доброго здоровья, — подошла ближе. — Холодная вода? Холодно уже тут умываться — надо в хате, — она никогда не говорила одно только «доброе утро», а всегда вот так добавляла что-нибудь. Она подошла еще ближе и просунула палец в пустое стекло очков, ожидая, чтобы я это увидел. Беззвучно смеясь, покачивала головой, словно приговаривая: «Вот, дожилась до чего...»

— Выпало? — Я сделал озабоченное лицо. — А стекло цело, может, вставить опять можно? — Я рассматривал полотенце, искал подходящее место, чтобы им утереться. Полотенце было полосатым — полоса темная, полоса светлая — широкие такие полосы, и я подумал, что люди делятся на тех, кто утирается темной полосой и кто утирается светлой. Я всегда успевал так подумать, когда брал в руки это полотенце.

— И что делать — совсем не вижу. Пропало стекло. Искала — и куда оно упало? А тут еще вот эта зараза, — бабушка дотронулась до изоленты, толсто накрученной на ушко очков, — камнем давит, аж голова болит.

Она все так же держала рукой очки, поворачивая голову то в одну сторону, то в другую, словно пробуя: может, прояснится что-нибудь. Так в детстве я смотрел через цветные стеклышки. А когда было затмение солнца, мы коптили простые стекла спичками и подолгу так глядели на небо, пока не начинали болеть глаза.

— Я посмотрю — может, из старых очков что-нибудь найду, стекло и ушко это, — сказал я, — давайте очки.

Я знал, что бабушка сейчас не снимет их.

— Ну, может, вечером, освободишься от работы — а то мне без очков совсем темно, — она поправила резинку на затылке; резинка держала очки, чтобы не спадали.

— Ага, вечером возьму, — я потихоньку пошел, все еще утираясь на ходу, в хату.

Там уже все завтракали. Я сразу не сел за стол, а еще покопался в ящичке шкафа. Отец спросил:

— Что ты?

— Да вот бабушке надо очки поправить — поломались.

— Ага, сынок, сделай, а то ж она совсем ничего не видит. Ходит — шатается.

Я ничего не нашел и сел завтракать. Я ел и думал, как найду маленький винтик, прикреплю отломанное ушко на очках, как вставлю новое стекло — и даже представил, как щелкнет при этом оправа.

После завтрака мы с отцом начали красить ставни. Краска оказалась белой, и мы захотели разбавить ее еще какой-нибудь, чтобы изменить этот больничный цвет.

— Сходи к бабушке — у нее была синяя краска, — сказал отец. Я почему-то не хотел идти.

— Ты, наверное, знаешь, где она лежит, может, сам сходишь? — посмотрел я на отца. — А я пока эту разболтаю.

Отец принес старую, облезлую банку, там была застывшая краска. Я сел на траву под окнами и стал размешивать. И знал, что сейчас придет бабушка — вот она идет, как пьяная глядит перед собой, оступается при каждом шаге. Пришла к самому окну:

— Что, уже покрасили? А какой это цвет? — И рукой щупает ставни. — Так они ж сухие!

— Ну что ты спрашиваешь — еще не начинали, пока начнешь, так и день кончится! — Отец промывал кисти и резко махал ими сейчас в воздухе.

Бабушка, щупая сзади себя ступеньки крыльца, села. И стала смотреть на меня, тихонько покручивая головой, — наверное, стараясь, чтобы стало видно.

— Красиво будет, как покрасите, а? И так ставни красивые, а то картинки станут.

Она всегда, когда мы работали дома, подходила так, садилась и что-нибудь говорила про работу. Посидит-посидит, потом:

— Во страх! — И покачает головой — помолчит.

Отец долго молчит, потом не выдерживает и спрашивает раздраженно:

— Что — страх?

— Да жуки! Жуки колорадские всю картошку съели — на каждом кусте десятками. Пропала картошка.

Отец молчит, работает, потом:

— Ну, сейчас я все брошу и побегу жуков собирать! Тоже — ерунду городит, ты же видишь — работы по горло, ничего не успеваешь сделать. А она свое...

— Так я и не говорю... Конечно, работа. Я просто...

— 'А' просто — так сиди и молчи.

Я думаю, что бабушка обидится, смотрю на нее. Она кивает головой и как-то покорно усмехается:

— Вот, детка, как старый, так никуда не гожий — и надо ж мне говорить?..

Я обычно в таких случаях улыбаюсь — работа продолжается. Вот и сейчас бабушка сидит, собирается что-то сказать.

— И куда Зинка рецепт отнесла — может, не в ту больницу? — И молчит.

Долгое молчание, мы уже мажем кистями по ставням; отец спрашивает:

— Какой рецепт?

— Да на очки — сказала, что отнесла уже месяц как, а очков все не сделают. Неужели всем так долго? Как же люди ходят?

— Наверное, она и не относила — жди теперь. Надо посмотреть: может, где у нас какие старые очки валяются — все что-нибудь бы видела.

А так будешь ходить — совсем окосеешь, — отец отошел на несколько метров, посмотрел на покрашенное. Бабушка подняла на него лицо.

— Ну как, красиво? — повернулась к окну, долго щурилась. Я увидел, как от напряжения у нее поползла по щеке слеза. Она вытерла ее рукой, растерла ладонями, вздохнула и начала подниматься. Поднявшись, пошла, опираясь рукой о стену.

Я хотел что-нибудь сказать ей, чтобы она остановилась, и — не знаю, что я еще хотел; посмотрел ей вслед и ничего не сказал. Я хотел подвести ее к окну и объяснить, какой там цвет — как небо, как это просто, как это ничего не стоит видеть. Я об этом думал и понимал, что мне этого только хочется — и все, не больше. Потому что минуту назад я видел здесь бабушку, она что-то говорила, и это было естественным и ясным мне все время. Я этого даже не замечал. А когда начал думать, как ей что-то говорить, объяснять — все изменилось, точно прошло через стекло. Конечно, я мог бы сделать все так, как думал, и сказать бабушке какие-то слова, и подводить ее к ярко-синему окну, удивляясь, что этого можно не видеть; и я даже хорошо представляю, — но это было бы совсем не настоящим. И я понял, что этого можно только хотеть. То, что я показываю бабушке цвет окон, может быть настоящим только вот в таком виде — я могу этого только хотеть, не больше.

Я красил дальше. И не хотелось больше красить. Я ждал, что придет бабушка и будет сидеть где-нибудь рядом. Я даже представил, как она сидела бы, а потом спросила:

— А другой краски не было? Кабы зеленой, а?

Я пожал бы плечами и, наверное, ничего бы не сказал.

К обеду мы закончили. Светило солнце, и все сверкало. Я был весь перемазан краской и пошел отмываться керосином. После керосина мыло не мылилось, и в рукомойнике кончилась вода. Я схватил одно ведро — другого не было под рукой — и пошел по дорожке возле подсолнухов. Чтобы не ходить с одним ведром, я решил зайти к бабушке, принести воды и ей.

Бабушка возилась с керогазом. Может быть, руки ее работали по привычке, но все получалось у нее очень ловко. Когда я смотрел, как бабушка работает, то начинал подозревать, что она все видит и только притворяется. Бабушка приподняла голову, поддерживая очки.

— Давайте я вам воды принесу, — я взял ведро и стоял, не отходил. Надо было еще что-то сказать, и я знал, что́ — про ее очки, как я их отремонтирую; но я молчал. Постоял и пошел медленно — хотелось оглянуться, и от этого я все так же медленно шел.

Когда вернулся назад, поставил ведро и сказал:

— Ба, давайте я сейчас поправлю очки.

Она сняла их, сложила, распрямила дужки.

— А, не надо — у тебя, наверное, работы много. Может, Зинка привезет.

Она помолчала, махнула рукой:

— Может, они и не нужные мне. Все равно темно.

Я промолчал и пошел тихонько.

Странно, но было такое чувство, словно меня освободили от какой-то работы. Я думал, что возьму очки вечером, и даже незаметно для бабушки, чтобы ей завтра был сюрприз, — но знал уже, что не буду этого делать.

Конечно, надо было бы сделать ей очки — хотя бы дужку прикрепить. Я шел и думал, что надо — и даже представлял, где бы дома можно найти старые очки, чтобы снять с них эту дужку. Но я знал, что все останется так, как есть.

И мне показалось, что сейчас нечего делать — хотя работы было еще много. Просто стало безразлично. Словно я остановился, а можно побежать вперед или оглянуться и назад пойти — куда же я хочу пойти? Я стою и знаю, что так мне и хочется, так и надо мне стоять — и только хотеть: или вперед, или назад.

— Ваня! — Отец позвал меня.

Надо было еще что-то красить.

ЗАСУХА

Дома меня не ждали. Висел замок. А ключ был на том же месте, что и сто лет назад,— посреди этого родного безмолвия он показался живым.

Порыскав по хате, привыкнув к знакомому запаху и чувству, я вышел на улицу. Дом наш стал немного чужим на ней — повзрослел, как старший сын, приехавший после долгой разлуки к родителям и маленьким братьям. Я вспомнил, как в детстве не мог представить, что для моего друга Витьки его дом такой же привычный и близкий, как для меня — мой. Я усмехнулся — это невозможно было почувствовать и сейчас.

Делать было нечего. Я пошел к лесу, часто оглядываясь на дом. Вокруг было тихо. Я сел на берегу речки лицом к деревне — дом наш еще резче выделялся посреди улицы. И тут я начал думать, что ему чего-то не хватает — непонятно было, чего не хватает, но это чувство укреплялось все больше. Я посидел еще немного, пошел назад.

Когда-то давно я болел целую зиму и только в марте вышел на улицу. Воздух был уже теплый, но снег еще лежал. Я пригрелся на лавочке и сидел, глядя на оттаявшую у забора землю. И потом всю жизнь весна мне представлялась только такой, как в тот день.

Лавочки сейчас не было — забор без нее был ровный и голый. Через минуту я уже копал ямки, потом закапывал кургузые столбики — делая новую лавочку, отступив немного от старого места. Мне нравилось уставать в такой работе, спешить, тихонько ругаться про себя — руки дрожали, и было радостно.

Когда родители вернулись из города, я уже успел и покрасить. Краска оказалась голубой, и лавочка выделялась посреди густой и усталой зелени. Мать сначала обрадовалась, потом, вспомнив что-то, замолчала.

— Сегодня же Троица. Ты не мог у бабушки спросить — когда работать? Что люди скажут...

Я немножко расстроился, но через час все забылось. Потом мы с отцом, потихоньку разговаривая, втыкали зеленые ветки, которые называли у нас маем. Так и говорили: пошли в лес, май принесем. Одну ветку, кленовую, я прикрепил к лавочке.

Дома мне оставалось быть еще целый месяц, и жизнь потекла по-домашнему спокойно. Работы большой не было, никто мне не мешал. И скоро я стал замечать за собой скуку. Да это была и не скука, а так — обыкновенное ленивое состояние, когда можно долго ходить неприкаянным вокруг дома, подолгу сидеть, глядя мимо книги, а потом ночью невозможно уснуть до самого утра. Я поднимался с кровати, выходил на улицу — в такие минуты бывало душно и чесалось все тело, нервно дергались веки. Не хватало дождя. Воздух висел на одном месте, и самому тоже не хотелось двигаться. Я пил много воды, она была теплой и с пузырьками воздуха по стенкам ведра. Утром, когда становилось тревожно, я неслышно укрывался толстым одеялом, незаметно засыпал. Просыпался, когда было мокро от пота все тело — почти к обеду.

Засуха измучила всех — чаще стали слышны в деревне резкие бабьи голоса по вечерам, ругались из-за пустяков, заходясь в злости. Признанный деревенский пьяница Володька Гиман днями спал под заборами без причины — неделю он не пил совсем. И все устали думать только о засухе — целыми днями.

Старые бабки, похоже одетые — в черные юбки и белые, горошком, кофты, собирались и, качая головами, осуждали жару. А дождя все не было. Дня два небо вдруг стало пасмурным, но дождь так и не пошел — опять прояснилось. После Троицы прошло две недели. И с каждым днем все вокруг онемевало настойчивей.

По ночам бесилась молодежь — катались на мотоциклах, поснимав глушители, ставили кресты на крылечках домов, выкатывали на середину улицы огромные бревна. По утрам казалось, что все это делал кто-то один — так одинаково безобразно было нарушено за ночь все, что днем находилось в сонном покое.

И каждый день ждали ночи.

Однажды утром, когда я еще еле начинал просыпаться, пришла бабушка. Не зная, что говорить, она долго сидела. Казалось, от жары ей лень говорить — и она стала молчаливой.

— А где отец? — это она спрашивала всегда, когда приходила к нам.

— Наверное, на дворе, управляется.

— Не надо было лавочку делать. Никто на ней не сидит — ненужная она. А на Троицу и совсем-то — грех. Баба Саша говорила, что и щепки нельзя на Троицу поднять.

Бабушка больше ничего не говорила, тихонько качала головой, словно что-то вспоминая. Мне было страшно жарко, но я не мог вылезти из-под одеяла — спал я совершенно голый. Медленно поднявшись, бабушка ушла.

Днем я пошел читать в баню, но там было жарко. Я полез на чердак. Здесь тоже было не легче, но пахло сеном, и я поленился перебираться еще куда-то.

Не читалось. Я смотрел сквозь чердачное окно на ленивую улицу, на лес — воздух возле леса был синий и густой. Мне было все равно — вдруг так ясно я это почувствовал. Я смотрел на все, что видел, и не было никаких желаний, как после долгой и жаркой бани. Казалось, кто-то медленно оттирает в сторону от того места, на котором я уже привык быть, и я потихоньку поддаюсь; и не то чтобы сопротивлялся я при этом, или наоборот, уступал этой силе — мне было все равно; я чувствовал только плавное отъединение от своего привычного положения. Я закрыл глаза. В полусне виделось мне, что возле нашего дома стоит огромный старинный парусник, раза в два выше дома, — и нам надо его достроить. А уже темно совсем и выпал туман. Туман высокий — до неба, и на нем, как на экране, ясно видна тень парусника: мачты, смотанные паруса, вялый флаг. Я стою на крыше дома и хочу перебраться на корабль; глянул вниз — и хотя не думал об этом, вдруг испугался, что нет воды подо мной. Но опять почувствовал, что мне все равно, и так славно стало на душе.

Я открыл глаза. Лень было пошевелиться. Я вспомнил, как говорил сегодня с отцом насчет засухи. Я говорил: «Еще день-два, и совсем будет плохо. Дождь надо», — а самого мучило что-то внутри, словно я обманывал кого-то, и никто не видит моего обмана.

Я почему-то спешил сказать еще что-нибудь, как будто и вправду обманывал, и надо было побольше говорить, чтобы не выдать себя, — но накатывал приступ смеха, я боялся засмеяться и еле сдерживался. Я не мог понять, что со мной такое, — и ничего не мог сделать. Слегка растерянный, я поспешил куда-то уйти.

Сейчас я понял, почему мне было так. Потому что мне все равно, а я не могу этого за собой увидеть. А когда увидел парусник, непонятно вдруг все прояснилось. Конечно, я хочу, чтобы пошел дождь. Но мне и все равно. Да, вконец измучила засуха.

Ночью пьяные хлопцы ломали лавочку. Я не знаю — слышал или нет. Не помню. Лавочка долго не поддавалась — визжала вывернутыми гвоздями, хрустела досками. Потом долго били ногами толстенькие столбики. Удары гудели в земле. Казалось, все притихло и слушает эту расправу.

Утром я проснулся раньше, чем открыл глаза.

Слышался шум дождя. Он ровно шелестел, не накатывая и не прерываясь. Постепенно в голове все яснело, как будто из раздвоенного изображения получалось одно — резкое.

Я прислушался — в сенях мать жарила картошку.

Дождя не было.

ГОРЕ

В последние несколько дней я все стараюсь вспомнить одно чувство. И никак не получается. Может быть, его и не было — чувства?.. И я вспоминаю только то, что было тогда со мной — словно со стороны.

Ясно помню белое небо, вдруг закрытое кричащей толпой ворон, — они на самом деле страшно толпились, сталкивались друг с другом, напол-

няя неприятным шумом весь лес. Этот шум был настолько неестественным, что я боялся — как будто его услышит кто-то, кто может меня за него наказать. И страшно было, что я не могу его прекратить, что я бессилен и остается только слушать.

Мы пошли играть в лес — наверное, я был самым младшим из всех — еще в школу не ходил. Тогда у нас было очередное увлечение — железные копья. Мы делали их из толстой проволоки, тонко и долго затачивая на конце. Копье легко вонзалось в дерево, в любую доску — и приятно было чувствовать его силу. Целый день мы бегали в лесу, на нашей поляне — посреди нее на старом пне стоял даже патефон, шипела какая-то песня, рядом горел костер — и мы забывали обо всем, что существовало, кроме этой поляны.

Недалеко стоял огромный дуб. И однажды в перерыве между песнями патефона и шумом мы услышали писк — да и не писк уже, а легкое такое карканье. Самый старший из нас — Павел — ругнулся и, словно он этого мгновения ждал все время, сказал: «Ну — все... Счас мы их...»

И полез наверх за воронятами. В деревне иногда пропадали цыплята, наверное, это вороны их таскали.

Скоро, цепляясь за ветки, вместе с перьями и еще чем-то, полетели вниз птенцы. Мы стаскивали их в одну кучу.

А над дубом страшно, по-женски, кричали вороны — пробовали нападать на Павла, но ему это даже нравилось — он ловко от них отбивался. Когда Павел слез на землю, все мы окружили живую голую кучку и долго рассматривали.

А потом — не знаю, как мы до этого додумались — распинали птенцов на ветках кустов и протыкали их своими копьями.

Воронята пищали, закатывали слепые глаза, сверху кричало много ворон — может быть, это сейчас мне кажется так — но я не хотел, чтобы меня видели. Я смотрел, вжимая голову в плечи, и старался касаться руками, спиной кого-нибудь из хлопцев — толпился...

Потом дома долго не мог есть — как после провинности, когда обидишься на всех.

Я помню, что жизнь тогда стала какой-то ясной и узкой. Конечно, я этого не понимал; может быть, я это сейчас додумываю — и так хочется вспомнить все по-настоящему...

Шли назад из лесу, и может, это не в тот день было — у нас оказался бензин; когда переходили речку по кладке, вылили его в воду и подожгли. И по реке плыли и горели пятна.

И никак я не вспомню все так, как было на самом деле. Но желание вспомнить так радостно тревожило меня последние дни. Я ехал вчера домой, хотелось поскорее выйти из автобуса, идти и вспоминать. И вот я уже иду за огородами, впереди — заходящее солнце. Воздух окрашен в розоватый цвет, все тихо и неподвижно. Я иду и постепенно все больше и больше чувствую в себе какое-то спокойствие. Не просто спокойствие, когда расслаблено тело, а легкое возбуждение, слегка напряжены все мышцы — и я необыкновенно уверен в себе. И забываю обо всем, мне хорошо, но что-то уплывает с каждой минутой.

Я остановился. Передо мной на тропинке сидел пьяный парень — мой сосед. Он держал в руках недопитую бутылку, слабо ею размахивал перед собой и о чем-то бормотал. «А если я... Ух, ты...» — он погрозил пальцем, прищурившись. Пьяно мотнув головой, он увидел меня, присмотрелся.

— А сколько время? Иван, сколько время?.. Ну что ты не скажешь, сколько время? Не бойся — сколько?..

— Десять минут девятого.

— Поздно... Так что — уже поздно? Иван, поздно?

Я не понимал и подумал, что он совсем не соображает. Но прислушался — о каком это он времени, что — поздно?

— Так магазин уже закрыт? Закрыт, Иван? Ну скажи, закрыли?.. Эх... — он ругнулся, хотел приподняться, но остался сидеть.

Я сразу почему-то обозлился и пошел дальше. И услышал:

— А если я... — он помолчал, не зная, что сказать, и вдруг. — Зарежу себя!.. — прокричал громко, с выдохом. — Иван, иди, выпьем!

Я не оглянулся.

И опять — я так ясно хотел вспомнить — ну как хотят воды попить — так я хотел вспомнить. Я шел и думал, глядя под ноги: «Может, я хочу увидеть себя виноватым? Так приятно чувствовать себя виноватым — перед собой. И что я выдумываю — про этих птенцов? — я просто хочу увидеть все ясным, а ничего этого не было — и чего я выдумываю? Чего я копаюсь, как хорошо здесь — небо, воздух, простор...» Я взглянул перед собой. И стало неприятно, что я минуту назад любовался всем этим. Я оглянулся на парня. Он так же сидел, опустив голову, и разводил бутылкой по воздуху. «Ему — яснее...» — почему-то подумалось мне, и я даже сказал это вслух. И опять стало стыдно — что вот я иду и стараюсь — и ничего не знаю...

Я уже пришел домой. Долго ходил, как неприкаянный, потом вышел на улицу.

Солнцу осталось только опуститься. Было тихо и спокойно, медленно наплывал вечерний туман. И далеко был слышен любой шорох.

У соседнего дома на лавочке сидела старуха. Она плакала и горько раскачивала головой.

— А мои деточки, а родненькие, а отдайте мне руку, а что же мне делать?

Рука ее была замотана тряпками и издали походила на укутанного ребенка. Казалось, что Пекла укачивает его. Она помолчала, потом опять запричитала:

— А на что ж вы ее забрали, а что ж мне делать...

Воздух темнел, и белым пятном мерцала повязка.

Вчера приезжала Манька, старшая Пёклина дочка. К вечеру она напилась, и никто не знает, как получилось, что она начала бить Пёклу.

До обеда Манька работала. Она привезла с собой и нового мужа — тоненького очкастого паренька. Он все время ковырял ногти, сосредоточенно на них глядя, и это было его постоянным занятием. Когда он нес воду от колодца, то казалось, что сейчас поставит ведра на землю, остановится и станет ковырять свои ногти.

Манька работала с ожесточением. Когда косила, радовалась, что устает, и не хотела отдыхать. А когда несла из лесу веники, то дышала нетерпеливо — ей было скучно просто так идти.

К обеду она устала и злилась на всех.

Когда сидели за столом и выпивали, по улице шумно проехала машина и сразу раздался пронзительный кошачий крик. Манька, словно ожидала этой минуты, подхватилась и выскочила из хаты — громко ругаясь по дороге.

Все неохотно вылезли из-за стола, вышли на улицу.

Манька сидела на лавочке и плакала. А посреди дороги, в пыльном песке, валялся перевернутый кот. Подошли еще бабы, все смотрели то на раздавленного кота, то на Маньку — молчали. Им было обидно, что они не чувствуют ничего, из-за чего можно было бы плакать — и просто смотрели на плачущую Маньку.

Некоторые бабы подсели на лавочку — остальные пошли по домам. Манька плакала:

— Он сидел вот тут, сидел, и потом — что ему захотелось — начал улицу переходить... И чего ж тебе не сиделось, а мой ты котик, — запричитала Манька. — И не успел же ты дойти до травки, в пыли лежишь... — тянула она.

Долго еще доносились всхлипывания, потом все затихло до самого вечера. Весь вечер и всю ночь в их доме звенела посуда, гремели ведра — и только утром все стало известным.

У Пёклы была сломана рука. Манька ходила опухшая и сердитая. Скоро она уехала, вместе со своим мужем.

И вот сейчас Пёкла сидит на лавочке и плачет.

Я вышел за ворота — мне показалось, что она тихонько поет — грустную песню. Можно было различить одни и те же слова:

— А что ж мне делать... А отдайте мне руку, а деточки...

Я слушал-слушал, и пошел в дом. И опять почувствовал, что хочу вспомнить что-то. Мне обидно было, что я на все смотрю и не могу себя увидеть виноватым. Как будто со стороны все вижу.

И даже в доме был слышен плач Пёклы — или мне казалось? Я начал читать, но не читалось. Опять старался вспоминать. Но все-таки не помнил, что чувствовал тогда, в лесу, когда был маленьким.

Не сиделось на месте. Я опять вышел на улицу.

В темноте воздух превратился только в звуки. Хотелось чего-то ясного и понятного — что могло бы соединить и этот близкий плач, и далекий летний день, когда крик ворон над лесом закрыл все небо.

ПАСТУХ

Однажды утром, когда его разбудили еще до рассвета, в серой растворяющейся темноте, он ощутил сразу после сна обратный ход вчерашнего вечернего угасания, — казалось, он и не засыпал, а только закрыл глаза совсем недавно, и за это время спокойное чувство прошедшего дня превратилось в тревожное ожидание. Он вышел на улицу — как похоже все было вокруг на вчерашний вечер, только солнце, изменив свой цвет, переместилось по краю горизонта, и небо опрокидывалось ему навстречу, промытое и еще бледное.

Вчера приходил сосед, сутулый старик с одинаковой всегда седой щетиной вместо бороды, и попросил отца помочь пасти коров. «Отпусти своего малого в подпаски на день», — усмехаясь, сказал старик. Отец сразу заторопился, нашел глазами его, сидящего у окна, и спросил: «Ну что, Ванюш, поможешь деду?» Он сразу кивнул, это было единственное, чем он мог ответить. Вечером мать собрала одежду, спать его отправили пораньше, и вот сейчас он стоит на улице, ожидая, когда выйдут, не торопясь, из ворот первые коровы, постепенно двинутся одна за другой в ту сторону, где за улицей сразу открывалось поле, мутноватое от росы.

Вышел отец, улыбнулся: «Выспался? Ты не бойся — Минович скажет, какую корову отвернуть, если зайдет далеко, ты и сбегай, больше ничего и не надо. Скучно станет, приди пообедать».

Заскрипели соседские ворота — пастух всегда первым выгонял корову. Минович, держа под мышкой палку, слюнявил цигарку, закурил, торопливо подув на вспыхнувший на ее конце огонек. Огляделся вокруг, прищурившись от дыма, заметил его и помахал рукой, подозвал к себе.

— Ну что, отпасем, а? — Минович и сейчас не поздоровался, не тратя слов на это естественное дело.

Они постояли молча, глядя, как корова, роняя первую слюну, хватала траву у забора. От травы там, где дышала корова, поднимался пар, и в земле слышалось, какая корова тяжелая — каждый ее близкий шаг звучал утробно и гулко.

— Дождя не будет, а, Вань? — спросил Минович, словно в шутку, и он пожал плечами, застеснявшись, мол, откуда ж мне знать?

— Роса буйная, не будет дождя, чисто отпасем, — ответил сам себе Минович и отпугнул корову подальше от забора, к лугу. Та медленно перешла не тронутый в ночи песок улицы и дальше, уже в траве, оставляла за собой темный посреди росы след.

Через полчаса, когда все коровы уже собрались на краю луга, потихоньку разбредаясь, Минович рукой показал, куда их направлять, и постепенно стадо вытянулось в ту сторону — куда далеко легла холодная тень от крайнего дома.

Всего лишь несколько раз он до этого видел такое раннее утро. Хотя тело еще оставалось вялым с непривычки, и легкая досада, что целый день он будет занят не своим делом, тлела в нем — хотелось быть похожим на взрослых, которые утром выглядели так же, как и всегда днем, словно они ненадолго прикорнули, не раздеваясь, пережидая неважное время ночи. Пробежавшись несколько раз позади последних коров, он уже привык к прохладному воздуху, к свежему от росы блеску сапог, и когда за деревней оглянулся вокруг, то словно сдвинул с места время, и оно вдруг обрело новое значение — в этом просторе не было деления ни на минуты, ни на мгновения, — и заметно поднимающееся солнце намечало неотвратимый плавный круг по еще холодному, тихому небу.

Он думал, что весь день придется провести рядом с Миновичем, — часто, проходя по дороге, он видел вдалеке стада коров и рядом с ними две фигурки — большую и маленькую, словно пастух и должен всегда выглядеть издалека таким полуторным человеком. Но старик молча стоял, опершись двумя руками о макушку палки, изредка переходя с места на место, разрешая ему занимать противоположный от стада край — как будто они были заняты только тем, что смотрели друг на друга, и линия их взглядов должна была находиться как можно ближе к центру стада. Коровы подолгу не поднимали голов, их посапывание и сочное пережевывание смешивалось с рассыпанным стрекотанием высохших от росы кузнечиков. Солнце все поднималось, он прикрыл глаза — впервые пустое ожидание, когда время зазвенело вхолостую, ничем не заполненное, даже испугало его. Он посмотрел на удаленную спокойную фигуру Миновича — хотя не было видно лица, казалось, что глаза у старика закрыты, и он знает, когда уже пора опять их открыть и перейти на другое место, чтобы снова застыть там. Минович так и передвигался, отступая перед стадом, а с другого края наступал он, иногда даже узнавая те высокие стебли конского щавеля, у которых недавно стоял старик.

Никогда раньше он не думал, что день так длинен — а время не дошло еще и до обеда, и было страшно, что он не умеет заполнить вдруг открывшуюся пустоту, и смотрел на Миновича, удивляясь его застывшему с самого утра спокойствию. Когда сидел, уткнувшись взглядом в траву у ног, над ним прозвучал голос старика:

— Притомился? Сейчас коровы лягут, сбегай домой, ноги у тебя молодые.

И он действительно, пока было видно стадо, бежал по полю, и только на улице перешел на шаг, поглядывая на изменившиеся в один день стены домов — они по очереди открывались отличимыми друг от друга чувствами, словно их хозяева вышли и провожают его взглядом до самой калитки, которая закрылась с обрывающим что-то звуком.

Обратно в поле он захватил с собой книгу, которую запомнит на всю жизнь странным названием «Заморыш» — он читал и перечитывал ее, всегда представляя себя на месте маленького мальчика-заморыша, и даже воспоминания о себе потом путались с прочитанным в книге.

Минович встретил его, показывая глазами на книгу, которую он прятал за спину: «Во-во, хоть время терять не будешь, сказки почитаешь». После этих слов, так просто объяснивших бесконечное, до вечера, время, он уже не мог поднять головы от книги, только иногда на минуту, оставляя ее в траве, отбегал за какой-нибудь далеко отошедшей коровой.

Когда солнце повисло над далеким лесом, и небо краснело все шире — застыл воздух, и похожи стали, дополняя друг друга в одинаковом чувстве, и густые запахи, сменяющиеся при ходьбе, и громкое сопение коров, и лай собаки в деревне, донесшийся вдруг в вечернем воздухе. И вот уже Минович подозвал его к себе, и они пошли рядом, наступая на стадо, и коровы сначала неохотно оторвались от травы, а потом, словно согласившись, выровнялись в прямой линии к улице, и передняя вдруг, вытянув шею, промычала несколько раз, проверяя воздух на звучность, и этот звук оказался ожидаемым весь день и донесся от деревни слабым эхом.

Закончившись, день откатывался назад, и растянутое в нем томительное ожидание превращалось в усталую радость возвращения, и было приятно идти рядом со стариком, не изменившимся в своем спокойствии — разве только шаги его стали тяжелее и отчетливей слышно было свистящее дыхание.

У самого дома Минович сказал:

— Ну, иди отдыхай, я прогоню дальше и зайду к вам.

Отец сидел за столом, улыбнулся навстречу и смеющимися глазами смотрел, как он раздевается. Зашла мать и сразу заговорила веселее обычного:

— О, пастушок пришел, пойду доить, посмотрю, как он накормил коровку!

А он раздевался, смущаясь от незнания — что рассказывать, и хотел быстрее пройти в спальню, и не от усталости, а чтобы скорее дать закончиться этому непонятному дню, успокоить последние минуты, которые все возвращали его туда, где на большом поле рассыпаны маленькие фигурки коров и под высоким светом разливается, улетая в пустоту, звенящий звук.

Он слышал, как в соседней комнате негромко разговаривал с отцом Минович, слова были неразличимы, они сливались с той тяжестью, которой наливалось тело, и он успел лишь подумать: «Вот так закрываются глаза...»

ПЕРЕД ЗИМОЙ

Время застывало в долгих осенних днях, сначала слякотных, промозглых, потом, к Покрову, ставших уже сухими, с промерзшей от первых морозов землей, и воздух становился ломким, звонким, как первые льдинки в лужах, и по вечерам мерцали далеким светом холодные голубые звезды. В такие вечера, заходя с улицы в дом, хотелось покрепче притянуть дверь, оставив за ней неуютное и ясное чувство холода, быстрей пройти в комнату, где на столе ждали его книги — он любил читать одновременно несколько книг, оставляя их открытыми; казалось, настроение каждой из них висит в воздухе, он издалека, от двери видел, как отличаются книги друг от друга, и выбирал какую-нибудь сразу, еще не подходя к ней. Окно пятилось от холода, который подступал к нему с той стороны, и стекла сливались своей прозрачностью с темнотой неба. Вставляли вторые рамы, и окна становились глухими от зажатого между рамами воздуха. Читая, он иногда замечал, что долго не переворачивает страницу, а просто смотрит куда-то сквозь ровные строчки, и тогда поднимал глаза на окно, и острые точки звезд, проходя сквозь стекла, мельтешили и двоились.

Зима, приближающаяся так медленно, пропуская одинаковые дни, казалась бесконечной и занимала все будущее время — даже подумать о том, что она когда-нибудь может пройти, было невозможно. И если он думал о лете, о странных в своем тепле днях, то это было только время, быстро пронесшееся далеко позади. И он с жалостью вспоминал траву, росшую у забора, шелестящие на березе листья — казалось, что все это было только однажды, и если не вспоминать, лето уже никогда не повторится. Он смотрел на картинки, редко встречавшиеся в книгах, — там были нарисованы зеленые деревья, голубые речки, пестрые цветы — и картинки эти вызывали жалость, как ненужные истертые кубики, с трудом удерживающие в себе память от радости когда-то построенных первых домиков.

И навсегда потом с ним осталось томительное чувство ожидания, которое появлялось в долгие вечера поздней осени; и вечера эти, вытекая из глубины серых дней, не имели своих границ.

Уже совсем перед зимой, когда последние дожди шли беспрерывно, вечерами покрывая все сплошной хлюпающей чернотой, он услышал однажды за стеной странный шорох, неожиданно ожививший привычный шум ветра и беспорядочных капель. Шорох пронесся вдоль стены к тому окну в передней комнате, где сидели за столом отец с матерью. А он уже прислушивался — что же будет дальше — и, словно повинуясь его неясному желанию, слабенький стук в окно на мгновение остановил время, споткнувшееся об этот внешний звук. В комнате загремел отодвигаемый стул, и мать вышла в сени — открывать. Он выбежал в ту комнату, прислушиваясь к словам на крыльце, чувствуя холодный, пахнущий ночным дождем воздух. Удивительно было слышать, как слова матери смешивались с тихим, неразличимым от шума ветра детским голосом. «Наверное, соседка пришла со своим сыном» — подумал он, но взрослый голос принадлежал только матери — и ясно стало, что, кроме нее и какого-то

маленького мальчика, за дверью никого не было. Потом мать сказала что-то последнее — чуть погромче, он различил только слова: «Четвертый дом от нас», — и стала закрывать дверь, на пороге приостановилась, увидела его и сказала: «Какой-то мальчик, я так и не поняла, чего он хотел». Машинально он кивнул головой, мол, понятно, и пошел к себе; и как только сел за стол, вдруг представил все случившееся — и стук в окно, и мальчика, стоящего на крыльце, и мать, как-то странно произнесшую последнюю фразу. Сначала слабая, а потом все нарастающая тревога накапливалась в только что прошедшей минуте — казалось, свой голос он слышал там, за дверью — много раз такое бывало с ним во сне, но сейчас странность всего происходящего вынести было трудно. Он поспешил выйти к родителям — они встретили его молчанием, смешанным в их глазах с уже ожидаемой им тревогой.

«А что мальчик говорил?» — спросил он и понял, что этого вопроса ждали. Мать сказала, словно договаривая что-то, хотя перед этим молчала: «И как таких детей одних отпускают, в такое время», — и, уже отвечая ему, продолжала: «Он из города приехал, к своей бабушке, и что-то перепутал, не может найти дом». Все помолчали, словно обдумывая сказанное, до того странным это показалось: в такую погоду, почти ночью, маленький мальчик ищет дом, когда все дома одинаковы в своей черноте, и только горят внутренним светом редкие окна. «А может, он не в той деревне из автобуса вышел?» — сказал он и сразу испугался своей неожиданной догадки. «Да вроде похож на внука Ивановны — я туда и отправила его, он же вернется, если не так», — сказала мать, сама, видно, этому не веря.

Сразу обозлившись на что-то, он рванулся за печку — там висела его куртка — и быстро, чтобы не успели его остановить, уже открывал дверь и боялся только, что сам не отодвинет тугую задвижку в сенях. Но родители застыли на своих местах, глядя друг на друга, и опомнились, когда он был уже на улице.

«Ну и холод, ну и холод, ну и холод», — проговаривал он на бегу под каждый шаг — вот уже и дом Ивановны, той самой старухи, к которой отправила мальчика мать, но окна были темны, и в темноте, к которой привыкли глаза, никого не было ни на крыльце, ни рядом с домом. Он остановился от неожиданности — ведь был уверен, что увидит здесь фигурку одного с ним роста, неподвижную в темноте. И вдруг, подумав, что мальчик мог перепутать и пойти в другую сторону, побежал обратно — но вот уже десять домов осталось позади, а никого не было видно. Он остановился, со страхом глядя вдоль улицы, — горящие окна втягивали в себя свет и вот-вот должны были погаснуть, а ветер порывами бросал похожие в своей твердости на зерна капли; невидимые вверху деревья шумели, словно доказывая, что никого больше на улице нет, и он не мог поэтому оставаться на месте, оглядывался на бегу. И вдруг вспомнил, как только что стоял у того дома, что виднелся темным силуэтом впереди, и ему показалось, что там шевельнулась тень в такой же, как у него, куртке, без шапки, и стало страшно. Он остановился — оказалось, что у своего дома — и уже не мог сдвинуться с места, только тихо поворачивал голову то в одну, то в другую сторону — черная пустота была вокруг.

Он посмотрел на свой дом, который вдруг показался совсем чужим; как при молнии, белый свет на мгновение вспыхнул, осветил незнакомые вдруг стены, и огонь в окнах погас от этой вспышки. Он чувствовал, что надо куда-то бежать, искать то место, где все станет привычным и спокойным, но ноги не двигались от внутреннего страха. Сделав несколько шагов, он сел на скамейку — в темноте она не была заметна, но привычно, словно сама собой, подтолкнула под колени. Ноги освободились от тревоги, и он перестал чувствовать свое тело — ветер шумел над ним, провода гудели, словно кто-то натягивал их и отпускал, и этот гул втягивал, вбирал в себя все напряжение. Уже спокойно он стал представлять себя дома, сидящим в темноте у окна; прямо перед глазами стекали по стеклу с искрами далекого света дрожащие капли. Слыша над собой шум деревьев, гул проводов и чувствуя, как вода стекает ему за воротник, он уже помещал в представленную ясную картину того мальчика, которого не нашел на улице.

Кто-то тронул его за плечо. Не испугавшись, он открыл глаза и поднял голову. Рядом стоял отец, у него в руках была шапка, но он словно не решался ее протянуть. «Ну что ты, что ты так разволновался. Наверное, нашел он свой дом — иначе бы вернулся», — отец старался говорить спокойно. Встрепенувшись от этих слов — наверное, ожидал, что отец будет его ругать, он взял шапку, надел ее на мокрую голову и ничего не ответил. «Ну, пойдем в дом, а то простынешь», — они пошли друг за другом по тропинке, и мокрая, опустившаяся крапива одинаково отряхивала на их ноги свои старые листья.

ПРОБУЖДЕНИЕ

Прошли последние дожди, ветер в один день пронес по небу поредевшие облака, и к вечеру выглянули холодные чистые звезды. Не успевшие высохнуть лужи застыли, неподвижно отражая звезды, и первый мороз к ночи начал пробовать свою медленную силу. По ночам гулко, с эхом, лаяли собаки, перекликаясь через всю улицу, и стекла в окнах вздрагивали от этих звуков.

Однажды утром он проснулся, удивившись, что недалекий лай не был таким отчетливым, как раньше, а прозвучал мягко, приглушенно. Он взглянул в окно и увидел, что ветки яблони, слегка пригнувшись, держат на себе пушистый снег.

Одеваясь, он уже ждал то чувство, которое встретит его в поле, и все-таки не угадал — воздух оказался еще свежее — казалось, с неба медленно опустилась тишина этого поля, смешавшись с влажным запахом снега. Иногда он оглядывался — неглубокий след, нарушивший бесконечную белизну, был единственной дорожкой, по которой взгляд мог, не теряясь, дотянуться до дома.

В то утро он шел в школу бесконечно долго. Когда вошел в ворота и остановился посреди крикливого шума — все, конечно, бросались снежками, толкали друг друга, не боясь падать в чистый, еще не вытоптанный снег, — подумалось, что все его опередили, намного раньше узнав о выпавшем снеге, и без всякого привыкания сразу поддались той радости, которая повторяется раз в год, в этот день. И он словно видел, как с календаря сорвался листок — в какой-то книге был такой рисунок — и время уже обретало новое начало; и оторванный листок подтверждал это, показывая прошедший день обратной стороной с мелким, никому не нужным, текстом.

Время полетело с быстрой радостью, словно стремилось проскочить первые дни, так легко переходящие друг в друга. И потихоньку, не выдерживая такой скорости, всплыли в нем томительные вечера. И чтение книги превращалось в бесконечное прислушивание к странным звукам, почти неразличимым, но уже живущим по ту сторону тишины. Когда он, сбросив с себя оцепенение, продолжал читать, то среди непрочитанных слов маячили эти звуки, скрываясь от погони. Иногда он думал, что у него появилась новая, неизвестная раньше игра — но она впервые его не радовала. И сил не было, чтобы заставить себя не подчиниться странному ожиданию — в котором наконец сверкнет, остановив все на мгновение, что-то ясное, вдруг слепленное из этих неуловимых звуков. Он даже представлял, что читает книгу без названия — и только в конце ее появится, будто однажды произнесенное, это слово, вбирающее в себя и название, и смысл, прежде растворенный во всех словах и страницах.

Как-то вечером, наверное, перед самым Новым годом, когда он читал книгу, то ли пропуская слова, то ли пробегая их в быстром узнавании, вдруг появился где-то и начал расти гул, в окнах мелькнул свет — тяжелая машина проехала около дома. И как только показалось, что звук этот должен прекратиться, машина сразу же остановилась, одновременно выключив фары. Тишина на улице стала другой, вобрав в себя только что затихший шум, — и странно было, что машина сумела проехать по укатанной только узким санным следом улице. «Наверное, разворошила весь снег», — подумал он быстро. С минуту еще было тихо, потом оживление почему-то началось в доме, а не на улице. Хлопнула дверь, под окнами проскрипели шаги отца, он постоял у калитки и вернулся, уже быстрыми шагами, обратно. В передней комнате полушепотом прошелестели слова, звякнуло ведро, опять хлопнула дверь. По улице, в ту сторону, где недавно затихла машина, шли люди — слышны были их шаги, поспешные и неровные в темноте.

Он вышел в переднюю комнату — там уже брат натягивал на себя пальто, взглянув на него, сказал: «Ты не ходи, там вино привезли». Он и раньше знал, что иногда в деревню шоферы, — как их называли, южане, — привозили продавать вино в огромных цистернах. Оставаться дома одному не хотелось, и дождавшись, пока брат уйдет, он тоже оделся.

На улице было темно, он постоял немного, чтобы привыкнуть, и пошел сначала на шум, а потом различил слабый свет фонарика.

Свет мелькал по ногам, ведрам — совсем как вода, туда лилась из шланга темная жидкость. Люди говорили поспешно, вполголоса, умело подставляли, не мешая друг другу, все новые ведра, словно принадлежащие кому-то одному. Он вспомнил пожар — тогда так же, только в громком шуме и звяканье ведер, люди вместе старались делать все лучше, чем каждый в отдельности, дополняя друг друга; и каждый плеск воды на стену сам собой вырывался из толпы, перед глазами мелькали только руки — разные, они были похожи своей необходимостью и нерастворимой в пожаре силой.

Он рванулся туда, поближе, захотелось тоже держать эти ведра, слышать рядом с собой неразличимые в отдельности, но связанные живым дыханием слова. Но от этой гущи теней, темных спин шел такой взрослый, запретный запах вина, распирающий холодный воздух, — и он остановился, не доходя. Оглянулся в темноте, увидел кучку маленьких ростом людей и понял, что это дети. Как-то боком он двинулся к ним, уже коснулся плечом крайнего — и услышал голос брата: «Все-таки пришел, не показывайся папке с мамкой». Самый длинный, совсем как взрослый, был соседский Павел — в темноте было видно, как он молча улыбается.

Они стояли в стороне и смотрели, напрягая глаза, — и тут Павел отступил назад и исчез. Наверное, он обошел машину кругом, по снегу, потому что появился уже с другой стороны. Дохнув в самую гущу их лиц, он радостно сказал: «А я попробовал — целую кружку», — и засмеялся приглушенно. А там, у машины, уже редела толпа — люди по одному и попарно отходили, и странно выглядели в темноте ведра — плавно плыли в воздухе, не качаясь — казалось, что они очень тяжелые. Павел уже смеялся громче, потом начал толкать кого-то, схватил чью-то шапку и бросил. В темноте нельзя было рассмотреть, кто побежал за шапкой, даже не обидевшись.

Вот уже у машины остались только двое — шофер и какой-то мужик, он все просил шофера, залезающего в кабину: «Дай попробовать, я не пробовал», — и протягивал большую кружку. Если бы не кружка, можно было подумать, что они прощаются и никак не могут дотянуться руками друг до друга. Но шофер выхватил кружку и отшвырнул далеко в снег. Мужик, не понимая, завертелся, потом бросился вслед за кружкой, а дверца кабины хлопнула, мотор громко завелся, и машина начала разворачиваться, оставляя в снегу глубокий полукруглый след. Мужик, найдя кружку, зло бросил ее в машину — но та уже отъехала, и кружка только звякнула, ударившись о цистерну.

Стало темно и тихо. На снегу огромным пятном чернело пролитое вино. В нем, почему-то согнувшись, словно переобуваясь, копошился тот дядька, которому шофер так и не дал попробовать вина. Сначала Павел, а потом и все остальные, подошли поближе. Торопясь и ругаясь, мужик, оказавшийся вблизи магазинным сторожем Гиманом, хватал руками темный снег и запихивал в рот, причмокивая, как маленький. Увидев, что он не один, Гиман махнул рукой и побежал куда-то по улице. «К Мотьке побежал, она два ведра купила», — сказал Павел и присел у края пятна, набрал в руку снега, слепил его, как снежок, и начал сосать. Воздух легонько посвистывал у его рта. «Ого, как мороженое!» — засмеялся Павел и спросил: «Кто ел мороженое? Налетай!» Сначала никто не тронулся

с места, потом захотелось просто слепить такой же снежок — и вот уже все сосали снег — кто-то даже похукивал, как на горячую картофелину.

Снег был холодным, но не безвкусным, как всегда, а какая-то слабенькая сладость таилась в нем, но почему-то во рту она становилась противной от несовпадения легкой, растворенной сладости с запахом. «Вишневое», — сказал Павел, и после этого действительно на мгновение показалось, что снег холодно пахнет вишнями. Но вкус куда-то улетал, а во рту оставалась липкая слюна, и хотелось сплевывать, как при тошноте.

Брат дернул его за рукав: «Пошли, а то нас искать будут». Он захватил в руку еще снега, по дороге откусив большой кусок, но от холода — аж зубы заныли — выплюнул. А сзади копошились, как птицы вдалеке на пашне, тени, и слышался смех Павла.

Дома родители были заняты переливанием вина — и они прошмыгнули мимо. Отец все-таки приподнял голову, спросил: «А вы где шлялись?» Брат, не глядя ему в глаза, ответил: «Смотрели, как вино продают». «Нечего это смотреть, а ну-ка спать», — строго сказал отец, и было даже радостно это услышать — они быстро разделись и, не зажигая света, легли в темноте.

Во рту было противно, он сглатывал — уже чувствовалось, что начинает болеть горло. И казалось, кровать плавно колышется, поднимается одним краем, и хотелось закрыть глаза, но от этого кровать начинала еще сильнее закручиваться. Перед глазами мелькал свет фонарика, кружка, лежащая в снегу, и в ушах звучал смех Павла. Надо было за что-то ухватиться руками, он поднял их, уцепился за спинку кровати, словно стараясь удержать ее. Наверное, он и уснул с открытыми глазами, и только во сне закрыл их.

Снилось что-то страшное — но как ни силился, утром не мог ничего вспомнить. Болело горло, нельзя было глотнуть, и он со страхом думал, как скрыть это от родителей. Наверное, с братом было то же — они хмуро посмотрели друг на друга, не сказав ни слова. Хотелось быстрее выйти из дома — одевшись, почти не завтракая, он выскочил за дверь, думая, что в поле, где можно дышать глубокими вздохами, горло перестанет болеть.

Он шел, чувствуя, что кружится голова, смотрел себе под ноги и боялся, что в школе все будут вспоминать вчерашнее — представлял, как Павел будет хвастать и смеяться.

И вдруг он вспомнил, что перед самым пробуждением видел огромное, без границ и очертаний, пламя — в нем сгорел, исчезнув навсегда, сон этой ночи. Наверное, он был в самой середине этого пламени — потому что не было ни взгляда, ни места, с которого он смотрел на огонь, съедающий себя и вновь возникающий в новом, еще более ярком, всплеске. Давно, совсем маленьким, он спрашивал отца, глядя на закат: «А можно дойти до того неба?» Отец улыбался и отвечал, что нет, нельзя, сколько ни иди, а закат будет таким же далеким. Может быть, в своем сгоревшем сне он побывал в центре этого багрового пламени? А может, он увидел только конец сна о пожаре, в котором сгорел дом через улицу? И как похоже на тот далекий вечер, когда бушевало пламя, спешили вчера в темноте люди с ведрами — и эта темнота с приглушенными голосами и смехом осветилась перед самым его пробуждением огнем, в котором сгорел и сон.

Публицистика

Два диалога на одну тему

БЕСЕДА Г. БАКЛАНОВА С ПОСЛОМ США В СССР Дж. МЭТЛОКОМ

Г. Бакланов. В 1969 году в Америке мне рассказали, что после того, как взлетел наш первый спутник, в США повысили зарплату учителям. Так это или не так, я не знаю. Тогда же я записал фразу: «Или мы срочно займемся математикой и физикой, или нам всем придется учить русский язык». И, видимо, в Америке начали осуществлять программу отбора талантливых людей, начиная со школы. Результаты мы видим: на Луну первым ступил Армстронг! Как вы смотрите на систему отбора талантов в Америке?

Дж. Мэтлок. Действительно, после запуска спутника в 60-е годы многие считали, что советская система обучения лучше, чем наша. Поэтому старались улучшить свою систему, особенно в области математики и точных наук. Трудно сказать, насколько это было успешно, потому что в 70-е годы существовали противоположные течения. В противоположность математике и точным наукам в это время значительно расширилось изучение гуманитарных и общественных наук.

Что касается подбора студентов и учителей, то он начинается с детского возраста.

В основном это не систематический подбор, а более или менее процесс стихийный, подбор идет из разных источников. Например, мы стараемся заинтересовать молодых людей в тех областях, которые их самих интересуют и в которых они проявляют способности. Некоторые склонны к искусству, другие — к математике. Для выявления способностей применяется система тестов, система советов. В каждой школе есть советник, и должность этого человека (обычно это женщина, потому что женщины в нашей средней школе составляют большинство учителей), его обязанность — дать совет: ты больше способен к математике, скажем, в таком случае надо ею заниматься больше, выбрать определенные предметы. У нас есть обязательные предметы. И все ученики в данном классе занимаются ими, но почти половина или даже больше половины всех предметов выбираются учениками.

Г. Б. С какого приблизительно класса?

Дж. М. С первого класса делается некоторый выбор, но больше — с седьмого. До этого большой разницы нет, а с седьмого класса есть уже разные учителя, начинается курс по английскому языку и литературе, по алгебре и т. д. В крупных школах есть полный выбор иностранных языков. Изучение языков особенно важно, если после школы ученик хочет поступить в один из престижных университетов.

Постепенно ученики начинают сосредоточивать внимание в одной или другой области. Избирательность присутствует и в средней школе, и еще более — в университете.

Если ученик не хочет продолжать образование (а, по-моему, около 60 процентов или больше поступают сейчас в вузы), то он может приобрести практическое ремесло, может стать секретарем или квалифицированным рабочим. Даже в моей школе мы имели возможность работать в типографии. Но обычно те, кто

хочет продолжать образование в вузах, стараются пройти необходимые курсы, требуемые для поступления в тот университет, в котором предполагают заниматься. И это может быть по-разному. Некоторые университеты полегче, некоторые — построже. Это все не централизовано. Конечно, в зависимости от семьи, от круга приятелей, от школы, может быть, один ученик хочет стать студентом, скажем, в Гарварде, а это университет с большими требованиями. Но если хочешь заниматься в каком-либо местном колледже, то там требования не столь велики, там более практическое обучение.

Иными словами, каждый должен выбрать свой путь, и есть советник, который в этом выборе помогает. Например, если ученик получает большей частью тройки, даже четверки в средней школе и хочет стать студентом Гарвардского университета, советник должен честно сказать, что это невозможно, тебя не примут, надо думать о другом университете или о другом вузе и т. д.

Г. Б. Это общая система обучения. Но вопрос о талантливых людях имеет некоторую этическую сложность, потому что это, в общем, элита выделяется. Понятно, когда элита по состоятельности, ну, сын очень богатых родителей и т. д. Но так тоже отделяются от общего количества учащихся наиболее одаренные, и они как бы составляют элиту общества. Для основной части общества это всегда не очень приемлемо, так же как всегда интеллигенция не пользуется большой любовью всего народа.

Как этот моральный вопрос, имеет он в Америке какое-то место, есть какая-то сложность в этом?

Дж. М. Да, конечно, имеет место. Мы решаем этот вопрос следующим образом. Это у нас тоже происходит без вмешательства государства. Во-первых, если ученик очень способен, то это заметно в школе. Такого ученика поощряют независимо от положения родителей. Эти талантливые ученики, безусловно, получат предпочтение.

Г. Б. От кого?

Дж. М. Есть разные источники. Во-первых, есть национальные стипендии, на которые существует национальный конкурс на основе тестов. Во-вторых, сами университеты, особенно самые престижные — Йельский, Гарвардский и другие, предлагают стипендии самым одаренным. Точно не знаю, но, если не ошибаюсь, около 60 процентов всех студентов в престижных, частных университетах получают стипендии. Философия такова: если студент или студентка способны к обучению в нашем университете, нам надо быть уверенными, что у нее или у него будут средства для нормальной жизни. И, конечно, если это семья, которая может оплатить полную стоимость обучения,— пожалуйста, университет просто требует оплаты. Но если семья не в состоянии этого сделать и есть заявление с аттестацией доходов семьи и т. д., им предлагают стипендию и возможность подрабатывать. Это касается способных. Но даже философия как бы элитарных университетов такова: мы не должны становиться очагами традиционной элиты. Надо выбирать способных людей из разных штатов, из разных слоев населения. Конечно, не секрет, что способному студенту, сыну или внуку знаменитого выпускника этого университета, который дает средства на развитие университета, легче поступить, но при условии, что он действительно способный. Значит, может быть, поступает 5—10 процентов студентов из богатых семей, поколениями связанных с этим университетом. Безусловно, им немного легче. Этого нельзя отрицать. Но все-таки многие студенты не из состоятельных семей. Я сам из семьи учительницы. Мой отец умер, когда мне было семь лет. У нас не было средств, но не было никакого затруднения — меня приняли в Дюкский университет, самый престижный в моем родном штате Северная Каролина. Я получил стипендию. Ну, конечно, мать тоже платила, поскольку она могла это делать. А в аспирантуре я ничего не платил, но получал стипендию. Значит, многие из нас, если способности есть и отметки хорошие, могут получить высшее образование. При подборе абитуриентов также обращают внимание на внеучебную деятельность ученика. Если это способный спортсмен, это помогает, так же если это способный журналист — он выступает в школьной газете.

Все эти дополнительные факторы играют очень большую роль, потому что

лучшие в университете — это те студенты, которые не только умны и хорошо занимаются, но люди активные, у которых есть и другие способности. А это значит, что особенно люди с определенными способностями даже из бедных семей имеют очень хорошие шансы, те же спортсмены. Мы иногда думаем, что если студент хорошо играет в футбол, ему не надо серьезно заниматься. Это не совсем так, потому что это позволяет бедным ученикам, которые являются хорошими спортсменами, поступать в лучшие университеты и, если они более склонны к умственной деятельности, получать хорошее образование.

Г. Б. Это как раз очень интересно. Понимаете, есть два рода «утечки мозгов». Один понятен. Допустим, приехали люди из Индии учиться — и остаются. Или, например, уезжает из страны талантливый ученый, у него нет условий для работы или по другим причинам, и он переезжает в Америку. Но есть другой род «утечки», когда талантливый человек не смог себя осуществить. Он никуда не уезжает, он остается в своей стране, у нас, но он не смог себя осуществить. Страна потеряла талант.

Дж. М. Да, совершенно правильно.

Г. Б. В первую очередь меня вот это интересует — система. Как в Америке поставлено дело, чтобы не происходила вот эта «утечка мозгов»? У нас, скажем, это было в период застоя. Ну, про времена Сталина что говорить — «утечка мозгов» происходила просто в лагеря. Целая культура ушла в лагеря. Или неосуществившиеся таланты в последующие годы. И сейчас у нас человеку не так легко. Талантливому человеку осуществиться всегда нелегко.

Есть ли эта проблема в Америке, как вы считаете?

Дж. М. Я не знаю, все ли со мной согласятся. Но, на мой взгляд, у нас это не большая проблема, и вот почему. Действительный талант — это всегда редкость в обществе. У нас, если у человека есть способности, то есть разные пути, чтобы он состоялся как человек. Дело в том, что этим занимается у нас не только и не столько государство. Даже я бы сказал, что очень часто государственный аппарат не создает самой лучшей почвы для проявления таланта. Частные фирмы и университеты дают в этом смысле больше возможностей.

Ну, скажем, молодые юристы, которые оканчивают престижные факультеты, сразу могут выбрать лучшую адвокатскую фирму и получить хорошее жалованье. Если там атмосфера неподходящая, они идут в другую фирму. Фирмы это знают, и если к ним приходит человек способный, они создают ему хорошие условия.

Что касается ученых или преподавателей, тоже есть конкуренция среди университетов. Профессора, имеющие имя, хорошо знают, что разные университеты хотят привлечь их. И если талантливый преподаватель, особенно написавший две-три книги, будет недоволен условиями для работы в одном университете, то найдутся 3—4—5 других, готовых платить больше и создать для него даже лучшие условия. То же самое касается частных фирм.

То есть, по-моему, нет проблем с самыми способными, если не возникают психологические проблемы у самого человека. Я не говорю, конечно, что все работают с полной выкладкой, но в основном это поощряет применение и потребление мозгов.

Проблема (правда, она не первостепенная) — это, может быть, средний талант. И если в одной области есть изобилие, скажем, слишком много адвокатов или инженеров, это может быть трудно. И тогда, если это средний талант, ему надо после начала карьеры в одной профессии изменить профессию на ту, где спрос больше.

Профессиональная специализация в таких областях, как медицина, юриспруденция, бизнес и журналистика, начинается на уровне аспирантуры после получения степени бакалавра.

Это значит 12 лет средней школы плюс 4 года колледжа, т. е. на 17-м году обучения. После этого для получения соответствующей специальности требуется еще от 2 до 4 лет.

Г. Б. А заимствуют ли в Америке что-либо из японской системы отбора талантов?

Дж. М. Не очень, потому что, я бы сказал, у японцев совсем иная организация. Дело в том, что у нас почти каждый университет, почти каждая фирма по-своему уникальны. У нас нет единой системы. В Японии это более единообразно, организованно и жестко. Я бы еще сказал, более централизованно и формально.

Ну, конечно, оценки и документация играют свою роль в нашем обществе, собеседование при приеме на работу тоже играет огромную роль. Но в конечном счете нет гарантии получения работы. А это значит, что мы не стараемся планировать, сколько нужно будет инженеров через пять лет. Есть люди, которые дают свои прогнозы, но это идет у нас больше как бы самотеком, т. е. если возникает изобилие людей одной профессии, это значит, что зарплата и возможности становятся несколько ниже и т. д., и те, у кого есть другие интересы, начинают заниматься другой профессией. Но это все идет именно по линии самотека, ну еще, конечно, профессиональной рекомендации или семейного совета. Каждый год многие писатели, специалисты пишут в прессе, в журналах о том, каковы перспективы, скажем, для разных профессий. И, конечно, если студенты видят, что сейчас имеется изобилие врачей, значит, следует приобрести другую профессию, и они могут это сделать.

Система достаточно гибкая, выбор специальности можно менять. Приведу вам собственный пример. Лично я менял свои намерения насчет собственной профессии в процессе обучения 4 раза, и сделать это было довольно легко. Так, в средней школе мои интересы были сосредоточены на точных науках, затем меня больше привлекло занятие религией. После этого сосредоточил внимание на истории, но интерес к иностранным языкам взял верх. После университета занимался в аспирантуре русской литературой, а лишь затем предпочел карьеру дипломата. При этом не понадобилось никакой особой «ломки».

Видимо, изучение «смежных» специальностей дает возможность быть гибким при выборе.

Что касается учителей, то, конечно, очень многое зависит от зарплаты. Вокруг этого у нас всегда велась довольно большая общественная борьба, потому что, как мы считаем, оплата учителей недостаточна во многих регионах. И все-таки это и по сей день очень больной вопрос, поскольку народное образование и без того стóит очень много в государственном бюджете. Я это хорошо знаю, так как мои родители были учителями. Отец был директором школы, а мать преподавала всю жизнь в средней школе. И это было больным вопросом в нашей семье, поскольку мы были полностью зависимы от учительской зарплаты. Сейчас положение иное, в некоторых штатах учителя оплачиваются гораздо лучше, чем другие. Часто это зависит от стоимости жизни, от организованности профсоюзов учителей и других факторов. В Калифорнии, в Нью-Йорке, например, зарплата учителей выше, чем, скажем, в Миссисипи.

Г. Б. Частный вопрос: как вы своих детей воспитывали? Прививали ли вы им какие-то вкусы? Направляли ли их? Или дали свободу?

Дж. М. Более или менее мы давали им свободу. Конечно, дома мы с женой пытались подавать пример. Кроме того, они жили в разных странах мира, потому что я был на дипломатической службе. Они начали ходить в школу в Советском Союзе, в англо-американскую школу. Но затем сами выбирали свой путь и выбрали совсем разные профессии. Старший сын стал архивариусом в библиотеке, второй — математиком, работает в области программирования компьютеров. Его сестра (они близнецы) — библиотекарь и специалист по русской литературе.

Г. Б. Но это от вас, очевидно?

Дж. М. Да, может быть. И третий сын — искусствовед, писатель, а младший — геолог.

Г. Б. И последний вопрос. Я всегда спрашиваю разных людей об одном и том же: что для вас счастье? Как вы понимаете счастье? Не философски, лично.

Дж. М. Во-первых, по-моему, в личной жизни каждому нужны любовь и уважение. И, конечно, это особенно важно ощущать в себе. В профессиональной жизни необходимо чувство достоинства, т. е. нужно ощущать: то, что ты делаешь, это важно. Не менее важно и качество работы. По-моему, люди хотят гордиться своим трудом. Мне кажется, что образование играет очень большую роль. Чем шире образован человек, тем шире его интересы, тем лучше он может чувствовать удовлетворенность жизнью. Но в основном это, по-моему, все же любовь и уважение.

Г. Б. Я понимаю, но иногда и такая мысль: ну, хорошо, написал книгу, а изменились ли нравы? А изменилось ли что-то в жизни от моей деятельности? Вот тут, в вашей деятельности, в вашей жизни кажется вам, что вы что-то изменили так, как бы вам хотелось, как вашей душе было бы хорошо? В жизни дает ли это удовлетворение?

Дж. М. Да, да, да. Мне думается, когда в семье мужчина дает детям неплохую подготовку к жизни, это уже само по себе очень важно.

Профессионально я делаю то, что хотел бы делать. И мне кажется, что я вижу результаты своего труда. Я очень рано решил, что хотел бы работать в области американо-советских отношений. И жизнь сложилась так, что действительно имел возможность помогать в формировании американской политики, объяснять советской общественности кое-что о моей стране, а американской общественности — о Советском Союзе. Именно поэтому я считаю, что имел возможность играть пусть маленькую, но все-таки определенную роль в сближении наших народов. Это для меня необычайно важно, дает большое удовлетворение. Конечно, не существует еще полного взаимопонимания между нашими странами, но все-таки мне кажется, что произошло определенное сближение. Отношения наши сейчас лучше, чем раньше.

Г. Б. Благодарю вас за эту беседу.

БЕСЕДА С. ЖУКОВА С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ КОМИТЕТА ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР ПО НАУКЕ И КУЛЬТУРЕ, АКАДЕМИКОМ Ю. А. РЫЖОВЫМ

С. Жуков. Юрий Алексеевич! Я принадлежу к поколению тридцатилетних и долгие годы остро ощущал ненужность, неиспользованность людей своего возраста. Не нужны были самые талантливые из нас. Страшило, как когда-то Лермонтова:

Толпой угрюмою и скоро позабытой
Над миром мы пройдем без шума и следа...

Давайте вместе поразмышляем о том, много ли возможностей раскрыть, реализовать себя предоставляет сегодня общество человеку одаренному.

Ю. А. Рыжов. Если говорить об обществе в целом — немного. Когда думаешь об этом, картина представляется безрадостная. Сегодняшнему нашему обществу талантливый человек, как правило, не нужен. Объективно, конечно, нужен, но на практике общество отторгает его, демонстрируя в массе своей презрение к интеллекту, компетентности, профессионализму. Не только в среде интеллигенции. Квалифицированный рабочий становится чужим для коллектива так же часто, как и талантливый ученый.

В течение десятилетий мы имели (и в значительной части имеем сегодня) безынтеллектуальное, полуграмотное руководство с комплексами неполноценности — и потому с презрением к интеллекту. Интеллект не востребуется руководством, а вослед и обществом. Вот, на мой взгляд, главные черты болезни, которую называют проблемой «лишних людей», под «лишними» понимая невостребованные, ненужные, неиспользованные таланты.

С. Ж. Было бы интересно проследить истоки такого положения дел — ведь

не всегда же в России так было. Но прежде о самой ситуации: неужели везде у нас так?

Ю. Р. Не везде. Я буду говорить о том, что хорошо знаю,— о физике. Мы все сегодня прочли книги Гранина, Дудинцева, Амлинского о гонениях на науку в тридцатые — сороковые — пятидесятые годы. Очень много публикаций появилось и в прессе. Искусственно было пресечено развитие ряда наук: биологии, генетики и евгеники (кстати, связанных с проблемами отбора и раскрытия одаренной творческой личности), истории, экономики, даже филологии. В относительной целости долгое время сохранялись лишь направления точных фундаментальных и прикладных наук, связанные с решением военных задач.

Среди специалистов бытует выражение: физика выжила на проценты с бомбы. В конце сороковых физике, как и другим наукам, грозило идеологическое «прихлопывание». Сталинские идеологи уже подготовили разгромное постановление, уже звучало: учебник механики Хайкина (для первого курса университетов) идеологически вреден... Постановление не было принято потому, что, я слышал, Курчатов вмешался, а через три недели он взорвал первую атомную бомбу. И все, и от физики отцепились.

Я учился в Московском физико-техническом институте во втором его наборе — 1948 года. МФТИ — яркий пример того, как могли реализовать себя люди в оборонной сфере: институт-то создавался не для мирных целей. Здесь была относительно хорошая материальная база, широкие возможности финансирования. Сыграл свою роль и фактор престижности: на физтех стремились самые способные молодые люди. В этом учебном научном центре были собраны лучшие преподавательские силы. Система обучения стимулировала вкус к творчеству — в учебный план входила, например, работа в научных институтах и на предприятиях, начиная с младших курсов.

Реализация выпускников МФТИ на общем в стране фоне, я думаю, «выпадающе» хороша. Формальная статистика просто блистательна: кандидатов и докторов наук, член-корров и академиков оттуда вышла тьма-тьмущая. А сколько лауреатов Ленинских и Государственных премий! Впрочем, последнее относится не только к физтеху. Лаврами, продуктивностью творчества своих выпускников традиционно гордятся и другие оборонные вузы страны — МАИ, МГТУ... Я это к тому, что нельзя утверждать, будто бы после войны и сталинских репрессий в нашей стране вырастали сплошь потерянные, нереализовавшиеся поколения.

С. Ж. Всегда интересны не только обобщения, но и частные судьбы. Например, ваша, ваших сверстников.

Ю. Р. Я считаю, что у меня все удачно складывалось для того времени. Учился я в московской школе № 59 (это бывшая Медведниковская гимназия) — в Староконюшенном переулке, прямо напротив канадского посольства. Застал еще гимназических учителей. За одной партой со мной сидел Витя Маслов, мой приятель. Впоследствии он будет избран действительным членом Академии наук по математике, минуя члена-корреспондента. В этой же школе в разное время учились будущие член-корры, математики Л. Д. Кудрявцев и В. Е. Арнольд, механик В. П. Мясников.

Должен сказать, что математике и нас с Масловым, и Арнольда учили не преподаватели старой гимназии, а относительно молодые учителя. Спецшкол тогда не было, зато атмосфера в нашей школе отличалась состязательностью, да и учиться было интересно, хотелось что-то узнавать. Тогда ведь не существовало обязательного десятилетнего образования, приходилось подтверждать свое место в школе экзаменами, причем каждый год, начиная с четвертого класса. Это была довольно жесткая, но, видимо, правильная жизнь.

С. Ж. А какую специальность вы избрали в физико-техническом институте?

Ю. Р. Аэродинамику. Я учился практически в ЦАГИ и работал там по окончании института, затем перешел в НИИ тепловых процессов (так называемый НИИ-1), в газодинамическое отделение Георгия Ивановича Петрова. В 1977 году, уже работая в МАИ, я проработал семестр в США, в Стэнфордском университете и Массачусетском технологическом институте.

С. Ж. На ваши базовые знания работа в США существенно не повлияла?

Ю. Р. Не повлияла, поскольку я был уже «старым профессором». Своим профессионализмом, если он есть, я обязан только отечественной школе. А вот для расширения кругозора это оказалось чрезвычайно полезным — я понял, как устроена, как живет хорошая высшая школа в Америке.

С. Ж. Как складывалась ваша научная судьба? Везло ли с учителями, с возможностями самостоятельной работы?

Ю. Р. Пожалуй, везло: многое само собою получалось, без напряжения. Я никогда не держался за одно узкое научное направление. После работ по аэродинамике объектов занялся физической электроникой: интерес возник в связи с электрореактивными двигателями, я посмотрел, что там за процессы происходят на их электродах. Эту сферу начинал осваивать для себя «с нуля» в 1961 году — со знакомства с терминологией. Было интересно, вот и бродил как кошка по крыше от задачи к задаче: от нестационарного теплообмена к неравновесной конденсации, затем снова возвращался в аэродинамику, но уже разреженного газа... А в общем, моя судьба характерна для той профессиональной среды, в которой я прожил жизнь.

С. Ж. Итак, в сфере, связанной с военно-промышленным комплексом, в 40-е — 60-е годы людям удавалось себя реализовать. А сегодня? До сих пор уровень образования и профессионализма там выше, чем в гражданских отраслях?

Ю. Р. К сожалению, и «оборонка» уже начала деградировать. Производство оружия расширялось, число обучающихся по специальностям, необходимым для военного комплекса, выросло во много раз. Материальная же база вузов не развивалась с 60-х годов. Следовательно, выпускник «подешевел». «Дешевле» стал и специалист в промышленности, а потому закономерно упал престиж инженерной профессии. Лет двадцать пять — тридцать назад в МАИ и Бауманский вступительные конкурсы были, говорят, по 7—8 человек на место. Сейчас конкурс даже в эти ведущие инженерные вузы 1,5 человека на место, и то зачастую случайных.

После того как Хрущев приоткрыл «железный занавес» и появилась возможность поехать по туристским путевкам за рубеж, на оборонном предприятии (в «ящике») работать стало непрестижно — из «ящика» не выпускали. Из гражданского учреждения выпускали. А со временем и разница в оплате перестала быть заметна: в военной сфере, как и в гражданской, оклады инженера, старшего инженера, ведущего инженера оказались ниже допустимого. Разработчикам техники стали платить меньше, чем рабочим невысоких разрядов. Так рушились стимулы, привлекавшие в «оборонку».

А теперь начались сокращения ассигнований на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы. Значит, подрубается и без того не очень-то богатая база науки, которую легче, чем производство, можно конверсировать в гражданскую сферу. При этом госзакупки вооружения продолжают увеличиваться.

Американцы по другому принципу устроили оборонный комплекс. У них критерий — динамика обновляемости типов вооружений. А у нас пока — вал.

С. Ж. Представим себе сегодняшнего молодого человека. Он успешно учится в школе, институте, по распределению попадает в оборонный НИИ, на «фирму» — и... Работая в МГТУ и в аэрокосмическом комплексе — в Подлипках, я имел возможность наблюдать нескольких одаренных бауманцев: сначала студентами, потом инженерами. Видел, как постепенно гасли в них способности, интерес к творчеству.

Ю. Р. В Подлипках огромные предприятия, которые уже давно плохо заняты. Чрезвычайная избыточность кадров. На одного специалиста, который «тянет» работу, приходится несколько занимающихся переписыванием документации, мелкими разовыми поручениями. Что здесь делать таланту? Только гибнуть. Он и гибнет, потому что детренируется. Одаренный человек в молодости должен развиваться, погружаясь в интенсивное творчество. Такова биология самого творчества: получая задачи нарастающей сложности, ощущая результаты своего

труда, человек совершенствует свои способности. Этого, увы, почти не встретишь в крупной «фирме». Руководитель — это начальник, редко учитель. Молодой же человек лишен возможности решать и действовать самостоятельно.

Если талант не борется, не протестует, не ищет себе задачу наперекор сложившимся порядкам, если не попадает в «струю» открывшегося нового дела, он обречен. Способности тают до уровня, соответствующего небогатому творчеству, планы и интересы мельчают. У человека проявляется естественная реакция — апатия.

Всему этому способствует и наш ужасный быт с его неустроенностью, бесконечными проблемами, постоянной, изматывающей, забирающей все больше внимания борьбой за существование. У молодого человека, как правило, ничего не решено — ни с жильем, ни с одеждой, ни с питанием для ребенка. И он использует рабочее время для отдыха перед «вечерней сменой» в семье.

С. Ж. Все познается в сравнении. В Хьюстоне, например, мне довелось познакомиться с американским инженером Чарльзом и его женой Каролиной. Оба они работают в космическом центре имени Джонсона. Подобных семейных пар в нашей промышленности я видел немало, поэтому с большим интересом расспрашивал, как они живут и работают. Оказалось, Чарльз недавно выиграл конкурс проектов купола, капитанской рубки будущей орбитальной станции «Свобода». Это позволило ему купить новый «форд». У Чарльза и Каролины двое детей, семья живет в двухэтажном доме, вечерами супруги садятся за компьютер и пишут книги — их знают как писателей. Я сопоставляю все это со знакомыми мне семьями в Союзе...

Ю. Р. Американцы в массе своей живут более продуктивной жизнью, чем мы. Здесь много причин: и устроенность быта, и свобода перемещения по своей стране и миру. Они могут периодически менять место работы, переезжая, как это практикуют ученые, из университета в университет. Перед ними не встает проблема жилья и прописки, которая у нас часто становится камнем преткновения на пути таланта. Американцы пользуются более мобильной, надежной связью — современными телефонами, телефаксами, электронной почтой. Через свои компьютеры они получают доступ к богатейшей информации библиотек и банков данных мира. Их общество уже самой инфраструктурой помогает становлению, развитию таланта. Это общество научилось ценить интересы личности, отсюда его сила и жизнеспособность.

С. Ж. Давайте на сравнении с Западом предпримем попытку разобраться: почему же наше общество пренебрегает интересами творческой личности и к каким это приводит последствиям?

Ю. Р. Прежде всего я хотел бы определиться относительно формулировок. По-моему, иерархия ценностей должна быть такой: на первом месте интересы личности, затем общества, а уж потом государства. В таком порядке рассматривает приоритеты цивилизованный мир, и я с этим согласен. Государство призвано заботиться об интересах личности и общества, о всемерном развитии личности и общества. В нашей же стране, провозгласившей эти ценности программными, государство на практике подавляет личность и гражданское общество, стремится полностью подчинить их своим интересам.

Одним из коренных интересов партийно-государственной системы всегда было обеспечение безопасности власти, вот почему оказывалась поддержка тем, кто помогал упрочить режим. Отсюда, в частности, исключительное внимание Сталина к ученым, прежде всего оборонного профиля, и придворным обществоведам. Для того, чтобы резко поднять уровень научных исследований, Сталин в 40—50-е годы стал платить ученым небывалую по тем временам заработную плату: профессор получал в 10 раз больше рабочего (сейчас его доход превышает всего в полтора раза средний уровень заработной платы по стране).

Зато свободомыслие, без которого нет и творческой личности (во всяком случае, нравственной), безжалостно подавлялось. Как в любом тоталитарном государстве, главным условием относительного благополучия у нас стали лояльность, конформизм. А ведь талантливый человек — по сути своей натуры оппозиционер, творец, неспособный довольствоваться догмами. Селекция конформных людей на протяжении последних десятилетий пагубно повлияла на наши науку и культуру, трагически пронзила всю нашу жизнь. Процесс отбора конформистов часто начинается уже в школе, где ценят за послушание, за хорошее поведение, а не за способности. В аспирантуру после института принимали, да нередко и продолжают принимать с учетом «общественно-политической характеристики», которая может служить чем угодно, но никак не мерой таланта. Достаточно быть «общественником», не конфликтовать с начальством — и вы уютно почувствуете себя в любом учреждении.

Воздействие такой системы отбора возрастает по мере продвижения вверх по служебной лестнице. И если в творческих профессиях это не всегда явно выражено, то в среде чиновничества путь к руководству прямо связан с лояльностью.

С. Ж. А в верхнем эшелоне власти, с которым вам теперь приходится иметь дело?

Ю. Р. Принцип действует безжалостно в любом из институтов бюрократического государства, и верхний эшелон здесь не исключение. За последние полтора года мне, увы, доводилось видеть, как люди, приходя в коридоры власти, менялись. Особенно те, кто стремился любой ценой занять какой-нибудь пост. Человек поначалу как бы внешне принимает «правила игры», потом проникается цеховыми интересами, и все это в конце концов уводит его далеко от исходных устремлений.

С. Ж. Выходит, чтобы проводить реформы, надо оставаться вне Системы?

Ю. Р. Как же реформировать Систему, не входя в нее?

С. Ж. В ваших словах есть противоречие. С одной стороны, Система конформирует всякого в нее входящего. С другой — для реформирования надо действовать внутри нее.

Ю. Р. Лишь в условиях однопартийной системы и государственно-монополистической экономики. При многопартийности вы можете не быть конформистом, действуя в соответствии со своими убеждениями, предлагая свою программу, и, если убедите общество, можете получить полномочия для проведения тех преобразований, которые считаете целесообразными.

С. Ж. А не становитесь ли вы конформистом, работая в Верховном Совете СССР?

Ю. Р. Возможно, это иллюзия, но мне кажется — нет. Я ведь не держусь за положение, пост. Если сохраняешь независимость, можно попытаться сохранить свои взгляды.

С. Ж. Итак, установившийся режим свел все многообразие мысли к официальной догматике, почти истребил интеллект в стране, а в итоге сам оказался нежизнеспособен.

Ю. Р. О нежизнеспособности сложившейся партийно-государственной системы много писали, не хочу повторяться. Что же касается интеллектуального слоя в нашей стране, то он действительно исчезающе мал.

В физике есть понятие — степень заполнения покрытия. Это та часть поверхности, которая хоть в один слой покрыта атомами другого вещества (скажем, газа), так называемыми адатомами. Как правило, даже в высоком вакууме эта заполненность близка к единице, а чаще несколько атомных монослоев присутствует на поверхности. Если говорить о культурном слое людей, то в нашем обществе и монослоя не было в результате систематического выбивания. У нас очень невысокая степень заполнения страны интеллигентностью, профессионализмом, и ситуация не вселяет больших надежд. Нужны ведь определенные условия для воспитания интеллекта, для превращения частичного покрытия в монослой, который будет естественным путем сам наращивать следующие слои.

С. Ж. Вы считаете, что общество и сейчас не меняет своего отношения к интеллекту?

Ю. Р. Общество хуже становится, потому что вымирают люди, которые воспитались в уважении к знанию. Важно, чтобы атмосфера познания окружала человека с первых шагов его жизни — в семье, в кругу общения, но у нас теперь и это дефицит.

Моя мама прошла три класса сельской смоленской школы. Спонсора, как

теперь говорят, на ее дальнейшее образование не нашлось, и она двенадцати лет как старшая из детей была отправлена на заработки в Москву, работала прислугой, отсылала деньги в деревню, в многодетную семью. Мама была, думаю, очень способным человеком и позднее много приобрела самообразованием. А комплекс «недоученности» ее проявлялся в том, что она стремилась даже в самые тяжелые времена — и для старшей сестры в 20-е годы, и для меня в мои школьные годы, пришедшиеся на войну,— делать все возможное для нашего образования. Если у меня возникало желание чему-то учиться, помимо школьной программы, она и в голодные дни не жалела денег на учителей. Меня учили живописи, языку. Сестра, кроме языка, всерьез занималась музыкой.

Мысль, которую я хотел этим проиллюстрировать: в семьях сохранялась тяга к глубокому образованию, не к документу о нем. Сегодня это стало куда более редким явлением.

Процесс разрушения культуры связан не только с ослаблением интеллектуального слоя, но и с экономической, политической нестабильностью всего общества. Я мог бы сравнить это кризисное состояние с неупорядоченным падением самолета. Один из типов такого падения — штопор. Самолет перестает слушаться рулей: в «сорванном» воздушном потоке они не меняют ни угла атаки, ни направления, почти не влияют на движение вокруг центра масс. Задача летчика заключается в том, чтобы спихнуть машину в пике, в еще более быстрое падение. При этом возникает надежда снова опереться на воздух.

Что это в применении к обществу? Переход к рынку и означает пикирование — галопирующую инфляцию, безработицу и прочие стремительно нарастающие трудности. Как, например, в Польше. Но там непопулярные меры приняло очень популярное правительство, которое могло сказать: вы меня назначили, вы мне поверили, так потерпите. Наше правительство не решается на пикирование — не хватает популярности, «запаса высоты». Ситуация становится тупиковой.

С. Ж. А каково в этом тупике молодым людям?!

Ю. Р. Молодому поколению действительно очень тяжело. Еще и потому тяжело, что утрачено доверие к отцам. Сегодняшняя молодежь отгорожена — не только от моего возраста, но и от тех, кто моложе,— стеной, через которую не проникнуть. Я могу как-то судить по знакомым мне тридцатилетним людям, по своим студентам, которым около двадцати. Их ментальность (если можно говорить о некоторой «осредненной» ментальности поколения) или непонятна нам, или они не подпускают нас к себе, не доверяют, держат дистанцию. И, может быть, правильно делают.

С. Ж. Но ведь молодежь очень разная. Я знаю много молодежных объединений, не поддающихся осреднению,— и политических (как, например, анархо-синдикалисты), и культурных (скажем, поэтическое кабаре Дидурова); есть попытки возродить исторические памятники, восстановить имена погибших на войне и в репрессиях, много молодого народу вижу в церкви...

Ю. Р. Говоря о молодом поколении, я понимаю, что внутри него огромные флуктуации, и непросто разобраться в этом извне. Стимулы вступления в различные ассоциации, группы, подобные упомянутым, тоже очень разные. Один хочет самореализоваться, самоутвердиться, другой следует глубинным побуждениям, взглядам, третий — просто за компанию. Мне кажется, здесь действуют сложные, порой случайные механизмы объединения, активности — в отсутствие политических, этических, эстетических школ, в отсутствие реальной многопартийности. Молодежи очень трудно разобраться в том, как ей жить. Они разобрались в одном: старшему поколению верить нельзя, оно жило безнравственно, с двойной моралью. Почти все, что оно делало,— плохо.

С. Ж. Не время ли вспомнить о государстве? Оно ведь должно помогать молодому поколению, создавая условия для становления и реализации таланта.

Ю. Р. Сегодня этого на государственном уровне у нас практически нет. Мы даже растеряли то, что еще недавно имели. И вообще в период кризиса я искал бы пути спасения культуры не в мерах государства — они будут малодейственны,— а в мерах общества. Сегодня возникают общественные движения, государству важно заметить и поддержать их. Обратите внимание: в США национальная — государственная — программа «Мерит» (отбор и обучение одаренных детей в целях развития космических исследований) проводилась в 60-е годы, в период экономического подъема. В начале 30-х годов, когда в США был экономический кризис, американское правительство не оказывало столь высокого внимания образованию. Мировой опыт свидетельствует: и развитые, и многие развивающиеся страны начинают вкладывать средства в образование и культуру уже после стабилизации экономики.

Но для нас вероятен и иной сценарий. Как поднимались нищие государства Юго-Восточной Азии, которые сегодня считаются богатыми? Я говорю о Сингапуре, о Корее, о Тайване. Они брали эффективные или наукоемкие технологии, кем-то созданные, и начинали хорошо работать. Материальный уровень этих стран сейчас весьма высок, но... у них нет пока ни своей фундаментальной науки, ни современной художественной культуры, ни академического искусства. Однако в последние века всего этого там и не было, была лишь древняя культура, национальные традиции. А нам будет непереносимо потерять то, что мы имеем, имели вовсе не в далеком прошлом: высокую науку, скажем, физику, математику, высокую исполнительскую культуру в музыке, высокую литературу, театр.

Так вот, если общество в решении своих материальных проблем забудет о поддержке таланта, интеллекта, науки, культуры, мы можем превратиться в материально богатую державу, но за которой лишь в прошлом будут числиться великие достижения человеческого гения.

Мы рискуем войти в интеллектуальный, культурный провал — может быть, надолго, может, навсегда. Это реальная опасность: государство под давлением социума будет вынуждено заниматься в первую очередь материальными проблемами и не решится вовремя сменить приоритеты.

С. Ж. Картина довольно мрачная. Неужели государство сегодня не может ничего сделать?

Ю. Р. Если и может, то немного. Повторю: в такие периоды многое зависит от самого гражданского общества.

Мы знаем опыт Новосибирского отделения АН СССР по отбору талантливой молодежи в городах и поселках Сибири. Академические центры в Пущино и Черноголовке известны еще и тем, что ученые и школьные учителя практикуют там совместные занятия с детьми. Работают много лет физико-технические и математические школы при МФТИ, МИФИ, МАИ, других вузах. И сегодня есть интересные начинания — создаются различные фонды и организации в поддержку таланта. Например, в МАИ недавно состоялось открытие Международного учебно-научного центра «Космос», цель которого привлечь одаренную молодежь к обучению на современном уровне, с приглашением ведущих наших и зарубежных специалистов, с возможностью учиться и стажироваться за рубежом. Понимаю: все это пока отдельные светлые пятнышки, их пока немного, но когда-нибудь, возможно, они сольются в многообразную эффективную систему поддержки таланта. Часть этих начинаний угаснет, часть же, наоборот, разовьется.

С. Ж. Рядом общественных организаций уже предприняты попытки создать единую систему поиска и поддержки талантов в стране. С такой инициативой, например, выступал Всесоюзный совет молодых ученых и специалистов. Что вы думаете по этому поводу?

Ю. Р. Это хорошие замыслы, хотелось бы пожелать их инициаторам настойчивости. Такие инициативы следует поддерживать и на государственном уровне, если они проработаны серьезно. Меня тревожит только, что в попытках поиска, сохранения и развития таланта мы порою изобретаем велосипед. Над тем, как находить и воспитывать одаренных людей, билось не одно поколение. Это обсуждалось лучшими людьми двадцатого века во всех странах — подробно, тщательно, без всяких идеологических шор. Об этом написаны книги. Велись оригинальные исследования и в нашей стране, но были пресечены тиранией. (Постоянные читатели журнала «Знамя», вероятно, знакомы с некоторыми из них по прекрасной статье Эфроимсона.)

А мы, не изучив всего этого, в лучшем случае зная понаслышке, пытаемся искать свои пути. Мы просто плохо образованны — я имею в виду себя, многих

новых политиков, которых общество, быть может, и сейчас считает и интеллигентными, и знающими, и талантливыми. Но ведь мы внутри недообразованного общества. Мы — продукт этого общества — так же недообразованны, так же недостаточно профессиональны.

С. Ж. Это так понятно: если вы профессионально занимались исследованиями в физике и преподаванием своих дисциплин, у вас, наверное, не было много времени для подготовки к карьере политика.

Ю. Р. Естественно. Да и карьера эта совсем не привлекала. Кроме того, у нас не было и доступа к первоисточникам. Только сейчас люди начинают открывать для себя Бердяева, Карамзина, Ключевского. Ведь это позорное состояние общества, когда оно не знает собственной истории, не говорю уже об отечественных философских и экономических идеях.

С. Ж. Наш разговор убеждает меня в том, что среди прочих мы должны отыскивать и политические таланты, выращивать политиков «с младых ногтей». Как это делают американцы: мне известны, например, такие негосударственные организации, как Ротари-клуб, Американский совет молодых политических деятелей, Американский центр международных лидеров.

Ю. Р. Надо иметь в виду, что политики в США зачастую узко профилированы. Приведу в качестве примера институт при одном из ведущих университетов, который называется «Space Policy» («Институт космической политики»). В его составе всего несколько человек, занимаются они политическими аспектами космической науки и практики: что космонавтика значит для общества, как общество должно взаимодействовать с нею. Специалисты института предоставляют информацию государственным деятелям, облеченным высокими полномочиями.

Существует огромное количество такого рода организаций и институтов в сфере политики. Они все время подпитывают, причем альтернативно, законодателей разными позициями, различного рода анализами. С нашей точки зрения, это идеально действующий механизм. Американцы видят в нем массу недостатков — коррупцию, лоббизм. Но их флуктуации, по нашим меркам,— малые колебания на высоком уровне. То, что они порой у себя считают трагическим развалом,— как говорится, нам бы ваши заботы.

С. Ж. А вам никогда не хотелось поехать за границу, поработать в лучших условиях, в том же Стэнфорде?

Ю. Р. Никогда. Я уже говорил, что считаю свою реализацию здесь, в этой стране, нормальной. К тому же в годы моей молодости и думать нельзя было о работе за границей, сохраняя советское гражданство,— страна была совершенно закрыта. Можно было лишь сбежать. Да и, похоже, в 60—70-е годы уезжали главным образом те, кто вступил в открытую конфронтацию с режимом, кто столкнулся с хамством, угрозами в свой адрес, а то и прямыми репрессиями.

Начиная с 70-х годов эмиграция набирала силу. Первой поднялась волна еврейских отъездов, затем поехали и люди других национальностей. Сегодня, когда в стране произошла несомненная либерализация режима, поток эмигрантов не ослабевает, а, наоборот, растет. Связано это, конечно, со многими проблемами — национальными, экономическими, экологическими, но и не в последнюю очередь с нереализацией способностей. Не обязательно как ученого или художника. Многие просто не могут применить здесь свою энергию, предприимчивость, которые свойственны человеку от природы.

С. Ж. Как вы относитесь к проблеме «утечки мозгов» за границу?

Ю. Р. Мы с вами уже коснулись «утечки мозгов» в «песок», когда талант гибнет в стране, оставаясь невостребованным. И если, уехав временно или насовсем, человек имеет шанс использовать свои способности, его отъезд позитивен для него самого, а порой и для мировой культуры, науки. Скажите, что было бы, если Рахманинов, Стравинский остались бы в России? А Солженицын, Бродский... (здесь, правда, было насильственное выдворение). Примеров множество.

Если общество и государство не могут обеспечить самореализацию творческой личности, отъезд становится для нее единственно возможным путем. Не надо думать, что ученые, сотнями перебирающиеся сегодня за океан, потеряны для нашей страны. Многие из них, способные вести исследования на мировом уровне, уверен, вернутся сюда в будущем. Боюсь только, к тому времени в стране не окажется хорошо обученных (некому учить!) молодых людей в этих науках.

Почему ученые со всего света последние 45 лет ехали и продолжают ехать в США? Потому что там им предлагают наилучшие условия — не только для жизни, но в первую очередь для творчества. Вот где забота для нашего государства и общества — осознать перспективы и начать создавать соответствующие условия. И что не менее важно, своевременно предоставлять свободу творчества. Ненормальным является положение, когда талантливая молодежь в свои самые продуктивные годы не имеет самостоятельности. Если положение изменится, то и процесс «утечки мозгов», по всей видимости, постепенно замедлится. А волевым путем я бы его останавливать не стал, это безнравственно.

С. Ж. А что вы думаете по поводу возможностей русского зарубежья: станет ли оно, сумеет ли помочь способным молодым людям из нашей страны получить образование за границей — в финансовом и иных отношениях? Так, как это делают китайские эмигранты для своих молодых соотечественников.

Ю. Р. Я в это не очень верю. Действительно, у китайцев получилось. Я побывал в Китае в 1986 году: уже тогда в ведущих учебных заведениях Запада учились примерно 10 тысяч человек за счет государства и 10 тысяч за счет богатых китайцев, живущих за рубежом. Сегодня число таких студентов выросло. Но китайская эмиграция отличается от русской: эти люди, как правило, живут плотными образованиями, диаспорами — почти в каждом крупном американском городе есть «чайна-таун». Определенная часть обученных специалистов возвращается в Китай, но порой те, кто вернулся, чувствуют, что у них нет еще нормальных условий, материальной базы и соответствующей среды для научной работы в Китае. Многие, часто наиболее одаренные, остаются в США, других развитых странах.

Что же до нашей эмиграции, то она разрозненна, небогата, не столь многочисленна и потому не имеет тех возможностей, какие есть у китайских эмигрантов.

С. Ж. И последний вопрос. Чем будет определяться, по вашему мнению, спрос общества на интеллект в ближайшие годы?

Ю. Р. В процессе экономической реформы в стране формируются три основных рынка: рынок товарный, рынок денег и ценных бумаг и рынок труда. Спрос на специалиста во все большей степени будет определять нарождающийся рынок труда. На этот рынок начнет ориентироваться и система образования, действующая в стране. Она должна обеспечить общество специалистами, а следовательно, дать человеку возможность найти себя на рынке труда. С другой стороны, нравственно более важной, система образования должна удовлетворять потребность личности в знаниях, самоусовершенствовании, духовном росте. Потребность одаренной личности в приобретении знаний, развитии своего интеллекта проявляется часто вне зависимости, а порой и вопреки общественным потребностям, выраженным, например, в форме спроса на рынке труда. В этом, на мой взгляд, и состоит резерв прочности общества, его надежда на будущее.

С. Ж. Спасибо за беседу!

Евгений Стариков

«УГРОЖАЕТ» ЛИ НАМ ПОЯВЛЕНИЕ «СРЕДНЕГО КЛАССА»?

Прежде чем попытаться ответить на вопрос, вынесенный в заголовок, попробуем выяснить: а нет ли у нас в стране уже сейчас чего-то похожего на «средний класс»? Один из признаков «среднего класса» — доход, отличающий его и от бедных, и от богатых, доход, который обеспечивает достаточно высокий уровень жизни, выражающийся в наличии благоустроенного личного дома или многокомнатной квартиры со всеми удобствами, легкового автомобиля и полного набора домашней бытовой техники. Для приобретения всего этого среднедушевой месячный доход семьи из четырех человек вряд ли может быть ниже 250 рублей. В России на 1989 год людей с таким доходом и выше было 13,4 процента от общей численности населения. Если вычесть отсюда сверхобеспеченных (академики, загранработники, кооператоры) — их 0,25 процента,— то останется 13,15 процента населения России. По-видимому, и общесоюзный показатель близок к этому, так как разброс данных (в большую или меньшую сторону) по «бедным» и «богатым» союзным республикам уравновешивает крайние «отмашки».

Однако определить численность так называемого «среднего имущественного класса», то есть выделенной на основании единственного признака — уровня материальной обеспеченности группы людей,— трудно, так как берется, во-первых, легальный доход, а, во-вторых, в его номинальном денежном выражении. В обществах, где материальные богатства распределяются на основе рыночного механизма с его «автоматом» закона стоимости, уровень денежного дохода равен уровню материальной обеспеченности. В нашем же, дорыночном и дотоварном обществе, разбитом на множество снабженческо-распределительных статусов-сословий, доступ к материальным благам зависит не столько от наличия денег, сколько от бюрократа-распределителя, подменяющего собой рынок. Проявляется это в неравной покупательной способности рубля для разных сословий. Так, например, высококачественная, экологически чистая продовольственная продукция «спеццехов» реализуется представителям номенклатурного сословия по ценам, в семь — десять раз ниже себестоимости. Неравен также и доступ к предметам потребления. И, наконец, в условиях, когда около 30 миллионов человек заняты в «теневой экономике», уровень легальных доходов совершенно не отражает картину доходов реальных. Что же касается численности реального (а не определяемого по денежному номиналу зарплаты) «среднего имущественного класса», то процент его в общей численности населения примерно совпадает с приведенным выше. Как пишет кандидат экономических наук А. Зайченко, «к числу обеспеченных граждан — советскому эквиваленту американского «среднего класса» — можно отнести всех лиц, имеющих личные автомашины,— 13 миллионов человек, или 11,2 процента всех семей Советского Союза». Но при всем внешнем совпадении цифр, определяющих численность «среднего имущественного класса» по легальным доходам в их денежном выражении, с одной стороны, и по реальной обеспеченности материальными благами — с другой, вряд ли цифры эти хотя бы наполовину совпадают с теми группами людей, которые стоят за ними. Так, работников торговли по их официальной заработной плате следовало бы отнести

к «низшему имущественному классу», однако фактически они относятся к «среднему» и частично к «высшему», поскольку их расходы в среднем по стране на 60 процентов превышают официальные доходы. Таким образом, из означенных 11,2 процента среднеобеспеченных семей половина достигла достатка незаконными средствами (данные А. Зайченко). Отсюда вывод: даже при всей своей малочисленности (11,2 процента против 60—70 процентов в странах Запада) советский «средний имущественный класс», состоящий наполовину из ворюг,— отнюдь не эквивалент западного «среднего класса» (и тем более — никак не опора демократии). Ибо достаточный уровень материального благосостояния, зажиточность — хотя и обязательный, но далеко не единственный признак «среднего класса». Главное же — не сам уровень материального благосостояния, а способ его достижения. Средние слои достигают высокого качества жизни не захватом ключевых рычагов в сфере бюрократизированного распределения, а высокоэффективной производительной деятельностью. Их отличительная черта — чрезвычайно высокий уровень не только производственной, но и общей культуры и, как результат — высокая инициативность и способность принимать творческие, нестандартные решения, высокая адаптивность к быстрой смене технологий, происходящей в условиях новой фазы НТР каждые семь-восемь лет, то есть способность несколько раз на протяжении жизни переучиваться. А это, в свою очередь, предполагает колоссальную работу над собой, ибо процесс создания такой способности занимает у представителей «среднего класса» на Западе период, равный половине активной трудовой жизни одного поколения. Высокое качество жизни выступает здесь и как результат высокоэффективного труда, и как необходимая предпосылка способности к такому труду.

Короче говоря, феномен «среднего класса» — это не просто люди с деньгами, а определенная субкультура, особый социальный тип личности, появляющийся в результате социального отбора. И тут мы подходим к ключевому моменту нашего разговора. Существуют два диаметрально противоположных, несовместимых друг с другом способа социального отбора, накрепко связанных с двумя альтернативными системами хозяйства.

Рыночное хозяйство производит естественный отбор работников по критерию среднеобщественных показателей — менее производительный труд рассматривается как бесполезный. Происходит своеобразная «выбраковка» люмпена, талантливый профессионал вытесняет разгильдяя и неумеху.

Но существует и иная система социального отбора — отбора «отрицательного», когда «выбраковываются» лучшие. Поскольку в дотоварном, безрыночном хозяйстве цель производства — создание не меновой, а потребительной стоимости, рынок уже не играет роли конечного критерия трудовой деятельности; результат этого — нивелировка всех работников (и плохих, и хороших) по усредненно-низкому уровню. Независимость от рынка дает плохому работнику чувство экономической защищенности, пусть даже его зарплата низка и работа неинтересна. А вот талантливый работник чувствует себя в такой системе очень неуютно — его высококачественный труд оплачивается наравне с «трудом» разгильдяя; людей с конкурентным типом поведения морально осуждают, подвергают остракизму. Происходит инверсия заработной платы, простой труд зачастую оплачивается выше, нежели сложный. Отсюда — деквалификация и депрофессионализация работника. Как свидетельствует И. Бестужев-Лада, у нас «каждый третий из миллиона с лишним врачей не способен пройти элементарной аттестации... Человека со средним, специальным средним и даже с высшим образованием становится все труднее отличить по уровню профессиональной и общей культуры от самого примитивного «люмпена».

Так идет «выбраковка» потенциальных представителей «среднего класса». Люмпены и «средний класс» — непримиримые антагонисты. Если побеждают талантливые (как при рынке), это еще не означает, что люмпены обречены на жалкое в материальном плане существование. Более того, в условиях рыночной экономики уровень их жизни может даже повыситься за счет системы социального обеспечения, перераспределяющей с помощью налогов часть высоких доходов в

их пользу. Но законы жизни и правила игры диктуют уже не они. И поэтому платят за это талантливому работяге лютой иррациональной ненавистью. Люмпен готов отказаться от любых даруемых ему обществом материальных благ, лишь бы всех привести к общему нищенскому знаменателю. И если верх берут люмпены, то обществом правит, по выражению К. Маркса, «всеобщая и конституирующаяся как власть зависть»[1]. Принцип такой власти — люмпенизировать всех талантливых, низведя их до своего уровня. У лидеров ОФТ и функционеров ВЦСПС это именуется «социальной справедливостью». Короче говоря, если не действует рыночная система, при которой талантливый работник «выбраковывает» люмпена, то действует обратная закономерность: работников, которых ведущий экономист ОФТ А. А. Сергеев назвал «талантливыми проходимцами», «выбраковывают» проходимцы бесталанные — проходимцы в прямом смысле этого слова, без кавычек, ибо всякий труд, вознаграждаемый не по конечному результату, развращает (в СССР чернорабочий, производящий в год вновь созданной стоимости на 600 рублей, получает к зарплате дотацию в 2000 рублей, вся же плата за ложный труд в госсекторе, по мнению экспертов Академии наук СССР, достигает 80 миллиардов рублей). И над всем этим унифицированно-серым однообразием с неизбежной естественностью возвышается громадный аппарат распределителей — блюстителей «социальной справедливости», на которых сам принцип этой «справедливости» по причинам, остающимся несколько неясными, не распространяется.

Вывод: в той социально-экономической системе, которая у нас сейчас существует, появление «среднего класса» в принципе невозможно. Занятые в сфере высоких технологий так называемые рабочие-интеллигенты составляют лишь 2,2 процента всего рабочего класса, работников же неквалифицированного и малоквалифицированного труда в девять раз больше. Среднегодовой прирост численности первых — менее одного процентного пункта, а темпы сокращения численности вторых — и того ниже. И хотя талантливых и высокообразованных людей у нас немало, у них нет собственной экономической базы, и потому они представляют собой «средний класс» лишь в потенции. Что же касается кооператоров, то, ведя борьбу за выживание в системе дорыночного бюрократизированного хозяйства, они с неизбежностью претерпевают уродующее, деформирующее воздействие этой системы, коррумпирующейся за их счет и коррумпирующей их самих, а заодно дают таким образом и аргументы в руки идеологов типа А. А. Сергеева для филиппик против «талантливых проходимцев». Устанавливается «нерушимый блок» люмпенов высокопоставленных с люмпенами «vulgaris». Подавление талантов сверху, «по вертикали», сопровождается не менее сильным «горизонтальным террором» со стороны завистливых посредственностей «из народа», которые и сами не живут, и другим не дают. «Горизонтальный террор» может быть не только психическим: «истинно народным» способом «классовой борьбы» на Руси исстари стал, например, поджог. При Столыпине пауперы палили хуторян и отрубников, ныне палят арендаторов и кооператоров.

Есть и другая причина, намертво блокирующая становление советского «среднего класса»,— сам тип роста нашей экономики, близкий «прусскому пути развития» и более свойственный классическому капитализму прошлого века. Рост прибавочного продукта происходит за счет необходимого рабочего времени, то есть, попросту говоря, за счет удержания доходов населения на предельно низком уровне, препятствующем созданию емкого внутреннего рынка. У нашей экономики предельно низкий выход продукта конечного спроса — того, что нужно людям. Экономический рост происходит за счет базовых отраслей (уголь, нефть, черная металлургия) и производства средств производства, которое замкнуто само на себя, ничего не давая народу. Если на Западе высокий уровень потребностей «среднего класса» заставляет его представителей хорошо трудиться и хорошо зарабатывать и, таким образом, растущий внутренний рынок — главный двигатель экономического развития, то у нас все наоборот: предельно низкий уровень потребления обеспечивает высокую норму накопления лишь в отраслях группы «А». В таких условиях экономически выгоднее использовать живой труд вместо техники. На Западе высокие технологии и неотрывный от них «средний класс» практически вытеснили раннеиндустриальные формы труда. На нашем же ГАЗе, например, вместо того, чтобы автоматизировать наиболее тяжелые, трудоемкие участки (прессово-рамное производство, сборочный конвейер), бросают туда «химиков», а сейчас, когда «химиков» поубавилось,— завербованных китайских «гастарбайтеров». И так повсюду. Альтернатива налицо — или роботы, микропроцессоры и прочие высокие технологии вытесняют малоквалифицированную рабочую силу и создают места для обслуживающих эту технику рабочих-интеллигентов, или же неквалифицированная «рабсила» с минимальными потребностями — бывшие домохозяйки, лимитчики, обитатели ЛТП, зеки, «химики», стройбатовцы, вьетнамцы, китайцы и корейцы, орудующие ломом и кувалдой,— намертво заблокирует появление и высоких технологий, и «среднего класса». Сейчас, хищнически используя природные ресурсы и человеческую «рабсилу» — послушную, неразборчивую к условиям труда, взятую в аспекте ее массово-нерасчлененной, физически-мускульной способности к переворачиванию «тонно-кубометров»,— наш экономический монстр расползается вширь, стекая в «котлованы», каналы и прочие «стройки века» и старательно обтекая вершины высоких технологий.

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, том 42, стр. 114.

Общеизвестно, что уровень рабочей силы и уровень потребностей (и потребления) неразрывно связаны, поощряют друг друга и одновременно стимулируют рост экономики. В условиях постоянной нищеты потребности атрофируются. Наступает растительное существование, состояние, близкое к обреченности. Как в песне поется, «ничего мне не нужно, никуда мне не надо, все нормально и так». Но при низком уровне потребностей способность к труду неизбежно опускается до того же уровня. Так о каком же «среднем классе» может идти речь?

Структурная перестройка нашей экономики неизбежна. И как следствие — неизбежна структурная и «технологическая» безработица. При свертывании непомерно разбухших базовых отраслей и переориентации производства на выпуск предметов потребления и на высокие технологии миллионам металлургов, шахтеров, работников Минводхоза и прочих «землеройных» ведомств придется менять специальность. Высокие технологии оставят без работы множество чернорабочих, неспособных из-за низкого уровня общей культуры повысить свою квалификацию, да и не желающих ее повышать. Выдержит ли наше общество возникающую при этом колоссальную социальную напряженность? Исторические параллели неутешительны: не раз и не два ускоренная технологическая модернизация и взрывное развитие рыночных отношений приводили к социальным катаклизмам. Мощное вторжение рынка в дотоварную экономику вызывает ускоренную «выбраковку» работников дотоварного типа. Скапливаясь и сбиваясь в плотные массы, они, почувствовав себя «зажатыми в тесный угол», переходят в агрессивное контрнаступление на неокрепшие современные структуры. Вдохновляться такое контрнаступление может и псевдомарксистской риторикой, и религиозным фундаменталистом — результат всегда один: торжество еще более архаичных дорыночных структур, ренессанс средневековья и «азиатчины». Реформы Столыпина, колоссально ускорившие экономическое развитие России, ускорили и социальную поляризацию российского общества. Комбинированного «удара рублем» и мировой войной страна не выдержала и через двенадцать лет после октябрьского переворота оказалась в объятиях рабовладельческого (ГУЛАГ) и крепостнического (колхозы) укладов. То же самое повторилось через полстолетия в Кампучии. Вследствие развернувшейся в кампучийском сельском хозяйстве «зеленой революции» урожайность риса повысилась за пятнадцать лет с 15 до 80 центнеров с гектара (то есть более чем в пять раз) и... страна не выдержала свалившегося на нее товарного изобилия, традиционная социальная структура развалилась и наряду с появившимся «средним классом» на арену вышел озверелый люмпен, массами стекавшийся к «красным кхмерам» Пол Пота. Результат известен. И, наконец, пример Ирана. Обрушившийся на страну в 70-е годы поток нефтедолларов и новой техники вызвал мощнейшую реакцию отторжения, возглавленную Хомейни.

Итак, модель событий ясна — политика прорыва в современность парадоксальным образом порождает инволюционные рецидивы варварства. Не грозит ли

то же самое и нам? Ведь уже второй год мы можем наблюдать (пока что на периферии нашей страны) разгул люмпенской стихии. Бесчеловечные жестокости в Фергане и Оше творили сельские пауперы, в Сумгаите — городские маргиналы. Патологическое варварство, проявленное при этом, не «азиатская специфика» и тем более не национальная черта узбеков, киргизов или азербайджанцев, а «интернациональное» свойство люмпена, к какой бы нации он ни принадлежал. И да не будет у россиян иллюзий: русский люмпен ничуть не уступит в этом свойстве никакому другому. Быт и нравы наших ИТК и казарм тому порука. Нет недостатка и в потенциальных политических лидерах люмпенства, «взбесившегося от ужасов перестройки»: доморощенные хомейни давно уже стращают народ рынком, проповедуя антизападническую ксенофобию и квасной патриотизм. Так что же, отказаться от надежд на модернизацию?

Наряду с негативным опытом царской России, Кампучии и Ирана есть и положительный опыт стран тихоокеанского региона. Он выявляет важнейшую роль социальных амортизаторов при ускоренной структурной перестройке народного хозяйства. Так, пример Тайваня показывает колоссальную возможность мелкого семейного бизнеса абсорбировать и довольно безболезненно пристроить огромные массы высвобождающейся рабочей силы. В развитых странах сейчас до 60 процентов занятых переместилось в сферу услуг. У нас же это совершенно неразвитый сектор экономики — непаханая целина для сколь-нибудь предприимчивого работника. Если высвобождающуюся рабочую силу направить в семейный бизнес в сельском хозяйстве и сфере услуг, то вместо роста озлобленной люмпенской массы мы получим искомое пополнение для формирующегося «среднего класса». Но чтобы провести такую работу, необходимо компетентное правительство, действительно желающее перехода к рынку... Сейчас же, когда читаешь о том, что делает наш Совмин для подобного перехода, на ум невольно приходят знаменитые слова, сказанные П. Н. Милюковым в Думе в адрес правительства за четыре месяца до Февральской революции: «Что это, глупость или измена?» А пока правительство, изображая рыночные потуги, делает все для дискредитации рынка, из страны бегут квалифицированные и труднозаменимые кадры, разуверившиеся в возможности самореализации на родине. И пусть национальный состав отъезжающих не заслоняет от нас социальной подоплеки: уезжают наиболее конкурентоспособные («конвертируемые»). Ведь те же 167 тысяч немцев, покинувших нашу страну за последние полтора года,— это незаменимые носители сельскохозяйственных навыков — несостоявшиеся советские фермеры. И отнюдь не тоска по утраченной столетия назад «исторической родине» гонит их (так же, как советских евреев и греков). И вот теперь на подходе масштабная русская эмиграция. Прогноз на текущий год — 200 тысяч эмигрантов-русских. И в ближайшие годы их число не уменьшится. На какую такую «историческую родину» этих-то понесло? Дело не в силе притяжения «заграницы», а в силах выталкивания из Союза. Неумолимо действует уже знакомый нам механизм социальной «выбраковки»: люди с ярко выраженной творческой индивидуальностью оказались лишними в стране, где, несмотря ни на какие «ветры перестройки», по-прежнему правит бал «ярко выраженная» безликость. Из страны буквально выдавливается потенциальный, так и не состоявшийся «средний класс». И когда правительство спохватится, поезд, как обычно, уже уйдет. Создавать отечественный «средний класс» будет не из кого. К вящей радости блюстителей равенства из ОФТ и квасных патриотов из «Памяти» не останется в стране ни «талантливых проходимцев», ни «русофобов». Никто уже не взбаламутит застойного болота и не разбудит кладбищенской тишины. «Отрицательная селекция» нации, осуществлявшаяся в свое время Сталиным, продолжается, только в иной форме. Так что появление «middle class» нам на ближайшее время не угрожает. А если наши перестроечные дела и дальше так пойдут, то эта «угроза» и вовсе отпадет на все обозримое будущее.

г. Воронеж

Мемуары. Архивы. Свидетельства

Георгий Арбатов

ИЗ НЕДАВНЕГО ПРОШЛОГО

Не очень легко назвать высшие точки, моменты торжества прогресса в послесталинской истории нашего общества. Были недолгие, к сожалению, периоды экономического подъема и успехов, но с ними не всегда совпадали периоды подъема политического и духовного.

Перелом к худшему в развитии экономики поддается точной датировке. Восьмая пятилетка была успешной. С девятой начался упадок.

Было ли это неожиданностью?

В общем, нет. Ни для специалистов, ни даже для части руководства. Дискуссии по проблемам экономики шли с начала 60-х годов. Из них родилась реформа. Несмотря на успех восьмой пятилетки, на XXIV съезде был, как известно, поставлен целый ряд принципиальных вопросов экономического характера. О том, что исчерпаны экстенсивные факторы роста и надо переходить к интенсивным, о необходимости повысить роль экономических рычагов и улучшить управление хозяйством. Был даже изложен в виде довольно прозрачного намека план серьезного сокращения числа министерств.

Вскоре после съезда (под воздействием сигналов тревоги, исходивших от ряда ученых, в том числе исследователей мировой экономики) было принято решение провести специальный Пленум ЦК по проблемам научно-технической революции. Если бы его не испугались провести, серьезно отнеслись к уже разработанным предложениям, он мог бы сыграть заметную роль в развитии экономики. Этот несостоявшийся Пленум так же, как и неосуществленная реформа 1965 года, были двумя предоставленными нам историей возможностями начать радикальные преобразования в относительно нормальной, даже благополучной ситуации — преобразования, так сказать, «с позиции силы». Но возможности эти использованы не были. Не берусь судить, было ли это предопределено, правы или не правы те, кто считает, что на действительно радикальные перемены нас может вынудить лишь острый кризис. Как бы то ни было, радикальная экономическая реформа начата (к тому же не очень уверенно) лишь в период перестройки, когда ее предстоит проводить уже с «позиции слабости», под высоким давлением нарастающих проблем. А это, естественно, оставляет меньше времени и для поиска стратегии, и для убеждения сомневающихся.

И здесь вполне уместен второй вопрос: почему были упущены эти возможности и ценное время, почему мы так непростительно затянули с наведением порядка в своем экономическом доме?

Главная причина (сейчас, когда началась перестройка, это особенно высветилось) состоит в том, что к радикальным переменам не были готовы ни руководство, ни значительная часть народа. Административно-командная система породила особый склад экономического и управленческого мышления, коренящийся в эпохе «военного коммунизма». Такие «чуждые социализму» категории, как рынок или признание множественности форм собственности, долгое время воспринимались враждебно.

Кроме того, жестоко мстили за себя тоталитарные традиции, помешательство на пропаганде успехов, неуемное желание говорить только прият-

Окончание. Начало см. «Знамя» № 9 за 1990 год.

ное: истинная картина экономики была скрыта от общества. Конечно, руководство знало много больше, чем широкая публика. Но даже при желании трудно было уяснить правду. Искажение фактов начиналось с приписок на рабочем месте, на предприятии, в совхозе и колхозе. Вся статистика была подстроена «под систему», под главную потребность управляющих — рапортовать об успехах; она, не вдаваясь в сложности, охватывала лишь количественные показатели, не учитывала в должной мере качества, потерь, издержек, не исключала двойной счет и т. д. Самое интересное: начальство об этом знало или, во всяком случае, догадывалось. Но ни желания, ни настойчивости докопаться до правды не проявляло. Драматизма, нараставшей остроты ситуации руководство не ощущало. Я и мои коллеги, много лет участвовавшие в подготовке ставших тогда традиционными Пленумов ЦК по плану и бюджету на очередной год, могли судить об этом по документам, которые к нам поступали, а также по характеру дискуссии о плане на Политбюро. Не помню, чтобы там поднимались самые важные, коренные вопросы хозяйствования — в основном речь шла о довольно мелких межведомственных претензиях и, главное, о платежном балансе, то есть о том, чтобы план товарооборота соответствовал денежным доходам. Если же здесь что-то не сходилось на несколько миллиардов, предлагалось повысить цены на какие-то виды товаров, чтобы «сбалансировать» план и бюджет. И это тогда, когда из года в год десятки, если не сотни, миллиардов тратились на «стройки века», питали долгострой и выпуск ненужной продукции, пускались по ветру ужасающими потерями (не говорю уж о неведомых даже начальству в полном объеме военных расходах).

Ну, а другой причиной промедлений с реформами было то, что все увеличивавшиеся дыры в народном хозяйстве затыкали, варварски расхищая природные богатства страны, экономя на охране окружающей среды и социальных расходах. Важнейшим резервом затыкания дыр стал экспорт нефти (а потом и газа).

Хотел бы быть правильно понят: я отнюдь не разделяю позиции тех, кто вообще, так сказать, принципиально против экспорта нефти или других видов ценных, невозобновимых природных ресурсов. Надо быть реалистами. Конечно, лучше экспортировать видеомагнитофоны, авиалайнеры, на худой конец автомашины, станки и приборы, а не нефть. А уж если нет конкурентоспособных наукоемких товаров, даже продукции обрабатывающей промышленности, деваться некуда. Но при этом надо рассматривать крупномасштабный экспорт как возможность заработать валюту на действительно важные для страны дела, притом возможность временную.

И я, и многие мои коллеги в конце 70-х — начале 80-х годов думали, что западносибирская нефть спасла нашу экономику. А потом начали приходить к выводу, что одновременно это богатство позволило руководству потерять непростительно много времени, откладывая давно назревшие реформы. История преподала нам горький урок, напомнив, что на свете, пожалуй, нет стран, которые бы вырвались вперед, разбогатели только благодаря изобилию природных ресурсов. Исключения редки. Ни Япония, ни Западная Германия, ни Южная Корея не обладают богатыми природными ресурсами, но нужды ни в чем не испытывают. А страна, занимающая первое место в мире по добыче нефти, из-за нехватки горючего ежегодно переживает серьезные сбои в авиационных перевозках, испытывает дефицит горючего для весьма скромного автомобильного парка и останавливает тракторы весной и комбайны осенью.

Доминирующим, подавляющим все остальные стремлением тех, кто определял политику и на нее влиял, стало не развитие общества, а глухая оборона от перемен, консервация положения вещей, сложившихся к середине 70-х годов, иными словами — сохранение любой ценой, любыми усилиями «статус-кво». Совершенно естественно, что именно в этом состоял «заказ», директива государственных и партийных органов науке и культуре, средствам массовой информации. Они должны были помогать или хотя бы не мешать, не замечать обострявшиеся трудности и проблемы, подменять усложнявшуюся действительность иллюзиями стабильности, успехов, прогресса. Потому и исчезали последние островки гласности, зато росла сфера секретности.

В результате в этот период выработался совершенно определенный политический стиль — крайне осторожный, замедленный, ориентированный не так на решение насущных задач, как на то, чтобы не нарушить собственного равновесия. Социальных и национальных проблем, экологических угроз, упадка образования и здравоохранения, бедственного положения значительной части членов общества — всего этого как бы не существовало, а действовали элементарные пропагандистские стереотипы вроде «новой социальной общности — советского народа».

Для органов государственной власти консервативная политика защиты «статус-кво» означала прежде всего сохранение и даже усугубление бессилия представительных институтов сверху донизу, окончательное закрепление за ними чисто декоративных да еще церемониальных функций.

Я был депутатом старого Верховного Совета СССР трех созывов и знаю изнутри и его жизнь, и систему выборов. Впрочем, «снаружи» ее тоже все знают достаточно хорошо. Выдвижение (по сути, назначение) в Верховный Совет воспринималось как большая честь, признание твоих заслуг руководством (вроде ордена, почетного звания). Были разумеется, и более практические мотивы выдвижения. В годы разрядки наша страна начала развивать контакты и обмены по парламентской линии. Понадобились люди, более или менее профессионально разбирающиеся в международных отношениях и внешней политике. Вот и выдвинули. Так начинали свою парламентскую карьеру Н. Н. Иноземцев, А. Н. Яковлев, Е. М. Примаков, а позже, когда вышли на первый план проблемы сокращения вооружений, — Е. П. Велихов и Р. З. Сагдеев.

Конечно, на выполнении депутатских обязанностей сказывалась мера личной добросовестности. Но сделать можно было что-то в основном для «своих» избирателей — хлопотать о несправедливо обиженных, попавших в беду, помогать строительству школы или больницы и т. п.

К формированию же и обсуждению настоящей политики представительные органы, включая Верховный Совет, просто не допускались, а точнее — не приглашались. Иногда перед сессией вдруг звонил кто-то из аппарата и говорил: «Есть мнение — надо выступить». Тут же присылали и «проект» выступления (правда, следовать ему было необязательно). Для участников пленумов ЦК КПСС, кстати, процедура существовала сходная: перед заседанием звонили, но «проекта» выступления не присылали. Если уж предоставляли слово, ты был свободен говорить, что захочешь, но отдавая себе отчет в последствиях: случаи крушения карьер из-за того, что выступление не понравилось, известны.

Жалкое существование представительных органов (с середины 70-х годов сессии Верховного Совета СССР становились все короче, а заседания комиссий собирались все реже) вступало в разительный контраст с усилением исполнительной власти. Непрерывно увеличивалось число министерств и ведомств, разбухали их штаты. Министерские здания полностью заняли одну сторону Калининского проспекта, в 70—80-х годах под министерства были перестроены многие десятки старых, дореволюционной постройки жилых и служебных домов. Строились все, кто мог, денег не жалели.

Особенно быстро и масштабно расширялся ЦК КПСС. Я еще помню время, когда аппарат помещался в трех зданиях на Старой площади (крыло одного из них выходило на улицу Куйбышева). Сейчас ЦК занимает десятки зданий, отобранных у других министерств и ведомств, перестроенных, возведенных во дворах, — словом, целый городок. За годы застоя партийный аппарат как в центре, так и на местах вырос невероятно — и по численности, и по своей роли.

Ответственные посты стали в принципе пожизненными, а ответственные работники — несменяемыми. Очень многие секретари обкомов, министры, ответственные работники партийного и советского аппарата сидели на должности по пятнадцать — двадцать лет. Изобреталась изощренная техника увода самых провальных работников от ответственности. Секретаря обкома отзывали, скажем, на должность инспектора в отдел оргпартработы ЦК КПСС, а через два-три года рекомендовали (фактически назначали) секретарем в другую область. Несостоятельного министра перебрасывали из одного министерства в другое, либо «под него» создавали какое-то новое министерство. А впавшего в немилость или совсем развалившего дело направляли в какую-нибудь страну послом.

Высший эшелон номенклатуры в годы застоя таким путем окончательно выделился в особую касту, пожизненно обеспеченную почетом, значительным по нашим стандартам жизненным уровнем и изрядным набором разнообразных привилегий — вплоть до организации похорон. Эта каста все больше отделялась от общества — изолированно жила, лечилась, отдыхала, завязывала особые семейные узы — ведь дети вместе проводили время, знакомились, нередко женились. Так, новые дачные поселки под Москвой получили в народе наименование «Детское село».

Но пора отойти от соблазнительной и уже порядком изжеванной темы о жизни верхов, вернуться к вещам менее занимательным, но важным.

Консервативная политика, нацеленная на предотвращение перемен, требовала активного использования карательного аппарата, аппарата подавления. Конечно, после разоблачений сталинских преступлений, ГУЛАГа практиковать политические репрессии в широких масштабах руководство не хотело. Брежнев помнил, как воздала история Сталину. Разумеется, и Андропов, возглавлявший в эти годы КГБ, отнюдь не желал быть поставленным потом на одну доску с Берией или Ежовым. Как мне рассказывал Юрий Владимирович, со стороны отдельных членов Политбюро был напор: «Сажать надо!», «До каких пор можно терпеть!» и т. д. Но все же на сколько-нибудь массовые репрессии руководство себя толкнуть не позволило.

Однако политика «статус-кво» в ситуации, когда перемены назрели, все же неумолимо требовала массированных мер принуждения и запугивания. Как конкретно использовался широкий набор средств расправы и устрашения, рассказывать не буду — эта неприглядная страница нашей истории достаточно выразительно написана жертвами и очевидцами.

Непосредственной мишенью репрессивной политики были сотни, ну, может быть, тысячи людей, но их выявление и преследование потребовали серьезно активизировать всю деятельность органов, называемых «тайной полицией». Это не могло пройти незамеченным. Подслушивания, доносов начинали опасаться все. Даже весьма высокопоставленные люди, когда разговор в их кабинете становился острым, делали красноречивый жест в сторону телефона или потолка и тут же переходили на другую тему.

Использование карательного аппарата для проведения консервативной политики не сводится к преследованию инакомыслящих, борьбе с диссидентами. Нежелательным, опасным для системы становился не только, так сказать, политический оппонент; каждый, кто своей деятельностью, желанием что-то изменить, найти неординарное решение проблем бросал ей вызов. Ибо его энергия, его успех были равнозначны осуждению безделья, ошибок, плохой работы окружающих. И потому его пытались укоротить, срезать, затоптать. Уголовные преследования нередко становились и орудием расправы начальства с неугодными, непослушными, строптивыми.

Но хватало и чисто политических «операций». Вспоминаю о трудностях, которые переживал Институт мировой экономики и международных отношений АН СССР. «Ножи» на этот институт точили давно. И не только потому, что там работало немало творческих, прогрессивных ученых. Институт и его тогдашний директор академик Н. Н. Иноземцев были ближе, чем многие другие, к политике, к людям, которые ее формировали, а потому казались кое-кому особенно опасными.

По-настоящему крупные неприятности разразились «под занавес» застоя — в 1982 году. Сперва был арестован заместитель директора ИМЭМО по хозяйственной части. Одновременно в институте начала работать комиссия по проверке хозяйственной деятельности. Скоро стало известно: при переезде в новое здание «списали» старую мебель. Поскольку закон (странный, надо сказать, закон) запрещал ее продать или кому-то отдать, мебель уничтожили. А вот теперь возникли сомнения, не присвоил ли ее кто-то из руководства института. После того, как никакого «компромата» на руководство института добыть не удалось, дело прекратили, заместителя директора освободили, он вернулся к исполнению своих обязанностей.

Но то был только пролог. Весной органы КГБ арестовали двух молодых научных сотрудников — Фадина и Кудюкина. Они входили в группу, занимавшуюся, в частности, распространением листовок, в которых критиковалась официальная версия событий в Польше, сочувственно оценивалась деятельность «Солидарности». Обвиняли их также в несанкционированной встрече с секретарем одной из латиноамериканских компартий, в ходе которой они «с диссидентских позиций» оценивали положение в СССР и политику советского руководства.

Арест диссидентов — сотрудников академических институтов был в те годы редким, но все же не исключительным событием. Обычно каких-либо тяжелых последствий для институтов и их руководителей это не вызывало. Совершенно иной, беспрецедентный резонанс приобрело дело сотрудников ИМЭМО. Для проверки деятельности института была образована партийная комиссия во главе с членом Политбюро Гришиным, входили в нее секретарь ЦК Зимянин, ряд ответственных работников ЦК и МГК КПСС. Комиссия явно стремилась ошельмовать деятельность института и его директора. Ее члены «изучали» личные дела сотрудников, научную продукцию института, беседовали с членами парткома, дирекцией, руководителями подразделений. Всех их спрашивали, можно ли считать происшедшее случайным и как они оценивают идеологическую обстановку в коллективе.

В документе, подготовленном комиссией, а также на организованной ею встрече с активом института (документ только зачитывался, в руки его никому не дали) были предъявлены обвинения в идеологическом провале, в «засоренности кадров сионистскими элементами», в том, что институт дезориентировал руководство страны относительно процессов, происходящих в мире. Заведующий сектором отдела науки ЦК М. И. Волков заявил, что институт «хвалят враги» (имелся в виду уважительный отзыв об ИМЭМО в одном из органов американской прессы). В кулуарных беседах партработники советовали руководителям парткома института признать свою вину.

Н. Н. Иноземцев тяжело переносил происходившее, жил на сердечных лекарствах. Плохое самочувствие, мне кажется, повлияло на его поведение — он держался довольно пассивно. На заключительном заседании комиссии в ЦК КПСС (председателем ее, повторю, был Гришин) вообще не выступил, как рассказывали очевидцы, секретарь же парткома В. Н. Шенаев отверг многие из обвинений. Тогда Зимянин бросил: «Дело обстоит хуже, чем мы думали. Вы так ничего и не поняли».

Летом напряжение, однако, несколько разрядилось, но издержки для института были значительны — существенно подорван его политический авторитет, резко ухудшилась обстановка в коллективе. Были наказаны руководители отделов, секторов и первичных парторганизаций тех подразделений, в которых работали арестованные сотрудники. Известного латиноамериканиста К. Л. Майданика, возглавлявшего группу, где работал Фадин, бюро Севастопольского РК КПСС исключило из партии (МГК КПСС, правда, впоследствии не утвердил этого решения). В жертву принесли и других сотрудников, некоторых из них уволили.

После скоропостижной кончины Н. Н. Иноземцева от сердечного приступа атака на ИМЭМО возобновилась. В МГК КПСС возник план распустить партком института и заменить его секретаря, начать новую проработку руководства и коллектива. Этот план был близок к осуществлению.

Мы с Бовиным решили попытаться во время уже намеченной деловой встречи с Л. И. Брежневым, хорошо знавшим Иноземцева, поговорить об этом деле, — если, конечно, состояние Генерального секретаря позволит завести такой разговор. Обстановка сложилась благоприятно. И мы рассказали Брежневу о невзгодах, которые обрушились на Иноземцева и, видимо, ускорили его смерть, и о том, что на послезавтра намечено партийное собрание, где постараются запачкать саму память о нем. Сказали также, что планируется учинить погром в институте.

Брежнев, для которого, судя по его реакции, это было новостью, спросил: «Кому звонить?» Мы, посовещавшись, сказали — лучше всего, наверное, Гришину, который был председателем партийной комиссии, тем более, что и директива о проведении партсобрания исходила из МГК. Сделав знак, чтобы мы молчали, Брежнев нажал соответствующую кнопку. Тут же в аппарате раздался голос Гришина: «Здравствуйте, Леонид Ильич, слушаю вас».

Брежнев сказал, что до него дошло (источник он не назвал), что вокруг ИМЭМО и Иноземцева затеяно какое-то дело, даже создана комиссия по расследованию во главе с ним, Гришиным. А теперь намереваются

посмертно прорабатывать Иноземцева, разбираться с партийной организацией и коллективом. «Так в чем там дело?»

Ответ был, должен признаться, такой, какого мы с Бовиным, проигрывая заранее все возможные сценарии разговора, не ожидали. «Я не знаю, о чем вы говорите, Леонид Ильич, — сказал Гришин. — Я впервые вообще слышу о комиссии, которая якобы расследовала что-то в институте Иноземцева. Ничего не знаю и о партсобрании».

Я чуть не взорвался от возмущения, но Брежнев, предупреждающе приложив палец к губам, сказал Гришину: «Ты, Виктор Васильевич, все проверь, если кто-то дал указание прорабатывать покойного, отмени, и потом мне доложишь». И добавил несколько лестных фраз об Иноземцеве.

Когда он отключил аппарат, я не смог удержаться от комментария: никогда не думал, что члены Политбюро могут так нагло лгать Генеральному секретарю! Брежнев только ухмыльнулся. Возможно, он считал такие ситуации в порядке вещей. Нас с Бовиным обуревали смешанные чувства. С одной стороны, мы были рады, что удалось предотвратить плохое дело. А с другой — озадачены ситуацией наверху и моральным обликом некоторых руководителей, облеченных огромной властью. Что же касается Фадина и Кудюкина, то они после окончания следствия в 1983 году были без суда (вот так вот!) помилованы Президиумом Верховного Совета СССР «за помощь, оказанную следствию».

Каждый из нас не раз задавался вопросом: «Почему мы так медленно и мучительно идем к нормальной жизни, к элементарным благам, которые дает современная цивилизация?»

Не верю тем, кто отставание возводит в добродетель — мы, мол, особые, по-особому должны жить, даже и счастье у нас должно быть особое. Особое, так особое, но не могу понять, почему «особость» эта обязательно должна выражаться в нехватках и очередях, бедности, высокой детской смертности, плохо поставленном образовании и здравоохранении, беззащитности людей перед произволом? Если уж так хочется «особости», то не лучше ли в другом — в благосостоянии и свободе?

Конечно, копнув поглубже историю, мы можем найти и другие «уважительные причины»: монголо-татарское нашествие, очень уж длительное и поздно отмененное крепостное право, особенно тяжелые последствия иноземных нашествий и т. д. Но меня против аргументации такого рода заставляет восставать весь опыт последних 100, даже 50 лет. То есть лет, за которые недавно еще феодальная, отгородившаяся от мира на островах Япония стремительно вырвалась на передний край научно-технической цивилизации. Поразительного прогресса добились Италия, Испания, ряд других стран Европы — и все в какие-то 20—30 лет. Из небытия за это время поднялись Южная Корея и Тайвань, Гонконг и Сингапур. Разве все это не доказывает, что решать коренные проблемы, добиваться благосостояния и благополучия можно быстро? Даже странам, не имеющим ни наших природных ресурсов, ни потенциала нашей науки и культуры.

В чем же причина такой нашей замедленности?

Думаю, прежде всего в том, что обществу, так долго опустошавшемуся тоталитарным насилием, сталинским деспотизмом, приходится за это платить огромную цену. Деформированные политические и экономические институты, изломанная нравственность, искаженные представления о себе и мире, широко разлитые в обществе озлобленность, нетерпимость и недоверие — это дурное, труднопреодолимое наследие. А тем более — многолетний, поистине противоестественный отбор людей, уничтожавший или «задвигавший» самых сильных, самых одаренных и смелых.

Но при всем значении тяжкого наследия истории политический лидер не может не нести личной ответственности за то, что он сделал.

Мне кажется, к такому подходу мы приблизились в оценке Хрущева. Хотя, конечно, здесь историкам, всем, кто вблизи наблюдал его, видел, как делалась тогда политика, предстоит еще немало поработать. Мне хотелось бы продолжить эту линию в отношении других, очень разных людей, оказавшихся его преемниками во главе партии и государства — прежде всего Брежнева и Андропова. Как на основе личных впечатлений (мне довелось немало работать с тем и другим), так и последующих размышлений.

О Л. И. БРЕЖНЕВЕ. Думаю, из сказанного выше уже понятен главный «секрет» его поразительного взлета и столь долгого пребывания на самой вершине власти. Это — в дополнение к счастливой случайности (человек в правильный момент оказался на правильном месте) — отсутствие сколько-нибудь достойных соперников. Рискнул бы даже сказать так: общий уровень и облик окружающих (имеются в виду, конечно, лишь те, кто находился достаточно высоко, чтобы претендовать на власть) были такими, что на их фоне Брежнев, при всех своих очевидных недостатках, выделялся определенными, пусть не очень многочисленными, достоинствами, которыми либо в действительности обладал, либо ему их, как минимум, приписывала молва.

Одно из этих достоинств видели в том, что он не злой, не жестокий человек. И если сравнивать со Сталиным, а в некоторых ситуациях и с Хрущевым — так оно и было. «Ссылка» в послы или выход на пенсию (персональную) — это не тюрьма, не пытки, не расстрел и даже не исключение из партии и жестокая публичная проработка, которой подвергались противники Хрущева. Правда и то, что это был человек, в общем, простой, даже демократичный. Во всяком случае, в первые годы, когда он еще не разучился выслушивать других, говорить спасибо за помощь, даже вслух признавать, что многих вещей не знает. Он обладал к тому же здравым смыслом, не был склонен к крайностям, скоропоспелым решениям, хотя потом это хорошее качество обратилось в противоположную крайность — нерешительность и бездеятельность.

Вполне очевидными были с самого начала и многие недостатки Брежнева. Он имел заслуженную репутацию человека малообразованного, весьма ограниченного, не обладающего собственным представлением о многих сферах жизни общества и политических проблемах (хотя в этом отношении был, пожалуй, не хуже, а может, несколько лучше других наших тогдашних руководителей — таких, как Кириленко, Подгорный, Полянский). О культурном уровне и потребностях этого человека даже трудно говорить. Если он что-то читал, то иллюстрированные журналы; предпочтение отдавал фильмам о природе и животных, любил «Альманах кинопутешествий»; серьезные же редко мог досмотреть до конца — одно из исключений, пожалуй, «Белорусский вокзал», который его глубоко тронул.

Но и все это не только не мешало, но помогало головокружительной политической карьере Брежнева. Ибо не меньший, чем некоторые достоинства, «секрет» его силы и политического успеха был в его заурядности, в том, что человек этот был типичен для тогдашней политической элиты. Только такой мог выжить и преуспеть.

Вместе с тем было бы неверно представлять себе его глупцом, примитивным функционером. Это был по-своему очень неглупый человек. И я имею в виду не только хитрость, аппаратную ловкость, без которых он бы просто пропал, не выжил в тогдашней системе политических координат. Нет, Брежнев мог проявлять политическую сообразительность, ум и даже политическую умелость. Например, сразу после октябрьского Пленума ЦК избрал, как мне кажется, очень правильную, выгодную, выигрышную линию поведения.

Начать с того, что он, так сказать, «работал» на контрасте с Хрущевым. Того в последние годы на все лады превозносили. Брежнева поначалу — нет. Тот был очень «видим», все время мелькал — в печати, в кино, на телеэкране. Этот (опять же поначалу) — нет. Не строил из себя «великого человека». Тем, кому доводилось работать над его речами, не раз говорил: «Пишите проще, не делайте из меня теоретика, ведь все равно никто не поверит, что это мое, будут смеяться». И сложные, затейливые места вычеркивал (случалось, даже просил вычеркнуть цитаты из классиков: «Ну кто поверит, что Брежнев читал Маркса?»).

В отличие от Хрущева он вовсе не спешил высказывать по каждому поводу свое мнение — первые годы выжидал, прислушивался и присматривался, словом, вел себя осмотрительно, даже с известной скромностью (во все это трудно поверить, помня «позднего» Брежнева, но поначалу

дело обстояло именно так). А уж если с чем-то выступал, то, по возможности, наверняка. Так, на майском (1965 года) Пленуме ЦК КПСС предложил важные, видимо, давно выношенные, изменения экономической политики в сельском хозяйстве, на некоторое время обеспечившие заметный его подъем.

Ну, а кроме того — об этом упоминалось,— в аппаратной борьбе Брежнев проявил ум, хитрость и изобретательность. Пусть медленно, но сумел вытеснить, «выжать» из руководства всех своих соперников и недоброжелателей. И без конфликтов и срывов, без кровавых репрессий, как Сталин, и даже без публичного поношения, как Хрущев, обеспечил послушание, покорность и даже страх (к моему удивлению, его боялись, боялись даже Андропов и Громыко, мне кажется,— и Суслов). Он очень ловко манипулировал властью, держа каждого на таком месте, на котором, по его мнению, тот был удобен.

Взять хотя бы институт «второго» секретаря ЦК КПСС. Не конституированный, он из-за своей огромной власти представлял неудобство для Генерального (или Первого) секретаря. «Второй» обладал большой притягательной силой для аппарата и членов ЦК, областных секретарей и т. д. по той простой причине, что вел Секретариат, где решались повседневные большие и малые дела. Таким образом, неизбежно сохранялся потенциальный соперник, человек, с которым надо делить власть. Хрущев после не понравившихся ему экспериментов с Козловым и Кириченко установил порядок, при котором Секретариат по очереди вели секретари ЦК — члены Политбюро. На октябрьском Пленуме, когда освобождали Хрущева, о введении официального поста второго секретаря ЦК заговорил — но не был поддержан — Подгорный. Брежнев этого не забыл: вскоре отправил его на церемониальный пост Председателя Президиума Верховного Совета СССР. И установил новый порядок. При нем постоянно было два человека, которые в какой-то очередности вели Секретариат и, во всяком случае, претендовали на это, соперничая друг с другом за право быть «более вторым». Сначала это были Кириленко и Суслов. Когда Кириленко выбыл по полной неспособности, а затем болезни, его место занял Черненко. А когда умер Суслов, в ЦК вернули Андропова.

Словом, в аппаратных играх, в аппаратной борьбе, то есть в реальностях власти и политики, Брежнев отнюдь не был простаком — скорее это был настоящий «гроссмейстер». Не все это сразу поняли, и за свое непонимание им потом приходилось расплачиваться.

В отношении к власти Брежнев был большим реалистом, рассматривал ее традиционно, в политических параметрах, сложившихся при Сталине, когда власть лидера определялась не успехами экономики, уровнем благосостояния народа, популярностью политики руководства и благоприятным общественным мнением, а прежде всего силой, физической силой. Потому он очень заботился о том, чтобы сохранять контроль над армией и КГБ. И сохранял. Не только потому, что с 1967 года во главе КГБ был поставлен лояльный к нему Ю. В. Андропов, а министром обороны после смерти не очень надежного Гречко тоже стал «свой» человек — Д. Ф. Устинов. И в КГБ, и в армии у него были и другие «свои» люди; руководители обоих ведомств об этом знали и вели себя вдвойне лояльно. Брежнев понимал и значение для власти средств массовой информации, особенно Гостелерадио и «Правды», — ими руководили люди, полностью ориентирующиеся на него лично.

Обладал ли он положительными качествами, существенными для общества? По моему убеждению, обладал. Во всяком случае, пока он не заболел, эти качества были очевидны. Для него вовсе не были характерны экстремистские, авантюрные устремления. В своей внешнеполитической деятельности он довольно быстро стал сторонником политики смягчения международной напряженности, улучшения отношений с другими странами, ограничения вооружений.

Политическая умеренность, отсутствие стремления к ужесточению политики, нелюбовь к «острым» политическим блюдам проявлялись и в его подходе к внутренним делам. Притом в условиях, когда многих в руководстве тянуло к такому ужесточению. Он, конечно же, нередко уступал окружению, тем более что в основном разделял образ мыслей своих

коллег, и все же во многих случаях амортизировал натиск и удары любителей острых блюд.

Конечно, при всем том человек этот — даже в пору его, так сказать, «расцвета», когда он еще был здоров и относительно молод, не испорчен абсолютной властью,— не обладал качествами руководителя, тем более руководителя великой державы, да еще в столь сложное и ответственное время. Однако альтернативы тогда просто не было или, во всяком случае, ее никто не видел.

Мало того, я бы взял на себя смелость утверждать, что человека с такими качествами те, кто вершил судьбы государства, руководителем никогда бы и не сделали. При тогдашних политических нравах и механизмах он был бы остановлен или просто уничтожен далеко на подходах.

Все эти наблюдения относятся к политическим качествам Брежнева в ту пору, когда он был здоров. С началом болезни он очень сильно изменился. Легче поддавался давлению окружающих. И постепенно стал утрачивать всякий контакт с реальностью. Уверен, что заметно убавились и его аппаратная хитрость, и умелость. Мне не раз приходило в голову, что, не сумей он еще до болезни, то есть до 1975 года, консолидировать свою личную власть, ему едва ли удалось бы даже при тогдашних авторитарных политических порядках удержаться на посту руководителя до самой смерти. И совершить или позволить совершить такое количество ошибок, дурных дел и преступлений (вторжение в Афганистан, например, я иначе характеризовать просто не могу), допустить стагнацию во всех областях жизни, разложение, расцвет коррупции.

Теперь коротко о личных чертах Брежнева. Начал бы я тоже с положительного, тем более что посторонним он умел показывать себя именно с этой стороны. В принципе (до болезни — я снова вынужден сделать эту оговорку) Брежнев был не лишен привлекательности, даже обаяния. Он не был жесток и мстителен (хотя, по-моему, достаточно злопамятен). В обхождении умел (и, видимо, любил) выказывать внимание к окружающим. Во многом, особенно связанном с войной и военными воспоминаниями, был даже сентиментален. Друзей своих старых помнил и, как правило, не оставлял без поддержки (которая, правда, нередко опять же перерастала в протекционизм, покровительство бездарным и не всегда честным приятелям). Не любил объясняться с людьми в случае конфликтов, вообще старался избегать неприятных разговоров; поэтому те, кого очернили, оклеветали, не имели возможности не только объясниться, но даже узнать, за что вышли из доверия и попали в опалу.

Мог и удивить. Так, когда бывал в настроении, особенно во время застолья (от рюмки, пока был здоров, не отказывался, хотя меру, насколько я могу судить, знал, во всяком случае, на склоне лет), вдруг начинал декламировать стихи. Знал наизусть длинную поэму «Сакья Муни» Мережковского, немало стихотворений Есенина. Оказалось, что в молодости Брежнев (об этом он как-то при мне сказал сам) участвовал в самодеятельной «Синей блузе», мечтал стать актером. Известная способность к игре, к актерству (боюсь назвать это артистичностью) в нем была. Я иногда замечал, как он «играл» (надо сказать, неплохо) во время встреч с иностранцами.

Были у Брежнева и очень неприглядные черты. Многое шло от того, что сам он, его семья, его среда в очень большой мере воплощали, олицетворяли в себе мещанство, мещанский склад мысли, психологию и, что существенно, «нутряные инстинкты». То самое мещанство, которое разглядели в выдвигавшихся все больше «совслужащих», мелких и средних (но хотевших забраться повыше) руководителях и администраторах и так умно и беспощадно описали М. Зощенко, а затем И. Ильф и Е. Петров.

Но, повторю, пока Брежнев был здоров, негативные качества — и политические, и личные — были не так заметны. Болезнь притушила, а потом свела на нет многие его положительные свойства. Отчасти, возможно, потому, что он утратил контроль над собой, перестал сдерживать воспитанные всем прошлым и пришедшие из окружения подозрительность, любовь к сплетням, стяжательство, не знавшее границ тщеславие, желание покрасоваться и перед людьми, и перед собой. Уровень его нравственной требовательности к себе, как, впрочем, и к окружающим, становился все ниже. Может быть, болезнь ускорила процесс распада личности.

Много толков, кривотолков, сплетен вокруг его материальных злоупотреблений. Не думаю, что имеет политический смысл затевать посмертное расследование, но нет сомнений: основания для претензий некоторые поступки Брежнева, и особенно членов его семьи, давали. Например, любовь посидеть за рулем автомобиля не была бы таким уж предосудительным «хобби» (он, кстати, имел права водителя-профессионала), если бы он не выбирал самые роскошные заграничные марки — такие, как, например, «Ролс-Ройс» и «Мерседес». Эти машины образовали вскоре целый автомобильный парк. Оставалось только гадать: то ли они принадлежат Брежневу и его семье, то ли они казенные и он просто любит время от времени на одной из них «с ветерком» прокатиться. В зарубежной печати тема любви советского лидера к роскошным автомобилям широко обсуждалась, немало писали и о том, что при встречах на высшем уровне он их одну за другой принимает в подарок.

Был и подаренный Алиевым перстень с бриллиантом, который Брежнев рассматривал перед телекамерой, то есть на виду у всей страны. Было и многое другое в том же роде. Сюда, естественно, добавлялись всяческие вымыслы и домыслы, тоже подрывавшие авторитет власти, авторитет руководства, авторитет партии. А главное — какой все это подавало пример руководителям всех рангов...

Я уже говорил, что в немалой степени на Брежнева влияла его семья. Конечно, не возразишь, если скажут, что сам он не только терпел, но каким-то образом и поощрял дурные нравы и стиль поведения своих домочадцев, прежде всего детей. Наверное это так. Но я не хочу искать виноватых, а просто констатирую факт: семья, многочисленные родственники, а также близкие к ним люди, тянувшиеся за Брежневым с Украины, из Молдавии, вообще с мест его прежней работы, дурно влияли на него.

Одним из таких людей был Щелоков. Брежнев отлично понимал, где находятся рычаги власти, и потому на пост министра внутренних дел назначил своего человека. А знал он Щелокова давно и был, видимо, уверен в его преданности. Что Щелоков был человек не только серый, ничтожный, но и аморальный, даже готовый на преступления, сегодня доказывать, наверное, нет нужды. Он мечтал, как говорили, стать председателем КГБ и членом Политбюро. Не знаю, может быть, на каком-то этапе своей болезни Брежнев и уступил бы неистовому давлению приятеля. Но мешало то, что даже тогда большинство руководителей ввергала в ужас эта перспектива. Мне несколько раз доводилось слышать, в частности от Андропова, о том, что он договорился с Пельше и Сусловым, чтобы вместе или порознь со всей решительностью поставить перед Брежневым вопрос о Щелокове, о необходимости одернуть его, остановить его карьеру, а лучше всего — вообще снять. Этот вопрос перед Брежневым ставили — правда, не знаю, насколько решительно: каждый раз дело кончалось ничем.

Самым нелепым, просто анекдотическим было, по моему убеждению, назначение на ответственнейший пост Председателя Совета Министров страны Н. А. Тихонова, малограмотного, бездарного человека (тоже из старых приятелей Брежнева). Вклад в экономический упадок нашего государства он внес немалый. Много ставленников Брежнева было и на других высоких постах — заместителей Председателя Совета Министров, ответственных деятелей Вооруженных Сил, министров (один из них — печально знаменитый министр водного хозяйства Н. Ф. Васильев).

Не могу не сказать коротко и о принявшем чудовищные размеры тщеславии Брежнева. Меня поражало, как этот человек, отлично знающий всю наградную «кухню», сам награждавший множество людей, мог придавать орденам и медалям такое большое значение. Это стало почти что помешательством — он забылся, перестал понимать, что награждает себя сам, а подхалимы только подсказывают ему новые поводы, делая на этом карьеру. Притом он не только любил получать награды, но и носил их. Здесь, по-моему, проявлялись наряду с тщеславием патология, болезнь, распад личности, который становился все более очевидным в конце 70-х — начале 80-х годов.

К этому же разряду относится и вся история с писательскими «подвигами» Брежнева. Не знаю точно, кто был инициатором затеи, но большую роль сыграли и немало на этом для себя выгадали Черненко, ряд других.

У Брежнева была хорошая память, и он любил рассказывать, подчас довольно остроумно, точно схватывая детали, разные забавные истории. Вспоминал молодость, фронтовые годы, секретарство в Запорожье, работу в Казахстане и Молдавии и т. д. При этом часто повторялся, но никто не подавал вида, что это уже известно, — смеялись, выражали одобрение. А подхалимы не раз говорили ему, что надо все это описать. В конце концов собрали небольшую группу владеющих пером, подчас одаренных людей, предоставили им документы ну и, конечно, возможность обстоятельно поговорить с очевидцами тех или иных событий или «подвигов» Брежнева. Вся эта затея хранилась в глубочайшей тайне — я узнал о ней случайно, недели за две до появления «Малой земли» в «Новом мире».

Но самое чудовищное было то, что началось после публикации. Она была встречена оглушительными воплями восторга. Союз писателей поспешил выдвинуть литературный шедевр на Ленинскую премию, которая и была тотчас присуждена. Притом, наверное, не было в нашем огромном государстве человека, даже среди самых неискушенных, который не догадывался бы, что в «шедевре» этом ни одна страница самим Брежневым не написана.

Моральный урон общественному сознанию и общественной нравственности был нанесен огромный: всенародно разыгрывался постыдный спектакль, в который не верили ни актеры (кроме, пожалуй, исполнителя «главной роли»), ни зрители. И это добавило изрядную дозу недоверия к власти, политической апатии и цинизма, которые разъедали сознание и души людей. В символическом смысле это была как бы эпитафия очень печальному, много стоившему нам отрезку нашей истории — застою в его самом подлинном смысле, пик которого я бы датировал 1975—1982 годами.

О Ю. В. АНДРОПОВЕ. О его незаурядном уме и политической одаренности, необычной для руководителей той поры интеллигентности писали в свое время много. Хотя Андропов и не получил формально солидного образования, он заметно выделялся среди тогдашних руководящих деятелей, даже обладавших научными титулами и званиями. Выделялся он и нравственными качествами (например, личным бескорыстием, доходившим даже до известного аскетизма), причем эти качества, когда речь шла о политике, уживались с весьма гибкими представлениями о пределах дозволяемого, с примиренческим отношением к тем неприглядным, во многом отталкивающим «правилам игры» и нормам взаимоотношений, которые за долгие годы утвердились в обществе и особенно на его верхах.

Словом, фигура это сложная, многомерная, и я просто не обладаю достаточным даром, чтобы дать его достоверный литературный портрет. Потому ограничусь некоторыми впечатлениями о тех сторонах его личности и его деятельности, которые мне открылись за годы знакомства, общения, а в отдельные периоды — и совместной работы.

Хотел бы при этом оговориться, что в моих оценках, при всем старании быть объективным, может быть, все же проявится личное отношение — хорошее, в какие-то моменты граничившее с восхищением, а в другие — сменявшееся досадой, даже горечью: как так, почему он в данном случае проявил «слабину», смалодушничал, ошибся? Я не был слеп к его недостаткам, замечал неверные поступки и, случалось, говорил ему о них, что приводило к охлаждению, обидам и даже ссорам.

В целом у нас были хорошие отношения, в чем-то доверительные, хотя — что, наверное, с учетом разницы в положении, а часто и во взглядах естественно — доверительные не до конца. И, конечно, с должной дистанцией. Начиная с внешнего — он со мною был на «ты», хотя звал по имени и отчеству, лишь редко, в более интимных разговорах обращался по имени. Я себе фамильярностей не позволял, да к ним в общении с этим человеком и не тянуло. Но часто просто забывал о формальностях, говорил прямо, хотя, если не был в запале, — с определенным резервом. Он это понимал и, когда хотел услышать откровенное суждение, старался раздразнить, что ему, как правило, удавалось; изредка к такому приему прибегал и я, хотя с меньшим успехом.

Знакомство было давним — в конце 50-х годов нас познакомил О. В. Куусинен. С 1964 по 1967 год я работал под началом Андропова в аппарате ЦК КПСС, вначале консультантом, затем руководителем группы консультантов (что соответствовало должности заместителя). Он постарался сохранить товарищеские отношения со мною и некоторыми другими сотрудниками Отдела ЦК и тогда, когда стал председателем КГБ, нередко звонил по телефону, время от времени (раз в три-четыре месяца) приглашал к себе,— как правило, в служебный кабинет на Лубянке, куда, должен признаться, я поначалу входил с известным душевным смятением. После возвращения Андропова в ЦК КПСС в мае 1982 года я встречался с ним много чаще — как по его, так и по моей инициативе.

На чем основывались эти более чем двадцатилетние и не лишенные доверительности отношения? С моей стороны — на искреннем уважении, которого не меняли и понимание слабостей Юрия Владимировича, несогласие с ним, споры по ряду вопросов, в том числе крупных. А также на ощущении долга. Я считал, что, излагая ему соображения по тому или иному вопросу, могу хоть в минимальной мере содействовать принятию верных политических решений и препятствовать решениям неверным, опасным. Случалось и обращаться к нему, чтобы помочь людям, попавшим в беду, кого-то избавить от несправедливых преследований, восстановить, где можно, справедливость. Для себя я у него ни разу ничего не просил, хотя он меня, случалось, прикрывал от наветов и доносов,— некоторые мне (наверное, в назидание, чтобы держал ухо востро!) даже показывал, давал прочесть.

Тогда я как-то не задумывался, почему он поддерживал добрые отношения со мной. Потом к определенным выводам пришел и изложу их, надеясь, что это не будет воспринято как нескромность. Андропов, во-первых, знал (и как-то даже сказал об этом), что не услышит от меня неправды, тем более, из желания угодить или опасения вызвать недовольство и гнев (хотя, конечно, понимал, что не во всех случаях я ему скажу всю правду), и ценил это. Во-вторых, он с интересом и вниманием относился к моим суждениям (хотя нередко их проверял), прежде всего по вопросам внешней политики. В-третьих, по моим высказываниям (как и по высказываниям других людей, с которыми общался) он судил о настроениях интеллигенции. И, в-четвертых, у него, как у каждого нормального человека, иногда возникала потребность поговорить по душам,— а со временем он убедился, что я ни разу его не подвел, умел о деликатных вещах молчать.

Ну а теперь о своих впечатлениях об этом человеке.

Повторю, в личном плане он был почти безупречен. Помню, я рассказал ему, что один подхалим выписал партию автомобилей «Мерседес» и «Вольво» и продал по дешевке детям руководителей, а те, разъезжая на них, демонстративно красуются, вызывая раздражение и возмущение простых смертных. Андропов покраснел, вспыхнул: «Если это намек, знай: у меня для всей семьи есть отечественная «Волга», купленная за наличные восемь лет назад». А через несколько минут, когда отошел, сказал, что, действительно, это — безобразие и разврат само по себе, и ко всему прочему политическая бестактность. «Но ты сам понимаешь, что жаловаться мне некому, едва ли есть смысл в еще одном поводе для ссоры чуть не со всеми руководителями».

Андропов был приветлив и тактичен, не курил, почти не пил. Но не выставлял это как добродетель, не ханжествовал; иногда отшучивался: я, мол, свою «норму грехов» выполнил в более молодые годы.

Он мог расположить к себе, даже очаровать собеседника. И это, наверное, не было игрой, отражало привлекательные стороны его натуры. Но мог и покинуть в беде, не заступиться за человека, даже если к нему хорошо относился. И здесь я хотел бы сказать о некоторых его негативных чертах. Одна из них — нерешительность, страх, нередко проявлявшийся, когда надо было отстаивать идеи или людей. Не думаю, что это было «врожденное», генетически заложенное в его натуре. Как и большинство его сверстников, пришедших в политику при Сталине, он был глубоко травмирован. Собственно, этого и добивался Сталин — сломить психологический и нравственный хребет людей, лишить их смелости, самостоятельности суждений и действий. Андропов был умен, хотел и мог самостоятельно мыслить, но тем не менее травмирован, хотя и меньше, чем другие политики его поколения, и это, как мне кажется, вело к готовности слишком легко идти на серьезные компромиссы.

Думаю, Юрий Владимирович сам в глубине души это осознавал. И пытался найти какое-то самооправдание. Компромиссы, уступки, уклонение от борьбы он оправдывал прежде всего соображениями «тактической необходимости». О них он охотно рассуждал, в частности нередко корил меня: вот, мол, цели ты видишь правильно, стратег ты неплохой, а тактик — дерьмовый (он употреблял и более сильные выражения). Иногда я с критикой соглашался, иногда нет. А один раз не выдержал, сказал, что, если поступать так, как он предлагает (речь шла о внутренних делах), можно получить «короткое замыкание» в бесконечной тактике и напрочь потерять стратегию. Андропов обиделся, и на некоторое время отношения между нами охладились.

В подходе к людям, в оценке их Андропов был внутренне противоречив, ему были свойственны как прозорливость, так и серьезные просчеты. Например, работая в ЦК КПСС, он собрал очень сильную группу консультантов, но своим преемником выдвинул мелкого, неумного и лишенного принципов К. В. Русакова, а заместителями — слабых, только вредивших делу сотрудников. И терпел бездельников, бездарных людей, даже таких, которые наносили немалый политический вред, чего он не мог не понимать.

В то же время Андропов первым или одним из первых оценил М. С. Горбачева. Знаю это достоверно — впервые эту фамилию услышал именно от него весной 1975 года. Разговор начался с обсуждения безрадостных итогов визита С. Вэнса, потом перешел на болезнь Брежнева. И я довольно резко сказал, что нас ожидают большие неприятности, так как, судя по всему, на подходе слабые, да и по политическим взглядам часто вызывающие сомнения люди. Андропова это разозлило (может быть, потому, что в глубине души он был со мной согласен). Ты, мол, вот говоришь так, а ведь людей не знаешь, просто готов все на свете критиковать. «Слышал ли ты, например, такую фамилию — Горбачев?» Отвечаю: «Нет». «Ну вот видишь. А есть люди, с которыми действительно можно связать надежды на будущее». Не помню, чем тогда закончился разговор. Второй раз фамилию Горбачева я услышал от Юрия Владимировича летом 1978 года, вскоре после смерти Ф. Д. Кулакова, секретаря ЦК, отвечавшего за сельское хозяйство. «Вот негодники,— он употребил более резкое выражение,— не хотят, чтобы Горбачев перебрался в Москву». И объяснил, что речь идет о его переводе на пост, который занимал Кулаков. Осенью того же года М. С. Горбачев стал секретарем ЦК КПСС[1].

Но тот же Андропов пригласил из Ленинграда в Москву Г. В. Романова, фигуру одиозную, покровительствовал Г. А. Алиеву.

Наконец, именно Андропов пригласил в Москву из Томска, поставил во главе кадровой работы в ЦК Е. К. Лигачева (его подкупала, по-моему, постоянно Лигачевым подчеркивавшаяся непримиримость к коррупции).

По моим наблюдениям, у Андропова отсутствовало властолюбие — стремление стать «главным». Долгое время он нисколько не заботился, чтобы к этому посту подготовиться. В частности, во второй половине 70-х годов несколько раз отводил мои попытки заинтересовать его экономическими проблемами, говорил, что не собирается стать в них специалистом,

[1] Много позже, уже в 1986 году, корреспондент газеты «Вашингтон пост» в Москве Душко Додер, писавший воспоминания о своем пребывании в СССР, о событиях и людях того времени, в том числе об Андропове, в один прекрасный день пришел ко мне в институт крайне возбужденный, потрясая какой-то бумажкой. Это оказалась ксерокопия сообщения ТАСС, относящегося к сентябрю 1978 года: по пути в Баку Л. И. Брежнев, которого сопровождал К. У. Черненко, остановился на станции Минеральные Воды. Там его встретили отдыхавший в Кисловодске Ю. В. Андропов, а также первый секретарь Ставропольского крайкома партии М. С. Горбачев. Представляете, кричал американский журналист, на этой богом забытой железнодорожной станции (я его поправил, заметив, что там, насколько я знаю, вполне приличный вокзал) собрались четыре — повторяю: четыре Генеральных секретаря ЦК КПСС! Додер считал, что именно там Андропов и убедил Брежнева пригласить руководителя Ставропольской парторганизации в Москву, а пришел в институт, чтобы спросить, прав ли он. Я честно ответил: не знаю.

хватает ему и своих дел. На мои слова, что ему все же надо было бы пройти экономический «ликбез», чтобы лучше ориентироваться во время обсуждений такого рода вопросов на заседаниях Политбюро, отвечал (даже с известным раздражением), что у него на это нет времени.

Перспектива занять лидирующее положение обозначилась для него как более или менее реальная в начале 1982 года, после смерти Суслова. Уже в феврале начали ходить слухи, что Андропова прочат на его место. Вскоре мне представилась возможность спросить у Юрия Владимировича, имеют ли эти слухи под собой основание. Помню, заметил в шутку, что со времени работы в ЦК в принципе не верю слухам о кадровых перемещениях, а став академиком, оформил это неверие научно: слухи рождаются на основе здравого смысла, а кадровая политика ЦК руководствуется какими-то иными, более высокими соображениями. Андропов рассмеялся и сказал, что на этот раз слухи верны. Уже через несколько дней после смерти Суслова Брежнев предложил ему вернуться в ЦК на должность секретаря. Сказал: давай решим на Политбюро и переходи на новую работу со следующей недели. Андропов поблагодарил за доверие, но напомнил Брежневу, что секретари ЦК избираются Пленумом, а не назначаются Политбюро. Брежнев предложил созвать Пленум на следующей неделе. Андропов возразил: ради одного этого не стоит созывать Пленум, можно дождаться очередного, уже объявленного Пленума, который намечен на май. Брежнев поворчал, но согласился.

У меня от этого разговора сложилось впечатление, что Андропов испытывает двойственное чувство. О причинах можно было догадаться. С одной стороны, он хотел бы вернуться в ЦК уже потому, что наверняка понимал: при смене руководства — а болезнь Брежнева прогрессировала — председатель КГБ окажется в крайне уязвимом положении. Сделать главу комитета лидером значило бы нарушить традицию. Так что преемником Брежнева стал бы кто-то другой. Но, кто бы это ни был, он прежде всего сменит главу КГБ — слишком много тот знает, не говоря уж о том, что новый лидер предпочтет иметь на таком посту своего человека. А с другой стороны, Андропова (он потом об этом сам сказал) не мог не волновать вопрос: с чем связано, чем мотивировано предложение Брежнева? О смерти и преемниках он вроде бы до сих пор не задумывался. Действительно ли Брежнев хочет, чтобы Андропов руководил текущей работой ЦК? Или же его под этим предлогом просто отодвигают от КГБ?

Как бы то ни было, в мае Андропов обосновался на пятом этаже в кабинете, ранее занимаемом Сусловым (в конце 1982 года туда пересел Черненко, того сменил Горбачев, а затем этот кабинет занял Лигачев). Думаю, Андропов уже понимал, что вышел на позицию, которая делала его наиболее вероятным преемником Генерального секретаря ЦК КПСС. Собственно, теперь уже сам ход событий заставлял его добиваться положения второго человека в руководстве.

Это было очень своеобразное время. Брежнев и его сподвижники утвердили власть узкой группы, в которой, несмотря на старость и болезнь, все же безоговорочно главенствовал сам Генеральный секретарь. Все в этой группе, пока хоть как-то держались на ногах, были практически несменяемыми. Физиология стала важнейшим фактором политики. А иногда все зависело просто от того, кто кого переживет. Скажем, если бы Черненко чувствовал себя лучше или если бы Брежнев умер раньше, чем Суслов, то, вполне возможно, Андропов и не стал бы Генеральным секретарем.

Придя однажды во второй половине октября 1982 года к Андропову, я увидел, что он очень возбужден и в таком хорошем настроении, в каком мне его давно наблюдать не доводилось. Оказывается, у него только что состоялось серьезное выяснение отношений с Брежневым. Юрий Владимирович сказал ему, что не понимает своего положения (в Политбюро, где сильны были позиции Черненко, ситуация для него была, видимо, непростой) и хотел бы знать, чего, собственно, добивалось руководство, переводя его на новую работу: отстранить его от КГБ или поручить вести более важные политические дела в ЦК? Брежнев ответил, что хочет, чтобы Андропов брал в руки «все хозяйство»: «Ты второй человек в партии

и в стране, исходи из этого, пользуйся всеми полномочиями». И пообещал полную поддержку.

Не прошло и трех недель после этого разговора, как Брежнев скончался и его преемником стал Андропов. Может быть, Брежнев предчувствовал близкий конец? А может, это была чистая случайность?

Выскажу некоторые свои соображения и предположения о роли Андропова на протяжении того времени, что он был в руководстве. Оговорюсь: есть тут немало такого, чего я просто не знаю. Особенно о его работе в КГБ — на эту тему он со мною почти не говорил.

Первым постом, заняв который Андропов по логике вещей оказывал заметное влияние на серьезные политические процессы, был пост советского посла в Венгрии. Он занимал его с 1954 по 1957 год, то есть в период, на который пришлись драматические события в этой стране, сыгравшие заметную роль и в международных отношениях, и в наших внутренних делах.

Сообщения Андропова в Москву в месяцы, предшествовавшие вооруженному выступлению осенью 1956 года, отличались, как говорят, откровенностью. В частности, он весьма критически отзывался о Ракоши и других венгерских руководителях, предупреждал, что если мы и дальше будем делать на них ставку, это может привести к серьезным потрясениям. Не исключаю, однако, что в его рекомендациях утверждалась необходимость укреплять «закон и порядок», возможно, даже за счет наращивания нашего военного присутствия в Венгрии.

Трагические события в Венгрии в конце октября — начале ноября наложили очень глубокий отпечаток на Андропова, оказавшегося в их политическом эпицентре. Понимал он их как вооруженную контрреволюцию — это я знаю от него самого. Вместе с тем он, я уверен, лучше других видел, что распад существующей власти, размах и накал массового недовольства имели в своей основе не только и не столько то, что официально объявлялось главными причинами (заговор контрреволюционеров и происки из-за рубежа), сколько некоторые реалии самой венгерской действительности. В частности, связанные с тем, что все сталинские извращения, появившиеся на свет у нас, были пересажены на венгерскую почву и приняли там крайне уродливые формы. Свою роль сыграли и экономические проблемы, включая неравноправное положение Венгрии в торгово-экономических отношениях с Советским Союзом.

Повлияли на Андропова, наверное, и личные впечатления. К нему стекалась информация о безжалостных расправах с коммунистами, партийными работниками и государственными служащими. Вокруг посольства шла стрельба. Обстреляли как-то при выезде из посольства и машину Андропова. Нервное потрясение стало причиной серьезной, на всю жизнь, болезни его жены. Все это, вместе взятое, содействовало, как мне кажется, становлению определенного психологического комплекса. Те, кто знал Андропова, назвали позже этот комплекс «венгерским», имея в виду крайне настороженное отношение к нарастанию внутренних трудностей в социалистических странах и — это уже мое мнение — готовность чересчур быстро принимать самые радикальные меры, чтобы справиться с кризисом. Хотя, надо сказать, в отличие от многих других наших деятелей причины такого рода кризисов он оценивал отнюдь не примитивно.

Более близко мне довелось наблюдать Андропова уже в Отделе ЦК. В целом его влияние на нашу политику было положительным (конечно, действовал он в рамках господствовавших тогда представлений, в меру того, что полагал возможным). Так, он настаивал, чтобы мы больше считались с интересами других социалистических стран, старался с помощью политических и экономических средств предотвратить ситуации, которые могли бы привести к подавлению силой их попыток найти самостоятельные решения тех или иных проблем. Выступал за терпимое отношение к их поискам, даже если поиски эти вели к отступлению от каких-то сторон советского опыта. И был решительным приверженцем экономической интеграции социалистических стран на новых основах, предусматривавших действительно взаимные интересы, отход Советского Союза от традиционной линии на автаркию. Хотя, как упоминалось, глубоких экономических

знаний у Андропова не было, и он ставил эти вопросы в общем, политическом плане.

Что касается его деятельности на посту председателя КГБ, то я не берусь категорично судить о ней. Здесь, насколько я знаю, положительное и негативное были перемешаны особенно густо. По своему характеру Андропов не был человеком того материала, из которого получались в свое время ягоды, ежовы и берии. К тому же, усвоив урок XX съезда, урок разоблачения злоупотреблений в органах безопасности, оберегал свое доброе имя, свою репутацию. В то же время на счету КГБ и самого Андропова аресты и осуждение инакомыслящих, да и просто людей, ни в чем не виноватых даже по тогдашним меркам.

Отнюдь не хочу становиться в позу моралиста. У меня, в частности, не вызывает сомнений правильность того, что он согласился возглавить КГБ в 1967 году,—уступать этот пост неизвестно кому было просто опасно. Понятно и то, что КГБ не институт благородных девиц, и, став его председателем, Андропов должен был принимать крутые меры против шпионов, изменников или ожесточенных врагов строя, добивавшихся его насильственного свержения. Притом в моральных и юридических оценках действовали тогдашние, а не сегодняшние нормы. Но остается фактом, что Андропов дал себя втянуть в неприглядные дела. Не могу не сказать в этой связи о затее, которой он очень дорожил,— об организации так называемого Пятого управления. Вскоре после перехода в КГБ Андропов с гордостью сказал мне, что «работу с интеллигенцией» вывел из контрразведки,— нельзя же, мол, относиться к писателям и ученым, как к потенциальным шпионам. Теперь делами интеллигенции займутся иные люди, и упор будет делаться прежде всего на предотвращение нежелательных явлений. Я набрался решимости и возразил. Сказал, что, во-первых, не понимаю, почему КГБ должен «заниматься» интеллигенцией. Ведь не занимается он, скажем, рабочим классом или крестьянством. Если кто-то, независимо от социальной принадлежности, встанет на преступный путь,— это уже дело КГБ. А остальное, мне кажется, должно вообще находиться в сфере внимания других организаций. Во-вторых, не пойдут ли эти люди по пути «работавших» с интеллигенцией при царе жандармских офицеров, о которых писал в «Климе Самгине» Горький. Андропова покоробило это сравнение, он сказал, что я не знаю всего, что происходит в обществе. Задуманное же им — значительный шаг вперед, отход от плохой старой практики, а вовсе не «жандармская» деятельность. Действительность, однако, оказалась иной, чем говорил Андропов.

Так что — пишу об этом с горечью,— он несет свою часть ответственности за преследование «инакомыслящих», в том числе и за неправедные политические аресты тех лет, изгнание за рубеж, «психушки». От этого никуда не уйдешь.

Для объективности замечу, что полным хозяином «в своем доме» Андропов все же не был. Брежнев старался иметь на достаточно высоких постах КГБ «своих», лично близких людей, так что получал информацию и помимо Андропова. Вот типичный эпизод. Как-то Андропов, попросив меня срочно приехать, показал некую бумагу, о содержании которой просил никому не говорить. Он хотел по поводу нее посоветоваться. Это оказалась копия перлюстрированного письма моего близкого товарища, с которым и сам Андропов был в хороших отношениях. Письмо, написанное под настроение, очень искреннее, касалось не только личных переживаний, но и политических раздумий, вызванных, в частности, тем, что работать приходится «под началом ничтожных людей, впустую».

Андропов сказал, что ему придется показать это письмо Брежневу, а тот, естественно, примет все на свой счет. Потому реакцию надо ожидать самую негативную (такой она и оказалась). Как быть?

Я попытался его отговорить. Зачем показывать письмо? Мало ли у нас ничтожных и бездарных людей среди тех, на которых приходится работать написавшему письмо,— может быть, он кого-то из них, а не Брежнева имел в виду? Андропов сказал: «Я не уверен, что копия этого письма уже не передана Брежневу. Ведь КГБ — сложное учреждение, и за председателем тоже присматривают». Тем более что есть люди, добавил он, которые будут рады его скомпрометировать в глазах руководства, убедив Брежнева, что он утаил что-то касающееся того лично.

Ушел я подавленный: в каком же мире кривых зеркал мы живем, насколько извращенные нравы, аморальные представления царят на самом верху! Перлюстрация личных писем. Доклад о них главному лицу в стране! Да еще и надзор за тем, кому руководитель доверил за всеми надзирать! А ведь в этом эпизоде скорее всего открылся лишь маленький кусочек действительности.

Следующий этап деятельности Андропова после его возвращения в ЦК КПСС и до смерти Брежнева, наверное, заслуживает позитивной оценки. Как я себе представляю, одной из тех проблем, которые его тогда больше всего волновали, была коррупция, разложение, глубоко проникшее почти во все ткани нашего общества. И прежде всего коррупция среди руководителей разного уровня. О семье Брежнева я от него в этой связи никогда ничего не слышал, хотя писали о ней на Западе много. Помню, что особенно беспокоили его Медунов и Щелоков — люди, близкие к Брежневу, символизировавшие растленность, безнаказанность и вседозволенность, компрометировавшие руководство.

В идеологической сфере, насколько знаю, Андропов не планировал (во всяком случае, тогда) каких бы то ни было драматических перемен, но остановить наступление активизировавшихся консервативных, неосталинистских сил хотел.

Многого сделать он не смог: со времени перехода на новую работу и до смерти Брежнева прошло менее полугода. Но все же обстановка в ЦК начала меняться.

В ноябре 1982 года Ю. В. Андропов был избран Генеральным секретарем ЦК КПСС. Пребывание его на этом посту оказалось очень коротким — четырнадцать месяцев, а если вычесть время тяжелой болезни, то, наверно, не более полугода.

Сейчас мы как-то забываем, что после периода, который называют застойным, до начала перестройки прошло два с половиной года. Как ни скромны масштабы реально сделанного при Андропове, это был перерыв в дурной постоянности движения по наклонной плоскости — движения, которому, как начинало порой казаться, просто нет конца.

Страна увидела, что ею руководит нормальный, внушающий доверие, даже не лишенный обаяния человек, а не функционер, который и в лучшую пору не отличался большим умом, был косноязычен, а заболев, вообще производил впечатление инвалида, утратившего возможность понимать, что происходит вокруг.

Уже в первых своих выступлениях Андропов пообещал перемены — борьбу с коррупцией и безалаберностью, призвал к дисциплине, поставил цель подъема страны, преодоления трудностей и решения проблем, причем говорил с откровенностью, от которой люди отвыкли.

Все это с первых месяцев и даже недель обеспечило Андропову огромную популярность. От него очень многого ждали, с его именем связывали надежды на лучшее все слои общества — и рабочие, и колхозники, и интеллигенция, несмотря на подозрительность, которую она традиционно питала к КГБ.

Можно ли сегодня, восемь лет спустя, ответить на вопрос, насколько обоснованными были эти надежды и что было бы, если бы Андропов прожил дольше, какой оказалась бы его программа и куда бы он повел и привел страну? Дать однозначный ответ, разумеется, невозможно. Тем более что даже опытные, уже сложившиеся, сформировавшиеся политики, став лидерами государства, нередко меняются, развиваются в ту или иную сторону, растут, достигают вершин, которые прежде могли казаться для них недоступными или, наоборот, обманывают ожидания и оказываются несостоятельными.

Но я все-таки рискну если и не ответить на этот вопрос, то изложить в связи с ним некоторые свои соображения. О том, в частности, чего Андропов хотел, что он планировал в первые недели, а затем и месяцы своего пребывания на самых высших в партии и государстве постах.

Я уже говорил, что он яснее других лидеров видел многие наши назревшие и перезревшие проблемы, болячки и язвы. Для первого периода у него были и какие-то планы, намеченные еще до смерти Брежнева. И они, конечно, шли дальше наведения элементарного порядка и дисциплины, наказания особенно обнаглевших казнокрадов.

Как я могу судить по некоторым с ним разговорам, он понимал, что общество, еще не оправившееся от сталинизма и натерпевшееся разочарований и унижений в годы, которые мы называем застойными, нуждается в серьезных реформах и обновлении. Но Андропов — этому его научила жизнь — был осторожным, возможно, даже слишком осторожным политиком и, как мне кажется, остерегался быстрых и крутых перемен, в том числе перемен кадровых. Не спешил освободиться от некомпетентных, часто просто глупых, серых, к тому же очень старых, не имеющих сил работать людей.

Вскоре после его избрания Генеральным секретарем мы с ним однажды на эту тему поспорили. Я сказал, что без крутых кадровых перемен ему ничего сделать не удастся. А он, согласившись, что множество работников, занимающих ответственные посты, несостоятельны, сказал, что пока их менять не будет. Ибо не хочет, чтобы Центральный Комитет был к нему враждебен. А нарушать Устав, раньше времени, за три года до срока созывая съезд, или пачками исключать этих людей из Центрального Комитета с помощью голосования на Пленуме, как однажды сделал Брежнев, тоже не считает возможным. Не уверен, что дело здесь было в одной щепетильности; сложилось впечатление, что Андропов просто не знал и не видел людей, которые могли бы заменить тех, кто достался ему в наследство. А многие из них, хоть он и видел их слабость, были ему не только понятны, но и чем-то близки. Кадровые проблемы, похоже, так и остались для него наиболее трудно решаемыми. Андропов десятилетия жил и рос среди типичной для тех лет «номенклатуры» и, думаю, просто не представлял себе ее массовой замены. Как и раньше, он скорее рассчитывал, что, повысив и приблизив к себе несколько человек, сможет компенсировать слабости остальных и решит проблему. Хотя в масштабах страны, а не ведомства, да еще, если он хотел серьезных реформ, такая линия никогда бы не принесла успеха. Ну, а к этому добавлялись и прямые просчеты, такие, как с Романовым, Алиевым, Лигачевым. Впрочем, не исключаю, что через какое-то время он, может быть, занял бы другую позицию — просто жизнь заставила бы.

Но кадры все-таки только инструмент — пусть очень важный, такой, от которого зависит успех задуманного. А что задумал, какие цели ставил перед собой Андропов?

Состояние, в котором страна была не только при Сталине, но и при Брежневе, нельзя было считать нормальным, требовались серьезные перемены. Начиная с экономики. И здесь была другая слабость Андропова, которая, я думаю, проживи он дольше, дала бы себя знать. К экономическим проблемам он, повторю, интереса никогда не проявлял, образа мыслей в этой области придерживался довольно традиционного, не выходя далеко за пределы представлений о необходимости навести порядок, укрепить дисциплину, ну еще повысить роль материальных и моральных стимулов. Конечно, если бы судьба, жизнь дали ему много времени, его отношение к экономике могло измениться. Но, к сожалению — я говорю не только о его здоровье, но и о положении в стране, — большого времени история нам не отпустила.

Наверняка была у нового Генерального секретаря своя программа в области внешней политики — здесь он был профессионалом. У него, знаю достоверно, не было сомнений относительно того, что жизненные интересы страны требуют мира, ослабления напряженности, развития взаимовыгодных связей. Хотя он не всегда видел пути к этим целям, в частности и потому, что не хотел отдавать себе отчета в том, сколь многое в сложившейся тяжелой международной ситуации надо отнести на счет нашей собственной политики.

Лучше всего он владел пониманием наших отношений со странами — пользуюсь тогдашней терминологией — социалистического содружества. И здесь в его сознании, насколько могу судить, наступил важный перелом, — возможно, под влиянием наших неудач в Афганистане, за которые он вместе с Громыко и Устиновым нес особую ответственность, а также событий в Польше. По нашей инициативе (тогда иначе не могло быть) Организация Варшавского Договора предложила заключить с НАТО договор о неприменении военной силы. По этому договору стороны брали на себя обязательства: во-первых (подчеркиваю: во-первых), не применять силу в отношении любой страны, принадлежащей к ее собственному блоку, во-вторых, к противоположному блоку и, в-третьих, — в отношении любой третьей страны. Думаю, что это предложение отражало новые представления Андропова, означавшие разрыв с «венгерским синдромом», которым он долгое время страдал.

Андропов видел также, что перемены в Китае открывают возможность нормализации отношений с этой страной. И сделал по этому поводу заявление в одной из своих первых речей.

Что касается США, Запада в целом, то он оставался сторонником разрядки, улучшения отношений. Однако сомневался, что при администрации Рейгана на этом фланге удастся что-то сделать — после бурной антисоветской реакции США на трагический инцидент с южнокорейским самолетом КАЛ-007 сомнения превратились в уверенность. Несмотря на хорошие личные отношения с Устиновым, у Андропова вызывали известные сомнения и некоторые аспекты нашей позиции в вопросах разоружения.

Что касается внутренних дел, то Андропов имел намерение добиваться решения серьезных социально-политических проблем. Здесь он чувствовал себя увереннеи, чем в экономике. Судя по моим беседам с ним — потом появились на этот счет и другие доказательства, — в частности, считал необходимым развитие демократии (по тем временам идеи, которые он высказывал, были смелыми). Очень беспокоило его и состояние межнациональных отношений в стране: видимо, еще по работе в КГБ он лучше других знал, насколько оно опасно. Важным считал также установить отношения большего доверия и сотрудничества между интеллигенцией и руководством партии и страны.

Но все это для меня стало очевидным позже, когда состоялось примирение между мною и Юрием Владимировичем после длительной ссоры. Произошла она в конце декабря 1982 года. Причиной, скорее, думаю, поводом послужила моя записка Андропову. Поскольку он мне ее в тот же день вернул, сопроводив очень злым, фактически порывавшим многолетние товарищеские отношения ответом (привез пакет без предупреждения ко мне домой фельдъегерь), считаю себя вправе рассказать об этом подробнее.

О чем я писал Андропову?

О том прежде всего, что творческая интеллигенция испытывает разочарование в связи с произошедшими уже при нем назначениями на должности в Отделе культуры аппарата ЦК КПСС, а также в ряде издательств и редакций. «Параллельно, — писал я, — идет полоса снятия спектаклей в театрах, в том числе тех, что разрешались раньше (уже затронуты Театр сатиры, Театр Маяковского, не говоря о Театре на Таганке). Все это уже родило пословицу: «Вот тебе и Юрьев день». И я призывал Андропова «остановить активность некоторых товарищей, пока у Вас не дойдут руки до этой сферы».

Второй вопрос, который я поднял, — «директивные» лекции, с которыми в последние дни гастролировал по крупнейшим академическим институтам заведующий сектором экономических наук Отдела науки ЦК М. И. Волков. «Лейтмотивом этих поучений Волкова, — писал я Андропову, — было следующее: вся беда в том, что увлеклись конкретными исследованиями — хозяйственным механизмом, управлением и т. д., а надо заниматься главными категориями политэкономии, ее предметом и методом, общими законами, формами собственности и т. д. Везде как образец творчества и общественной полезности превозносилась экономическая дискуссия 1951 года и связанная с ней работа И. В. Сталина (по мнению настоящих экономистов, одна из самых неудачных и оторванных от жизни его работ). Вещал т. Волков и массу других нелепостей. Весь дух, по словам многих присутствующих, был предельно догматичный и схоластичный. Выступление было понято как направленное против указаний о сближении экономической науки с практикой, помощи науки в решении наиболее острых и сложных экономических проблем. В ИМЭМО и у Олега Богомолова есть записи этих выступлений — их Ваши помощники могут запросить. Гул в этой связи идет большой — люди опять же не понимают, куда идет поворот, и на сей раз не только деятели литературы и искусства, но и люди очень деловые. Гадают и насчет запланированного совещания — не задумано ли оно, как дубина против многих ученых и закрепле-

ние догматических позиций. Словом, создается впечатление, что дело здесь делается вредное и нечестное».

Андропов обвинил меня в «удивительно бесцеремонном и не объективном» тоне, в «претензиях на поучения» и отсутствии объективности, заключив, что это «не тот тон, в котором нам следует разговаривать с Вами» (меня удивило и насторожило, что впервые, наверное, с 1964 года он обратился ко мне на «Вы»). Что касается существа поднятых мною вопросов, то он дал мне такую отповедь: «Вы пишете, что за последнее время в трех московских театрах сняли спектакли и что это-де вызывает возмущение. Разобравшись в этом вопросе по существу, могу сказать, что спектакль, который намеревался ставить в Театре сатиры Плучек (речь шла о «Самоубийце» Н. Эрдмана, сейчас благополучно вошедшем в репертуар наших театров.— **Г. А.**), еще в 1932 году был признан антисоветским, его прежнее содержание сохранилось и теперь. В принципе хорошо относясь к т. Любимову, я никогда не давал ни ему, ни Вам векселей в том, что буду поддерживать любой его спектакль. Спектакль «Смотрите, кто пришел» в театре Маяковского не снят, а приостановлен для переделки. При этом главный режиссер театра Гончаров полностью согласился с высказанными замечаниями. Неверно, что указанные спектакли разрешались раньше, а теперь запрещаются. Спектакль в Театре сатиры был запрещен летом с. г. и потому к «Юрьеву дню» не имеет никакого отношения. Спектакль «Борис Годунов» на Таганке не запрещен. Он находится в процессе подготовки к постановке (премьера «Бориса Годунова» состоялась уже при М. С. Горбачеве.— **Г. А.**). Управлением Мосгорисполкома сделаны замечания, что входит в его компетенцию».

И по второму из поднятых мною вопросов: «Я не знаю, что мог там «вещать» т. Волков, но даже если взять на веру то, что Вы об этом пишете, то оснований для паники нет. Надо поправить его там, где он ошибается, и все. Вы пишете, что «гул в этой связи идет большой — люди опять же не понимают, куда идет поворот... не задумано ли запланированное совещание, как дубина». На каком основании такие выводы? Разве ЦК «избил» кого-нибудь за последнее время? Ну, а кому делать нечего, могут гадать, как им заблагорассудится». Тоже несправедливо, думал я тогда,— уж кто-кто, а он-то знает, как ответственные работники аппарата ЦК могли ломать судьбы людей и даже целых направлений науки.

Но самое для меня существенное было в конце: «Пишу все это к тому, чтобы Вы поняли, что Ваши подобные записки помощи мне не оказывают. Они бесфактурны, нервозны и, что самое главное, не позволяют делать правильных практических выводов». Я это понял как своего рода «декларацию» о прекращении отношений — во всяком случае, прежних.

Словом, это был разрыв, большая ссора. Меня она крайне огорчила. И удивила. Ведь и тон моего письма, и его темы ничем не отличались от тона и тем наших обычных бесед и записок, которые я Юрию Владимировичу изредка посылал. Более чем двадцатилетнее взаимодоверие как-то расположило меня к тому, чтобы, не обращая внимания на условности, писать то, что думаю, и не особенно заботиться о форме изложения. И никогда это не вызывало гнева. Перечитывая письма, я в тот вечер пришел к выводу, что могу себя упрекнуть лишь в двух вещах. Во-первых, излишне злой, хотя я так не задумывал, получилась в контексте письма поговорка «вот тебе и Юрьев день», тем более что здесь упоминался спектакль «Борис Годунов». И во-вторых, возможно, зря я упустил из виду, что прежний Юрий Владимирович стал теперь другим Юрием Владимировичем. Хотя в это не хотелось верить, я считал его слишком крупным и умным человеком для того, чтобы новое положение так его изменило, привело к такой неожиданной для меня открытой вспышке.

Тут же я позвонил Бовину — единственному, с кем мог посоветоваться, кому мог оба письма показать. Мы встретились на троллейбусной остановке. Шел дождь, и, прикрывая письма рукой, я их ему прочел при свете уличного фонаря. Бовин, тоже хорошо знавший Андропова, согласился со мною, что дело не столько в моем письме, во всяком случае, не только в моем письме — скорее Юрий Владимирович использовал его как повод, чтобы осуществить что-то уже задуманное — «дистанцироваться». Согласился Бовин также с тем, что мне не надо объясняться, пытаться уладить конфликт. Оставалось одно: принять и понять сигнал, отойти в сторону.

Буквально через несколько дней по какому-то случаю то же самое произошло у Андропова с Бовиным, и это подтвердило мое предположение, что письмо было поводом.

Но что же было причиной? Я, естественно, много об этом думал. И все больше убеждался, что причиной было стремление некоторых людей в руководстве (не исключаю, что из окружения Андропова), в частности, Зимянина, Устинова, может быть, Черненко, изолировать нового руководителя от тех контактов и связей (прежде всего доверительных, товарищеских), посредством которых он мог получать независимые, отличающиеся от официальных суждения и оценки. До меня доходил, в частности, слух (конечно же, услужливо переданный Андропову), что Арбатов и Бовин хвастают своей давней дружбой с Генеральным секретарем, обещают повышения одним, грозят наказанием другим, да и себе присматривают подходящие посты.

Конечно, это оставляет открытым вопрос: как сам Юрий Владимирович, столько лет знавший нас с Бовиным, мог поверить такой чепухе? Ответ я вижу прежде всего в том, что у него была слабость прислушиваться к сплетням о том или ином знакомом ему человеке. И даже иногда внимать им, чтобы не испортить отношения со сплетниками, особенно если это люди высокопоставленные. Ну, а второе — болезнь. Андропов уже был тяжело болен, и это нередко сказывалось. В том, что болезнь сыграла свою роль и Андропов не полностью себя контролировал, меня убедили последующие события.

В январе на каком-то приеме меня отозвал в сторону работник МИД СССР, мой хороший товарищ. Оказалось, сидящий с ним в одном кабинете сын Зимянина рассказывает всем, что Андропов «снял с Арбатова стружку» за вмешательство в дела культуры и искусства и поссорился с ним. Ничем, кроме болезни Юрия Владимировича, я не мог объяснить такую его откровенность с Зимяниным, о котором он был нелестного мнения и не раз мне об этом говорил. Чуть позже Андропов, поверив доносу, будто я что-то не то сказал американцам о руководстве, поручил даже поговорить со мной своему преемнику в КГБ. И это я не мог объяснить ни чем иным, как болезнью.

Шли месяцы. В мае 1983 года Андропов неожиданно позвонил — поздравил с шестидесятилетием. Хотя разговор был короткий, почти официальный, мне показалось, что у него все же кошки на душе скребут. Как и у меня. Я не мог не думать, что вот сейчас, когда, может быть, особенно нужны нормальные рабочие отношения с этим человеком, мы с ним в ссоре, дали себя поссорить...

И вот — в июле или в начале августа — мне передали: Андропов просил позвонить. Я позвонил. А потом была теплая, хотя не без взаимно сказанных горьких слов встреча. За ней последовали другие, деловые. Во время одной из них Юрий Владимирович поручил мне подготовить записку к крупному (это было его выражение) разговору об отношениях и работе с интеллигенцией. В те же дни Бовин получил аналогичное задание по национальному вопросу. Не исключаю, что подобные задания получил кто-то еще. В общем, складывалось впечатление, что Андропов отходит от первоначального замысла «малых дел», готовится к крупным, жизненно важным.

Вскоре я передал ему свою записку; некоторое время спустя он позвонил, поблагодарил, сказал, что многое ему показалось интересным. И он надеется вскоре со мною обсудить, как дать поставленным вопросам ход. Но это так и осталось одним из неосуществленных замыслов — Андропов заболел и к работе уже не вернулся.

После его смерти один из помощников, у которого хранилась личная рабочая папка Юрия Владимировича, мне записку вернул. Интересно было увидеть отчеркнутые им места — то, что привлекало особое внимание.

Возможно, это были мысли, которые волновали и его, мысли, которые он хотел так или иначе воплотить в политику. Отчеркнуты были, в частности, рассуждения о том, что в плане социально-политическом и моральном интеллигенция даже и сегодня, через 66 лет после революции, когда уже не осталось того, что называли «буржуазной интеллигенцией», все же трактуется как наименее органичная и важная часть трех основных социальных образований общества.

«Конечно же, — писал я, — при случае о ней — после рабочего класса и крестьянства — говорят что-то хорошее. Но говорят с известным снисхождением, похлопыванием по плечу, даже оговорками. А в разговорах среди чиновников, «в своем кругу», слово «интеллигент» остается почти бранным словом». Текст далее был снова отчеркнут: «Не знаю, нужно ли и важно ли сейчас что-то делать с этой, так сказать, доктринальной стороной вопроса. Хотя можно было бы, не отказываясь от признания особой роли рабочего класса, все же напирать на полноправность, на одинаково неотъемлемую роль и функцию обоих классов и «прослойки», на то, что различия носят скорее исторический и философский, а сегодня профессиональный характер, но не затрагивают политического и социального положения в обществе и т. д.». И следующая отчеркнутая фраза: «Противостояние, как мне кажется, идет сегодня по другому направлению — не рабочие и крестьяне, а часть чиновничества и бюрократии (особенно руководящая интеллигенцией) противопоставляет себя интеллигенции, говорит о ней снисходительно, а подчас даже и недоброжелательно. С ними рядом и те представители самой интеллигенции, которые свою профессиональную, а подчас и интеллектуальную слабость норовят компенсировать демагогией насчет близости к народу (особенно к деревне). Наверное, махаевщина не грозит рабочим и крестьянам, а стала скорее реальной болезнью обюрократившихся элементов аппарата».

Следующее отчеркнутое место относилось к «нововведению», автором которого, если верить разговорам, был Е. К. Лигачев, ставший секретарем ЦК КПСС и ведавший организационно-партийной и кадровой работой: «Недавно было принято решение не принимать на работу в аппарат ЦК людей, не бывших ранее на освобожденной партийной работе. Это автоматически исключает из работы в аппарате ЦК специалистов-международников, ученых, журналистов, деятелей культуры и искусства, в конце концов просто заслуживающих доверия хозяйственных руководителей, врачей и учителей. Утверждается, по сути, аппаратное сектантство. Учитывая, что из этого постановления сделают свои выводы республики и обкомы, партийный аппарат скоро будет состоять лишь из тех, кто с юных лет избрал чиновничью стезю и вознамерился «руководить», стать начальством, кто со студенчества или первых трудовых лет пошел в аппарат (сначала, как правило, РК комсомола) и рос в нем, двигаясь по ступенькам. Превращать работу в партийном аппарате в своего рода суррогат дворянства, как мне кажется, крайне опасно... Это более широкий вопрос, чем вопрос об интеллигенции, но имеет отношение и к ней — думаю, в 60-х годах ничего плохого не произошло от того, что наряду с повзрослевшими комсомольцами в международные и некоторые другие отделы пришли научные работники, журналисты, дипломаты. Может быть, стоило бы попробовать их, равно как и отличившихся на работе, обладающих партийным складом мышления инженеров, экономистов, врачей, и в других амплуа — скажем, секретаря или заведующего отделом обкома, на ответственной хозяйственной работе и т. д.?»

Судя по отчеркнутым на полях местам, заинтересовали Андропова и замечания насчет «отношений между творческой интеллигенцией и руководством, включая как его высшие эшелоны, так и тех, кто ею, творческой интеллигенцией, непосредственно руководит. Тема это деликатная, но настолько существенная, что требует прямоты в постановке нескольких вопросов.

Я бы начал с утвердившихся, так сказать, традиционных принципов и методов руководства культурой и искусством. Конечно, со времен Октябрьской революции и в этой сфере было немало достижений, немало жизненного, полезного, здравого (особенно во времена Ленина, а также в связи с деятельностью Луначарского в 20-е годы). Но в целом наследие здесь у нас, наверное, нелегкое, и в нем мы еще как следует не разобрались. Я имею в виду и теорию, начиная с таких важных принципов, как партийность литературы, социалистический реализм, свобода творчества и т. д. Спору нет, написано о них и других аналогичных вопросах немало, но написанное благословляло очень разную реальную политику, в том числе глубоко неверную, впоследствии осужденную партией. Что-то, значит, наверное, надо делать и с теорией.

Но мне кажется, что еще важнее два более практических момента.

Один — уточнение представлений о том, что́ в культуре и искусстве является объектом руководства, контроля со стороны партии и государства. Другими словами, как далеко может идти вмешательство в творческие процессы. Представляется, что дальше политического и идейного руководства лучше не идти. А сами критерии политического контроля тоже, видимо, должны устанавливаться разумно, без перегибов.

И второй — методы руководства. Здесь должны преобладать методы убеждения. И применяться они должны уважительно (тут была сноска, тоже отчеркнутая: «Один из негативных примеров — опубликованная летом в журнале «Смена» разухабистая статья Н. Н. Яковлева о личной жизни академика Сахарова и даже интимной жизни Боннэр»)... Примыкает к этому вопрос о Главлите. Он, как представляется, не должен участвовать в партийном руководстве культурой и искусством. Его дело — не допускать выхода в свет контрреволюции, порнографии и разглашения государственных тайн. И все».

Отчеркнуты были и места, касавшиеся конкретных отношений руководства и интеллигенции. В частности, то место, где я писал о необходимости «диалога, налаживания (не для проработки, как делал Никита Сергеевич, и не для показухи, как часто делал его предшественник) нормального, систематического общения. Причем чтобы работало оно не как полупроводник, а по обоим направлениям. Руководство рассказывало бы цвету интеллигенции о тех проблемах, которые им важно знать, но вместе с тем внимательно и заинтересованно слушало бы и этих людей. И еще одно: у нас много талантов, но есть несколько безусловно великих деятелей культуры, таких, как Ч. Айтматов, С. Рихтер, Г. Товстоногов, Е. Мравинский. Их надо беречь и лелеять особо и не давать в обиду. Даже И. В. имел такой круг и сквозь пальцы смотрел на их грехи, а тем более на доносы».

Вызвало интерес Андропова и то, что я писал о больших проблемах так называемых «массовых отрядов интеллигенции», прежде всего учителей и врачей, об их бедственном положении. Я писал (и он подчеркнул это место), что 10—15 процентов надбавки к зарплате здесь не помогут, что надо готовить какие-то более широкие и радикальные меры. «Наверное, назрела глубокая реформа обеих сфер (образования и здравоохранения). Напрашивается, в частности, своего рода «индустриализация», а может быть, и научно-техническая революция — современная электроника и средства связи позволяют, например, лучшим преподавателям страны вести установочные уроки и тем более учить других учителей (в медицине еще шире поле для таких усовершенствований). Наряду с коренным совершенствованием программ это облегчит труд учителей, уменьшит их нагрузку (может быть, это позволит и дать им возможность достойным образом приработать к зарплате, пока их оклад не удастся поднять до приличного уровня). Для здравоохранения (это место было особо отчеркнуто), если нет иных путей, наверное, лучше пойти на частичную и посильную (то есть относящуюся к тем пациентам, у кого приличная зарплата) легальную оплату услуг медицины вместо уродливых форм, в которых это фактически делается сейчас».

Так подробно рассказываю потому, что пометки Андропова на записке — одно из немногих (во всяком случае, известных мне) свидетельств его политических намерений в тот короткий период, когда он был лидером партии и страны. Есть и другая причина. Товарищ Мельников на XIX партконференции и товарищ Матюхин на Втором Съезде народных депутатов пытались чуть ли не свалить на мои советы руководству вину за застой. Я безуспешно требовал от них конкретных доказательств; поскольку они молчат, я, наверное, вправе сказать о том, как в действительности обстояли дела.

Не исключаю, что Андропов, отпусти ему судьба время, попытался бы пробить какие-то политические решения в развитие некоторых привлекших его внимание идей. Но жить ему осталось совсем немного. В начале января 1984 года я его видел в последний раз. Группа товарищей готовила по его поручению проект традиционной речи к намеченным на февраль выборам в Верховный Совет СССР. Предполагалось, что либо речь эта будет оглашена кем-то на собрании избирателей, либо, если позволит здоровье, он произнесет ее сам перед телекамерой из палаты.

И вот мне как-то позвонил один из помощников Андропова и сказал, что тот просит в связи с подготовкой речи приехать к нему в больницу.

В палате он почему-то сидел в зубоврачебном кресле с подголовником. Выглядел ужасно. Я понял: умирает. Говорил он мало, а я из-за неловкости, незнания, куда себя деть, просто, чтобы избежать тягостного молчания, беспрерывно что-то рассказывал. Когда уходил, он потянулся ко мне, мы обнялись. Потом я узнал, что в эти дни у него побывало еще несколько человек, которых он давно знал, с которыми долго работал.

Вскоре Андропова не стало.

О нем, насколько могу судить, горевали искренне. С Андроповым народ связывал надежды на лучшее, и его быстрый уход оставил ощущение неуверенности, разочарования. Тем более что преемником оказался К. У. Черненко.

Политическая деятельность Андропова, как я уже говорил, неоднозначна, были в ней плюсы и минусы, хорошее и плохое, белое и черное. Но как определить общий итог? Думаю, все же положительно. Это был как бы пролог перестройки. Страна начала просыпаться, выходить из состояния политического анабиоза, в который ее ввергли годы застоя.

О К. У. ЧЕРНЕНКО. Полоса реформ, перестройка могли бы начаться сразу после кончины Андропова. Судя по косвенным данным, он думал о смерти (даже спрашивал, сколько ему осталось жить, но его из жалости, а отчасти, может быть, и трепета перед «вождем» обманывали, говорили, что несколько лет). И, наверное, думал о преемнике. Незадолго до кончины у него был, как я слышал, долгий разговор с Устиновым — наиболее тогда влиятельным, сильным человеком и по характеру (напористость, даже наглость со всеми, кто ниже, отличала большинство «сталинских министров», особенно из оборонной промышленности), и потому, что за ним стояло много дивизий. Громыко, например, сам достаточно напористый, боялся его почти панически. Тем более другие члены тогдашнего Политбюро. Наверное, именно Устинову принадлежало последнее слово в решении вопроса о преемнике. Думаю, Андропов обсуждал с ним этот вопрос, и уверен: не мог рекомендовать Черненко.

Почему же Устинов не прислушался даже к мнению врачей (Чазов, с которым я шел с Красной площади после похорон Черненко, клялся, что предупреждал год назад Политбюро: Черненко нельзя назначать, он безнадежно болен, неработоспособен, скоро умрет)? Вероятнее всего, из чисто эгоистических соображений. Устинов, сам старый и больной (через полгода он умер), наверное, боялся молодого и энергичного Горбачева, свободнее чувствовал себя рядом с умирающим Черненко. Эти чувства могли разделять и другие[1]. Еще раз выявилась несостоятельность сложившихся в стране политических механизмов, всего наследия сталинского тоталитаризма, открывавшего путь любым случайностям и нелепостям.

Что представлял собой Черненко? В общем, чтобы ответить на этот вопрос, не надо очень глубоко знать его лично и по работе или вести серьезные исследования его деятельности. С ним все было совершенно ясно, прозрачно.

Лидером стал профессиональный канцелярист, невысокого пошиба бюрократ, а не политик. Его потолок — заместитель заведующего Общим отделом ЦК КПСС или заведующий канцелярией Верховного Совета СССР, который был больше церемониальным, чем рабочим органом, а вовсе не высшим органом власти. Пользы от Черненко ждать не приходилось. А бед он мог принести много. Если бы, конечно, имел больше времени и был поздоровее, — и не потому, что в этом случае мог лично что-то плохое сделать, а прежде всего потому, что его принимали бы всерьез, боялись и слушались окружающие, старались под него подладиться.

[1] Недавно эту догадку подтвердил помощник Андропова в последний год его жизни А. И. Вольский. В интервью «Литературной газете» (4 июля 1990 года) он рассказал: «Помню, в день Политбюро после смерти Андропова идут мимо нас в зал Устинов с Тихоновым. Министр обороны, положив руку на плечо премьер-министра, говорит: «Костя (то есть Черненко.— Г. А.) будет покладистее, чем этот...» Горбачев, значит. Вот так решился вопрос о лидере великой державы. Андропов, впрочем, видел преемника в Михаиле Сергеевиче».

Но все понимали, что речь идет о переходном, очень кратковременном периоде правления. Одни делали из этого вывод, что надо пройти через этот период с минимальными потерями, а по возможности и подготовить те серьезные сдвиги, настоятельная потребность в которых назрела. К числу таких людей, несомненно, принадлежал М. С. Горбачев. Он стал вторым секретарем ЦК КПСС — это было заметно, поскольку он вел заседания Секретариата ЦК, а в отсутствие Генерального секретаря — и заседания Политбюро (Черненко из-за болезни в них почти не участвовал). И Горбачев, проявляя лояльность в отношении больного Генерального секретаря, делал все возможное, чтобы заржавевшая машина управления страной все же функционировала. Вместе с тем он постоянно встречался со специалистами разных областей знания, слушал их, а нередко и спорил, формируя и уточняя свою позицию по основным вопросам внутренней и внешней политики. Только после смерти Брежнева Горбачев счел возможным открыто проявить интерес к внешнеполитическим проблемам. Думаю, потому, что ранее это выглядело бы со стороны секретаря ЦК, занимающегося сельским хозяйством, как заявка на лидерство; при Андропове он перестал этого опасаться, а при Черненко просто вынужден был активно включиться в международные дела. Визиты во главе парламентских делегаций в Канаду (1983 год) и особенно в Великобританию (1984 год) были, пожалуй, наиболее заметными его внешнеполитическими акциями в то время. В месяцы черненковского периода — месяцы «агонии застоя» — вокруг Горбачева постепенно собирались люди, поддерживавшие идеи обновления — идеи, которые легли в основу того, что потом получило название перестройки.

Большинство же руководства, как я мог понять, в тот период затаилось в ожидании. Близящаяся кончина Черненко не вызывала сомнения. И тем не менее у многих брало верх желание «жить, как всегда» — в обычных повседневных делах, а подчас и интригах, которым перед лицом предстоящих крутых перемен была грош цена. А некоторые маневрировали в надежде стать преемниками смертельно больного руководителя, так сказать, примеряли на себя «горностаевую мантию». Винить ли их за это? Практически каждый — Гришин, Романов, Громыко — мог себе сказать: а чем я хуже Черненко? Эти настроения стали главным предметом пересудов и сплетен и очень негативно действовали на общественную мораль.

Вспоминая тогдашнюю ситуацию, я могу оценить ее как безвременье, предельный упадок, символом которого стало появление на домашних экранах в начале марта 1985 года поднятого со смертного одра и под руки подведенного к объективу телекамеры Черненко. Эти кадры обошли весь мир.

Трудно поверить, но в тот период находились люди, пытавшиеся сделать ставку на Черненко, построить на его немощи свою карьеру. Среди них я прежде всего хотел бы назвать Р. Косолапова — тогда главного редактора журнала «Коммунист». Черненко, не знаю уж почему, безгранично ему верил, считал его самым выдающимся идеологом и теоретиком, постоянно держал около себя. Он и В. Печенев, помощник Черненко, вместе с небольшой группой друзей и единомышленников были самыми близкими к руководству людьми. Вели они себя смело, даже вызывающе. По взглядам своим Косолапов был, пожалуй, догматическим (хотя и вполне грамотным, в цитатах сведущим) сталинистом. И старался — благо должность главного редактора теоретического и политического журнала ЦК КПСС давала такую возможность — пропагандировать и распространять эти взгляды. Ничего удивительного тут, собственно, не было. Для того времени даже естественно. Чего я не могу понять, так это надежды использовать близость к Черненко, чтобы сделать карьеру, пробиться в «главные идеологи» партии, в руководство.

Здесь Косолапов и его друзья бежали наперегонки со смертью. Их главная ставка была сделана на XXVII съезд КПСС, который по Уставу партии должен был состояться в начале (феврале — марте) 1986 года. Но уже к концу 1984-го — началу 1985 года стало ясно, что Черненко до назначенного времени не дотянет. Тогда под нажимом молодых карьеристов было принято решение перенести съезд на осень 1985 года. В марте группа во главе с Косолаповым должна была выехать за город для под-

готовки документов съезда. Но их опередила смерть — буквально на неделю-другую...

Скажу, чтобы закончить тему, что уже в годы перестройки Косолапов стал одним из идеологов правоконсервативной оппозиции — так называемого «Объединенного фронта трудящихся» (ОФТ), созданного частью партийного и государственного аппарата и руководства профсоюзов и рассчитанного на привлечение рабочих с помощью требований «диктатуры пролетариата» и правопопулистских лозунгов.

Для меня период правления Черненко оказался нелегким. Я с ним был знаком лично, недоброжелательства по отношению к себе не ощущал. Зато недоброжелательство с лихвой проявлял его родственник М. И. Волков, остававшийся заведующим сектором Отдела науки ЦК КПСС. Я уже писал о развернутом при его активном участии (под руководством, видимо, Гришина и Зимянина) наступлении на экономические и международные институты Академии наук СССР. На очереди, судя по всему, был и мой институт...

Весной 1984 года подоспела и нацеленная против меня провокация. В западногерманском журнале «Штерн» появилась статья о К. У. Черненко, в которой приводились приписанные мне слова о том, что он малограмотный крестьянин, никак не подходит для своей высокой должности. Я, разумеется, ничего подобного не говорил, да и вообще не понимаю, как можно попрекать людей их происхождением. Зная московские связи западногерманского журнала, я пришел к выводу, что ложь сознательно «скормлена» немцам одним из моих недоброжелателей. О статье, как я вскоре узнал, доложили руководству, «мои» слова стали предметом оживленных обсуждений в «коридорах власти».

Вскоре после этого я был у Горбачева и имел возможность объяснить, что произошло. Горбачев сказал, что слышал об этой истории и его не надо убеждать, что это ложь. «В чем-чем Арбатова нельзя обвинить,— заметил он,— так это в том, что он идиот и будет говорить о руководителе такие вещи иностранным журналистам». Пообещал поговорить с Черненко и посоветовал самому попроситься на прием. Я последовал совету и вскоре был принят. Минут двадцать разговаривал с Черненко об отношениях с США и о необходимости выработать более активную политику в Тихоокеанском регионе. Черненко, слушая, все время кашлял, сплевывал в больничную «флакон-плевательницу» (помню такие по туберкулезному госпиталю времен войны). Принял он меня вполне доброжелательно, сказал, что с предложениями в принципе согласен и что мне следует изложить их в записке и передать ее в ЦК. Никаких последствий при его жизни моя записка не имела. Собственно, я их и не ожидал. Мой «личный» вопрос был на тот момент снят, на какое-то время меня оставили в покое.

Вызревало понимание: еще одного Черненко, человека его взглядов, его интеллектуального и политического бессилия страна не выдержит. И хотя не в наших традициях обсуждать политических деятелей, которые могли бы стать лидерами, страна настолько устала от безликости, анонимности и серости руководства, что проблема преемника Генерального секретаря волновала всех. Общая точка зрения начала выкристаллизовываться. И если тут не было единства, то разве что, если верить тому, что сказал на XIX партконференции Е. К. Лигачев,— среди членов Политбюро...

Весть о смерти Черненко застала меня в Сан-Франциско. Парламентская делегация во главе с В. В. Щербицким прибыла туда утром, а уже вечером отправилась в обратный путь. И у всех на уме было одно: кто станет Генеральным секретарем? Входили в делегацию люди разные — и по политической ориентации тоже. Писатель В. В. Карпов, заведующий Отделом пропаганды ЦК КПСС Б. И. Стукалин, президент Украинской Академии наук Б. Е. Патон, генерал-полковник Н. Ф. Червов, председатель Госбанка В. С. Алхимов... В ночь, пока летели в Москву, все забыли об обычной осторожности, воспитанной десятилетиями страха. Говорили об одном: лидером должен стать Горбачев — и только он...

Как можно оценить короткий, не имеющий, наверное, шансов получить осмысление, подробное освещение в истории период Черненко? Поначалу у меня был однозначный ответ: потеряны тринадцать месяцев в такое трудное для страны время. Потом оценка стала осторожнее. А может быть, эти месяцы безнадежности не потеряны зря? Может быть, они были нужны, чтобы после застоя и легкой встряски при Андропове понять, насколько страна нуждается в переменах и реформах, притом радикальных? Может быть, они готовили почву для перестройки?

* * *

Со дня смерти Сталина прошло много лет, так много, что даже неудобно ссылаться, объясняя сегодняшние тяготы и неустройства, на Сталина и сталинщину. Могут сказать (и часто говорят): сколько еще будем валить на тех людей и те времена? Ведь большая часть живущего сейчас населения и большая часть тех, кто в обществе чем-то руководит и что-то решает, если и не родились, то наверняка сформировались как личности, как работники, как деятели уже в послесталинские годы.

И это, конечно, так. Тем не менее я убежден, что мы и сегодня живем под бременем пережитков сталинщины и она еще далеко не стала перевернутой раз и навсегда страницей истории. И у нас могут формироваться относительно молодые сталинисты десятилетия спустя после смерти того, кто дал имя этой системе и этому режиму.

Известна библейская легенда об исходе иудеев из египетского рабства. Их мудрый пастырь Моисей сорок лет водил свой народ по пустыне, чтобы домой, в землю обетованную, вернулись уже новые поколения. Поколения, родившиеся свободными, не знающими неволи, которая не только унижает, но и уродует, нравственно калечит людей.

У нас не оказалось такого мудрого пастыря. Не нашлось и «пустыни», куда бы можно было для самоочищения всем народом удалиться на сорок лет. Лечить больное общество должно было оно само. С унаследованными социальными и политическими структурами, правом, нормами морали и представлениями о себе и об окружающем мире. Наконец, с оставшимся от прошлого «человеческим материалом» на всех уровнях, во всех «нишах» общественной жизни.

Потому, наверное, так сложно идет, так затянулся процесс выздоровления. Совсем скоро ему исполнятся библейские сорок лет. Но понять не значит простить, отпустить грехи всем наследникам и преемникам. Мы имели за это время два поколения руководителей — «хрущевское» и «брежневское»,— сейчас рождается третье. И, повторю, каждое из них, каждый политический лидер не может избежать ответственности за то, что он или они сделали сами,— и за плохое, и за хорошее.

Тем более, что за истекшие годы мы в чем-то далеко ушли вперед, убедились, что трудности обновления общества, порождаемые могучей инерцией всех старых механизмов,— это лишь одна сторона диалектики развития. Другая же состоит в том, что в старом обществе, внутри него, рождаются не только силы инерции, но и силы обновления. И многое зависит от того, как то или иное руководство, тот или иной руководитель смогут использовать эти силы, на них опереться.

Эти силы подчас уже существуют, но еще скрыты, их не видно на поверхности даже тогда, когда остается совсем немного надежд на исцеление. Ведь именно так пришла и перестройка...

Но она для того времени, о котором я пишу, «была завтра» (да извинит мне глубоко чтимый мною писатель Борис Васильев это заимствование). И от нее нас тогда еще отделяли долгие годы трудной и сегодня не закончившейся борьбы за выздоровление. Заключая, я хотел поделиться несколькими соображениями не так даже об итогах, как о некоторых уроках этих долгих лет. Самых общих — более конкретные могут дать только тщательные исторические исследования.

Первый урок, мне кажется, состоит в том, что недостаток решительности, чрезмерная осторожность и затяжки ведут к быстрому затуханию реформ, к их гибели. И это легкообъяснимо: до того, как наступит перелом в общественной жизни, во всех ее главных установлениях и институтах, перемены возможны только под постоянным давлением. Как только оно снимается, старая общественная среда возвращает ситуацию к прежнему состоянию, к дореформенной «устойчивости». Она, эта среда, поначалу всегда много сильнее, массивнее ростков нового. Тех, в частности, которые пытались насадить и в 1956-м и в 1965 годах. А в какой-то мере и в период перестройки. Потому, пока не произойдут пере-

мены, пока количественные изменения не превратятся в качественные (чего с 1953 года еще ни разу не происходило), без постоянных и очень активных усилий, забот, попечения высшего руководства — а импульсы к переменам пока рождались только там,— новое не утвердится и даже не выживет.

При этом огромную роль играет фактор темпов, интенсивности перемен. Реформа, если она затянута, падает набок, как слабо закрученный волчок. Здесь, наверное, действуют определенные социологические законы. В случаях, когда общество совсем невосприимчиво к назревшим переменам, напрочь их отвергает, становится необходимой революция со всеми ее разрушительными последствиями. Но и реформа — это быстрые перемены, а не медлительная, затяжная эволюция. Иначе, если темп сбит, старая консервативная среда быстро приспосабливается, находит возможность эффективно противодействовать.

Думаю, Хрущев, а тем более Брежнев с Косыгиным в 1965 году пренебрегли этой закономерностью, и реформа ушла в песок. Тем же я объясняю пробуксовку многих начинаний (особенно экономических) уже в период перестройки. Да и в прошлом я что-то не припоминаю успешных реформ, которые бы растягивались на десятилетия (не раз задавал себе вопрос: а получился бы ли нэп вообще, если бы его введение растянули на многие годы, как это происходит у нас сейчас?).

Второй урок связан с тем, что мы не можем успешно развиваться, не открываясь к миру, не становясь активными участниками международного разделения труда, не используя все выгоды экономического и научно-технического сотрудничества, не черпая полной мерой из обширных закромов мирового экономического, социального и культурного опыта. В начале 50-х годов, когда со смертью Сталина обозначился радикально важный исторический рубеж в развитии нашего общества, многие страны, сейчас поражающие мир своими успехами, выдвинувшиеся на передний край прогресса, далеко отставали от СССР по самым важным показателям. Япония, например, по валовому национальному продукту едва достигла довоенного уровня и только восстанавливала свое довоенное, не такое уж лестное реноме производителя второсортных потребительских товаров. О Западной Германии, а тем более Южной Корее (она лежала в руинах) как серьезных экономических величинах мало кто мог даже думать.

Конечно, в их подъеме свою роль сыграли многие факторы, прежде всего жизнеспособная модель экономики, сочетавшая рынок с умелым управлением и достаточно высокой трудовой этикой. Но я себе просто не представляю, чтобы любая из этих стран, вообще из стран, преуспевших после второй мировой войны, могла добиться успеха без активнейшего присоединения к мировому рынку и мировой экономике, включая и такую важную составную часть этого процесса, как осознанная готовность к жестокой конкурентной борьбе в глобальных масштабах.

Знаю, как трудны будут нам эти решения, но если мы не хотим оказаться на обочине, быть со временем отброшенными в разряд слаборазвитых стран (если это утешает — великих слаборазвитых), мы должны их принять, сделать однозначный выбор.

На пути к этим, как и ко многим другим важным, определяющим судьбу, решениям серьезным препятствием, преградой, заслоном может оказаться страх. Для одних — страх изменить ставшим почти что второй натурой привычкам, «принципам», для других — страх перед шагом «в неизвестное», страх перед непонятным, сопряженным с риском будущим.

Первым, наверное, уже ничего не поможет, коли им не помог исторический опыт (в том числе 73 лет нашей истории и послевоенный опыт полутора десятка стран, попытавшихся нас копировать).

Что касается вторых, тех, кто опасается неизвестности и риска, то они должны ясно понимать: да, любой поиск, любая попытка найти новый путь сопряжены с тем и другим; но сегодня несравненно больший риск связан с отказом от поиска новых путей, ибо старый путь неумолимо ведет к дальнейшему упадку и катастрофе.

Я вижу определенную параллель между перестройкой Горбачева (перестройкой социализма) и «перестройкой» Рузвельта (перестройкой капитализма). И считал бы уместным привести вошедшие в историю слова великого американского президента: «Нам нечего бояться, кроме самого страха».

И третье. Весь опыт периода между смертью Сталина и началом перестройки убеждает: мы не сможем добиться успеха, вообще ввести жизнь общества в нормальную колею, не преодолев милитаристских проявлений и во внешней политике, и во внутренней жизни.

Не было, наверное, в истории более фальшивой расхожей истины, чем родившееся в античные времена высказывание: «Хочешь мира — готовься к войне». Трудно припомнить случай, когда интенсивная подготовка к войне помогла сохранить мир. Зато множество примеров того, как правительства и политики, вооружаясь ради мира, порождали военное соперничество, усиливали его, а то и провоцировали войну. Тем более несостоятельно это древнее высказывание сейчас: при современных ядерных вооружениях нельзя даже надеяться на победу в войне. Военная сила перестала быть продолжением (пусть другими средствами) внешней политики. Даже в ограниченных конфликтах она не может рассматриваться в качестве инструмента достижения рациональных политических целей — во всяком случае, тех, которые превышают по масштабам Гренаду, Панаму или Фолклендские острова [1].

С точки зрения внешней политики значение военной силы и милитаризма, таким образом, все уменьшается.

Во внутренних делах они, к сожалению, продолжают играть большую и притом пагубную роль. Человечество, наверное, до конца даже не осознало того, в каком ненормально милитаризированном мире оно живет. Мы начали к этой ненормальности привыкать и, может быть, привыкли бы — до самой вселенской катастрофы,— если бы не экономические реальности. Не только для нас (тратящих на оборону до 18 процентов валового национального продукта), но и для самой богатой страны мира — Америки — бремя становится невыносимым.

Тлетворное воздействие милитаризации ощущается, помимо экономики, и в других сферах, включая духовную и политическую. В США об этом не раз предупреждали проницательные люди — вспомним хотя бы роман, а затем фильм «Семь дней в мае». Звучали на сей счет предупреждения и у нас. Притом слышали мы их не от одних лишь проницательных штатских критиков милитаризма, но и от некоторых более, чем другие, откровенных генералов, стремящихся превратить вооруженные силы из инструмента политики в ее повелителя, поставить общество на службу армии, милитаристам. Хорошо, если общество об этом своевременно узнает,— такое знание помогает яснее понять, откуда исходит угроза.

Совершенно не случайно главный свой удар милитаристские круги так же, как и правые экстремисты, направляют против гласности. Она, подобно хорошо работающей иммунной системе, предохраняет общество от самых страшных болезней. Очень важный урок нашей истории состоит в том, что для исцеления абсолютно необходима гласность. И мало ее терпеть или ее разрешать — ей надо постоянно помогать.

Хотел бы поделиться и еще одним наблюдением, к которому подводит исторический опыт и сталинских, и послесталинских лет. Это — взаимное влияние, даже взаимное проникновение «политик» государств, считающих друг друга противниками,— обоснованно или нет, в данном случае даже не очень существенно. Так сказать, «закон зеркального отражения» политического поведения другой стороны.

Суть его такова. Предпринимая что-либо в отношении другой стороны — идет ли речь о действиях, затрагивающих ее интересы в том или ином регионе, о новой программе вооружений, о военной доктрине, о чем-то еще,— ожидай соответствующей реакции. И, если ее заранее не просчитать, твои действия могут обернуться бумерангом. В политике, если, во всяком случае, речь идет о достаточно крупных державах, нельзя остать-

[1] Предвижу вопрос: а как же Персидский залив? Но этот кризис как раз и есть порождение долголетнего военного соперничества СССР и США, втянувшего в свою орбиту третьи страны и целые регионы, оставшиеся зоной конфликтов и сверхвооруженности и после окончания «холодной войны».

ся навечно или даже надолго в чистом выигрыше (с проигрышем дело обстоит сложнее). «Компенсация» следует неотвратимо.

Эту закономерность можно проследить, например, на последствиях появления и применения ядерного оружия. Убежден, что, решив применить его, когда исход войны с Японией был уже решен, тогдашнее руководство США имело в виду не столько повлиять на ее течение, сколько дать понять Советскому Союзу, что ему придется считаться с обретенным Америкой военным сверхмогуществом и «играть» в соответствии с новыми правилами игры (собственно, подтверждение тому можно найти и в опубликованных позднее мемуарах американских политических деятелей того времени, в частности бывшего военного министра Стимсона). Не берусь сейчас гадать, какой была бы политика Сталина, если бы США не получили ядерного оружия. Но вполне допускаю, что маршал С. Ф. Ахромеев прав, утверждая, что ответом Советского Союза на ядерную монополию США и создаваемую этим угрозу было наращивание «контругрозы» — подавляющего превосходства в обычных вооружениях и вооруженных силах в Европе в качестве инструмента сдерживания. И второе — СССР стал быстро разрабатывать собственное атомное, а затем водородное оружие и средства его доставки. В результате очень скоро территория США оказалась уязвимой. Перед страной, привыкшей спокойно и безмятежно жить, отгороженной от окружающего мира двумя океанами, впервые в ее истории возникла военная угроза такого масштаба — угроза полного физического уничтожения.

Эта зависимость могла быть и обратной. Советский Союз, добиваясь собственной безопасности (и имея на нее моральное право после окончания мировой войны, в которой мы потеряли 27 миллионов жизней), использовал те возможности, которые дает пребывание на территории соседних стран, и создал в них дружественные и даже послушные правительства, а затем (пусть разберутся историки в побуждениях) либо движимый чувствами социалистического мессианства, либо «для надежности» их советизировал. Это, с одной стороны, бросило друг другу в объятия США и Западную Европу, и они создали НАТО — военно-политический блок, нацеленный против СССР. С другой же стороны, обрекло на трудности и конфликты (в том числе с применением военной силы для поддержания не имевших корней режимов), а затем на полное разрушение всего этого гигантского по масштабам международного новообразования, названного нами мировым социалистическим содружеством. И его распад, добавлю, стал политической проблемой и внутри страны, новым поводом для нападок консервативных сил на перестройку.

Перестройка подтвердила факт взаимозависимости внешней политики противостоящих государств в противоположном, нежели в период «холодной войны», направлении — к деэскалации международной напряженности, снижению военной угрозы, ограничению и сокращению вооружений. Позитивный импульс исходил на сей раз прежде всего от нас, от Советского Союза. Реакция Запада, ответ на брошенный США и НАТО мирный вызов, была замедленной и, на мой взгляд, неадекватной. Но она была и получила свою динамику, которая, я думаю, будет нарастать, если, конечно, сохранится, будет развиваться наш новый политический курс, новое политическое мышление. Делаю эту оговорку, потому что у него как выяснилось, есть влиятельные противники не только за рубежом, но и внутри страны.

Когда в 1956 году страна узнала о XX съезде, никто даже не догадывался, насколько сложная, острая и долгая борьба потребуется, чтобы покончить с тем, что было тогда названо «культом личности Сталина». Когда начиналась перестройка, ее сперва восприняли лишь как борьбу против так называемого «застоя», то есть мертвящей, болотной неподвижности, а не против упадка во всех сферах общественной жизни, ставшего особенно очевидным в последние годы жизни Брежнева. И мало кто догадывался, что это в то же время борьба против последствий сталинщины и она либо снова захлебнется, как в свое время курс XX съезда, либо перерастет в борьбу против извращенной модели общества,

так долго преподносившегося нам и воспринимавшегося нами как «настоящий» и даже единственно возможный социализм.

Потому неизбежно и в годы перестройки на смену первоначальному, подчас даже эйфорическому единению (кому действительно по душе застой?) вскоре пришло размежевание. А на XXVIII съезде в ряде выступлений уже прозвучала ностальгическая тоска не то что по первым шагам перестройки, а по 1983 году (андроповскому), как самому лучшему, самому настоящему году перестройки. Отдавая должное Андропову, я все-таки хотел бы призвать поклонников 1983 года соблюдать приличия. Андропов, если говорить не о пробужденных надеждах, а о реальных делах, ничего, кроме снятия с работы нескольких нечестных руководителей, а также считанных, чисто административных мероприятий, направленных на укрепление дисциплины, сделать просто не успел.

Думаю, если начнут создавать миф о 1983 годе, то скорее всего как прикрытие от того реального вызова, который был брошен после смерти Брежнева руководству партии и страны самой нашей жизнью, со всеми ее проблемами, накапливавшимися не только в предшествующие годы, но и в предшествовавшие десятилетия.

Предстояла не легкая, бодрящая встряска, а мучительная переоценка ценностей, переделка общества и партии, политических структур и экономики, общественного сознания. Мы все, включая инициатора перестройки, тогда еще не сознавали ни трудностей предстоящих дел, ни их масштабов. Начинался новый период нашей истории и кончался предшествующий.

Период 1953—1985 годов можно рассматривать и как продолжение болезни, и как начало затянувшегося выздоровления нашего общества. Все зависит от того, как будет развиваться перестройка, найдем ли мы в себе силы и мужество принять нужные лекарства. Во всех случаях мы сейчас вступили в период сверхвысокой гражданской ответственности. История не только 90-х годов, но XXI века творится у нас на глазах. Творится всеми нами. От нас зависит, каким будет наше будущее. И будет ли у нас будущее вообще. Но я остаюсь оптимистом. Я верю, что оно будет. И надеюсь, что мы сможем сделать его совсем неплохим.

Александр Агеев

НА УЛИЦЕ И В ХРАМЕ

Рассказывают, что недавно в одном областном городе на просторах России состоялось что-то вроде религиозно-философского собрания. Сошлась на него местная интеллигенция — не без удивления, поскольку инициатором столь нетривиального «мероприятия» была городская культурная власть и совершалось оно не на кухне и не полуподпольно, как раньше бывало, а в одном из лучших залов города, да еще после доброжелательной газетной рекламы. Собрались, посидели при свечах, поговорили о духовности, о «соборности». Читали Пастернака, слушали Бортнянского... Словом, по нынешним временам ничего особенного.

В анналах же местной истории эти посиделки останутся надолго из-за одной-единственной фразы, которую, растрогавшись успехом вечера, произнесла в его завершение дама, представлявшая управление культуры.

— Товарищи,— сказала она прочувствованно,— как прекрасно прошло у нас сегодня *соборование*...

Понимающие долго смеялись, покровительственно объясняя непонимающим «соль» этого анекдота, быстро облетевшего город...

Но, отсмеявшись, стоит не только по-христиански простить чиновную даму, соблазненную близостью однокоренных слов и далекую от религиозной практики, но и задуматься над теми проблемами, которые с неожиданной стороны освещает корявый российский анекдот.

В сущности, проблема одна. Со множеством сомнений и оговорок ей можно присвоить рабочий термин «религиозное возрождение». Но аспектов у нее, как у всякой сложной и выдвинутой самою жизнью проблемы, несколько. И политический, и социальный, и экономический, и культурный. Обо всей их совокупности нас, должно быть, ждет впереди большой и долгий разговор. Меня же, как критика, волнует, естественно, весьма противоречивая проекция нового «религиозного возрождения» на культуру, хотя я, конечно, сознаю, насколько трудно сегодня в нашей синтетически-хаотической, переходной реальности отслоить культуру от политики и многих других традиционно сопредельных в России сфер. Поэтому очень уж заботиться о нерушимости границ и рамок я не буду.

1

Не буду и говорить об общеизвестном, то есть о том, чего мы были лишены и что нам понемногу возвращают, о том, чего нельзя было, а теперь стало можно. Надоело кланяться. Сделаны многие шаги к восстановлению *нормы*, неминуемо будет сделан и последний — издание цивилизованного Закона о свободе совести, и это прекрасно. Завершится, наконец, постыдная война идеологизированного государства с немалой частью своих собственных граждан, вернее, будут свернуты военные действия на одном из фронтов этой войны. В надеждах и чаяниях довольно широкой общественности, а кое-где и элементарным явочным порядком все это уже совершилось.

Тут-то и начинается самое интересное, тут-то и приходят в голову неожиданные и тревожные вопросы.

Например: действительно ли восстановится цивилизованная норма? Не о юридической норме речь — она-то непременно восстановится (перед всем миром стыдно),— об истинной свободе совести. То есть в том, что свобода верить, крестить детей, венчаться, нательный крестик носить, не скрывать, что я верующий, обращать в православную веру своих друзей и знакомых,— в том, что *эта* свобода у меня будет, я мало сомневаюсь. Общественное мнение проследит, чтоб была, оно у нас суровое и непреклонное. А вот насколько свободно лет этак через десять я смогу *не верить* — не ходить в церковь, не исповедоваться, писать и печатать слово «Бог» с той буквы, какая по смыслу речения кажется мне подходящей? Закон-то будет на моей стороне, безусловно. Но что такое закон в стране, где литература началась со «Слова о Законе и Благодати» и общественное мнение всегда недолго думало, выбирая между ними, и выбирало — «благодать», или «справедливость», или «классовые интересы», а это все понятия, к которым с рацио-

налистическим «римским правом» не подступишься: сегодня у них одно содержание, завтра — другое.

Сознаю, конечно, что сейчас, на фоне тысяч разрушенных и никем еще не восстановленных храмов мой вопрос звучит смешно и неуместно. Но ведь Отчизна наша — мы это из истории хорошо знаем — горазда на «великие переломы», причем скорые и решительные. «Кто был ничем, тот станет всем» — это у нас в крови, и всякий бой у нас — «последний и решительный», до полного уничтожения несдающегося врага.

А вот еще вопрос, не менее интересный: что возрождается на наших глазах? Религия? Но она и не умирала, ей для существования ничего не нужно, кроме Бога и человека,— ни государства, ни его законов, ни Синода, ни храмов.

Может быть, «религиозное возрождение» нужно понимать в том смысле, что широкие народные массы, опамятовавшись и покаявшись сразу же после празднования 1000-летия крещения Руси или демонстрации по ТВ фильма «Храм», искренне, всем сердцем уверовали в Бога? Нагорная проповедь стала, наконец, руководством к действию?

Невозможно проверить. Впрочем, вот количественная характеристика процесса: журнал «Литературная учеба», объявивший на 1990-й год публикацию нового перевода Евангелий, увеличил свой тираж в 40 раз — с 25 000 до 900 000. Наверное, если бы была объявлена безлимитная подписка на Библию, тираж ее приблизился бы к сотне миллионов... Не знаю, доказывает ли это что-нибудь, кроме безусловного интереса к тому, чем мы были столько лет обделены. Природа такого интереса может лежать весьма далеко от религиозных исканий. Кроме того, есть ведь и другая количественная характеристика процесса — рост преступности. Вера — категория качественная, статистикой ее не уловишь. А на интуитивном, эмоциональном уровне? Выйдите на улицу и вглядитесь в лица соотечественников, хотя бы и рядом с каким-нибудь «действующим» (закавычиваю сей бюрократический неологизм в надежде на его превращение в архаизм) храмом,— редко попадется просветленное или просто спокойное лицо, чаще — раздраженные, усталые, агрессивные. Недоверчивые... А утишило ли кровавую смуту в Закавказье слово — неоднократно произнесенное — высших церковных иерархов?

Нет, не будем тешить себя иллюзиями. Массовое сознание безрелигиозно, в смысле — оно не христианское, если иметь в виду Россию. Но оно и не атеистическое. В нем спутались в невообразимый клубок обрывки вер и суеверий — унаследованных, навязанных, благоприобретенных... Один феномен Кашпировского чего стоит.

Но тот же культ Кашпировского продемонстрировал силу желания многих миллионов хоть во что-то поверить, мощную жажду чуда. И, конечно же, понятен ее всплеск у наших современников, замордованных унизительной, а теперь еще и опасной жизнью, которую ныне, после крушения идеологической твердыни, ничто не в состоянии оправдать. Психологическую основу подобных общественных настроений очень точно определил когда-то замечательный русский философ С. Н. Булгаков (тогда еще не о. Сергий) в речи «Религия человекобожия в русской революции»: «Леденящий пессимизм и какой-то страх жизни, смешанный со страхом смерти, заползают в душу, маловерные легко становятся суеверными, чувство тайны, живущее в душе, разрешается в искании таинственного, потребность в религии ищет выразиться в беспредметной религиозности, утолиться хотя музыкой религиозного чувства, создается мистицизм без религии, демонизм без веры в Бога». Вот «беспредметной религиозности», «мистицизма без религии», «демонизма без веры в Бога» у нас сколько угодно, и этим, как доказывает опыт всей мировой истории, может воспользоваться любой проходимец в самых неблаговидных целях. «Мистицизм без религии» — материя, легко воспламеняющаяся. И тут, конечно, не о «возрождении» надо бы речь вести, а о тяжелом духовном кризисе всего общества.

Возрождаются же пока, с одной стороны, православная мода, «православный китч» во всех областях жизни и, с другой стороны,— Русская Православная Церковь, понимаемая в данном случае не как мистическое «тело Божие», а как социальный институт со своей структурой и функциями. Это взаимосвязанные, но все-таки разные стороны единого процесса, потому и говорить о них надо по-разному.

2

«Православная мода» — словосочетание, конечно, диковатое, явный оксюморон, этакий «горький сахар», но — что же делать — оно адекватно отражает обилие в нашей пестрой сегодняшней жизни всего, хоть как-то привязанного к религии и церкви,— речей, событий, теле- и радиопередач, собраний, концертов, конференций, фестивалей, фильмов, книг, наконец. Случаются очень выразительные «столкновения смыслов», обличающие вполне языческий характер всей этой суеты. Взять хотя бы какой-нибудь кооперативный киоск, в витринах которого церковный календарь соседствует с гороскопом, а аляповатая иконка Матери Божьей или св. Пантелеймона-целителя — с красотками в чем мать родила или мощно-мясными чемпионами «боди-билдинга». Православие и всегда-то было весьма теснимо язычеством, но не в такой же наглядной и вульгарной форме...

Вслушайтесь в официальные речи — и в них услышите удивительную «сшиб-

ку» двух фразеологий, двух риторик — уже и казенный наш «новояз» с его «фронтами», «боями» и прочей «идейной вооруженностью» существенно разбавлен словами, звучавшими прежде преимущественно с амвона.

Включите телевизор — и там, если в поле зрения оператора попадет группа людей, среди которых окажется священнослужитель, то камера непременно задержится на нем, чтобы вы рассмотрели поподробней то, что редко видите наяву: панагию, например, или четки. И в бесконечных рядах Дворца съездов непременно выищет оператор священников-депутатов, серьезные и значительные лица которых — что спорить — порой резко контрастируют со скучающими физиономиями иных народных избранников. А неподражаемый Александр Невзоров, разгромив очередной кооператив, непременно потратит десяток-другой драгоценных секунд на «Церковную хронику» и доведет до вашего сведения своим бесстрастно-напористым голосом (в котором не то ирония мерцает, не то праведный гнев клокочет), что «рейтинг св. Ксении необычайно высок».

А откройте газеты! Вот «Литературная Россия»: «Как ни сложно, порой смутно наше время, мы должны быть благодарны ему за одно то, что оно возвратило в нашу жизнь понятия запретные и все-таки сохраненные стойкой душой русского человека. И Праздник Воскресения Христова — одно из таких понятий. Праздником праздников и торжеством торжеств нарекла Пасху Православная Церковь...» О чем, как вы думаете, заметка, начинающаяся столь драматично и пафосно? Это объявление конкурса на лучший рисунок пасхальной открытки...

Тут же рядом и насчет музыки есть, и тоже с пафосом: «И вот состоялось! Заметим, явление, и по нашим непредсказуемым временам пока что уникальное: песнопения Православной Церкви на сцене академического музыкального театра, подмостки которого многие десятилетия безраздельно принадлежали опере, балету, оперетте». Тоже своеобразный «оксюморон» (от восторга, должно быть): вроде как-то не особенно ловко после оперы, балета, оперетты: «песнопения Православной Церкви». Такого, пожалуй, не только «десятилетия» — «тысячелетия» не бывало. Театр и Церковь, ежели с традиционно христианской точки зрения посмотреть, для разного предназначены. Но — мода! Энтузиазм... А может быть, и надежда на то, что бросит музыкальный театр пустяками заниматься. Сколько можно морочить людям голову операми, балетами и тем более опереттами! Корреспондент «Литературной России» Л. Быченкова считает, что описанное ею явление, «пока что уникальное», надо сделать «нормой нашей культурной жизни». Потому что «русская духовная музыка — это наша музыка». Легко оркестрантам и певцам — музыка всякая хороша, а вот куда денутся балетмейстеры и балерины? Полное соборование им выйдет...

Одни Бог, наверное, знает, сколько теперь на Руси религиозных трупп, театров, хоров, ансамблей, сколько, наконец, религиозных рок-групп (вот загадка, этакий сфинкс для православных гонителей рока!). Все это «энергично функционирует», и религиозный уровень сей стремительно разрастающейся «субкультуры» очень часто пребывает на отметке все того же чиновничьего «соборования».

А какой уважающий себя университет марксизма-ленинизма учит своих вольных или невольных прихожан (прошу прощения — слушателей), не приглашая на лекции по «научному атеизму» священнослужителя? А сколько «железных леди», несгибаемых директрис образцово-показательных школ идут сегодня на головокружительные новации (поддерживаемые начальством, впрочем), стыдливо называя уроки Закона Божьего (само собой — с «живыми» священниками) «уроками нравственности»?

Во всем этом содержится много детски-наивного, простосердечно-искреннего, но и сколько же, с другой стороны, потрясающей безвкусицы, коммерческой суеты и элементарной, не говоря уже о религиозно-философской, безграмотности...

Не знаю, как относится к этому «православному карнавалу», выплеснувшемуся на улицу, Русская Православная Церковь. Думаю, что в ней немало людей, которым тошно смотреть на уличную распродажу святынь. Но голоса их пока не слышно.

3

Понятно, что этот поток захватил и литературу, породив уже сравнительно большое (если учесть краткость промежутка времени с момента «разрешения») количество произведений на религиозную тему.

Последнее слово я выделил не случайно. Дело в том, что в России всегда были писатели, творчество которых строилось на фундаменте лично выстраданной религиозной идеи (Гоголь, Достоевский, Мережковский, Розанов, Пастернак), были писатели, обращавшиеся в своем творчестве к великим религиозным образам (Блок, Ахматова, Булгаков, Домбровский, Тендряков), и были писатели, много сделавшие для раскрытия религиозной темы, бытописатели религиозной жизни (что отнюдь не умаляет их перед лицом выше названных), из которых крупнейшим надо считать, вероятно, Лескова, не забывая и о Мельникове-Печерском, Максимове и о многих других.

Вот и наша современная «религиозная литература» началась именно с освоения «темы», и симптоматичной здесь можно назвать повесть Валерии Алфеевой «Джвари» («Новый мир», 1989, № 7), публикацию которой приветствовал в «Московских новостях» критик И. Виноградов. Очень, кстати, характерна «амбивалентная» оценка, которую он дает повести. С одной стороны, «ее автора никак не отнесешь, конечно, к писателям, наделенным художественным дарованием какого-то особо крупного, выдающегося масштаба», с другой — она «являет собой... нечто до такой степени новое в нашей литературе и — шире — в самом нашем общественном бытии, что появление повести можно назвать своего рода событием». На вопрос «почему?», обращенный к себе, автор статьи отвечает опять же двояко. С одной стороны, конечно, для критика значима новизна самого материала — быт маленького грузинского мужского монастыря, увиденный изнутри женщиной-писательницей, которой «выпадает редкостный случай» прожить в нем три недели. С другой стороны, в повести изображен процесс «обращения и исцеления» души писательницы, «взыскующей подлинной жизни в вере», что приводит к чрезвычайно важной и дорогой для критика трансформации жанра. «Еще не молитва, но уже не просто литература» — это, пожалуй, и есть самое точное обозначение того «жанрового» качества, которое и позволяет назвать появление этой скромной повести своего рода литературным событием»,— такова кульминационная точка рецензии.

Согласимся с И. Виноградовым в том, что перед нами действительно весьма необычное произведение, произведение-парадокс. Даже целый ряд парадоксов.

Первый из них — то, что повесть (если, конечно, полностью разделить точку зрения И. Виноградова и исходить из внутренней логики самой повести) вообще была написана. Парадокс в кубе — то, что автор решился ее обнародовать. И всякий, кто возьмется ее анализировать, испытает немалые затруднения.

С одной стороны, перед нами интимнейшая исповедь, человеческий документ, почти «молитва», что требует в анализе особой точки отсчета (грубо говоря, требует отказаться вообще от анализа как такового, ибо «молитва» и «анализ» — две вещи несовместные). С другой стороны, эта почти «молитва» опубликована в литературном журнале в разделе «Проза», с подзаголовком «повесть» и эпиграфом, и тиражирована в полутора миллионах экземпляров, то есть «городу и миру». Стало быть, «город и мир» имеют право на любые суждения о повести Валерии Алфеевой. С должной осторожностью, боясь оскорбить самые чистые и искренние чувства автора, все-таки воспользуемся этим правом.

Так вот, с точки зрения литературной, «Джвари» никак не назовешь удачей. Повесть оказалась заведомо разрушенной, поскольку писательница попробовала втеснить в ее достаточно ограниченные жанровые рамки сразу несколько не просто разных, но разноприродных, несовместимых произведений.

Во-первых, это лежащий на поверхности «этнографический» очерк с подробным перечнем всего, увиденного героиней в монастыре. Здесь Валерия Алфеева поженски наблюдательна и добросовестна: не ускользают от ее внимания ни архитектура в самых незначительных деталях, ни облачения монахов и священников, ни «благословленная» пища, ни природа вокруг монастыря, ни форма и материал крестика, подаренного ей на прощание игуменом. Иногда столь подробная детализация раздражает — по смыслу сцены лирическая героиня должна испытывать сильнейшие чувства, а она фиксирует с холодноватой точностью детали: «Игумен вышел из алтаря и молча надел мне на шею шелковую нить с небольшим крестиком в круглом деревянном обрамлении». На следующей странице мы узнаем, каково было героине в тот самый момент: «...мне снова стало трудно дышать, как в храме, когда он надел мне на шею крест». Таких психологических несоответствий в повести довольно много — и это как раз точки соприкосновения-отталкивания разноприродного материала.

Во-вторых, «Джвари» — это своеобразный катехизис, слагающийся из многих диалогов Вероники с игуменом Михаилом и другими монахами. Все это не слишком художественно, и вряд ли могло быть иначе, поскольку перед писательницей встают две противоположные задачи — создать образ и не исказить формулу. А поскольку Валерии Алфеевой важно еще, чтобы ее поняли и неискушенные, то в итоге получается старательное, школярски-книжное, с иллюстративными «красотами» изложение и истолкование некоторых христианских категорий и тонкостей литургии. Иногда Веронику охлаждает ироническим замечанием игумен: «Вы говорите высокие вещи. А мы здесь люди простые...», «все это литература...» Но сам-то он в повести говорит не лучше — и по тем же причинам.

В-третьих, «Джвари» — это религиозно-философский трактат (может быть, даже несколько трактатов) о гордости и смирении, о непреодолимой границе между миром и церковью. Трактат с персонажами, у каждого из которых в своеобразном метафизическом сюжете своя строго очерченная роль. Этот метафизический сюжет, легко вычленяемый, парадоксальным образом напомнил мне что-то мучительно знакомое, оставшееся, казалось бы, в глубокой «архаике» не такой уж и старой еще советской литературы. Не поверите, напомнил он мне одну схему, популярную в ранние годы «социалистического реализма». Этот сюжет-схема — «перековка». В данном случае «перековка интеллигента». Примерно так это было «в те баснословные

года»: интеллигент начитался революционных книжек, он весь горит энтузиазмом, готов жизнь положить за дело рабочего класса, но на нем — первородный грех интеллигентского происхождения, и подлинной идейной «благодати» ему ни за что не вкусить без полного перерождения. И вот какой-нибудь сивоусый пролетарий (в более легкомысленных вариантах девушка-пролетарка), на которого благодать сошла мистически, по рождению, берется вправить гнилому интеллигенту мозги... Или был еще «казарменный», тоже популярный вариант: суровый старшина («из народа», естественно) сбивает спесь и гонор с новобранца — профессорского сынка... Так и дохнуло в этом смысле от «Джвари» чем-то родным, знакомым...

В-четвертых, «Джвари» — типичная «дамская повесть» о безнадежной любви, тот ее вариант, когда любящих разделяют непреодолимые препятствия, но «печаль моя светла...» Понятно, конечно, что Валерия Алфеева говорит совсем о другой любви, и пусть будет плохо тому, кто об этом плохо подумает, но у литературы есть свои законы и свои жанровые стереотипы, в один из которых писательница и впадает, резко драматизировав сюжет весьма рискованным поворотом в середине повести.

А вот религиозной *идеи* в повести нет, и это, может быть, главный ее недостаток. Суть религиозной идеи, какой ее знала русская литература,— поиски путей преображения человека ради преображения *мира*. Пафос повести, пафос героини — *спасение от мира*, на котором уже поставлен недвусмысленный крест, посланцы которого, появляющиеся в монастыре, вызывают у Вероники высокомерно-неприязненное чувство. Здесь автор как бы забывает, ради чего, собственно, укрывались от мира в монастыре. Не только ради спасения собственной души, но и ради молитвы о спасении тех, кто остался за монастырскими стенами. Так что и аскетически-монашеский вариант религиозной идеи — и без того далеко не для всех религиозных мыслителей убедительный — Алфеева упрощает.

Спорить с Валерией Алфеевой здесь смысла нет — точки отсчета, система ценностей у нас слишком разные.

Так что, не споря, только одно замечу, опять же роднящее творческие принципы Валерии Алфеевой с законами «соцреализма». Неприятна в ее повести гордыня обладания истиной, заведомо ставящая любого читателя на ступеньку ниже автора. А это грех — и с христианской, и с литературной точки зрения.

4

Литература на религиозные темы всегда как бы распадалась на два русла — дидактическое и проблемное. В первом она занималась преимущественно разъяснением того, что верить — хорошо, а не верить — плохо, и подтверждала эту глубокую мысль выразительными примерами положительного и отрицательного смысла. В выборе жанра она ориентировалась в основном на достойную традицию жития и была столь же пряма и простодушна.

Во втором, проблемном русле, она иллюстрировала разрешение мучительного вопроса о бытии Бога, описывала тернистый путь маловерных и гордых к смирению и покаянию, а внешней моделью для себя избрала творчество Ф. М. Достоевского и — отчасти — Леонида Андреева. От Достоевского и Андреева отличие, впрочем, было принципиальное. Если они самим творчеством своим *искали* ответа на мучительные вопросы, то их сознательные и бессознательные эпигоны чаще всего обозревали путь исканий, вооружась внутренним покоем уже нашедших истину. Дидактика пробиралась в такую литературу контрабандой.

Можно сказать, что оба русла начали восстанавливаться и в современной прозе. Первое представлено, например, рассказом Гария Немченко «Красный батюшка» из цикла «Заступница» («Наш современник», 1989, № 10), второе — рассказом Леонида Бородина «Посещение» («Юность», 1989, № 11).

Цикл Гария Немченко объединен образом рассказчицы, кубанской казачки преклонных лет Анастасии Панкратьевны. Это попытка того, что литературоведы называют «сказ», т. е. живая разговорная речь (ее стилизация) используется как дополнительный момент выразительности, автор предоставляет рассказчику возможность самому «лепить» свой собственный образ. Попутно автор снимает с себя ответственность за все, сказанное героем. Или, наоборот, герою, который, как правило, «из народа», автор доверяет высказать свои сокровенные мысли, повышая тем самым их статус до статуса «гласа народного». Что касается «Заступницы», то это, конечно, второй вариант. Во всяком случае, Анастасия Панкратьевна — довольно развитая старушка и — сдается мне — активная подписчица «Нашего современника», «Литературной России» или — на худой конец — «Кубани». «Проблематика» ее «сказов», а главное, их аранжировка просто-таки поражают созвучием с публицистикой вышеозначенных изданий.

Что же касается сказа, а это форма, требующая большого мастерства, то он Гарию Немченко иногда удается, а иногда нет. Есть живые места, где усилий стилизации почти не замечаешь, а есть места, просто пропахшие трудовым потом сочинителя. В таких местах присловье «как жиш» после каждой фразы начинает утомлять, а разыскания писателя в области «народной этимологии» кажутся чересчур целенаправленными и успешными. Видимо, очень хотелось ему выявить «народную» точку зрения на самые животрепещущие проблемы

нашей сложной жизни. «Неспиртактивные» деревни, комментаторы — «комбинаторы», публицисты — «подлицисты», «нерьвопутологи», «и если такой прогрец, то хай тогда ему грец!», «гробоциды», «активвистическая припуганда», «теснотека», «шкорлупция» — все это, чтобы не прошло мимо внимания читателя, автор заботливо выделяет разрядкой. Не буду спорить — есть и выразительные образцы. Но, например, слова «рентген» и «мандатная комиссия» старушка весьма твердо выговаривает, что несколько понижает подлинность вышеприведенных перлов. С другой стороны, рентген и мандатная комиссия — вещи, с точки зрения «народа» и Гария Немченко, очевидно, полезные, чего ж напрягаться?

Но это все к слову. А «Красный батюшка» — рассказ любопытный, ибо традиции религиозной дидактики автор здесь своеобразно развивает, придавая ей остроактуальное звучание. В обвинительной своей части рассказ восходит, пожалуй, к зарисовке А. Солженицына «Пасхальный крестный ход», хотя к богохульникам Анастасия Панкратьевна несколько помягче, чем Александр Исаевич, «зверятами» их по крайней мере не называет. Позитивная же программа Гария Немченко не исчерпывается, как у некоторых «подлицистов», простой мыслью о том, что нужно отстроить церкви, восстановить веру и поврежденные нравы исправятся. Перед ним стоит еще одна сложная задача — совместить Советскую власть и церковь, да не в смысле их прохладного сосуществования, а в каком-то более тесном, интимном смысле. И Гарий Немченко находит блестящий ход. Оказывается, притесняющие церковь начальники — сами верующие, только боятся они некие вздорные формальности, неизвестно кем и зачем навязанные, нарушить. Убери их, эти формальности,— и первый секретарь райкома, человек «так-то неплохой», глядишь, и подойдет к батюшке под благословение на трудное дело — поднимать район, а там и закладку новой церкви освятит своим присутствием, как только что освятил праздник 1000-летия крещения Руси. И центральный образ рассказа — легендарно-житийный «красный батюшка», в гражданскую воевавший на стороне красных, потом терпевший издевательства неразумных комсомольцев, а в Великую Отечественную погибший героически на поле сражения, в развевающейся грозно дырявой рясе — он как раз и есть живой пример совмещения несовместимого.

Кто знает, может быть, и прав Гарий Немченко... Может быть, ему, недавно избранному атаманом московских казаков, виднее, прилично ли духовному лицу размахивать шашкой. С другой стороны, обещает же коммунист В. Сорокин до утра стоять на коленях, если молитва его поможет отправить в отставку члена Политбюро А. Н. Яковлева...

Рассказ Л. Бородина «Посещение», написанный двадцать лет назад и лишь недавно опубликованный, явление гораздо более интересное, чем рыхлая, страдающая откровенной политической и беллетристической заданностью «Заступница». Хотя и Леонид Бородин не брезгует беллетристическим приемом, чтобы построить сюжет, удобный ему для демонстрации нескольких легко кристаллизующихся идей.

Сюжет этот фантастичен. К сельскому священнику приходит юноша «из современных» и спрашивает батюшку, что есть чудо. Само собой, для священника чудо — знак присутствия Бога в мире, да и сам мир в широком смысле — чудо. Юноша откровенно скучает, слушая ожидавшиеся им слова, ибо он, как выясняется из последовавшей вскоре исповеди, получил философское образование, прошел через увлечение философией к признанию правоты христианства, но веры, как чувства, непосредственно соединяющего человека и Бога, так и не обрел. Он просто «объявил» себя верующим и стал педантично исполнять положенные обряды. С ним, однако, случилось настоящее чудо — он вдруг обрел способность летать. Но чудо это не только не пробудило в нем чаемого чувства, напротив, вызвало еще большие сомнения в существовании Бога и теперь уже сверхчеловеческую гордыню. Как ни бьется священник, он не может убедить юношу в том, что чудо, случившееся с ним,— особая милость к нему Бога. Кончается все трагически — потеряв ориентировку в ночном небе, юноша разбивается о землю.

О чем сия притча? В общем, она тоже, как и «Заступница», о «повреждении нравов», об исчезновении, иссякании животворящего чувства, способности детски-непосредственно, искренне любить мир и удивляться ему. Эксперимент, который произвел над своими героями Леонид Бородин, показал неготовность того «человеческого материала», который сформировала современная история России, к чуду, к явлению Бога. Испытания чудом не выдерживают оба героя, но по разным причинам, и «цена» их греха тоже разная. Священник, который «прошел через расколы и тюрьмы и выжил чудом» (вот еще первое ему знамение, которого он не оценил), просто отчаялся, «привык... думать, что кончилась Русь и с каждым днем кончается», и службу свою стал служить без радости: «Слово Божие нес людям, как крест подносят к глазам преступника, на смерть обреченного». Чувство и особое таинство его переживания ссохлось до старческой вялой мудрости, до механической логики: «...надо всегда печаль по имени называть, чтобы не таилась она в душе мукой непонятной. Понять печаль — значит найти ее причину, причина же — это уже факт, а факту всякому полочка есть, где лежать ему да забываться...» Вот такими «детерминистски-

ми» цепочками силлогизмов размышляет отец Вениамин, не впуская в мысли свои возможности чуда. И полета, который продемонстрировал ему юноша, священник испугался — не обрадовался ему, как должен был, сохранись в нем настоящая детская вера... За то и наказан он — невольным соучастием в гибели юноши (усомнился в способности того уверовать), неумением ее отвратить. Но старик покаялся, поскольку знал толк в смирении.

А юноша бросил Богу вызов, и грех его тяжелее — «расколы и тюрьмы» ведь он не прошел. От Бога его уводит непомерная гордыня, стяжение смысла мира к свободе своего «я». Чудо, посланное как знак всем, он присваивает себе одному и наслаждается им как собственник. «Мне объявиться, значит превратиться в подопытного кролика науки или в обожествленного кролика Церкви! Я самолюбив! И не могу позволить, чтобы меня и з у ч а л и!» Юноша получает чаемую свободу — буквальную, абсолютную, выражающуюся в полном отсутствии всяких ориентиров в ночном беззвездном небе: «сторон оказалось столько же, сколько мыслей о них». И такая свобода, конечно же, невыносима для рожденного землей. Гибель предопределена.

Полет в рассказе — символ сладкой и смертельной свободы, но он еще и метафора беспочвенности, а она-то и есть, по мысли автора, главная причина всех бед. В последний миг юноша «понял, что потерял землю». Он потерял ее, слишком положившись на разум, разучившись чувствовать. Следование за неутолимым разумом, страсть п о н я т ь, а не почувствовать все, даже и Бога, отрывали и отрывали его от земли, пока этот отрыв чудесным образом не материализовался.

Что мы имеем в итоге? Статус-кво. Позиция автора была ясна с самого начала. Маловерие и гордыня посрамлены, присутствие Бога утверждено, а попутно утверждены и дорогие автору мысли о «почве» как основе истинной веры и «разуме» как препятствии для нее. Что ж, тоже «символ веры», и с богатой традицией. И даже юношу не жаль, поскольку он — всего лишь член силлогизма. Так сказать, рационально о вреде рационализма...

Есть, впрочем, в рассказе и остаток, не совсем укладывающийся в схему. Я имею в виду описание чувств, которые испытывает юноша, отрываясь от земли. Все-таки представляет полет для Бородина некую самостоятельную, помимо благой вести от Бога, ценность — чувственную, физическую, непередаваемую прелесть. Что ж с того, что это — язычество? «Почва» — тоже язычество. Кстати, «языческая» линия довольно интересно трансформировалась в недавней повести Бородина «Женщина в море» («Юность», 1990, № 1), но это уже другая сказка.

5

А что происходит в поэзии?

Каждое второе стихотворение в каждой второй журнальной или газетной подборке так или иначе насыщено религиозной образностью. Поэзия XIX века, создававшаяся глубоко религиозными людьми, не тревожила так часто священных имен и сюжетов, как делает это поэзия современная.

Вот вы открываете, предположим, один из номеров «Нового мира», хотя бы августовский за прошлый год. На первых страницах — подборка Александра Зорина:

Мы разные в одной семье.
Уж так от Каина ведется.
Найдет ли веру на земле
Христос у всех, когда вернется?..

Переворачиваете страницу:

С молитвой заснуть и проснуться
с молитвой. И днем прикоснуться
к ее откровенью не раз.
Конечно же, не напоказ.

Листаете дальше. Раздел «Из литературного наследия». Предисловие публикатора начинается: «Александр Солодовников — русский религиозный поэт...» Затем следует подборка его стихотворений — они действительно пронизаны религиозным чувством, их поэтический строй в самом деле организован с помощь образов и символов, почерпнутых из Священного Писания. Но слово «религиозный» все-таки смущает. Зачем бы оно?

Державин, например, — «религиозный поэт»? Нет, конечно, хотя его ода «Бог» — одно из самых сильных религиозных произведений в русской литературе. Лермонтов — «религиозный поэт»? Сказать так — значит, существенно ограничить, сузить его значение, хотя «Молитва» — высочайший взлет религиозного чувства. Ряд можно продолжать. Ни одного из великих поэтов — ни Пушкина, ни Тютчева, ни Фета, ни Блока, ни Пастернака — не ограничишь эпитетом «религиозный», хотя они оставили целую антологию религиозной поэзии.

Что же означает тогда «религиозный»? Поэт одной темы? И это, конечно, хотя публикатор имел в виду, кажется, качественное определение. Но не употребляется ли тогда слово «религиозный» в том примерно смысле, в каком некогда употреблялось слово «пролетарский»? Были еще — напомню — поэты «комсомольские», «крестьянские», были поэты-фронтовики. Всякое такое определение есть намеренное нарушение незыблемой шкалы эстетических ценностей, попытка создать параллельную шкалу. Литература от этого никогда не выигрывала.

Вообще же ситуация в современной поэзии напоминает об эпохе кризиса символизма. Созданная символизмом в начале века система образов, с помощью которых уловлялось «несказанное», как-то катастрофически быстро сделалась добычей эпигонов, была в течение нескольких лет невыразимо опошлена и обессмыслена, что понизило и авторитет символизма.

Не подобное ли происходит и сейчас? Во всяком случае, в поэзии среднего уровня, ориентированной на традиционные стиховые формы, критическая масса «религиозности» уже накоплена, и вот-вот начнется катастрофическая девальвация самых высоких слов и образов. Религиозная риторика — как смиренная, так и воинственная — буквально захлестывает периодику.

Восстановлен «традиционный русский пейзаж» с Божьим храмом в центре, еще в прошлом веке превратившийся в невыносимый штамп, причем впечатление такое, что храмов, хотя и разрушенных, на русской равнине стало гораздо больше, чем до революции. Открылась неистощимая копилка новых образов для отечественных сентименталистов, и вот уже Владимир Гордейчев пишет:

Одной, как перст, бобылке нечем
умилосердить ночи гнет,
и, спать ложась, она под вечер
на стол Евангелие кладет.
Одной во тьме лежать невмочь ей,
а с книгой хмарь не столь трудна:
все время кажется, что ночью
старуха дома не одна.

Жаль, что так и не открывает она книгу на протяжении всего стихотворения...

Но это все цветочки. Боюсь, что мы станем свидетелями рождения новой «датской» поэзии и еще увидим на газетном листе стихи «святочные», «рождественские», «пасхальные», «троицкие» и так далее, а в том, что каждому из святых, «в русской земле просиявших», будет посвящена особая поэма (как особая поэма была когда-то посвящена каждому из героев гражданской войны, например),— я почти не сомневаюсь. Это будет профессия такая — «религиозный поэт».

Но и для высокой поэзии неожиданное «разрешение Бога» может стать, думается мне, причиной тяжелого кризиса. Слишком велика духовная энергия, сконцентрированная в этих образах, чтобы сохранить «тайную свободу», обращаясь к ним; слишком велик соблазн достойного выхода из тех тупиков, в которые зашла современная личность. Но не мнимый ли это выход — сейчас и здесь? Поэзия, которая семьдесят лет сама была Богом, сама совершала духовный подвиг наделения жизни смыслом в Его отсутствие, взывала — почти единственная — к развалинам «внутреннего человека», ведала о высшей гармонии и напоминала о ней, она, сказав наконец и всерьез — «Бог!», поставит точку.

Если не врать и не заниматься риторикой, если не использовать религиозные образы в качестве подсобной мифологии и материала для расхожей притчи, то это слово, всерьез сказанное поэзией, будет ее последним словом, за которым невозможны другие.

А если и возможны — то это переход поэзии в иное качество, выход за рамки искусства, тот выход, предчувствие которого увидел И. Виноградов в повести Валерии Алфеевой.

6

Такова погода «на улице». А что происходит в Храме? Русская Православная Церковь немногословна, когда говорит о своих намерениях. Так ей и подобает. Священников избирают в депутаты, они становятся членами всевозможных, чаще благотворительных и культурно-просветительных обществ, комитетов, комиссий, они выступают с проповедями по ТВ, дают многочисленные интервью, переводят Евангелие и публикуют литературоведческие статьи в газетах и журналах. Их допустили в тюрьму, больницу и школу. Все это нормальный ход процесса, все это можно только приветствовать. Если церковь станет полноправным членом демократического, гражданского общества, если мы научимся воспринимать священнослужителя не по одежке, а по уму, все от этого только выиграют.

И не было бы никакой необходимости здесь вообще говорить о Церкви, если бы вне ее стен не подвизалась группа весьма активных литераторов, имеющих насчет будущего Церкви свое и вполне сложившееся мнение. Церковь осторожно, «легкими перстами», подталкивают к участию в политической жизни, решают ее судьбу, не спрашивая ее согласия, грубо говоря, всячески разыгрывают «церковную карту».

Примеров тому много. Читаешь, например, предвыборную платформу блока «общественно-патриотических движений России» и находишь там раздел о Церкви, в котором, в частности, говорится: «Мы считаем, что Русская Православная Церковь, другие религиозные организации могут принимать активное участие в развитии духовной жизни народов Советской России. Для этого необходимо законодательство о свободе совести и для верующих, и для атеистов привести в соответствие с исторической традицией и социально-культурными реальностями нашего времени». Очень солидно. Против первой фразы ничего не возразишь, а вот вторая... Очень уж хитро она построена. Знают ее составители, что всякое было в истории Церкви, что очень многие ее «исторические традиции» — вроде духовной цензуры, анафемы Льву Толстому, преследования инакомыслящих и связи с деспотическим государством — никак не совмещаются с «социально-культурными реальностями нашего времени». Кроме того, мы газеты и журналы читаем и знаем, как относят-

ся «патриотические движения» к этим самым «реальностям». Тут либо одно, либо другое. Но чтобы вольнодумствующие интеллигенты не обеспокоились, ниже сказано: «Нам не нужно ни теистическое, ни атеистическое государство». Ни мира, мол, ни войны, а армию распустить... Это, надо полагать, утверждение абсолютного равнодушия государства к религии и церкви? Но как в свете такой теории выглядит практика — включение тезиса о Церкви в предвыборную платформу? Или выборы не имеют отношения к формированию государственной власти? Все это представляется, во всяком случае, корыстным использованием авторитета Церкви в борьбе за политическую власть.

А вот еще пример: опубликовала «Литературная Россия» известное «Письмо писателей России», и выяснилось, что оплошали российские литераторы — забыли сказать о Церкви. И тут же их пожурили коллеги: «Сожалеем, что в письме ни слова нет о Православной Церкви, ее роли в судьбе России и нашей сегодняшней жизни. Мы верим, что только через возрождение Церкви возможны и возрождение русского народа, и примирение в стране». Трудное положение у «писателей России», хоть разорвись: одни считают, что только партия спасет, и к ней взывают в своем письме, другие — что только Церковь. Есть, вероятно, и третьи, которые уже путаются в мыслях: где партия, а где Церковь... Их можно отослать к замечательному своим простосердечием интервью небезызвестного священника Димитрия Дудко, который совершенно определенно знает, что «напрасно мы будем трудиться, если не созиждет Бог... Только со Христом можно решить все проблемы на Руси». Если же их сомнения и после этого не рассеются, то вот еще одна ценная мысль того же автора: «Самый живой организм сейчас — именно Церковь, несмотря ни на какие недостатки ее представителей». Впрочем, что ж я вру! Так еще пуще запутаешься — ведь то же самое говорят о себе сейчас и многие другие организации, в том числе и партия... Просто нравится мне откровенность отца Димитрия. Как, например, замечательно объяснил он разницу между мирянином и священником! Я так понял, что это вроде разницы между беспартийным и секретарем парткома. Как мирянин, Дудко ни за что не пошел бы на соглашение с чекистами, а как священник — просто обязан был пойти. Их, этих «заблудших, не знающих Христа», может, первый раз в жизни «осенили крестным знамением». Просто «промысл Божий» указал о. Димитрию, «как делать священническое дело в современных условиях». А «диссиденция» не поняла и решила подвергнуть его остракизму. Стыдно, господа!

В отличие от о. Димитрия, который советует отдавать кесарево — кесарю, а Божие — Богу, философ Э. Володин подходит к вопросу о Церкви по-государственному. В статье «Новая Россия в меняющемся мире. Реалистический прогноз» (ЛР, 1990, 26 января) он создает впечатляющую картину будущего «самоопределения национально-государственной жизни». В результате такового он обещает «новые условия для соотнесенности идеологических и конфессиональных процессов». Они-то и потребуют «ясности и недвусмысленности государственной идеологии», а рядом с нею «отделенная от государства Русская Православная Церковь духовным окормлением верующих и своим присутствием среди атеистов будет развивать и укреплять нравственные основы общества». Я было хотел придраться к «присутствию» Церкви среди атеистов (мол, в каких же это формах? не в тех ли, в каких партия «присутствовала» среди верующих?), а потом просто ахнул: да ведь здесь до уваровского «триединства» только одного члена и не хватает! Впрочем, перевернул несколько страничек того же номера «Литературной России» и, представьте себе, нашел. Сначала в ностальгической форме, а потом и в настоящем времени. Л. Алабин в корреспонденции «Фестиваль непривычного кино» в таких выражениях рассказывает о фильме «Под благодатным покровом»: «История государства Российского, Православной Церкви, культуры показана в нем как неразрывное триединство». Это форма ностальгическая и в ней «народность» куда-то выпала, но в настоящем времени «народность» восстановлена (о фестивале в целом сказано: «впервые в наше время осуществилось искомое триединство Церкви, Народа и Культуры»), но выпало государство. Впрочем, насчет государства смотри выше, у Э. Володина. Дескать, пока еще нет, но скоро... Будет вам и православие, и народность, и «поминальная служба на ступенях Успенского собора по убиенной семье Романовых», которую предлагает провести Олег Михайлов. Тогда вроде бы для культуры в «искомом триединстве» места не остается... Будет ли культура?

А как же! «Под благодатным покровом...» И не всякая, а такая, которая разделит «недвусмысленную государственную идеологию», согласится иметь «четкую гражданскую позицию» и будет отстаивать «великое право и обязанность искусства воспитывать, возвышать человека».

Словом, это будет культура национальная по форме и православная по содержанию, руководствующаяся прогрессивными принципами православного реализма, основоположником которого был Иларион...

Шутки шутками, но, как видим, Церковь и явно, и косвенно приглашают не только к более активному участию в политической жизни, но и к руководству русской культурой.

Хотелось бы думать, что в подобных приглашениях, примеры которых можно умножить, нет злого умысла навязать культуре, еще не совсем освободившейся от одной идеологической ноши, другую ношу. Может быть, это всего лишь растерянность людей, не привыкших к свободе и потому не желающих ее, не умеющих делать выбор и инстинктивно ищущих что-то подобное утраченному безальтернативному комфорту. Время покажет, как будут развиваться эти уже достаточно четко определившиеся тенденции. Самое тревожное то, что массовое сознание, сформированное десятилетиями господства одной идеи, «одного только Передового Учения», как пишет А. И. Солженицын, за несколько лет неполной гласности не успело выработать иммунитет к единомыслию и, в общем, не прочь принять другое Учение, разумеется, такое же Передовое.

Впрочем, Владимир Соловьев сказал однажды, что русский народный характер враждебен «напряженному клерикализму». Будем надеяться.

Что же касается собственно Церкви, то она только еще начинает возрождаться, перед ней еще только встает сложная задача самоопределения в современных условиях. Не хотелось бы, чтобы она дала втянуть себя в навязываемую ей политическую игру. А такая опасность есть, о чем свидетельствуют не только откровения Димитрия Дудко и некоторых других «вольнодумствующих» священников, но и факт, о котором сообщили читатели «Огонька» из Ногинска. Настоятель ногинского Богоявленского собора отказался отслужить панихиду по Андрею Дмитриевичу Сахарову, «назвав людей, пришедших заказать панихиду, иудеями, неверующими и «афанасьевцами». Справедливо заключили свое письмо ногинцы: «Православный храм не должен быть местом забвения христианских заповедей».

У Церкви есть свои компетентные историки, им лучше, чем кому бы то ни было известно, что на тысячелетнем пути было всякое. Не только Куликовская битва, Сергий Радонежский и Серафим Саровский, но и жесточайшие репрессии против старообрядцев и сектантов, погромные речи Илиодора и поруганная тайна исповеди. Поучителен и урок двух столетий взаимонепонимания Церкви и интеллигенции, хотя бы урок запрещения знаменитых Религиозно-философских собраний в начале века. А на них начинался плодотворный диалог. Диалог же в деле строительства культуры всегда лучше, чем хоровая патетика, звучи она хоть под куполом самого славного Храма...

Сейчас Церкви для освящения усиленно подсовывается национально-державная идея. Те, кто это делает, не так давно блестяще сформулировали, обличая вроде бы «врага» и лицемерно защищая православие, свои цели. В воззвании нескольких «патриотических» организаций с не слишком христианским заглавием «Мы не хотим, чтоб проливалась кровь России!» (пусть, значит, кровь Армении и Азербайджана или солдат ООН проливается), есть выразительные слова: «Рост исламского фундаментализма, натиск на Православие со стороны католических и протестантских активистов в Прибалтике, экстремизм униатов на Западной Украине и Закарпатской Руси доказывает, что антигосударственные силы стремятся политические цели прикрыть религиозными символами, то есть перевести политиканство в сокровенный смысл национального бытия. Этот обман, заражающий все национальные организмы, не разоблачается. Все заметнее, что светлый огонь веры превращают в смрадное тление национально-религиозного фанатизма». Лучше не скажешь.

Национально-державная идея, противоречащая самой сути христианства, уже была на вооружении Православной Церкви. Историки знают — мало что в такой же степени подрывало ее авторитет. Этот путь, на который Церковь вновь усиленно зазывают, завершился в свое время катастрофой.

Все сказанное — не поучение Церкви. Что ей делать и куда идти, она знает сама. Это просто мысли, которые вызывает даже беглый обзор нынешней социально-культурной жизни. И Россия, и ее культура, и ее Церковь на распутье, как не раз уже бывало в истории. Прислушаемся к трезвому голосу из подобной же переломной эпохи. В годы первой мировой войны, в предощущении катастрофы, Николай Бердяев писал: «России нужна прежде всего радикальная моральная реформа, религиозное возрождение самих истоков жизни. Но, увы, и религиозное возрождение может быть номинальным и формальным. Велика власть слов и в религиозной жизни. Ярлыки — «православный», «сектант», «христианин нового сознания» и пр. приобрели несоответствующее их реальному весу значение. «Православный» номинализм давно уже отравляет религиозную жизнь в России. Религиозная фразеология правых кругов давно уже выродилась в отвратительное лицемерие и ханжество. Но не поможет нам и утверждение какого-нибудь «левого» религиозного сознания, применяемого к общественности извне и формально. В глубине клеток народной жизни должно произойти перерождение, идущее изнутри, и я верю, что оно происходит, что русский народ духовно жив и что ему предстоит великое будущее. Смутная эпоха пройдет».

г. Иваново.

Важные моменты творческих исканий поэта и актера раскрыты в других работах — о концепции человека и мира в поэзии Высоцкого и о тематических мотивах судьбы, о традициях русской классики, преломившихся в наследии поэта, и фольклорной образности его стихов, о речевых средствах авторского самовыражения в лирике и музыкальных особенностях песен.

Завершает книгу обширная, хоть и названа она краткой, библиография. Краткая — потому что, увы, неполная, о чем свидетельствует отсутствие некоторых заметных публикаций (скажем, статьи Юрия Карякина в «Литературном обозрении» в 1980 г.).

Не могут не броситься в глаза и названия иных статей в этом разделе, которые мы сегодня, увы, вспоминаем не без неловкости за их авторов — такие, как «С чужого голоса» и «Да: с чужого голоса» в «Тюменской правде», «Что за песней» в «Комсомольской правде» и «О чем поет Высоцкий» в «Советской России», «От великого до смешного», «Что тебе поют?», «Пища? Лекарство? Отрава?», «Переборщили...» в «Нашем современнике» и «Молодой гвардии».

И как тут не прийти к выводу, что библиография обладает ценностью не только научной, но и нравственной, так как помогает удержать в памяти то, о чем забывать не следует.

По вопросам качества полиграфического исполнения журнала обращаться в типографии, печатающие данную часть тиража.

Адрес редакции: 103863 ГСП. Москва, ул. 25 Октября, 8/1.
Телефоны: главный редактор — 921-24-30, заместителк главного редактора — 921-13-81 к 921-08-09, ответственный секретарь — 928-22-78, отдел прозы — 923-72-82, отдел публицистики — 921-14-64, отдел критики и библиографии — 928-29-42, отдел поэзии — 921-59-67, для справок — 924-13-46.

Технический редактор Л. С. Алексеева.

Сдаио в набор 06.08.90. Подписаио к печати 04.09.90. Формат 70×108 1/16.
Печать высокая. Усл. печ. л. 21,00. Усл. кр.-отт. 21,17 Уч.-изд. л. 23,27.
Тираж 1 000 000 экз. (1-й завод 1—355 022 экз.). Заказ № 2734. Цена 90 коп.

Ордена Ленииа и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Леиина издательства ЦК КПСС «Правда», 125865 ГСП. Москва, А-137, ул. «Правды», 24.

Важные моменты творческих исканий поэта и актера раскрыты в других работах — о концепции человека и мира в поэзии Высоцкого и о тематических мотивах судьбы, о традициях русской классики, преломившихся в наследии поэта, и фольклорной образности его стихов, о речевых средствах авторского самовыражения в лирике и музыкальных особенностях песен.

Завершает книгу обширная, хоть и названа она краткой, библиография. Краткая — потому что, увы, неполная, о чем свидетельствует отсутствие некоторых заметных публикаций (скажем, статьи Юрия Карякина в «Литературном обозрении» в 1986 г.).

Не могут не броситься в глаза и названия иных статей в этом разделе, которые мы сегодня, увы, вспоминаем не без неловкости за их авторов — такие, как «С чужого голоса» и «Да: с чужого голоса» в «Тюменской правде», «Что за песней» в «Комсомольской правде» и «О чем поет Высоцкий» в «Советской России», «От великого до смешного», «Что тебе поют?», «Пища? Лекарство! Отрава?», «Переборщили...» в «Нашем современнике» и «Молодой гвардии».

И как тут не прийти к выводу, что библиография обладает ценностью не только научной, но и нравственной, так как помогает удержать в памяти то, о чем забывать не следует.

По вопросам качества полиграфического исполнения журнала обращаться в типографии, печатающие данную часть тиража.

Адрес редакции: 103863 ГСП, Москва, ул. 25 Октября, 8/1.
Телефоны: главный редактор — 921-24-30, заместители главного редактора — 921-13-81 и 921-66-09, ответственный секретарь — 928-22-78, отдел прозы — 923-72-82, отдел публицистики — 921-14-64, отдел критики и библиографии — 928-29-42, отдел поэзии — 921-59-67, для справок — 924-13-46.

Технический редактор Л. С. Алексеева.

Сдано в набор 06.08.90. Подписано к печати 04.09.90. Формат 70×108 1/16.
Печать высокая. Усл. печ. л. 21,00. Усл. кр.-отт. 21,17. Уч.-изд. л. 23,27.
Тираж 1 000 000 экз. (1-й завод 1—355 022 экз.) Заказ № 2734. Цена 90 коп.

Ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типография имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда», 125865 ГСП, Москва, А-137, ул. «Правды», 24.